МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ
5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

МИЛЫЙ ДРУГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями — завсегдатаи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов,— на выбор. Так как завтрак стоит франк десять сантимов, а обед — полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем

был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполонившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей и дома — весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность — пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, вьющиеся русые с рыжеватым отливом волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков — все в нем напоминало соблазнителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задыхался и истекал по́том. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон несся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские Поля, в Булонский лес — подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание — желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла, и он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» — но не смел за ними идти, так как

заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения,— их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак, это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг,— у него пересохло в горле. Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе,— решил он.— А, черт, как, однакож, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду,— на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз — по выражению лица, по одежде,— сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах,— найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек во всяком случае наберется; два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков! «Сво-

лочь!» — проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке,— честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени Улед-Алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали,— ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже — не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие — с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива,— до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен,— сказал он себе,— и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

— Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

— Да ведь это Форестье! — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

— Не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Превосходно, а ты?

— Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году,— все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

— Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

— Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. По-

ходка, манера держаться, костюм; брюшко — все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека — степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

— Ты куда направляешься? — спросил Форестье.

— Никуда,— ответил Дюруа,— просто гуляю перед сном.

— Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

— Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

— Что поделываешь? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру,— вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

— Не густо, черт возьми,— промычал Форестье.

— Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

— Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего?

— Я обил все пороги, но без толку,— возразил Дюруа.— Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пеле-

рена. Там я, на худой конец, заработаю три тысячи франков.

— Не делай этой глупости,— прервал его Форестье,— даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты по крайней мере не на виду, тебя никто не знает, и, при известной настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор — это конец. Это все равно, что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню.

Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил:

— У тебя есть диплом бакалавра?

— Нет, я дважды срезался.

— Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

— Да, примерно.

— Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка—другого остолопов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди — круглые невежды и глупы, как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречных. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

— Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе

взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами, составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

— Сюда,— сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной,— стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

— Присядь,— сказал Форестье,— я вернусь через пять минут.

И он скрылся за одной из трех дверей, выходивших в приемную.

Странный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорей изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробегали мимо него из одной двери в другую,— так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков — свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком,— какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями,— видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном

фраке и белом галстуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

— Всего наилучшего, уважаемый мэтр,— сказал Форестье.

Господин пожал ему руку.

— До свиданья, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

— Кто это? — спросил Дюруа.

— Жак Риваль,— знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он — лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

— Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене,— пояснил он.— Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдем в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» — и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то, потом неожиданно спросил:

— Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд.

— Но... дело в том, что... я никогда ничего не писал.

— Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

— Конечно, хочу.

— Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать.

Соберется у меня человек пять—шесть, не больше: мой патрон — господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

— Дело в том, что... у меня нет подходящего костюма,— запинаясь, проговорил он.

Форестье опешил.

— У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

— Отдашь, когда сможешь,— сказал он дружеским, естественным тоном.— Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтэн, семнадцать.

Дюруа был тронут.

— Ты так любезен! — пряча деньги, пробормотал он.— Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду...

— Довольно, довольно! — прервал Форестье.— Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! — крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

— Ну как, погуляем еще часок?

— Конечно, погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

— Что бы нам такое придумать? — сказал Форестье.— Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафе-шантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а

просто место для гуляния. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь — гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал:

— Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер. Я охотно пошел бы туда.

— Что, в Фоли-Бержер?— воскликнул его спутник.— Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь,— это во всяком случае забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фиакров дожидалась разъезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

— Мы забыли купить билеты.

— Со мной не платят,— с важным видом проговорил Форестье.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

— Есть хорошая ложа? — спросил он.

— Конечно, есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно сгущался вверху, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи партера и где раз-

ряженные кокотки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше.

— Где семнадцатая ложа?

— Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико — высокий, среднего роста и низенький — по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грациозным прыжком он взлетал на трапецию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и наконец третий — и все это при возраставшем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повер-

нув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

— Обрати внимание на первые ряды партера,— сказал Форестье,— одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах — гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас — самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядись к ним. Кого-кого тут только нет,— люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие — банковские, министерские, по торговой части,— репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках — эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам,— и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть,— их можно видеть здесь каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком головы она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

— Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

— Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр заиграл вальс.

— Не пройтись ли нам? — предложил Дюруа.

— Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин,— видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя, как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

— Пойдем в сад,— сказал он.

Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

— Еще по кружке? — предложил Форестье.

— С удовольствием.

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите, сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», и, проворчав: «Свинья!», она удалялась.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

— Гарсон, два гренадина!

— Однако ты не из робких! — с удивлением заметил Форестье.

— Твой приятель вскружил мне голову,— сказала она.— Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся, что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

— Спасибо, котик,— сказала она.— Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся.

— Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

— Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

— Ты остаешься? — спросил Форестье.— А я ухожу, с меня довольно.

— Да, я немного побуду. Еще рано,— пробормотал Дюруа.

Форестье встал.

— В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтэн, семнадцать, в половине восьмого.

— Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

— Ну что, развязался у тебя язык? — спросила брюнетка.

— Канальство! — пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

— Пойдем ко мне? — неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

— Да, но у меня только один луидор.

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

— Ничего,— сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

II

— Где живет господин Форестье?

— Четвертый этаж, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения. Он находил изъяны во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных,— Дюруа любил хорошую обувь,— и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.

Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах, имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая не по фигуре вещь. Только фрак сидел недурно — он был ему почти впору.

С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, медленно поднимался он вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Они оказались так близко друг к другу, что Дюруа отпрянул — и замер на месте: это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем

на площадке второго этажа и создававшем иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга,— в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе.

Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост; кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета, и он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон.

Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя,— он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось с первого взгляда, шикарно, безукоризненно.

Подвергнув себя подробному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид.

Тогда он принялся, точно актер, разучивающий роль, репетировать перед зеркалом. Он улыбался, протягивал руку, жестикулировал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение и найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера и которые убедили бы их, что он очарован и увлечен ими.

Внизу хлопнула дверь. Испугавшись, что его могут застать врасплох и что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом, Дюруа стал быстро подниматься по лестнице.

На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало, и Дюруа замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу. В самом деле, фигура у него стройная. Походка тоже не оставляет желать лучшего. И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой. Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым складом ума он своего добьется. Ему хотелось взбежать, перепрыгивая через ступеньки, на верхнюю площадку лестницы. Остановившись перед третьим зеркалом, он привычным движением подкрутил усы, снял шляпу, пригладил волосы и, пробормотав то, что он всегда говорил в таких случаях: «Придумано здорово», нажал кнопку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас же, и при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках, бритого,

важного, в высшей степени представительного, Дюруа вновь ощутил смутное, непонятное ему самому беспокойство: быть может, он невольно сравнил свой костюм с костюмом лакея. Взяв у Дюруа пальто, которое тот, чтобы скрыть пятна, держал, перекинув на руку, лакей спросил:

— Как прикажете доложить?

Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя.

Дюруа мгновенно утратил весь свой апломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина.

Он остановился как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка — жена его друга, привела его в полное замешательство.

— Сударыня, я...— пробормотал он.

Она протянула ему руку.

— Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.

Он не нашелся, что ей ответить, и покраснел до ушей, он чувствовал, что его осматривают с ног до головы, прощупывают, оценивают, изучают.

Ему хотелось извиниться за свой туалет, как-нибудь объяснить его погрешности, но он ничего не мог придумать и так и не решился затронуть этот щекотливый предмет.

Он опустился в кресло, на которое ему указала хозяйка, и как только под ним прогнулось мягкое и упругое сиденье, как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключивших его в свои бархатные объятия, ему показалось, что он вступил в новую, чудесную жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собою нечто, что он спасен. И то-

гда он взглянул на г-жу Форестье, не спускавшую с него глаз.

На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко.

Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фоли-Бержер, действовал на него ободряюще. У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение, тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок,— неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной, малейшее изменение которого словно и говорит и скрывает что-то.

Выдержав короткую паузу, она спросила:

— Вы давно в Париже?

— Всего несколько месяцев, сударыня,— постепенно овладевая собой, заговорил он.— Я служу на железной дороге, но Форестье меня обнадежил: говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом.

Она улыбнулась, на этот раз более радушной и широкой улыбкой, и, понизив голос, сказала:

— Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей доложил:

— Госпожа де Марель.

Вошла маленькая смуглая женщина, из числа тех, о которых говорят: жгучая брюнетка.

Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру.

Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам: она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального, сообщала ему живость и яркость.

За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась к ним навстречу:

— Здравствуй, Клотильда.

— Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Девочка, с самоуверенностью взрослой, подставила для поцелуя лобик.

— Здравствуйте, кузина,— сказала она.

Поцеловав ее, г-жа Форестье начала знакомить гостей:

— Господин Жорж Дюруа, старый товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга и дальняя родственница.

И, обращаясь к Дюруа, добавила:

— Знаете, у нас тут просто, без церемоний. Вы ничего не имеете против?

Молодой человек поклонился.

Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были г-н Вальтер, депутат, финансист, богач и делец, еврей-южанин, издатель «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Потом один за другим появились Жак Риваль, одетый весьма элегантно, и Норбер де Варен,— у этого ворот фрака блестел, натертый длинными, до плеч, волосами, с которых сыпалась перхоть, а небрежно завязанный галстук был далеко не первой свежести. С кокетливостью былого красавца он подошел к г-же Форестье и поцеловал ей руку. Когда он нагнулся, его длинные космы струйками разбежались по ее голой руке.

Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.

— Кушать подано,— объявил слуга.

Все перешли в столовую.

Дюруа посадили между г-жой де Марель и ее дочкой. Он опять почувствовал себя неловко: он не умел обращаться с вилкой, ложкой, бокалами и боялся нарушить этикет. Перед ним поставили четыре бокала, причем один — голубоватого цвета. Интересно знать, что из него пьют?

За супом молчали, потом Норбер де Варен спросил:

— Вы читали о процессе Готье? Занятная история!

И тут все принялись обсуждать этот случай, где к адюльтеру примешался шантаж. Здесь говорили о нем не так, как в семейном кругу говорят о происшествиях, известных по газетам, но как врачи о болезни, как зеленщики об овощах. Никто не удивлялся, не выражал возмущения,— все с профессиональным любопытством и полным равнодушием к самому преступлению отыскивали его глубокие, тайные причины. Пытались выяснить мотивы поступков, определить мозговые явления, вызвавшие драму, а сама эта драма рассматривалась как прямое следствие особого душевного состояния, которому можно найти научное объяснение. Этим исследованием, этими поисками увлеклись и дамы. Точно так же, с точки зрения вестовщиков, торгующих человеческой комедией построчно, были изучены, истолкованы, осмотрены хозяйским глазом со всех сторон, оценены по их действительной стоимости и другие текущие события, подобно тому как лавочники переворачивают, осматривают и взвешивают свой товар, прежде чем предложить его покупателям.

Потом зашла речь об одной дуэли, и тут Жак Риваль овладел всеобщим вниманием. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа не решался вставить слово. Прельщенный округлыми формами своей соседки, он время от времени поглядывал на нее. С кончика ее уха, точно капля воды, скользящая по коже, на золотой нитке свисал бриллиант. Каждое ее замечание вызывало у всех улыбку. Оно заключало в себе забавную, милую, всякий раз неожиданную шутку, шутку бедовой девчонки, ничего не принимающей близко к сердцу, судящей обо всем с поверхностным и добродушным скептицизмом.

Дюруа старался придумать для нее комплимент, но так и не придумал и занялся дочкой: наливал ей вина, передавал кушанья — словом, ухаживал за ней. Девочка, более строгая, чем мать, благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила: «Вы очень любезны, сударь», и снова с комически серьезным видом принималась слушать, о чем говорят взрослые.

Обед удался на славу, и все выражали свое восхи-

щение. Вальтер ел за десятерых и почти все время молчал; когда подносили новое блюдо, он смотрел на него из-под очков косым, прицеливающимся взглядом. Не отставал от Вальтера и Норбер де Варен, по временам ронявший капли соуса на манишку.

Форестье, улыбающийся и озабоченный, за всем наблюдал и многозначительно переглядывался с женой, словно это был его расторопный помощник, словно они сообща выполняли трудную, но успешно продвигающуюся работу.

Лица раскраснелись, голоса становились громче. Слуга то и дело шептал на ухо обедающим:

— Кортон? Шато-Лароз?

Дюруа пришелся по вкусу кортон, и он всякий раз подставлял свой бокал. Радостное, необыкновенно приятное возбуждение, горячей волной приливавшее от желудка к голове и растекавшееся по жилам, мало-помалу захватило его целиком. Для него наступило состояние полного блаженства, блаженства, поглощавшего все его мысли и чувства, блаженства души и тела.

Ему хотелось говорить, обратить на себя внимание, хотелось, чтобы его слушали, чтобы к нему относились так же, как к любому из этих людей, каждое слово которых подхватывалось здесь на лету.

Между тем общий разговор, который не прекращался ни на минуту, нанизывал одно суждение на другое и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет, наконец, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.

Вальтер, отличавшийся игривостью ума и скептическим взглядом на вещи, в перерыве между двумя блюдами отпустил на этот счет несколько острых словечек. Форестье изложил содержание своей статьи, написанной для завтрашнего номера. Жак Риваль указал на необходимость учредить в колониях военную власть и предоставить каждому офицеру, прослужившему в колониальных войсках тридцать лет, земельный участок в Алжире.

— Таким путем вы создадите деятельное общество,— утверждал он,— люди постепенно узнают и по-

любят эту страну, выучатся говорить на ее языке и станут разбираться во всех запутанных местных делах, которые обычно ставят в тупик новичков.

Норбер де Варен прервал его:

— Да... они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но так и не научатся сажать свеклу и сеять хлеб. Они будут весьма сильны в искусстве фехтования и весьма слабы по части удобрения полей. Нет, надо широко открыть двери в эту новую страну всем желающим. Для людей с умом там всегда найдется место, остальные погибнут. Таков закон нашего общества.

Наступило молчание. Все улыбались.

— Чего там недостает, так это хорошей земли,— с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа.— Плодородные участки стоят в Алжире столько же, сколько во Франции, и раскупают их парижские богачи, которые находят выгодным вкладывать в них капитал. Настоящих же колонистов, то есть бедняков, которых туда гонит нужда, оттесняют в пустыню, где нет воды и где ничего не растет.

Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.

— Вы знаете Алжир? — спросил Вальтер.

— Да,— ответил он.— Я провел там два с лишним года и побывал во всех трех провинциях.

Норбер де Варен, сразу позабыв о Мореле, стал расспрашивать Дюруа о некоторых обычаях этой страны, известных ему по рассказам одного офицера. В частности, его интересовал Мзаб — своеобразная маленькая арабская республика, возникшая посреди Сахары, в самой сухой части этого знойного края.

Дюруа дважды побывал в Мзабе, и теперь он охотно принялся описывать нравы этой удивительной местности, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель обязан принимать участие в общественных работах и где торговля ведется честнее, чем у цивилизованных народов.

Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвастливым увлечением; рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи,

происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Он употребил даже несколько красочных выражений для того, чтобы слушатели яснее представили себе эту желтую, голую и бесконечно унылую землю, опаленную всепожирающим пламенем солнца.

Дамы не сводили с него глаз. Г-жа Вальтер проговорила, растягивая, по своему обыкновению, слова:

— Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков.

Старик Вальтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть чье-нибудь лицо. Кушанья он разглядывал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом:

— Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации. С тех пор как от нас ушел Марамбо, у меня нет никого, кто собирал бы срочные и секретные сведения, а от этого страдает газета.

Вальтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза.

— Ум у господина Дюруа бесспорно оригинальный,— сказал он.— Если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим.

Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа:

— А пока что дайте нам два—три увлекательных очерка об Алжире. Поделитесь своими воспоминаниями и свяжите их с вопросом о колонизации, как это вы сделали сейчас. Они появятся вовремя, как раз вовремя, и я уверен, что читатели будут очень довольны. Но торопитесь! Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае — послезавтра: пока в палате еще не кончились прения, нам необходимо привлечь к ним внимание публики.

— А вот вам прелестное заглавие: «Воспоминания африканского стрелка»,— добавила г-жа Вальтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила,— не правда ли, господин Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и боялся начинающих. Он сухо ответил:

— Да, заглавие великолепное, при условии, однако, что и дальнейшее будет в том же стиле, а это самое трудное. Стиль — это все равно, что верный тон в музыке.

Г-жа Форестье смотрела на Дюруа ласковым, покровительственным, понимающим взглядом, как бы говорившим: «Такие, как ты, своего добьются». Г-жа де Марель несколько раз поворачивалась в его сторону, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, словно прозрачная капля воды, которая вот-вот сорвется и упадет.

Девочка сидела спокойно и чинно, склонив голову над тарелкой.

Лакей тем временем снова обошел вокруг стола и налил в голубые бокалы иоганнисберг, после чего Форестье, поклонившись Вальтеру, предложил тост:

— За процветание «Французской жизни»!

Все кланялись патрону, он улыбался, а Дюруа, упоенный успехом, одним глотком осушил свой бокал. Ему казалось, что он мог бы выпить целую бочку, съесть целого быка, задушить льва. Он ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость, он полон был самых радужных надежд. Он стал своим человеком в этом обществе, он завоевал себе положение, занял определенное место. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах, и наконец он осмелился обратиться к своей соседке:

— Какие у вас красивые серьги, сударыня,— я таких никогда не видел!

Она обернулась к нему с улыбкой:

— Это мне самой пришло в голову — подвесить бриллианты вот так, просто на золотой нитке. Можно подумать, что это росинки, правда?

Смущенный собственной дерзостью, боясь сказать глупость, он пробормотал:

— Прелестные серьги, а ваше ушко способно только украсить их.

Она поблагодарила его взглядом — одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце.

Дюруа повернул голову и снова встретился глазами

с г-жой Форестье: она смотрела на него все так же приветливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения.

Мужчины говорили теперь все разом, размахивая руками и часто повышая голос: обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана лишь к концу десерта,— каждому нашлось что сказать о медленности способов сообщения в Париже, о неудобствах конок, о непорядках в омнибусах и грубости извозчиков.

Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку девочке. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера.

Гостиная снова напомнила ему оранжерею. Во всех углах комнаты высокие пальмы, изящно раскинув листья, тянулись до потолка и взметали каскадами свои широкие вершины.

По бокам камина круглые, как колонны, стволы каучуковых деревьев громоздили один на другой продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепьяно стояли два каких-то неведомых кустика — розовый и белый; круглые, сплошь покрытые цветами, они казались искусственными, неправдоподобными, слишком красивыми для живых цветов.

Свежий воздух гостиной был напоен легким и нежным благоуханием, несказанным и неуловимым.

Дюруа почти совсем оправился от смущения, и теперь он мог внимательно осмотреть комнату. Комната была невелика: кроме растений, ничто не поражало в ней взгляда, в ней не было ничего особенно яркого, но вы чувствовали себя как дома, все располагало вас к отдыху, дышало покоем; она обволакивала вас своим уютом, она безотчетно нравилась, она окутывала тело чем-то мягким, как ласка.

Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиною с муху. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком были вышиты гвоздики. Расставленная как попало мебель разной формы и величины — шезлонги, огромные и совсем крошечные кресла, табуреты, пуфы — ча-

стью была обита шелковой материей в стиле Людовика XVI, частью — прекрасным утрехтским бархатом с гранатовыми разводами по желтоватому полю.

— Господин Дюруа, хотите кофе?

Все с той же дружелюбной улыбкой, не сходившей с ее уст, г-жа Форестье протянула ему чашку.

— Да, сударыня, благодарю вас.

Дюруа взял чашку, и, пока он, с опаской наклонившись над сахарницей, которую подала ему девочка, доставал серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина успела шепнуть ему:

— Поухаживайте за госпожой Вальтер.

И, прежде чем он успел ей что-нибудь ответить, удалилась.

Он поспешил выпить кофе, так как боялся пролить его на ковер, и, облегченно вздохнув, стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с ней разговор.

Вдруг он заметил, что г-жа Вальтер, сидевшая далеко от столика, держит в руке пустую чашку и, видимо, не знает, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней:

— Разрешите, сударыня.

— Благодарю вас.

Он отнес чашку и сейчас же вернулся.

— Если бы вы знали, сударыня, сколько счастливых минут доставила мне «Французская жизнь», когда я был там, в пустыне! В самом деле, это единственная газета, которую можно читать за пределами Франции, именно потому, что она самая занимательная, самая остроумная и наиболее разнообразная из газет. В ней пишут обо всем.

Г-жа Вальтер улыбнулась холодной в своей учтивости улыбкой.

— Моему мужу стоило немалых трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям,— заметила она с достоинством.

И они принялись беседовать. Дюруа умел поддерживать пошлый и непринужденный разговор; голос у него был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они вились над верхней губой, красивые, пушистые, пыш-

ные, золотистые с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах.

Поговорили о Париже и его окрестностях, о берегах Сены, о летних развлечениях, о курортах — словом, о таких несложных вещах, о которых без малейшего напряжения можно болтать до бесконечности.

Когда же к ним подошел Норбер де Варен с рюмкой ликера в руке, Дюруа из скромности удалился.

Г-жа де Марель, окончив беседу с г-жой Форестье, подозвала его.

— Итак, вы намерены попытать счастья в журналистике? — неожиданно спросила она.

Он ответил что-то неопределенное насчет своих намерений, а затем начал с ней тот же разговор, что и с г-жой Вальтер. Но теперь он лучше владел предметом и говорил увереннее, выдавая за свое то, что слышал недавно от других. При этом он все время смотрел ей в глаза, как бы желая придать глубокий смысл каждому своему слову.

Г-жа де Марель рассказала ему в свою очередь несколько анекдотов с той неподдельной живостью, какая свойственна женщине, знающей, что она остроумна, и желающей быть занимательной. Становясь все более развязной, она дотрагивалась до его рукава и, болтая о пустяках, внезапно понижала голос, отчего их беседа приобретала интимный характер. Близость молодой женщины, столь явно расположенной к нему, волновала его. Томимый желанием сию же минуту доказать ей свою преданность, от кого-то защитить ее, обнаружить перед ней свои лучшие качества, Дюруа каждый раз медлил с ответом, и эти заминки свидетельствовали о том, что мысли его заняты чем-то другим.

Вдруг, без всякого повода, г-жа де Марель позвала: «Лорина!» — и, когда девочка подошла, сказала ей:

— Сядь сюда, детка, ты простудишься у окна.

Дюруа безумно захотелось поцеловать девочку, словно что-то от этого поцелуя могло достаться на долю матери.

— Можно вас поцеловать, мадмуазель? — изысканно любезным и отечески ласковым тоном спросил он.

Девочка посмотрела на него с изумлением. Г-жа де Марель сказала смеясь:

— Отвечай: «Сегодня я вам разрешаю, сударь, но больше чтоб этого не было».

Дюруа сел и, взяв девочку на руки, прикоснулся губами к ее волнистым и мягким волосам.

Мать была поражена.

— Смотрите, она не убежала! Это что-то потрясающее! Обычно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел и молча принялся покачивать девочку на одном колене.

Г-жа Форестье подошла и ахнула от удивления:

— Что я вижу? Лорину приручили! Вот чудеса!

Жак Риваль, с сигарой во рту, направлялся к ним, и Дюруа, боясь одним каким-нибудь словом, сказанным невпопад, испортить все дело и сразу лишиться всего, что им было уже завоевано, встал и начал прощаться.

Он кланялся, осторожно пожимал женские ручки и энергично встряхивал руки мужчин. При этом он заметил, что сухая горячая рука Жака Риваля дружески ответила на его пожатие, что влажная и холодная рука Норбера де Варена проскользнула у него между пальцев, что у Вальтера рука холодная, вялая, безжизненная и невыразительная, а у Форестье — пухлая и теплая. Его приятель шепнул ему:

— Завтра в три часа, не забудь.

— Нет, нет, приду непременно.

Дюруа до того бурно переживал свою радость, что, когда он очутился на лестнице, ему захотелось сбежать с нее, и, перепрыгивая через две ступеньки, он пустился вниз, но вдруг на площадке третьего этажа увидел в большом зеркале господина, вприпрыжку бежавшего к нему навстречу, и, устыдившись, остановился, словно его поймали на месте преступления.

Дюруа посмотрел на себя долгим взглядом, затем, придя в восторг от того, что он такой красавец, любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему на прощание, точно некоей важной особе, почтительный низкий поклон.

III

На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумье: он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом, но мысль о статьях для Вальтера неотступно преследовала его, и в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу.

Скорым шагом двинулся он по кольцу внешних бульваров, а затем свернул на улицу Бурсо, на которой он жил. Семиэтажный дом, где он снимал комнату, был населен двумя десятками семей рабочих и мещан. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступеньки, усеянные очистками, окурками, клочками бумаги, он вместе с болезненным отвращением испытывал острое желание вырваться отсюда и поселиться там, где живут богатые люди,— в чистых, устланных коврами комнатах. Здесь же все было пропитано тяжелым запахом остатков пищи, отхожих мест и человеческого жилья, застарелым запахом пыли и плесени, запахом, который никакие сквозняки не могли выветрить.

Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею Западной железной дороги, зиявшую, словно глубокая пропасть, там, где, кончался туннель, неподалеку от Батиньольского вокзала. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник.

Три неподвижных красных сигнальных огня, напоминавших широко раскрытые глаза неведомого зверя, горели на дне этой темной ямы, за ними виднелись другие, а там еще и еще. Протяжные и короткие гудки ежеминутно проносились в ночи, то близкие, то далекие, едва уловимые, долетавшие со стороны Аньера. В их переливах было что-то похожее на перекличку живых голосов. Один из них приближался, его жалобный вопль нарастал с каждым мгновением, и вскоре показался большой желтый фонарь, с оглушительным грохотом мчавшийся вперед. Дюруа видел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти туннеля.

— А ну, за работу! — сказал он себе, поставил лам-

пу на стол и хотел было сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага.

Что ж, придется, развернуть лист в ширину и писать на почтовой. Он обмакнул перо и старательно, красивым почерком вывел заглавие:

ВОСПОМИНАНИЯ АФРИКАНСКОГО СТРЕЛКА

Затем принялся обдумывать первую фразу.

Он сидел, подперев щеку ладонью и пристально глядя на лежавший перед ним чистый лист бумаги.

О чем писать? Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом, ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Вдруг ему пришла мысль: «Надо начать с отъезда». И он написал: «Это было в 1874 году, в середине мая, в то время, когда обессиленная Франция отдыхала от потрясений роковой годины...»

Тут Дюруа остановился: он не знал, как связать это с дальнейшим — с отплытием, путешествием, первыми впечатлениями.

Минут десять спустя он решил отложить вступительную часть на завтра, а пока приняться за описание Алжира.

«Алжир — город весь белый...» — написал он, но дальше этого дело не пошло. Память вновь нарисовала перед ним красивый чистенький городок, ручейками домов с плоскими кровлями сбегающий по склону горы к морю, но он не находил слов, чтобы передать виденное и пережитое.

После долгих усилий он прибавил: «Часть его населения составляют арабы...» Потом швырнул перо и встал из-за стола.

На узкой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось его будничное платье, поношенное, измятое, скомканное, всем своим отвратительным видом напоминавшее отрепья из морга. А шелковый цилиндр, его единственный цилиндр, лежавший вверх дном на соломенном кресле, точно ждал, чтобы ему подали милостыню.

На обоях, серых с голубыми букетами, пятен было столько же, сколько цветов,— застарелых, подозрительных пятен, о которых никто не мог бы сказать, что это

такое: то ли раздавленные клопы, то ли капли масла; не то следы пальцев, жирных от помады, не то брызги мыльной пены из умывального таза. Все отзывалось унизительной нищетой, нищетой парижских меблированных комнат. И в душе у Дюруа поднялась злоба на свою бедность. Он почувствовал необходимость как можно скорее выбраться отсюда, завтра же покончить с этим жалким существованием.

Внезапно к нему вернулось рабочее настроение, и он, сев за стол, опять начал подыскивать такие слова, которые помогли бы ему воссоздать пленительное своеобразие Алжира, этого преддверия Африки с ее таинственными дебрями, Африки кочевых арабов и безвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, откуда в наши городские сады изредка попадают неправдоподобные, будто явившиеся из мира сказок животные: невиданные куры, именуемые страусами; наделенные божественной грацией козы, именуемые газелями; поражающие своей уродливостью жирафы, величавые верблюды, чудовищные гиппопотамы, безобразные носороги и наконец страшные братья человека — гориллы.

Мысли, рождавшиеся у Дюруа, не отличались ясностью,— он сумел бы высказать их, пожалуй, но ему не удавалось выразить их на бумаге. В висках у него стучало, руки были влажны от пота, и, истерзанный этой лихорадкой бессилия, он снова встал из-за стола.

Тут ему попался на глаза счет от прачки, сегодня вечером принесенный швейцаром, и безысходная тоска охватила его. Радость исчезла вмиг — вместе с верой в себя и надеждой на будущее. Кончено, все кончено, он ничего не умеет делать, из него ничего не выйдет. Он казался себе человеком ничтожным, бездарным, обреченным, ненужным.

Он опять подошел к окну — как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал — через поля и равнины — к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей.

Да, поезд пройдет мимо них, всего в нескольких лье от их дома. Дюруа живо представил себе этот маленький домик на вершине холма, возвышающегося

над Руаном и над широкой долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.

Родители Дюруа держали маленький кабачок, харчевню под вывеской «Красивый вид», куда жители руанского предместья ходили по воскресеньям завтракать. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, они отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу: он заранее метил в офицеры, полковники, генералы. Но военная служба опостылела ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже.

И вот, отбыв положенный срок, он приехал сюда, невзирая на просьбы родителей, которым хотелось теперь, чтобы он жил у них под крылышком, раз уж не суждено было осуществиться их заветной мечте. Он продолжал верить в свою звезду; перед ним смутно вырисовывалось его грядущее торжество — плод некоего стечения обстоятельств, которое сам же он, конечно, и подготовит и которым не преминет воспользоваться.

Гарнизонная служба благоприятствовала его сердечным делам; помимо легких побед, у него были связи с женщинами более высокого полета,— ему удалось соблазнить дочь податного инспектора, которая готова была бросить все и идти за ним, и жену поверенного, которая пыталась утопиться с горя, когда он ее покинул.

Товарищи говорили про него: «Хитрец, пройдоха, ловкач,— этот всегда выйдет сухим из воды». И он дал себе слово непременно стать хитрецом, пройдохой и ловкачом.

Его норманлская совесть, искушаемая повседневной гарнизонною жизнью с ее обычным в Африке мародерством, плутнями и незаконными доходами, впитавшая в себя вместе с патриотическими чувствами армейские понятия о чести, мелкое тщеславие и молодечество, наслушавшаяся рассказов об унтер-офицерских подвигах, превратилась в шкатулку с тройным дном, где можно было найти все что угодно.

Но желание достичь своей цели преобладало.

Незаметно для себя Дюруа замечтался, как это бывало с ним ежевечерне. Ему представлялось необыкно-

венно удачное любовное похождение, благодаря которому разом сбудутся все его чаяния. Он встретится на улице с дочерью банкира или вельможи, покорит ее с первого взгляда и женится на ней.

Пронзительный гудок паровоза, выскочившего из туннеля, точно жирный кролик из своей норы, и на всех парах помчавшегося отдыхать в депо, вернул его к действительности.

И в тот же миг вечно теплившаяся в нем смутная и радостная надежда вновь окрылила его, и он — наугад, прямо в ночную темь — послал поцелуй любви желанной незнакомке, жаркий поцелуй вожделенной удаче. Потом закрыл окно и стал раздеваться. «Ничего,— подумал он,— утром я со свежими силами примусь за работу. Сейчас у меня голова не тем занята. Тем более я, кажется, выпил лишнее. Так работать нельзя».

Он лег, погасил лампу и почти сейчас же заснул.

Проснулся он рано, как всегда просыпаются люди, страстно ждущие чего-то или чем-нибудь озабоченные, и, спрыгнув с кровати, отворил окно, чтобы проглотить, как он выражался, чашку свежего воздуха.

Дома на Римской улице, блестевшие в лучах восходящего солнца по ту сторону широкой выемки, где проходила железная дорога, были точно выписаны матовым светом. Направо чуть виднелись холмы Аржантейя, высоты Сануа и мельницы Оржемона, окутанные легкой голубоватой дымкой, которая напоминала прозрачную трепещущую вуаль, наброшенную на горизонт.

Дюруа залюбовался открывшейся перед ним далью. «В такой день, как сегодня, там должно быть чертовски хорошо»,— прошептал он. Затем, вспомнив, что надо приниматься за работу, и притом немедленно, позвал сына швейцара, дал ему десять су и послал в канцелярию сказать, что он болен.

Он сел за стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову.

Однако он не унывал. «Ничего,— подумал он,— у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои

первые шаги. Схожу-ка я к Форестье,— он мне это в десять минут поставит на рельсы».

И он начал одеваться.

Выйдя на улицу, он сообразил, что сейчас нельзя идти к приятелю,— Форестье, наверное, встают поздно. Тогда он решил пройтись не спеша по внешним бульварам.

Еще не было девяти, когда он вошел в освеженный утреннею поливкой парк Монсо.

Он сел на скамейку и снова отдался своим мечтам. Поодаль ходил взад-вперед весьма элегантный молодой человек, по всей вероятности поджидавший женщину.

И она наконец появилась, в шляпе с опущенною вуалью, торопливым шагом подошла к нему, обменялась с ним быстрым рукопожатием, потом взяла его под руку, и они удалились.

Нестерпимая жажда любви охватила Дюруа,— жажда благоуханных, изысканных, утонченных любовных переживаний. Он встал и двинулся дальше, думая о Форестье. Вот кому повезло!

Он подошел к подъезду в тот самый момент, когда его приятель выходил из дому.

— А, это ты? Так рано? Что у тебя такое?

Дюруа, смущенный тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить:

— Да вот... да вот... Ничего у меня не выходит со статьей, со статьей об Алжире,— помнишь, которую мне заказал господин Вальтер? Это не удивительно, ведь я никогда не писал. Здесь тоже нужна сноровка, как и во всяком деле. Я скоро набью себе руку, в этом я не сомневаюсь, но я не знаю, с чего начать, как приступить. Мыслей у меня много, сколько угодно, а выразить их мне не удается.

Он смешался и умолк. Форестье, лукаво улыбаясь, смотрел на него.

— Это мне знакомо.

— Да, через это, я думаю, все должны пройти,— подхватил Дюруа.— Так вот, я к тебе с просьбой... с просьбой помочь моему горю... Ты мне это в десять минут поставишь на рельсы, покажешь, с какой сторо-

ны за это браться. Это был бы для меня великолепный урок стилистики, а одному мне не справиться.

Форестье по-прежнему весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал:

— Ступай к моей жене, она это сделает не хуже меня. Я ее поднатаскал. У меня утро занято, а то бы я с удовольствием тебе помог.

Дюруа внезапно оробел; он колебался, он не знал, как быть.

— Но не могу же я явиться к ней в такой ранний час!

— Отлично можешь. Она уже встала. Сидит у меня в кабинете и приводит в порядок мои заметки.

Дюруа все еще не решался войти в дом.

— Нет... это невозможно...

Форестье взял его за плечи и, повернув, толкнул к двери.

— Да иди же, чудак, говорят тебе, иди! Я не намерен лезть на четвертый этаж, вести тебя к ней и излагать твою просьбу.

Наконец Дюруа набрался смелости.

— Ну, спасибо, я пойду. Скажу, что ты силой, буквально силой заставил меня обратиться к ней.

— Да, да. Она тебя не съест, будь спокоен. Главное, не забудь: ровно в три часа.

— Нет, нет, не забуду.

Форестье с деловым видом зашагал по улице, а Дюруа, обеспокоенный тем, как его примут, стал медленно, ступенька за ступенькой, подниматься на четвертый этаж, думая о том, с чего начать разговор.

Дверь отворил слуга. На нем был синий фартук, в руке он держал половую щетку.

— Господина Форестье нет дома,— не дожидаясь вопроса, объявил он.

— Спросите госпожу Форестье, может ли она меня принять,— настаивал Дюруа,— скажите, что меня направил к ней ее муж, которого я встретил сейчас на улице.

Он стал ждать ответа. Слуга вернулся и, отворив дверь направо, сказал:

— Госпожа Форестье ждет вас.

Она сидела в кресле за письменным столом, в не-

большой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Корешки всех цветов — красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые — скрашивали и оживляли однообразные шеренги томов.

Улыбаясь своей обычной улыбкой, г-жа Форестье обернулась и протянула ему руку, которую он мог рассмотреть чуть не до плеча,— так широк был рукав ее белого отделанного кружевами пеньюара.

— Что так рано? — спросила она и добавила:— Это не упрек, это всего только вопрос.

— Сударыня,— пробормотал он,— я не хотел идти, но ваш муж, которого я встретил внизу, заставил меня подняться наверх. Мне до того неловко, что я даже не решаюсь сказать, зачем я пришел.

Г-жа Форестье показала рукой на стул:

— Садитесь и рассказывайте.

В руке у нее было гусиное перо, которое она ловко вертела двумя пальцами. Перед ней лежал большой, наполовину исписанный лист бумаги, свидетельствовавший о том, что Дюруа помешал ей работать.

Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. От ее пеньюара исходил легкий и свежий аромат только что законченного туалета. Дюруа пытался представить себе и как будто уже видел перед собой ее молодое, чистое, сытое и теплое тело, бережно прикрываемое мягкою тканью.

— Ну так скажите же, в чем дело? — видя, что Дюруа не решается заговорить, спросила она.

— Видите ли...— начал он в замешательстве.— Право, мне неудобно... Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи... и сегодня... с самого утра... все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вальтер... Но у меня ничего не выходит... Я разорвал все черновики... Мне это дело незнакомо, и я попросил Форестье... на этот раз прийти мне на помощь...

Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его:

— А он послал вас ко мне?.. Как это мило с его стороны...

— Да, сударыня. Он сказал, что вы еще лучше сумеете выручить меня из беды... А я не хотел, не решался. Вы меня понимаете?

Она встала.

— Такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи. Вот что: садитесь-ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую! Успех обеспечен.

Он сел, взял перо, положил перед собой лист бумаги и приготовился писать.

Г-жа Форестье стоя следила за всеми его движениями, потом достала с камина папиросу и закурила.

— Не могу работать без папиросы, — сказала она. — Итак, о чем же вы намерены рассказать?

Дюруа вскинул на нее удивленные глаза.

— Этого-то я и не знаю, потому-то я и пришел к вам.

— Ну хорошо, я вам помогу. Соус я берусь приготовить, но мне необходимо самое блюдо.

Дюруа растерялся.

— Я хотел бы описать свое путешествие с самого начала... — робко проговорил он.

Она села против него, по ту сторону большого стола, и, глядя ему в глаза, сказала:

— В таком случае опишите его сперва мне, мне одной, — понимаете? — не торопясь, ничего не пропуская, а уж я сама выберу то, что нужно.

Дюруа не знал, с чего начать, — тогда она стала расспрашивать его, как священник на исповеди; она задавала точно сформулированные вопросы, и в памяти его всплывали забытые подробности, встречи, лица, которые он видел мельком.

Так проговорил он около четверти часа, потом она неожиданно перебила его:

— А теперь начнем. Представим себе, что вы делитесь впечатлениями с вашим другом: это даст вам возможность болтать всякий вздор, попутно делать разного рода замечания, быть естественным и забавным, насколько нам это удастся. Пишите:

«Дорогой Анри, ты хочешь знать, что такое Алжир? Изволь, ты это узнаешь. От нечего делать я решил

посылать тебе из убогой мазанки, в которой я обретаюсь, нечто вроде дневника, где буду описывать свою жизнь день за днем, час за часом. Порой он покажется тебе грубоватым, — что ж, ведь ты не обязан показывать его знакомым дамам...»

Она остановилась, чтобы зажечь потухшую папиросу, и тихий скрип гусиного пера тотчас же прекратился.

— Давайте дальше,— сказала она.

«Алжир — это обширное французское владение, расположенное на границе огромных неисследованных стран, именуемых пустыней Сахарой, Центральной Африкой и так далее.

Алжир — это ворота, прекрасные белые ворота необыкновенного материка.

Но сперва надо до них добраться, а это не всякому способно доставить удовольствие. Наездник я, как тебе известно, превосходный, я объезжаю лошадей для самого полковника. Однако можно быть хорошим кавалеристом и плохим моряком. Это я проверил на опыте.

Помнишь ли ты полкового врача Сембрета, которого мы прозвали доктором Блево? Когда нам до смерти хотелось отдохнуть сутки в госпитале, в этой земле обетованной, мы отправлялись к нему на прием.

Как сейчас вижу его красные штаны, его жирные ляжки; вот он сидит на стуле, расставив ноги, упираясь кулаками в колени, — руки дугой, локти на отлете, — вращает круглыми рачьими глазами и покусывает седые усы.

Помнишь его предписания:

— У этого солдата расстройство желудка. Дать ему рвотного номер три по моему рецепту, затем двенадцать часов полного покоя, и он выздоровеет.

Рвотное это представляло собой сильно действующее, магическое средство. Мы все же принимали его,— другого выхода не было. Зато потом, отведав снадобья доктора Блево, мы наслаждались вполне заслуженным двенадцатичасовым отдыхом.

Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, приходится в течение сорока часов испытывать на себе действие другого, столь же могущественного рвотного, со-

ставленного по рецепту Трансатлантической пароходной компании».

Г-жа Форестье потирала руки от удовольствия.

Она встала, закурила вторую папиросу, а затем снова начала диктовать, расхаживая по комнате и выпуская сквозь маленькое круглое отверстие между сжатыми губами струйки дыма, которые сперва поднимались столбиками, но постепенно расползались, расплывались, кое-где оставляя прозрачные хлопья тумана, тонкие серые нити, похожие на паутину. Время от времени она стирала ладонью эти легкие, но упорные штрихи или рассекала их указательным пальцем и задумчиво смотрела, как исчезает в воздухе перерезанное надвое медлительное волокно еле заметного пара.

Дюруа между тем следил за всеми ее жестами, позами, — он не отрывал глаз от ее лица и тела, вовлеченных в эту пустую игру, которая, однако, не поглощала ее мыслей.

Теперь она придумывала дорожные приключения, набрасывала портреты вымышленных спутников и намечала интрижку с женою пехотного капитана, ехавшей к своему мужу.

Потом села и начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира, о которой не имела ни малейшего представления. Через десять минут она знала ее не хуже Дюруа и могла продиктовать ему целую главку, содержавшую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям понимание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах.

Очерк сменился походом в провинцию Оран — походом, разумеется, воображаемым: тут речь шла преимущественно о женщинах — мавританках, еврейках, испанках.

— Читателей только это и интересует, — пояснила г-жа Форестье.

Закончила она стоянкой в Саиде, у подножия высоких плоскогорий, и поэтичным, но недолгим романом унтер-офицера Жоржа Дюруа с одной испанкой, работницей аинэльхаджарской фабрики, где обрабатывалась альфа. Она описывала их ночные свидания среди голых

скалистых гор, оглашаемых лаем собак, рычанием гиен и воем шакалов.

— Продолжение завтра! — весело сказала г-жа Форестье и, поднимаясь со стула, добавила: — Вот как пишутся статьи, милостивый государь. Соблаговолите поставить свою подпись.

Дюруа колебался.

— Да подпишитесь же!

Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа».

Она опять начала ходить с папиросой по комнате, а он, полный благодарности, все смотрел на нее и, не находя слов, чтобы выразить ей свою признательность, радуясь тому, что она тут, подле него, испытывал чувственное наслаждение — наслаждение, которое доставляла ему растущая близость их отношений. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее самой, все, даже закрытые книгами стены. В убранстве комнаты, в запахе табака, носившемся в воздухе, было что-то неповторимое, приятное, милое, очаровательное, именно то, чем веяло от нее.

— Какого вы мнения о моей подруге, госпоже де Марель? — неожиданно спросила она.

Дюруа был озадачен этим вопросом.

— Как вам сказать... я нахожу, что она... обворожительна.

— Да?

— Ну конечно.

Он хотел добавить: «А вы еще обворожительнее»,— но постеснялся.

— Если б вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! — продолжала г-жа Форестье. — Богема, да, да, настоящая богема. За это ее и не любит муж. Он видит в ней одни недостатки и не ценит достоинств.

Дюруа показалось странным, что г-жа де Марель замужем. В этом не было, однако, ничего удивительного.

— Так, значит... она замужем? — спросил он. — А что представляет собой ее муж?

Г-жа Форестье слегка повела плечами и бровями,— в этом ее выразительном двойном движении скрывался какой-то неуловимый намек.

— Он ревизор Северной железной дороги. Каждый месяц приезжает на неделю в Париж. Его жена называет это своей повинностью, барщиной, страстной неделей. Когда вы познакомитесь с ней поближе, вы увидите, какая это остроумная и милая женщина. Навестите ее как-нибудь на днях.

Дюруа забыл, что ему пора уходить, — ему казалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя дома.

Но вдруг бесшумно отворилась дверь, и какой-то высокий господин вошел без доклада.

Увидев незнакомого мужчину, он остановился. Г-жа Форестье на мгновение как будто смутилась, а затем, хотя легкая краска все еще приливала у нее от шеи к лицу, обычным своим голосом проговорила:

— Входите же, дорогой друг, входите! Позвольте вам представить старого товарища Шарля, господина Дюруа, будущего журналиста. — И уже другим тоном: — Лучший и самый близкий наш друг — граф де Водрек.

Мужчины раскланялись, посмотрели друг на друга в упор, и Дюруа сейчас же начал прощаться.

Его не удерживали. Бормоча слова благодарности, он пожал г-же Форестье руку, еще раз поклонился гостю, хранившему равнодушный и чопорный вид светского человека, и вышел сконфуженный, точно сделал какой-то досадный промах.

На улице ему почему-то стало грустно, тоскливо, не по себе. Он шел наугад, стараясь постичь, откуда взялась эта внезапная смутная тоска. Он не находил ей объяснения, но в памяти его все время вставало строгое лицо графа де Водрека, уже немолодого, седоволосого, с надменным и спокойным взглядом очень богатого, знающего себе цену господина.

Наконец он понял, что именно появление этого незнакомца, нарушившего милую беседу с г-жой Форестье, с которой он уже чувствовал себя так просто, и породило в нем то ощущение холода и безнадежности, какое порой вызывает в нас чужое горе, кем-нибудь невзначай оброненное слово, любой пустяк.

И еще показалось ему, что этот человек тоже почему-то был неприятно удивлен, встретив его у г-жи Форестье.

До трех часов ему нечего было делать, а еще не пробило двенадцати. В кармане у него оставалось шесть с половиной франков, и он отправился завтракать к Дювалю. Затем побродил по бульварам и ровно в три часа поднялся по парадной лестнице в редакцию «Французской жизни».

Рассыльные, скрестив руки, в ожидании поручений сидели на скамейке, а за конторкой, похожей на кафедру, разбирал только что полученную почту швейцар. Эта безупречная мизансцена должна была производить впечатление на посетителей. Служащие держали себя с достоинством, с шиком, как подобает держать себя в прихожей влиятельной газеты, каждый из них поражал входящего величественностью своей осанки и позы.

— Можно видеть господина Вальтера? — спросил Дюруа.

— У господина издателя совещание, — ответил швейцар. — Будьте любезны подождать.

И он указал на переполненную приемную.

Тут были важные, сановитые господа, увешанные орденами, и бедно одетые люди в застегнутых доверху сюртуках, тщательно закрывавших сорочку и усеянных пятнами, которые своими очертаниями напоминали материки и моря на географических картах. Среди ожидающих находились три дамы. Одна из них, хорошенькая, улыбающаяся, нарядная, имела вид кокотки. В ее соседке, женщине с морщинистым трагическим лицом, одетой скромно, хотя и столь же нарядно, было что-то от бывшей актрисы, что-то искусственное, изжитое, пахнувшее прогорклой любовью, поддельной, линялою молодостью.

Третья женщина, носившая траур, в позе неутешной вдовы сидела в углу. Дюруа решил, что она явилась просить пособия.

Прием все еще не начинался, хотя прошло больше двадцати минут.

Дюруа вдруг осенило, и он опять подошел к швейцару.

— Господин Вальтер назначил мне прийти в три часа, — сказал он. — Посмотрите на всякий случай, нет ли тут моего друга Форестье.

Его сейчас же провели по длинному коридору в большой зал, где четыре господина что-то писали, расположившись за широким зеленым столом.

Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный шпенек.

— Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, — считал он.

— Двадцать шесть, — сказал Дюруа.

Форестье, не прерывая размеренных взмахов руки, взглянул на него.

— А, это ты? Вчера я выбил пятьдесят семь подряд. После Сен-Потена я здесь самый сильный игрок. Ты видел патрона? Нет ничего уморительнее этой старой крысы Норбера, когда он играет в бильбоке. Он так разевает рот, словно хочет проглотить шар.

Один из сотрудников обратился к нему:

— Слушай, Форестье, я знаю, где продается великолепное бильбоке черного дерева. Говорят, оно принадлежало испанской королеве. Просят шестьдесят франков. Это недорого.

— Где это? — спросил Форестье.

Промахнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки в какой-нибудь коллекции. Форестье поставил свое бильбоке на место и еще раз спросил:

— Где же хранится эта драгоценность?

— У барышника, который продает билеты в Водевиль, — ответил журналист. — Могу тебе завтра принести, если хочешь.

— Принеси. Если хорошее,— я возьму; лишнее бильбоке никогда не помешает.

Затем он обратился к Дюруа:

— Пойдем со мной, я проведу тебя к патрону, а то проторчишь тут до семи вечера.

В приемной все сидели на прежних местах. Увидев

Форестье, молодая женщина и старая актриса поспешно встали и подошли к нему.

Форестье по очереди отводил их к окну, и хотя все трое старались говорить тихо, Дюруа заметил, что он и той и другой говорил «ты».

Наконец Форестье и Дюруа вошли в кабинет издателя, куда вела двойная обитая дверь.

Под видом совещания Вальтер и кое-кто из тех господ в цилиндрах с плоскими полями, которых Дюруа видел накануне, уже целый час играли в экарте.

Напряженное внимание, с каким издатель рассматривал свои карты, и вкрадчивость его движений составляли контраст с той ловкостью, гибкостью, грацией опытного игрока, с какою бил, сдавал, манипулировал легкими цветными листиками картона его партнер. Норбер де Варен писал статью, сидя в кресле, в котором обычно сидел издатель, а Жак Риваль растянулся во весь рост на диване и, зажмурив глаза, курил сигару.

Спертый воздух кабинета был пропитан запахом кожаных кресел, въедливым запахом табачного дыма и типографской краски — специфическим запахом редакции, хорошо знакомым каждому журналисту.

На столе черного дерева с медными инкрустациями высилась чудовищная груда писем, визитных карточек, счетов, журналов, газет и всевозможных печатных изданий.

Форестье молча пожал руку зрителям, которые, стоя за стульями партнеров, держали между собою пари, и принялся следить за игрой. Как только Вальтер выиграл партию, он обратился к нему:

— Вот мой друг Дюруа.

— Принесли статью? — бросив на молодого человека быстрый взгляд поверх очков, спросил издатель. — Это было бы весьма кстати именно сегодня, пока еще идут прения по запросу Мореля.

Дюруа вынул из кармана вчетверо сложенные листки.

— Вот, пожалуйста.

Лицо патрона выразило удовольствие.

— Отлично, отлично, — улыбаясь, сказал он. — Вы держите слово. Надо мне это просматривать, Форестье?

— Не стоит, господин Вальтер, — поспешил отве-

тить Форестье. — Мы с ним писали вместе, — надо было показать ему, как это делается. Получилась очень хорошая статья.

— Ну и прекрасно,— равнодушно заметил издатель, разбирая карты, которые сдавал высокий худой господин, депутат левого центра.

Однако Форестье не дал Вальтеру начать новую партию.

— Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо, — нагнувшись к самому его уху, шепнул он. — Разрешите принять его на тех же условиях?

— Да, конечно.

Игра возобновилась, и журналист, взяв своего приятеля под руку, повел его к выходу.

Норбер де Варен не поднял головы: по-видимому, он не заметил или не узнал Дюруа. Жак Риваль, напротив, нарочито крепко пожал ему руку, с подчеркнутой благожелательностью прекрасного товарища, на которого можно положиться во всех случаях жизни.

Когда Форестье и Дюруа снова появились в приемной, посетители впились в них глазами, и журналист громко, чтобы его слышали все, сказал, обращаясь к самой молодой из женщин:

— Издатель примет вас очень скоро. У него совещание с двумя членами бюджетной комиссии.

И сейчас же проследовал дальше с таким независимым и озабоченным видом, как будто его ожидали дела государственной важности.

Вернувшись в редакционный зал, Форестье тотчас же взялся за бильбоке и, прерывая свою речь счетом ударов, заговорил:

— Так вот. Ты будешь приходить сюда ежедневно к трем часам, я буду посылать тебя за информацией, и ты будешь ее добывать — иногда днем, иногда вечером, иногда утром. Раз! Прежде всего я дам тебе рекомендательное письмо к начальнику первого отдела полицейской префектуры, — два! — а он направит тебя к одному из своих подчиненных. С ним ты условишься о получении всех важных сведений, — три! — сведений официального и, само собой разумеется, полуофициального характера. Подробности можешь узнать у Сен-Потена, он в курсе дела, — четыре! — дождись его или по-

говори с ним завтра. Главное, научись вытягивать из людей, к которым я буду тебя посылать, все, что возможно, — пять! — и пролезать всюду, даже через закрытые двери, — шесть! За это ты будешь получать двести франков в месяц жалованья и по два су за строчку интересной хроники, которую ты сумеешь доставить, — семь! Кроме того, по заказу редакции ты будешь писать разные статейки — тоже по два су за строчку, — восемь!

Затем он весь ушел в свою игру и медленно продолжал считать:

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

На четырнадцатом журналист промахнулся.

— Опять тринадцать, черт бы его побрал! — проворчал он. — Проклятое число! Вечно оно приносит мне несчастье. И умру-то я, наверно, тринадцатого.

Один из сотрудников, кончив работу, вынул из шкафа свое бильбоке; ему было тридцать пять лет, но крошечный рост делал его похожим на ребенка. Вошли еще несколько журналистов, и каждый из них взял по игрушке. Вскоре играло уже шестеро: они стояли рядом, спиной к стене, и одинаковым мерным движением подбрасывали шары, красные, желтые или черные — в зависимости от породы дерева. Как только игра перешла в состязание, два сотрудника, прервав работу, предложили свои услуги в качестве судей.

Форестье выбил на одиннадцать очков больше других. Человечек, похожий на ребенка, проиграл; он позвонил рассыльному и, когда тот явился, сказал ему:

— Девять кружек пива.

В ожидании прохладительного все опять принялись за игру.

Дюруа, выпив со своими новыми сослуживцами пива, спросил Форестье:

— Что я должен делать?

— Сегодня ты свободен, — ответил тот. — Если хочешь, можешь идти.

— А наша... наша статья... пойдет сегодня вечером?

— Да, корректуру я выправлю сам, не беспокойся. Приготовь к завтрашнему дню продолжение и приходи в три часа, как сегодня.

Дюруа попрощался со всеми этими людьми за руку, хотя и не знал даже, как их зовут, а затем, ликующий и счастливый, спустился вниз по роскошной лестнице.

IV

Жорж Дюруа плохо спал: ему не терпелось увидеть свою статью напечатанной. С рассветом он был уже на ногах и вышел из дому задолго до того, как газетчики начинают бегать от киоска к киоску.

Он направился к вокзалу Сен-Лазар, так как знал наверняка, что «Французская жизнь» появляется там раньше, чем в его квартале. Но было еще очень рано, и, дойдя до вокзала, он стал расхаживать по тротуару.

Он видел, как пришла продавщица и открыла свою застекленную будку, затем появился человек с кипой сложенных вдвое газетных листов на голове. Дюруа бросился к нему, но это были «Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа», «Новости дня» и еще две—три газеты. «Французской жизни» у него не оказалось.

Дюруа забеспокоился. Что, если «Воспоминания африканского стрелка» отложены на завтра? А вдруг в последнюю минуту статью не пропустил старик Вальтер?

Возвращаясь обратно, Дюруа увидел, что газету уже продают, а он и не заметил, как ее принесли. Он подскочил к киоску, бросил три су и, развернув газету, просмотрел заголовки на первой странице. Ничего похожего! У него сильно забилось сердце. Он перевернул страницу и, глубоко взволнованный, прочел под одним из столбцов жирным шрифтом напечатанную подпись: «Жорж Дюруа». Поместили! Какое счастье!

Он шел, ни о чем не думая, в шляпе набекрень, с газетой в руке, и его подмывало остановить первого встречного только для того, чтобы сказать ему: «Купите эту газету, купите эту газету! Здесь есть моя статья». Он готов был кричать во все горло, как кричат по вечерам на бульварах: «Читайте «Французскую жизнь», читайте статью Жоржа Дюруа «Воспоминания африканского стрелка». Ему вдруг захотелось самому прочитать свою статью, прочитать в общественном месте, в кафе, у всех на виду. И он стал искать такой ресторан, где были бы уже посетители. Ему пришлось долго бро-

дить по городу. Наконец он нашел что-то вроде винного погребка, где было довольно много народу, сел за столик и потребовал рому,— он мог бы потребовать и абсенту, так как утратил всякое представление о времени.

— Гарсон, дайте мне «Французскую жизнь»! — крикнул он.

Подбежал гарсон в белом переднике.

— У нас нет такой газеты, сударь, мы получаем «Призыв», «Век», «Светоч» и «Парижский листок».

Дюруа был возмущен.

— Ну и заведеньице же у вас! — сказал он со злостью. — В таком случае подите купите мне «Французскую жизнь».

Гарсон сбегал за газетой. Чтобы привлечь внимание соседей и внушить им желание узнать, что в ней есть интересного, Дюруа, читая свою статью, время от времени восклицал:

— Отлично! Отлично!

Уходя, он оставил газету на столике. Хозяин, заметив это, окликнул его:

— Сударь, сударь, вы забыли газету!

— Пусть она останется у вас, я ее уже прочитал,— ответил Дюруа. — Между прочим, там есть одна очень любопытная статья.

Он не сказал, какая именно, но, уходя, заметил, что один из посетителей взял с его столика «Французскую жизнь».

«Чем бы мне теперь заняться?» — подумал Дюруа и решил пойти в свою канцелярию получить жалованье за месяц и заявить об уходе. Он затрепетал от восторга, представив себе, как вытянутся лица у начальника и сослуживцев. Особенно радовала его мысль ошарашить начальника.

Он шел медленно; касса открывалась в десять, раньше половины десятого не имело смысла являться.

Канцелярия занимала большую темную комнату,— зимой здесь целый день горел газ. Окна ее выходили на узкий двор и упирались в окна других канцелярий. В одной этой комнате помещалось восемь служащих, а в углу, за ширмой, сидел помощник начальника.

Дюруа сперва получил свои сто восемнадцать фран-

ков двадцать пять сантимов, вложенные в желтый конверт, хранившийся в ящике у кассира, а затем с победоносным видом вошел в просторную канцелярию, в которой провел столько дней.

Помощник начальника, г-н Потель, крикнул ему из-за ширмы:

— А, это вы, господин Дюруа? Начальник уже несколько раз о вас справлялся. Вы знаете, что он не разрешает болеть два дня подряд без удостоверения от врача.

Дюруа для пущего эффекта остановился посреди комнаты.

— Мне собственно на это наплевать! — заявил он во всеуслышание.

Чиновники обмерли; из-за ширмы выглянула испуганная физиономия г-на Потеля. В этой своей коробке он спасался от сквозняков: он страдал ревматизмом. А чтобы следить за подчиненными, он проделал в бумаге две дырочки.

Было слышно, как пролетит муха.

— Что вы сказали? — нерешительно спросил наконец помощник начальника.

— Я сказал, что мне собственно наплевать. Я пришел только для того, чтобы заявить об уходе. Я поступил сотрудником в редакцию «Французской жизни» на пятьсот франков в месяц, не считая построчных. В сегодняшнем номере уже напечатана моя статья.

Он хотел продлить удовольствие, но не удержался и выпалил все сразу.

Эффект, впрочем, был полный. Все окаменели.

— Я сейчас скажу об этом господину Пертюи, — добавил Дюруа, — а потом зайду попрощаться с вами.

Не успел он войти к начальнику, как тот обрушился на него с криком:

— А, изволили явиться? Вам известно, что я терпеть не могу...

— Нечего горло-то драть,— прервал своего начальника подчиненный.

Г-н Пертюи, толстый, красный, как петуший гребень, поперхнулся от изумления.

— Мне осточертела ваша лавочка, — продолжал Дюруа. — Сегодня я впервые выступил на поприще

журналистики, мне дали прекрасное место. Честь имею кланяться.

С этими словами он удалился. Он отомстил.

Он вернулся в канцелярию, как обещал, и пожал руку бывшим своим сослуживцам, но они, боясь скомпрометировать себя, не сказали с ним и двух слов, — через отворенную дверь им слышен был его разговор с начальником.

С жалованьем в кармане Дюруа вышел на улицу. Плотно и вкусно позавтракав в уже знакомом ему хорошем и недорогом ресторане, купив еще один номер «Французской жизни» и оставив его на столике, он обошел несколько магазинов и накупил всякой всячины; безделушки эти были ему совсем не нужны, но он испытывал особое удовольствие, приказывая доставить их к себе на квартиру и называя свое имя: «Жорж Дюруа». При этом он добавлял: «Сотрудник «Французской жизни».

Однако, указав улицу и номер дома, он не забывал предупредить:

— Покупки оставьте у швейцара.

Время у него еще оставалось, и, зайдя в моментальную литографию, где в присутствии клиента изготовлялись визитные карточки, он заказал себе сотню, велев обозначить под фамилией свое новое звание.

Затем отправился в редакцию.

Форестье встретил его высокомерно, как встречают подчиненных.

— А, ты уже пришел? Отлично. У меня как раз есть для тебя несколько поручений. Подожди минут десять. Мне надо кончить свои дела.

И он стал дописывать письмо.

На другом конце большого стола сидел маленький человечек, бледный, рыхлый, одутловатый, с совершенно лысым, белым, лоснящимся черепом, и что-то писал, по причине крайней близорукости уткнув нос в бумагу.

— Скажи, Сен-Потен, — спросил его Форестье, — в котором часу ты пойдешь брать интервью?

— В четыре.

— Возьми с собой Дюруа, вот этого молодого человека, что стоит перед тобой, и открой ему тайны своего ремесла.

— Будет сделано.

— Принес продолжение статьи об Алжире? — обратился к своему приятелю Форестье. — Начало имело большой успех.

— Нет, — сконфуженно пробормотал Дюруа, — я думал засесть за нее после завтрака... но у меня было столько дел, что я никак не мог...

Форестье недовольно пожал плечами.

— Неаккуратностью ты можешь испортить себе карьеру. Старик Вальтер рассчитывал на твой материал. Я ему скажу, что он будет готов завтра. Если ты воображаешь, что можно ничего не делать и получать деньги, то ты ошибаешься.

Помолчав, он прибавил:

— Надо ковать железо, пока горячо, черт возьми!

Сен-Потен встал.

— Я готов, — сказал он.

Форестье, прежде чем дать распоряжения, откинулся на спинку кресла и принял почти торжественную позу.

— Так вот, — начал он, устремив взгляд на Дюруа. — Два дня тому назад к нам в Париж прибыли китайский генерал Ли Ченг-фу и раджа Тапосаиб Рамадерао Пали, — генерал остановился в Континентале, раджа — в отеле Бристоль. Вам следует взять у них интервью.

Тут он повернулся лицом к Сен-Потену:

— Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у генерала и у раджи, что они думают о происках Англии на Дальнем Востоке, о ее методах колонизации, об установленном ею образе правления, и питают ли они надежду на вмешательство Европы и в частности Франции.

— Наших читателей крайне интересует отношение Индии и Китая к тем вопросам, которые так волнуют в настоящее время общественное мнение, — после некоторого молчания проговорил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.

И, снова уставившись на Дюруа, добавил:

— Понаблюдай за тем, как будет действовать Сен-Потен, — это великолепный репортер, он тебе в пять минут выпотрошит кого угодно.

Затем он опять с важным видом взялся за перо, —

он явно хотел поставить своего бывшего однополчанина и нынешнего сослуживца в известные рамки, указать ему надлежащее место.

Как только они вышли за порог, Сен-Потен со смехом сказал Дюруа:

— Вот кривляка! Ломается даже перед нами. Можно подумать, что он принимает нас за своих читателей.

Они пошли по бульвару.

— Выпьем чего-нибудь? — предложил репортер.

— С удовольствием. Такая жара!

Они зашли в кафе и спросили прохладительного. И тут Сен-Потен разговорился. Толкуя о редакционных делах и обо всем на свете, он выказывал поразительную осведомленность:

— Патрон? Типичный еврей! А еврея, знаете, не переделаешь. Уж и народ!

Сен-Потен привел несколько ярких примеров скупости Вальтера, столь характерной для сынов Израиля, грошовой экономии, мелкого торгашества, унизительного выклянчивания скидок, описал все его ростовщические ухватки.

— И при всем том славный малый, который ни во что не верит и всех водит за нос. Его газета, официозная, католическая, либеральная, республиканская, орлеанистская, этот слоеный пирог, эта мелочная лавчонка, нужна ему только как вспомогательное средство для биржевых операций и всякого рода иных предприятий. По этой части он не промах: зарабатывает миллионы на акционерных обществах, у которых ни гроша за душой...

Сен-Потен болтал без умолку, величая Дюруа «дорогим другом».

— Между прочим, у этого сквалыги подчас срываются с языка чисто бальзаковские словечки. На днях был такой случай: я, старая песочница Норбер и новоявленный Дон Кихот — Риваль сидим, понимаете ли, у него в кабинете, и вдруг входит наш управляющий Монтлен с известным всему Парижу сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер воззрился на него и спрашивает: «Что нового?» Монтлен простодушно отвечает: «Я только что уплатил долг за бумагу — шестнадцать тысяч франков». Патрон подскочил на месте от ужаса.

«Что вы сказали?» — «Я уплатил господину Прива».— «Вы с ума сошли!» — «Почему?» — «Почему... почему... почему...» Вальтер снял очки, протер стекла, улыбнулся той плутоватой улыбкой, которая раздвигает его толстые щеки, когда он собирается сказать что-нибудь ядовитое или остроумное, и насмешливым, не допускающим возражений тоном сказал: «Почему? Потому что на этом деле мы могли получить скидку в четыре, а то и в пять тысяч франков». Монтлен удивился: «Да как же, господин Вальтер, ведь счета были в порядке, я их проверял, а вы принимали...» Тут патрон, на этот раз уже серьезно, заметил: «Нельзя быть таким простаком. Запомните, господин Монтлен, что сперва надо накапливать долги, а потом заключать полюбовные сделки».

Вскинув голову, Сен-Потен с видом знатока добавил:

— Ну что? Разве это не Бальзак?

Дюруа хотя и не читал Бальзака, тем не менее уверенно подтвердил:

— Да, черт возьми!

Г-жу Вальтер репортер назвал жирной индюшкой, Норбера де Варена — старым неудачником, Риваля — бледной копией Фервака. Затем снова заговорил о Форестье.

— Этому просто повезло с женитьбой — только и всего.

— А что в сущности представляет собой его жена?

— О, это бестия, тонкая штучка! — потирая руки, ответил Сен-Потен. — Любовница мышиного жеребчика Водрека, графа де Водрека, это он дал ей приданое и выдал замуж...

Дюруа вдруг ощутил озноб, какую-то нервную дрожь, ему хотелось выругать этого болтуна, закатить ему пощечину. Но он лишь остановил его вопросом:

— Сен-Потен — это ваша настоящая фамилия?

— Нет, меня зовут Тома, — с наивным видом ответил тот. — Сен-Потеном [1] меня окрестили в редакции.

— Сейчас, наверно, уже много времени, — заплатив за напитки, сказал Дюруа, — а ведь нам еще предстоит посетить двух важных особ.

Сен-Потен расхохотался.

---

[1] Сен-Потен — буквально: «святой сплетник» *(франц.)*.

— Сразу видно, что вы человек неискушенный! Значит, вы полагаете, что я в самом деле пойду спрашивать у индуса и китайца, что они думают об Англии? Да я лучше их знаю, что они должны думать, чтобы угодить читателям «Французской жизни». Я проинтервьюировал на своем веку пятьсот таких китайцев, персов, индусов, чилийцев, японцев. По-моему, все они говорят одно и то же. Следовательно, я должен взять свою статью о последнем из наших гостей и переписать ее слово в слово. Придется только изменить заголовок, имя, титул, возраст, состав свиты. Вот тут надо держать ухо востро, не то «Фигаро» и «Голуа» живо уличат во вранье. Но у швейцаров Бристоля и Континенталя я в пять минут получу об этом самые точные сведения. Мы пройдем туда пешком и дорогой выкурим по сигаре. А с редакции стребуем пять франков разъездных. Вот, дорогой мой, как поступают люди практичные.

— При таких условиях быть репортером как будто бы выгодно? — спросил Дюруа.

— Да, но выгоднее всего хроника, это — замаскированная реклама, — с загадочным видом ответил Сен-Потен.

Они встали и пошли бульваром по направлению к церкви Мадлен.

— Знаете что, — вдруг сказал Сен-Потен, — если у вас есть какие-нибудь дела, то я вас не держу.

Пожав ему руку, Дюруа удалился.

Статья, которую он должен был написать вечером, не давала ему покоя, и он тут же, дорогой, принялся обдумывать ее. Он попытался припомнить некоторые факты, привести в порядок свои наблюдения, мысли, сделать кое-какие выводы — и так незаметно дошел до конца авеню Елисейских Полей, где ему лишь изредка попадались навстречу гуляющие, ибо в жаркие дни Париж становится безлюдным.

Пообедав в винном погребке на площади Этуаль, возле Триумфальной арки, он медленным шагом двинулся по кольцу внешних бульваров и, придя домой, сел за работу.

Но едва он увидел перед собой большой лист белой бумаги, как все, что он успел накопить, улетучилось, самый мозг его словно испарился. Он ловил обрывки

воспоминаний, силился их удержать, но стоило ему ухватиться за них, и они ускользали или же мелькали перед ним с головокружительной быстротой, и он не знал, как их подать, что с ними делать, с чего начать.

Просидев битый час и заполнив пять страниц вариантами первой фразы, он сказал себе: «Я еще не наловчился. Придется взять еще один урок». И при одной мысли о совместной работе с г-жой Форестье, о продолжительной задушевной, интимной, столь приятной беседе с нею наедине его охватила дрожь нетерпения. Боясь, что если он вновь примется за статью, то дело неожиданно может пойти на лад, Дюруа поспешил лечь.

Утром он долго лежал в постели, предвкушая сладость предстоящего свидания с г-жой Форестье и намеренно отдаляя его.

Был уже одиннадцатый час, когда он, подойдя к знакомой двери, нажал кнопку звонка.

— Господин Форестье занят, — объявил слуга.

Дюруа упустил из виду, что супруг может оказаться дома. Тем не менее он продолжал настаивать:

— Скажите, что я к нему по срочному делу.

Через пять минут он вошел в тот самый кабинет, где провел накануне такое чудесное утро.

Журналист, в халате, в туфлях, в маленькой английской шапочке, что-то писал, сидя в кресле, в котором вчера сидел Дюруа, а г-жа Форестье, в том же белом пеньюаре, стояла, облокотившись на камин, и, с папиросой в зубах, диктовала.

Дюруа остановился на пороге.

— Прошу прощения, я помешал вам?

Форестье злобно уставился на него.

— Что еще? — проворчал он. — Говори скорей, нам некогда.

— Нет, ничего, извини, — сконфуженно мямлил Дюруа.

Форестье рассвирепел.

— Да ну же, черт побери! Что ты тянешь? Ведь ты, надо полагать, вломился ко мне не для того, чтобы иметь удовольствие сказать нам: «С добрым утром»?

— Да нет... — преодолевая смущение, заговорил Дюруа. — Видишь ли, дело в том, что у меня опять ничего не вышло со статьей... а ты... вы оба были так доб-

ры прошлый раз... что я надеялся... я осмелился прийти...

— Ты просто издеваешься над людьми! — перебил его Форестье. — Ты, очевидно, вообразил, что я буду за тебя работать, а ты будешь каждый месяц получать денежки. Ловко придумано, что и говорить!

Г-жа Форестье продолжала молча курить и все улыбалась загадочной улыбкой, похожей на маску любезности, за которой таится ирония.

— Простите... я думал... я полагал... — вспыхнув, пролепетал Дюруа и вдруг отчетливо произнес: — Приношу вам тысячу извинений, сударыня, и еще раз горячо благодарю за прелестный фельетон, который вы за меня написали вчера.

Он поклонился, сказал Шарлю:

— В три часа я буду в редакции.

И вышел.

Быстрым шагом идя домой, он ворчал себе под нос: «Ладно, сами сейчас напишем, вот увидите...»

Вдохновляемый злобой, Дюруа вошел к себе в комнату и сейчас же сел за работу.

Он развивал сюжет, намеченный г-жой Форестье, нагромождая детали, заимствованные из бульварных романов, невероятные происшествия, вычурные описания, мешая дубовый язык школьника с унтер-офицерским жаргоном. За час он успел написать статью и, довольный собою, понес этот ералаш в редакцию.

Сен-Потен, первый, кого он там встретил, с видом заговорщика крепко пожал ему руку.

— Читали мою беседу с индусом и китайцем? — спросил он. — Не правда ли, забавно? Париж от нее в восторге. А ведь я их и в глаза не видал.

Дюруа еще ничего не читал; он тотчас же взял газету и стал просматривать длинную статью под заглавием «Индия и Китай», а Сен-Потен в это время показывал ему и подчеркивал наиболее интересные места.

С деловым, озабоченным видом, отдуваясь, вошел Форестье.

— Вы уже здесь? Весьма кстати. Вы мне оба нужны.

И он дал им указания насчет того, какие именно сведения политического характера они должны раздобыть к вечеру.

Дюруа протянул ему свою рукопись.

— Вот продолжение статьи об Алжире.

— Очень хорошо, давай, давай, я покажу патрону.

На этом разговор кончился.

Сен-Потен увел своего нового коллегу и, когда они были уже в коридоре, спросил:

— Вы заходили в кассу?

— Нет. Зачем?

— Зачем? Получить деньги. Жалованье, знаете ли, всегда нужно забирать за месяц вперед. Мало ли что может случиться.

— Что ж... Я ничего не имею против.

— Я вас познакомлю с кассиром. Он не станет чинить препятствий. Платят здесь хорошо.

Дюруа получил свои двести франков и, сверх того, двадцать восемь франков за вчерашнюю статью; вместе с остатком жалованья, которое ему выдали в канцелярии, это составляло триста сорок франков.

Никогда еще не держал он в руках такой суммы, и ему казалось, что этого богатства должно хватить бог знает на сколько.

Сен-Потен, в расчете на то, что другие уже успели раздобыть нужные ему сведения и что при его словоохотливости и умении выспрашивать ему ничего не будет стоить выпытать их, предложил Дюруа походить с ним по редакциям конкурирующих между собою газет.

Вечером Дюруа освободился и решил махнуть в Фоли-Бержер. Задумав пройти наудачу, он отрекомендовался контролю:

— Я Жорж Дюруа, сотрудник «Французской жизни». На днях я был здесь с господином Форестье, и он обещал достать мне пропуск. Боюсь только, не забыл ли он.

Просмотрели список. Его фамилии там не оказалось. Тем не менее контролер был так любезен, что пропустил его.

— Ничего, проходите, сударь, — сказал он, — только обратитесь лично к директору — он вам, конечно, не откажет.

Войдя, Жорж Дюруа почти тотчас же увидел Рашель — ту женщину, с которой он отсюда ушел в прошлый раз.

Она подошла к нему.

— Здравствуй, котик. Как поживаешь?

— Очень хорошо, а ты?

— Тоже недурно. Знаешь, за это время я два раза видела тебя во сне.

Дюруа был польщен.

— Ах, ах! К чему бы это? — спросил он, улыбаясь.

— А к тому, что ты мне нравишься, дурашка, и что мы можем это повторить, когда тебе будет угодно.

— Если хочешь — сегодня.

— Очень даже хочу.

— Ладно, но только вот что...

Дюруа замялся, — его несколько смущало то, что он собирался сказать ей.

— Дело в том, что я нынче без денег: был в клубе и проигрался в пух.

Учуяв ложь инстинктом опытной проститутки, привыкшей к торгашеским уловкам мужчин, она посмотрела ему прямо в глаза.

— Лгунишка! — сказала она. — Нехорошо так со мной поступать.

Дюруа сконфуженно улыбнулся:

— У меня осталось всего-навсего десять франков, хочешь — возьми их.

С бескорыстием куртизанки, исполняющей свою прихоть, она прошептала:

— Все равно, миленький, я хочу только тебя.

Не отводя восхищенного взора от его усов, Рашель с нежностью влюбленной оперлась на его руку.

— Выпьем сперва гренадину, — предложила она.— А затем пройдемся разок. Мне бы хотелось пойти с тобой в театр, просто так, — чтобы все видели, какой у меня кавалер. Мы скоро пойдем ко мне, хорошо?

Он вышел от нее поздно. Было уже совсем светло, и он тотчас же вспомнил, что надо купить «Французскую жизнь». Дрожащими руками развернул он газету — его статьи там не было. Он долго стоял на тротуа-

ре и, все еще надеясь найти ее, жадно пробегал глазами печатные столбцы.

Какая-то тяжесть внезапно легла ему на сердце. Он устал от бессонной ночи, и теперь эта неприятность, примешавшаяся к утомлению, угнетала его, как несчастье.

Придя домой, он, не раздеваясь, лег в постель и заснул.

Несколько часов спустя он явился в редакцию и прошел в кабинет издателя.

— Меня крайне удивляет, господин Вальтер, что в сегодняшнем номере нет моей второй статьи об Алжире.

Издатель поднял голову и сухо сказал:

— Я просил вашего друга Форестье просмотреть ее. Он нашел, что она неудовлетворительна. Придется вам переделать.

Дюруа был взбешен; он молча вышел из кабинета и бросился к Форестье:

— Почему ты не поместил сегодня моей статьи?

Журналист, откинувшись на спинку кресла и положив ноги на стол, прямо на свою рукопись, курил папиросу. С кислым выражением лица он раздельно и невозмутимо произнес глухим, словно доносившимся из подземелья голосом:

— Патрон признал ее неудачной и поручил мне вернуть ее тебе для переделки. Вот она, возьми.

И он показал пальцем на листы, лежавшие под пресс-папье.

Дюруа не нашелся, что на это ответить,— до того он был удручен. Он сунул свое изделие в карман, а Форестье между тем продолжал:

— Отсюда ты пойдешь прямо в префектуру...

Он назвал еще несколько присутственных мест, куда надлежало зайти, и указал, какого рода сведения ему нужны сегодня. Дюруа, так и не найдя, чем уколоть Форестье, удалился.

На другой день он опять принес статью. Ему ее снова вернули. Переделав ее в третий раз и снова получив обратно, он понял, что поторопился и что только рука Форестье способна вести его по этой дороге.

Он уже не заговаривал о «Воспоминаниях африканского стрелка», он дал себе слово быть покладистым и

Худ. К. Рудаков. 1935. «МИЛЫЙ ДРУГ».

Худ. К. Рудаков. 1935. «МИЛЫЙ ДРУГ».

осторожным, поскольку это необходимо, и, в чаянии будущих благ, добросовестно исполнять свои репортерские обязанности.

Он проник за кулисы театра и политики, в кулуары палаты депутатов и в передние государственных деятелей, он изучил важные физиономии чиновников особых поручений и хмурые, заспанные лица швейцаров.

Он завязал отношения с министрами, привратниками, генералами, сыщиками, князьями, сутенерами, куртизанками, посланниками, епископами, сводниками, знатными проходимцами, людьми из общества, извозчиками, официантами, шулерами, он сделался их лицеприятным и в глубине души равнодушным другом, и, беспрестанно, в любой день и час, сталкиваясь то с тем, то с другим, толкуя с ними исключительно о том, что интересовало его как репортера, он мерил их всех одной меркой, на всех смотрел одинаково, всем давал одну и ту же цену. Сам себя он сравнивал с человеком, перепробовавшим одно за другим всевозможные вина и уже не отличающим шато-марго от аржантейля.

В короткий срок из него вышел замечательный репортер, который мог ручаться за точность своей информации, изворотливый, сообразительный, расторопный, настоящий клад для газеты, как отзывался о нем разбиравшийся в сотрудниках старик Вальтер.

Тем не менее он получал всего лишь десять сантимов за строчку и двести франков жалованья, а так как в кафе, в ресторанах все очень дорого, то он вечно сидел без денег и приходил в отчаяние от своей бедности.

«В чем тут секрет?» — думал он, видя, что у некоторых его коллег карманы набиты золотом, и тщетно старался понять, какие неизвестные ему средства применяют они, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Зависть снедала его, и ему все мерещились какие-то необыкновенные подозрительные приемы, оказанные кому-то услуги, особого рода контрабанда, общепринятая и дозволенная. Нет, он должен во что бы то ни стало разгадать эту тайну, вступить в этот молчаливый заговор, раздвинуть локтями товарищей, не приглашающих его на дележ добычи.

И часто по вечерам, следя из окна за проходящими поездами, он обдумывал план действий.

V

Прошло два месяца. Приближался сентябрь, а начало головокружительной карьеры, о которой мечтал Дюруа, казалось ему еще очень далеким. Он все еще прозябал в безвестности, и самолюбие его от этого страдало, но он не видел путей, которые привели бы его на вершину житейского благополучия. Он чувствовал себя заточенным, наглухо замурованным в своей жалкой профессии репортера. Его ценили, но смотрели на него свысока. Даже Форестье, которому он постоянно оказывал услуги, не приглашал его больше обедать и обращался с ним, как с подчиненным, хотя продолжал говорить ему по-приятельски «ты».

Правда, Дюруа не упускал случая тиснуть статейку. Отточив на хронике свое перо и приобретя такт, недоставший ему прежде, когда он писал вторую статью об Алжире, он уже не боялся за судьбу своих злободневных заметок. Но отсюда до очерков, где можно дать полную волю своей фантазии, или до политических статей, написанных знатоком, расстояние было громадное: одно дело — править лошадьми на прогулке в Булонском лесу, будучи простым кучером, и совсем другое дело — править ими, будучи хозяином. Особенно унижало его в собственных глазах то обстоятельство, что двери высшего общества были для него закрыты, что никто не держал себя с ним на равной ноге, что у него не было друзей среди женщин, хотя некоторые известные актрисы в корыстных целях время от времени принимали его запросто.

Зная по опыту, что все они, и светские львицы и третьестепенные актрисы, испытывают к нему особое влечение, что он обладает способностью мгновенно завоевывать их симпатию, Дюруа с нетерпением стреноженного скакуна рвался навстречу той, от которой могло зависеть его будущее.

Ему часто приходила в голову мысль посетить г-жу Форестье, но оскорбительный прием, который ему оказали прошлый раз, удерживал его от этого шага, а кроме того, он ждал, чтобы его пригласил муж. И вот наконец, вспомнив о г-же де Марель, вспомнив о том, что она звала его к себе, он как-то днем, когда ему нечего было делать, отправился к ней.

«До трех часов я всегда дома», — сказала она ему тогда.

Дюруа позвонил к ней в половине третьего.

Она жила на улице Верней, на пятом этаже.

На звонок вышла молоденькая растрепанная горничная и, поправляя чепчик, сказала:

— Госпожа де Марель дома, только я не знаю, встала ли она.

С этими словами горничная распахнула незапертую дверь в гостиную.

Дюруа вошел. Комната была довольно большая, скудно обставленная, неряшливо прибранная. Вдоль стен тянулись старые, выцветшие кресла,— должно быть, их расставляла по своему усмотрению служанка, так как здесь совсем не чувствовалось искусной и заботливой женской руки, любящей домашний уют. На неодинаковой длины шнурах криво висели четыре жалкие картины, изображавшие лодку, плывшую по реке, корабль в море, мельницу среди поля и дровосека в лесу. Было видно, что они давно уже висят так и что по ним равнодушно скользит взор беспечной хозяйки.

Дюруа сел в ожидании. Ждать ему пришлось долго. Но вот дверь отворилась, и вбежала г-жа де Марель в розовом шелковом кимоно с вышитыми золотом пейзажами, голубыми цветами и белыми птицами.

— Представьте, я была еще в постели, — сказала она. — Как это мило с вашей стороны, что вы пришли меня навестить! Я была уверена, что вы обо мне забыли.

С сияющим лицом она протянула ему обе руки, и Дюруа, сразу почувствовав себя легко в этой скромной обстановке, взял их в свои и поцеловал одну, как это сделал однажды при нем Норбер де Варен.

Г-жа де Марель усадила его.

— Как вы изменились! — оглядев его с ног до головы, воскликнула она. — Вы явно похорошели. Париж идет вам на пользу. Ну, рассказывайте новости.

И они принялись болтать, точно старые знакомые, наслаждаясь этой внезапно возникшей простотой отношений, чувствуя, как идут от одного к другому токи интимности, приязни, доверия, благодаря которым два

близких по духу и по рождению существа в пять минут становятся друзьями.

Неожиданно г-жа де Марель прервала разговор.

— Как странно, что я так просто чувствую себя с вами! — с удивлением заметила она.— Мне кажется, я знаю вас лет десять. Я убеждена, что мы будем друзьями. Хотите?

— Разумеется, — ответил он.

Но его улыбка намекала на нечто большее.

Он находил, что она обольстительна в этом ярком и легком пеньюаре, менее изящна, чем та, другая, в белом, менее женственна, не так нежна, но зато более соблазнительна, более пикантна.

Г-жа Форестье с застывшей на ее лице благосклонной улыбкой, как бы говорившей: «Вы мне нравитесь» и в то же время: «Берегитесь», притягивавшей и вместе с тем отстранявшей его, — улыбкой, истинный смысл которой невозможно было понять, — вызывала желание броситься к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди. Г-жа де Марель вызывала более грубое, более определенное желание, от которого у него дрожали руки, когда под легким шелком обрисовывалось ее тело.

Она болтала без умолку, по обыкновению приправляя свою речь непринужденными остротами,— так мастеровой, применив особый прием, к удивлению присутствующих, добивается успеха в работе, которая представлялась непосильной другим. Он слушал ее и думал: «Хорошо бы все это запомнить. Из ее болтовни о событиях дня можно было бы составить потом великолепную парижскую хронику».

Кто-то тихо, чуть слышно постучал в дверь.

— Войди, крошка! — крикнула г-жа де Марель.

Девочка, войдя, направилась прямо к Дюруа и протянула ему руку.

— Это настоящая победа, — прошептала изумленная мать. — Я не узнаю Лорину.

Дюруа, поцеловав девочку и усадив рядом с собой, ласково и в то же время серьезно начал расспрашивать ее, что она поделывала это время. Она отвечала ему с важностью взрослой, нежным, как флейта, голоском.

На часах пробило три. Дюруа встал.

— Приходите почаще, — сказала г-жа де Марель,— будем с вами болтать, как сегодня, я всегда вам рада. А почему вас больше не видно у Форестье?

— Да так, — ответил он. — Я был очень занят. Надеюсь, как-нибудь на днях мы там встретимся.

И он вышел от нее, полный неясных надежд.

Форестье он ни словом не обмолвился о своем визите.

Но он долго хранил воспоминание о нем, больше чем воспоминание, — ощущение нереального, хотя и постоянного присутствия этой женщины. Ему казалось, что он унес с собой частицу ее существа: внешний ее облик стоял у него перед глазами, внутренний же, во всей своей пленительности, запечатлелся у него в душе. Он жил под обаянием этого образа, как это бывает порой, когда проведешь с любимым человеком несколько светлых мгновений. Это некая странная одержимость — смутная, сокровенная, волнующая, восхитительная в своей таинственности.

Вскоре он сделал ей второй визит.

Как только горничная провела его в гостиную, явилась Лорина. На этот раз она уже не протянула ему руки, а подставила для поцелуя лобик.

— Мама просит вас подождать, — сказала Лорина. — Она выйдет через четверть часа, она еще не одета. Я посижу с вами.

Церемонное обхождение Лорины забавляло Дюруа, и он сказал ей:

— Отлично, мадмуазель, я с большим удовольствием проведу с вами эти четверть часа. Но только вы, пожалуйста, не думайте, что я человек серьезный, — я играю по целым дням. А потому предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.

Девочка была поражена; она улыбнулась так, как улыбаются взрослые женщины, когда они несколько шокированы и удивлены, и тихо сказала:

— В комнатах не играют.

— Это ко мне не относится, — возразил он. — Я играю везде. Ну, ловите меня!

И он стал бегать вокруг стола, поддразнивая и подзадоривая Лорину, а она шла за ним, не переставая улыбаться снисходительно-учтивой улыбкой, время от

времени протягивала руку и дотрагивалась до него, но все еще не решалась за ним бежать.

Он останавливался, присаживался на корточки, но стоило ей нерешительными шажками подойти к нему,— и он, подпрыгнув, как чертик, выскочивший из коробочки, перелетал в противоположный конец гостиной. Это ее смешило, в конце концов она не могла удержаться от смеха и, оживившись, засеменила вдогонку, боязливо и радостно вскрикивая, когда ей казалось, что он у нее в руках. Преграждая ей дорогу, он подставлял стул, она несколько раз обегала его кругом, потом он бросал его и хватал другой. Теперь Лорина, разрумянившаяся, увлеченная новой игрой, без устали носилась по комнате и, следя за всеми его шалостями, хитростями и уловками, по-детски бурно выражала свой восторг.

Вдруг, в ту самую минуту, когда она уже была уверена, что он от нее не уйдет, Дюруа схватил ее на руки и, подняв до потолка, крикнул:

— Попалась!

Пытаясь вырваться, она болтала ногами и заливалась счастливым смехом.

Вошла г-жа де Марель и в полном изумлении остановилась:

— Боже мой, Лорина!.. Лорина играет... Да вы чародей, сударь...

Он опустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они сели, усадив Лорину посередине. Им хотелось поговорить, но Лорина, обычно такая молчаливая, была очень возбуждена и болтала, не переставая,— в конце концов пришлось выпроводить ее в детскую.

Она покорилась безропотно, но со слезами на глазах.

Когда они остались вдвоем, г-жа де Марель, понизив голос, сказала:

— Знаете что, у меня есть один грандиозный план, и я подумала о вас. Дело вот в чем: я каждую неделю обедаю у Форестье и время от времени, в свою очередь, приглашаю их в ресторан. Я не люблю принимать у себя гостей, я для этого не приспособлена, да и потом я ничего не смыслю ни в стряпне, ни в домашнем хозяйстве,— ровным счетом ничего. Я веду богемный образ жизни. Так вот, время от времени я приглашаю их в ресторан, но втроем — это не так весело, а мои знакомые им не

компания. Все это я говорю для того, чтобы объяснить свое не совсем обычное предложение. Вы, конечно, догадываетесь, что я прошу вас пообедать с нами,— мы соберемся в кафе Риш в субботу, в половине восьмого. Вы знаете, где это?

Он с радостью согласился.

— Нас будет четверо, как раз две пары,— продолжала она.— Эти пирушки — большое развлечение для нас, женщин: ведь нам все это еще в диковинку.

На ней было темно-коричневое платье; оно кокетливо и вызывающе обтягивало ее талию, бедра, плечи и грудь, и это несоответствие между утонченной, изысканной элегантностью ее костюма и тем неприглядным зрелищем, какое являла собой гостиная, почему-то приводило Дюруа в изумление, вызывало в нем даже некоторое непонятное ему самому чувство неловкости.

Все, что было на ней надето, все, что облегало ее тело вплотную или только прикасалось к нему, носило на себе отпечаток изящества и тонкого вкуса, а до всего остального ей, по-видимому, не было никакого дела.

Он расстался с ней, сохранив, как и в прошлый раз, ощущение ее незримого присутствия, порой доходившее до галлюцинаций. С возрастающим нетерпением ожидал он назначенного дня.

Он опять взял напрокат фрак — приобрести парадный костюм ему не позволяли финансы — и первый явился в ресторан за несколько минут до условленного часа.

Его провели на третий этаж, в маленький, обитый красной материей кабинет с единственным окном, выходившим на бульвар. На квадратном столике, накрытом на четыре прибора, белая скатерть блестела, как лакированная. Бокалы, серебро, грелки — все это весело сверкало, озаренное пламенем двенадцати свечей, горевших в двух высоких канделябрах.

Перед окном росло дерево, и его листва в полосе яркого света, падавшего из отдельных кабинетов, казалась сплошным светло-зеленым пятном.

Дюруа сел на низкий диван, обитый, как и стены, красной материей, ослабевшие пружины тотчас ушли внутрь, и ему почудилось, что он падает в яму.

Неясный шум наполнял весь этот огромный дом,—

тот слитный гул больших ресторанов, который образуют быстрые, заглушенные коврами шаги лакеев, снующих по коридору, звон серебра и посуды, скрип отворяемых на мгновение дверей и доносящиеся вслед за тем голоса посетителей, закупоренных в тесных отдельных кабинетах.

Вошел Форестье и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, какой он никогда не проявлял по отношению к нему в редакции «Французской жизни».

— Дамы придут вместе,— сообщил он.— Люблю я эти обеды в ресторане!

Он осмотрел стол, погасил тускло мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, чтобы оттуда не дуло, и, выбрав место, защищенное от сквозняка, сказал:

— Мне надо очень беречься. Весь месяц я чувствовал себя сносно, а теперь опять стало хуже. Простудился я вернее всего во вторник, когда выходил из театра.

Дверь отворилась, и в сопровождении метрдотеля вошли обе молодые женщины в шляпках с опущенной вуалью, тихие, скромные, с тем очаровательным в своей таинственности видом, какой всегда принимают дамы в подобных местах, где каждое соседство и каждая встреча вщушают опасения.

Дюруа подошел к г-же Форестье,— она начала пенять ему за то, что он у них не бывает.

— Да, да, я знаю, вы предпочитаете госпожу де Марель,— с улыбкой взглянув на свою подругу, сказала она,— для нее у вас находится время.

Как только все уселись, метрдотель подал Форестье карту вин.

— Мужчины как хотят,— возбужденно заговорила г-жа де Марель,— а нам принесите замороженного шампанского, самого лучшего сладкого шампанского,— понимаете? — и больше ничего.

Когда метрдотель ушел, она заявила с нервным смешком:

— Сегодня я напьюсь. Мы устроим кутеж, настоящий кутеж.

Форестье, по-видимому, не слыхал, что она сказала.

— Ничего, если я закрою окно? — спросил он.— У меня уже несколько дней болит грудь.

— Сделайте одолжение.

Он подошел к окну, захлопнул вторую створку и с прояснившимся, повеселевшим лицом сел за стол.

Жена его хранила молчание,— казалось, она была занята своими мыслями. Опустив глаза, она с загадочной и какой-то дразнящей улыбкой рассматривала бокалы.

Подали остендские устрицы, крошечные жирные устрицы, похожие на маленькие уши,— они таяли во рту, точно соленые конфетки.

Затем подали суп, потом форель, розовую, как тело девушки, и началась беседа.

Речь шла об одной скандальной истории, наделавшей много шуму: о происшествии с некоей светской дамой, которую друг ее мужа застал в отдельном кабинете, где она ужинала с каким-то иностранным князем.

Форестье от души смеялся над этим приключением, но дамы назвали поступок нескромного болтуна гнусным и подлым. Дюруа принял их сторону и решительно заявил, что мужчина, кем бы он ни являлся в подобной истории — главным действующим лицом, наперсником или случайным свидетелем,— должен быть нем, как могила.

— Как чудесно было бы жить на свете, если б мы могли вполне доверять друг другу! — воскликнул он.— Часто, очень часто, почти всегда, женщину останавливает только боязнь огласки. В самом деле, разве это не так? — продолжал он с улыбкой.— Какая женщина не поддалась бы мимолетному увлечению, не покорилась бурной, внезапно налетевшей страсти, отказалась от своих любовных причуд, если б только ее не пугала возможность поплатиться за краткий и легкий миг счастья горькими слезами и неизгладимым позором!

Он говорил убедительно, горячо, словно защищая кого-то, словно защищая самого себя, словно желая, чтобы его поняли так: «Со мной это не страшно. Попробуйте — увидите сами».

Обе женщины поощряли его взглядом, мысленно соглашаясь с ним, и своим одобрительным молчанием словно подтверждали, что их строгая нравственность, нравственность парижанок, не устояла бы, если б они были уверены в сохранении тайны.

Форестье полулежал на диване, подобрав под себя одну ногу и засунув за жилет салфетку, чтобы не запачкать фрака.

— Ого! Дай им волю — можно себе представить, что бы они натворили! — неожиданно заявил он, прерывая свою речь циничным смехом.— Черт побери, бедные мужья!

Заговорили о любви. Дюруа не верил в существование вечной любви, однако допускал, что она может перейти в длительную привязанность, в тесную, основанную на взаимном доверии дружбу. Физическая близость лишь скрепляет союз сердец. Но о сценах ревности, мучительных драмах, мольбах и упреках, почти неизбежно сопровождающих разрыв, он говорил с возмущением.

Когда он кончил, г-жа де Марель сказала со вздохом:

— Да, любовь — это единственная радость в жизни, но мы сами часто портим ее, предъявляя слишком большие требования.

— Да... да... хорошо быть любимой,— играя ножом, подтвердила г-жа Форестье.

Но при взгляде на нее казалось, что мечты ее идут еще дальше, казалось, что она думает о таких вещах, о которых никогда не осмелилась бы заговорить.

В ожидании следующего блюда все время от времени потягивали шампанское, закусывая верхней корочкой маленьких круглых хлебцев. И как это светлое вино, глоток за глотком вливаясь в гортань, воспламеняло кровь и мутило рассудок, так, пьяня и томя, всеми их помыслами постепенно овладевала любовь.

Наконец на толстом слое мелких головок спаржи подали сочные, воздушные бараньи котлеты.

— Славная штука, черт бы ее побрал! — воскликнул Форестье.

Все ели медленно, смакуя нежное мясо и маслянистые, как сливки, овощи.

— Когда я влюблен, весь мир для меня перестает существовать,— снова заговорил Дюруа.

Он произнес это с полной убежденностью: одна мысль о блаженстве любви приводила его в восторг,

сливавшийся с тем блаженством, какое доставлял ему вкусный обед.

Г-жа Форестье с обычным для нее безучастным выражением лица сказала вполголоса:

— Ни с чем нельзя сравнить радость первого рукопожатия, когда одна рука спрашивает: «Вы меня любите?», а другая отвечает: «Да, я люблю тебя».

Г-жа де Марель залпом осушила бокал шампанского и, ставя его на стол, весело сказала:

— Ну, у меня не столь платонические наклонности.

Послышался одобрительный смех, глаза у всех загорелись.

Форестье развалился на диване, расставил руки и, облокотившись на подушки, серьезным тоном заговорил:

— Ваша откровенность делает вам честь,— сразу видно, что вы женщина практичная. Но позвольте спросить: какого мнения на этот счет господин де Марель?

Медленно поведя плечами в знак высочайшего, безграничного презрения, она отчеканила:

— У господина де Мареля нет на этот счет своего мнения. Он... воздерживается.

И вот наконец из области возвышенных теорий любви разговор спустился в цветущий сад благопристойной распущенности.

Настал час тонких намеков, тех слов, что приподнимают покровы, подобно тому, как женщины приподнимают платье,— час недомолвок и обиняков, искусно зашифрованных вольностей, бесстыдного лицемерия, приличных выражений, заключающих в себе неприличный смысл, тех фраз, которые мгновенно воссоздают перед мысленным взором все, чего нельзя сказать прямо, тех фраз, которые помогают светским людям вести таинственную, тонкую любовную игру, словно по уговору, настраивать ум на нескромный лад, предаваться сладострастным, волнующим, как объятие, мечтам, воскрешать в памяти все то постыдное, тщательно скрываемое и упоительное, что совершается на ложе страсти.

Подали жаркое — куропаток и перепелок и к ним горошек, затем паштет в мисочке и к нему салат с кружевными листьями, словно зеленый мох, наполнявший

большой, в виде таза, салатник. Увлеченные разговором, погруженные в волны любви, собеседники ели теперь машинально, уже не смакуя.

Обе дамы делали по временам рискованные замечания, г-жа де Марель — с присущей ей смелостью, граничившей с вызовом, г-жа Форестье — с очаровательной сдержанностью, с оттенком стыдливости в голосе, тоне, улыбке, манерах,— оттенком, который не только не смягчал, но подчеркивал смелость выражений, исходивших из ее уст.

Форестье, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел за обе щеки и время от времени позволял себе что-нибудь до того игривое или сальное, что дамы, отчасти действительно шокированные его грубостью, но больше для приличия, на несколько секунд принимали сконфуженный вид.

— Так, так, дети мои,— прибавлял он, сказав какую-нибудь явную непристойность.— Вы и не до того договоритесь, если будете продолжать в том же духе.

Подали десерт, потом кофе. Ликеры только еще больше разгорячили и отуманили головы и без того возбужденных собеседников.

Г-жа де Марель исполнила свое обещание: она действительно опьянела. И она сознавалась в этом с веселой и болтливой грацией женщины, которая, чтобы позабавить гостей, старается казаться пьянее, чем на самом деле.

Г-жа Форестье молчала,— быть может, из осторожности. Дюруа, боясь сделать какую-нибудь оплошность, искусно скрывал охватившее его волнение.

Закурили папиросы, и Форестье вдруг закашлялся. Мучительный приступ надрывал ему грудь. На лбу у него выступил пот; он прижал салфетку к губам и, весь багровый от напряжения, давился кашлем.

— Нет, эти званые обеды не для меня,— отдышавшись, сердито проворчал он.— Какое идиотство!

Мысль о болезни удручала его, она мгновенно рассеяла то благодушное настроение, в каком он находился все время.

— Пойдемте домой,— сказал он.

Г-жа де Марель вызвала лакея и потребовала счет.

Счет был подан незамедлительно. Она начала было просматривать его, но цифры прыгали у нее перед глазами, и она передала его Дюруа.

— Послушайте, расплатитесь за меня, я ничего не вижу, я совсем пьяна.

И она бросила ему кошелек.

Общий итог достигал ста тридцати франков. Дюруа проверил счет, дал два кредитных билета и, получая сдачу, шепнул ей:

— Сколько оставить на чай?

— Не знаю, на ваше усмотрение.

Он положил на тарелку пять франков и, возвратив г-же де Марель кошелек, спросил:

— Вы разрешите мне проводить вас?

— Разумеется. Одна я не доберусь до дому.

Они попрощались с супругами Форестье, и Дюруа очутился в экипаже вдвоем с г-жой де Марель.

Он чувствовал, что она здесь, совсем близко от него, в этой движущейся закрытой и темной коробке, которую лишь на мгновение освещали уличные фонари. Сквозь ткань одежды он ощущал теплоту ее плеча и не мог выговорить ни слова, ни единого слова: мысли его были парализованы неодолимым желанием заключить ее в свои объятия.

«Что будет, если я осмелюсь?» — думал он. Вспоминая то, что говорилось за обедом, он преисполнялся решимости, но боязнь скандала удерживала его.

Забившись в угол, она сидела неподвижно и тоже молчала. Он мог бы подумать, что она спит, если б не видел, как блестели у нее глаза, когда луч света проникал в экипаж.

«О чем она думает?» Он знал, что в таких случаях нельзя нарушать молчание, что одно слово, одно-единственное слово может испортить все. А для внезапной и решительной атаки ему не хватало смелости.

Вдруг он почувствовал, что она шевельнула ногой. Достаточно было этого чуть заметного движения, резкого, нервного, нетерпеливого, выражавшего досаду, а быть может, призыв, чтобы он весь затрепетал и, живо обернувшись, потянулся к ней, ища губами ее губы, а руками — ее тело.

Она слабо вскрикнула, попыталась выпрямиться,

высвободиться, оттолкнуть его — и наконец сдалась, как бы не в силах сопротивляться долее.

Немного погодя карета остановилась перед ее домом, и от неожиданности из головы у него вылетели все нежные слова, а ему хотелось выразить ей свою признательность, поблагодарить ее, сказать, что он ее любит, что он ее боготворит. Между тем, ошеломленная случившимся, она не поднималась, не двигалась. Боясь возбудить подозрения у кучера, он первый спрыгнул с подножки и подал ей руку.

Слегка пошатываясь, она молча вышла из экипажа. Он позвонил и, пока отворяли дверь, успел спросить:

— Когда мы увидимся?

— Приходите ко мне завтракать,— чуть слышно прошептала она и, с грохотом, похожим на пушечный выстрел, захлопнув за собой тяжелую дверь, скрылась в темном подъезде.

Он дал кучеру пять франков и, торжествующий, не помня себя от радости, понесся домой.

Наконец-то он овладел замужней женщиной! Светской женщиной! Настоящей светской женщиной! Парижанкой! Как все это просто и неожиданно вышло!

Раньше он представлял себе, что победа над этими обворожительными созданиями требует бесконечных усилий, неистощимого терпения, достигается искусной осадой, под которой следует разуметь ухаживания, вздохи, слова любви и наконец подарки. Но вот первая, кого он встретил, отдалась ему при первом же натиске, так скоро, что он до сих пор не мог опомниться.

«Она была пьяна,— думал он,— завтра будет другая песня. Без слез дело не обойдется». Эта мысль встревожила его, но он тут же сказал себе: «Ничего, ничего! Теперь она моя, а уж я сумею держать ее в руках».

И в том неясном мираже, где носились его мечты о славе, почете, счастье, довольстве, любви, он вдруг различил вереницы изящных, богатых, всемогущих женщин, которые, точно статистки в каком-нибудь театральном апофеозе, с улыбкой исчезали одна за другой в золотых облаках, сотканных из его надежд.

Сон его был полон видений.

На другой день, поднимаясь по лестнице к г-же де Марель, он испытывал легкое волнение. Как она примет его? А что, если совсем не примет? Что, если она не велела впускать его? Что, если она рассказала... Нет, она ничего не могла рассказать, не открыв всей истины. Значит, хозяин положения — он.

Молоденькая горничная отворила дверь. Выражение лица у нее было обычное. Это его успокоило, точно она и в самом деле могла выйти к нему с расстроенным видом.

— Как себя чувствует госпожа де Марель? — спросил он.

— Хорошо, сударь, как всегда,— ответила она и провела его в гостиную.

Он подошел к камину, чтобы осмотреть свой костюм и прическу, и, поправляя перед зеркалом галстук, внезапно увидел отражение г-жи де Марель, смотревшей на него с порога спальни.

Он сделал вид, что не заметил ее, и, прежде чем встретиться лицом к лицу, они несколько секунд настороженно следили друг за другом в зеркале.

Наконец он обернулся. Она не двигалась с места,— казалось, она выжидала. Тогда он бросился к ней, шепча:

— Как я люблю вас! Как я люблю вас!

Она раскрыла объятия, склонилась к нему на грудь, затем подняла голову. Последовал продолжительный поцелуй.

«Вышло гораздо проще, чем я ожидал,— подумал он.— Все идет прекрасно».

Наконец они оторвались друг от друга. Он молча улыбался, стараясь выразить взглядом свою беспредельную любовь.

Она тоже улыбалась,— так улыбаются женщины, когда хотят выразить свое согласие, желание, готовность отдаться.

— Мы одни,— прошептала она,— Лорину я отослала завтракать к подруге.

— Благодарю,— целуя ей руки, сказал он с глубоким вздохом.— Я обожаю вас.

Она взяла его под руку,— так, как будто он был ее мужем,— подвела к дивану, и они сели рядом.

Теперь ему необходимо было начать изящную, волнующую беседу, но, не найдя подходящей темы, он нерешительно проговорил:

— Так вы не очень на меня сердитесь?

Она зажала ему рот рукой.

— Молчи!

И они продолжали молча сидеть, глаза в глаза, сжимая друг другу горячие руки.

— Как я жаждал обладать вами!— сказал он.

— Молчи!— снова сказала она.

Было слышно, как в столовой гремит тарелками горничная.

Он встал.

— Я не могу сидеть подле вас. Я теряю голову.

Дверь отворилась.

— Кушать подано.

Он торжественно повел ее к столу.

За завтраком они сидели друг против друга, беспрестанно обмениваясь улыбками, взглядами, занятые только собой, проникнутые сладким очарованием зарождающейся нежности. Они машинально глотали то, что им подавали на стол. Вдруг он почувствовал прикосновение ножки, маленькой ножки, блуждавшей под столом. Он зажал ее между своих ступней и уже не отпускал, сжимая изо всех сил.

Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда, и при этом у нее был такой равнодушный вид, как будто она ровно ничего не замечала.

После завтрака они вернулись в гостиную и снова сели рядом на диване.

Он подвигался все ближе и ближе к ней, пытаясь обнять ее. Но она ласковым движением отстраняла его.

— Осторожней, могут войти.

— Когда же мы останемся совсем одни?— прошептал он.— Когда же я смогу высказать, как я люблю вас?

Она нагнулась к самому его уху и еле слышно сказала:

— На днях я ненадолго зайду к вам.

Он почувствовал, что краснеет.

— Но я... я живу... очень скромно.

Она улыбнулась:

— Это неважно. Я приду поглядеть на вас, а не на вашу квартиру.

Он стал добиваться от нее, чтобы она сказала, когда придет. Она назначила день в конце следующей недели, но он, стискивая и ломая ей руки, стал умолять ее ускорить свидание; речи его были бессвязны, в глазах появился лихорадочный блеск, щеки пылали огнем желания, того неукротимого желания, какое всегда вызывают трапезы, совершаемые вдвоем.

Эти жаркие мольбы забавляли ее, и она постепенно уступала ему по одному дню. Но он повторял:

— Завтра... Скажите: завтра...

Наконец она согласилась.

— Хорошо. Завтра. В пять часов.

Глубокий радостный вздох вырвался у него из груди. И между ними завязалась беседа, почти спокойная, точно они лет двадцать были близко знакомы.

Раздался звонок,— оба вздрогнули и поспешили отодвинуться друг от друга.

— Это, наверно, Лорина,— прошептала она.

Девочка вошла и в изумлении остановилась, потом, вне себя от радости, захлопала в ладоши и подбежала к Дюруа.

— А, Милый друг!— закричала она.

Г-жа де Марель засмеялась:

— Что? Милый друг? Лорина вас уже окрестила! По-моему, это очень славное прозвище. Я тоже буду вас называть Милым другом!

Он посадил девочку к себе на колени, и ему пришлось играть с ней во все игры, которым он ее научил.

Без двадцати три он распрощался и отправился в редакцию. На лестнице он еще раз шепнул в полуотворенную дверь:

— Завтра. В пять часов.

Г-жа де Марель, лишь по движению его губ догадавшись, что он хотел ей сказать, улыбкой ответила «да» и исчезла.

Покончив с редакционными делами, он стал думать о том, как убрать комнату для приема любовницы, как лучше всего скрыть убожество своего жилья. Ему пришло на ум развесить по стенам японские безделушки. За пять франков он купил целую коллекцию мини-

атюрных вееров, экранчиков, пестрых лоскутов и прикрыл ими наиболее заметные пятна на обоях. На оконные стекла он налепил прозрачные картинки, изображавшие речные суда, стаи птиц на фоне красного неба, разноцветных дам на балконах и вереницы черненьких человечков, бредущих по снежной равнине.

Его каморка, в которой буквально негде было повернуться, скоро стала похожа на разрисованный бумажный фонарь. Довольный эффектом, он весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из остатков цветной бумаги.

Потом лег и заснул под свистки паровозов.

На другой день он вернулся пораньше и принес корзинку пирожных и бутылку мадеры, купленную в бакалейной лавке. Немного погодя ему пришлось еще раз выйти, чтобы раздобыть две тарелки и два стакана. Угощение он поставил на умывальник, прикрыв грязную деревянную доску салфеткой, а таз и кувшин спрятал вниз.

И стал ждать.

Она пришла в четверть шестого и, пораженная пестротою рисунков, от которой рябило в глазах, невольно воскликнула:

— Как у вас хорошо! Только уж очень много народу на лестнице.

Он обнял ее и, задыхаясь от страсти, принялся целовать сквозь вуаль пряди волос, выбившиеся у нее из-под шляпы.

Через полтора часа он проводил ее до стоянки фиакров на Римской улице. Когда она села в экипаж, он шепнул:

— Во вторник, в это же время.

— В это же время, во вторник,— подтвердила она.

Уже стемнело, и она безбоязненно притянула к себе его голову в открытую дверцу кареты и поцеловала в губы. Кучер поднял хлыст, она успела крикнуть:

— До свиданья, Милый друг!

И белая кляча, сдвинув с места ветхий экипаж, затрусила усталой рысцой.

В течение трех недель Дюруа принимал у себя г-жу де Марель каждые два — три дня, иногда утром, иногда вечером.

Как-то днем, когда он поджидал ее, громкие крики на лестнице заставили его подойти к двери. Плакал ребенок. Послышался сердитый мужской голос.

— Вот чертенок, чего он ревет?

— Да эта паскуда, что таскается наверх к журналисту, сшибла с ног нашего Никола́ на площадке. Я бы этих шлюх на порог не пускала,— не видят, что у них под ногами ребенок!

Дюруа в ужасе отскочил,— до него донеслись торопливые шаги и стремительный шелест платья.

Вслед за тем в дверь, которую он только что запер, постучали. Он отворил, и в комнату вбежала запыхавшаяся, разъяренная г-жа де Марель.

— Ты слышал? — еле выговорила она.

Он сделал вид, что ничего не знает.

— Нет, а что?

— Как они меня оскорбили?

— Кто?

— Негодяи, что живут этажом ниже.

— Да нет! Что такое, скажи?

Вместо ответа она разрыдалась.

Ему пришлось снять с нее шляпу, расшнуровать корсет, уложить ее на кровать и растереть мокрым полотенцем виски. Она задыхалась. Но как только припадок прошел, она дала волю своему гневу.

Она требовала, чтобы он сию же минуту спустился вниз, отколотил их, убил.

— Но ведь это же рабочие, грубый народ,— твердил он.— Подумай, придется подавать в суд, тебя могут узнать, арестовать — и ты погибла. С такими людьми лучше не связываться.

Она заговорила о другом:

— Как же нам быть? Я больше сюда не приду.

— Очень просто,— ответил он,— я перееду на другую квартиру.

— Да...— прошептала она.— Но это долго.

Внезапно у нее мелькнула какая-то мысль.

— Нет, нет, послушай,— сразу успокоившись, заговорила она,— я нашла выход, предоставь все мне, тебе ни о чем не надо заботиться. Завтра утром я пришлю тебе голубой листочек.

«Голубыми листочками» она называла городские письма-телеграммы.

Теперь она уже улыбалась, в восторге от своей затеи, которой пока не хотела делиться с Дюруа. В этот день она особенно бурно проявляла свою страсть.

Все же, когда она спускалась по лестнице, ноги у нее подкашивались от волнения, и она всей тяжестью опиралась на руку своего возлюбленного.

Они никого не встретили.

Он вставал поздно и на другой день в одиннадцать часов еще лежал в постели, когда почтальон принес ему обещанный «голубой листочек».

Дюруа распечатал его и прочел:

«Свидание сегодня в пять, Константинопольская, 127. Вели отпереть квартиру, снятую госпожой Дюруа.

Целую. *Кло*».

Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую огромного дома, где сдавались меблированные комнаты.

— Здесь сняла квартиру госпожа Дюруа? — спросил он.

— Да, сударь.

— Будьте добры, проводите меня.

Швейцар, очевидно, привыкший к щекотливым положениям, которые требовали от него сугубой осторожности, внимательно посмотрел на него и, выбирая из большой связки ключ, спросил:

— Вы и есть господин Дюруа?

— Ну да!

Через несколько секунд Дюруа переступил порог маленькой квартиры из двух комнат, в нижнем этаже, напротив швейцарской.

Гостиная, оклеенная довольно чистыми пестрыми обоями, была обставлена мебелью красного дерева, обитой зеленоватым репсом с желтыми разводами, и застелена жиденьким, вытканным цветами ковром, сквозь который легко прощупывались доски пола.

Три четверти крошечной спальни заполняла огромная кровать, эта необходимая принадлежность меблированных комнат; погребенная под красным пуховым одеялом в подозрительных пятнах, отделенная тяже-

лыми голубыми занавесками, тоже из репса, она стояла в глубине и занимала всю стену.

Дюруа был недоволен и озабочен. «Эта квартирка будет стоить мне бешеных денег,— подумал он.— Придется опять залезать в долги. Как это глупо с ее стороны!»

Дверь отворилась, и в комнату, шурша шелками, простирая объятия, вихрем влетела Клотильда. Она ликовала.

— Уютно, правда, уютно? И не нужно никуда подниматься,— прямо с улицы, в нижнем этаже. Можно влезать и вылезать в окно, так что и швейцар не увидит. Как нам будет хорошо здесь вдвоем!

Он холодно поцеловал ее, не решаясь задать вопрос, вертевшийся у него на языке.

Клотильда положила на круглый столик, стоявший посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку шпилек, крючок для ботинок и маленькие шипцы для завивки волос, чтобы поправлять непослушные пряди, вечно падавшие на лоб.

Ей доставляло особое удовольствие играть в новоселье, подыскивать место для каждой вещи.

Выдвигая ящики, она продолжала болтать:

— На всякий случай надо принести сюда немного белья, чтобы было во что переодеться. Это будет очень удобно. Если меня, например, застанет на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У каждого из нас будет свой ключ, а третий оставим у швейцара, на случай если забудем свой. Я сняла на три месяца, разумеется, на твое имя,— не могла же я назвать свою фамилию.

— Ты мне скажешь, когда нужно будет платить? — наконец спросил он.

— Уже уплачено, милый! — простодушно ответила она.

— Значит, я твой должник? — продолжал он допытываться.

— Да нет же, котик, это тебя не касается, это мой маленький каприз.

Он сделал сердитое лицо.

— Ну нет, извини! Я этого не допущу.

Она подошла и с умоляющим видом положила руки ему на плечи:

— Прошу тебя, Жорж, мне будет так приятно думать, так приятно думать, что наше гнездышко принадлежит мне, мне одной! Ведь это не может тебя оскорбить? Правда? Пусть это будет мой дар нашей любви. Скажи, что ты согласен, мой милый Жорж, скажи!..

Она молила его взглядом, прикосновением губ, всем существом.

Он долго еще заставлял упрашивать себя, отказывался с недовольною миною, но в конце концов уступил: в глубине души он находил это справедливым.

Когда же она ушла, он прошептал, потирая руки: «Какая она все-таки милая!» Почему у него создалось такое мнение о ней именно сегодня, в это он старался не углубляться.

Несколько дней спустя он снова получил «голубой листочек».

«Сегодня вечером после полуторамесячной ревизии возвращается муж. Придется неделю не видеться. Какая тоска, мой милый!

Твоя *Кло*».

Дюруа был поражен. Он совсем забыл о существовании мужа. Право, стоило бы взглянуть на этого человека хоть раз только для того, чтобы иметь о нем представление!

Он стал терпеливо ждать его отъезда, но все же провел два вечера в Фоли-Бержер, откуда его уводила к себе Рашель.

Однажды утром снова пришла телеграмма, состоявшая из четырех слов: «Сегодня в пять. *Кло*».

Оба явились на свидание раньше времени. В бурном порыве страсти она бросилась к нему в объятия и, покрыв жаркими поцелуями его лицо, сказала:

— Когда мы насладимся друг другом, ты меня поведешь куда-нибудь обедать, хорошо? Теперь я свободна.

Было еще только начало месяца, а жалованье Дюруа давно забрал вперед и жил займами, прося в долг у кого попало, но в этот день он случайно оказался

при деньгах и обрадовался возможности что-нибудь на нее истратить.

— Конечно, дорогая, куда хочешь, — ответил он.

Около семи они вышли на внешние бульвары. Повиснув у него на руке, она шептала ему на ухо:

— Если б ты знал, как я люблю ходить с тобой под руку, как приятно чувствовать, что ты рядом со мной!

— Хочешь, пойдем к Латюилю? — предложил он.

— Нет, там слишком шикарно,— возразила она.— Я бы предпочла что-нибудь повеселей и попроще, какой-нибудь ресторанчик, куда ходят служащие и работницы. Я обожаю кабачки! Ах, если б мы могли поехать за город!

В этом квартале Дюруа не мог указать ничего подходящего, и они долго бродили по бульварам, пока им не попался на глаза винный погребок с отдельным залом для обедающих. Клотильда увидела в окно двух простоволосых девчонок, сидевших с двумя военными.

В глубине длинной и узкой комнаты обедали три извозчика, и еще какой-то подозрительный тип, развалившись на стуле и засунув руки за пояс брюк, посасывал трубку. Его куртка представляла собой коллекцию пятен. Горлышко бутылки, кусок хлеба, что-то завернутое в газету и обрывок бечевки торчали из его оттопыренных чревоподобных карманов. Волосы у него были густые, курчавые, взъерошенные, серые от грязи. На полу, под столом, валялась фуражка.

Появление элегантно одетой дамы произвело сенсацию. Парочки перестали шушукаться, извозчики прекратили спор, подозрительный тип, вынув изо рта трубку, сплюнул на пол и слегка повернул голову.

— Здесь очень мило! — прошептала Клотильда.— Я уверена, что мы останемся довольны. В следующий раз я оденусь работницей.

Без всякого стеснения и без малейшего чувства брезгливости она села за деревянный, лоснившийся от жира, залитый пивом столик, кое-как вытертый подбежавшим гарсоном. Дюруа, слегка шокированный и смущенный, искал, где бы повесить цилиндр. Так и не найдя вешалки, он положил шляпу на стул.

Подали рагу из барашка, жиго и салат.

— Я обожаю такие блюда,— говорила Клотильда.— У меня низменные вкусы. Здесь мне больше нравится, чем в Английском кафе.

Потом прибавила:

— Если хочешь доставить мне полное удовольствие, своди меня в кабачок с танцевальным залом. Я знаю поблизости один очень забавный, называется он «Белая королева».

— Кто тебя водил туда? — с удивлением спросил Дюруа.

Взглянув на нее, он заметил, что она покраснела, что ее смутил этот неожиданный вопрос, видимо, напомнивший ей нечто слишком интимное. После некоторого колебания, обычно столь краткого у женщин, что о нем можно только догадываться, она ответила:

— Один из моих друзей...

Затем, помолчав, добавила:

— Он умер.

И, полная непритворной печали, опустила глаза.

И тут Дюруа впервые подумал о том, что ему ничего неизвестно о ее прошлом. Конечно, у нее уже были любовники, но какие, из какого круга? Смутная ревность, пожалуй, даже неприязнь, шевельнулась в нем,— неприязнь ко всему, чего он не знал, что не принадлежало ему в ее сердце и в ее жизни. Он с раздражением смотрел на нее, пытаясь разгадать тайну, скрытую в ее прелестной неподвижной головке, быть может, именно в это мгновение с грустью думавшей о другом, о других. Как хотелось ему заглянуть в ее воспоминания, порыться в них, все вызнать, все выведать!..

— Ну как, пойдем в «Белую королеву»? — снова спросила она.— Это будет для меня настоящий праздник.

«Э, что мне за дело до ее прошлого! Глупо из-за такой чепухи портить себе настроение!» — подумал он и ответил с улыбкой:

— Конечно, пойдем, дорогая.

Выйдя на улицу, она зашептала с тем таинственным видом, с каким обыкновенно сообщают что-нибудь по секрету:

— До сих пор я не решалась тебя об этом просить.

Но ты не можешь себе представить, до чего я люблю эти холостяцкие походы в такие места, где женщинам показываться неудобно. Во время карнавала я оденусь школьником. Я очень забавная в этом костюме.

Когда они вошли в танцевальный зал, она, испуганная, но довольная, прижалась к нему, не отводя восхищенного взора от сутенеров и публичных женщин. Время от времени она, словно ища защиты на случай опасности, указывала Дюруа на величественную и неподвижную фигуру полицейского: «Какая у него внушительная осанка!» Через четверть часа ей все это надоело, и Дюруа проводил ее домой.

После этого они предприняли еще ряд походов в те злачные места, где веселится простонародье. И Дюруа убедился, что жизнь бродячей богемы представляет для его любовницы особую привлекательность.

Клотильда приходила на свидание в полотняном платье, в чепчике водевильной субретки. Ее костюм отличался изящной, изысканной простотой, и в то же время она не отказывалась от браслетов, колец, бриллиантовых серег и на его настойчивые просьбы снять их приводила один и тот же довод:

— Пустяки! Все подумают, что это рейнские камешки.

Находя этот маскарад исключительно удачным (хотя на самом деле она пряталась не лучше, чем страус), Клотильда посещала притоны, о которых шла самая дурная слава.

Она просила Дюруа переодеться рабочим, но он не пожелал расстаться со своим костюмом, костюмом завсегдатая дорогих ресторанов,— он даже отказался сменить цилиндр на мягкую фетровую шляпу.

— Скажут, что я горничная из хорошего дома, за которой приударяет светский молодой человек,— не в силах сломить его упорство, утешала она себя.

Эта комедия доставляла ей истинное наслаждение.

Они заходили в дешевые кабачки и садились в глубине прокуренной конуры на колченогие стулья, за ветхий деревянный стол. В комнате плавало облако едкого дыма, пропитанное запахом жареной рыбы, не выветрившимся после обеда. Мужчины в блузах галдели, попивая из стаканчиков. Гарсон, с удивлением разглядывая

странную пару, ставил перед ними две рюмки с вишневой наливкой.

Испуганная, трепещущая и счастливая, она пила маленькими глотками красный сок, глядя вокруг себя горящим и беспокойным взором. Каждая проглоченная вишня вызывала у нее такое чувство, как будто она совершила преступление, каждая капля обжигающего и пряного напитка, вливаясь в гортань, вызывала у нее острое, упоительное ощущение чего-то постыдного и недозволенного.

Потом она говорила вполголоса:

— Пойдем отсюда.

И они уходили. Опустив голову, она шла, как уходят со сцены актрисы, мелкими быстрыми шажками, пробираясь между пьяными, облокотившимися на столы, и они провожали ее враждебными и настороженными взглядами. Переступив порог, она облегченно вздыхала, точно ей удалось избежать грозной опасности.

Иной раз, вся дрожа, она обращалась к своему спутнику:

— Что бы ты сделал, если б меня оскорбили где-нибудь в таком месте?

И он отвечал ей с заносчивым видом:

— Ого, я сумел бы тебя защитить!

В восторге от его ответа, она сжимала ему руку, быть может, втайне желая, чтобы ее оскорбили и защитили, желая, чтобы ее возлюбленный подрался из-за нее хотя бы даже с такими мужчинами.

Однако эти прогулки, повторявшиеся два—три раза в неделю, наскучили Дюруа; к тому же теперь ему стоило огромных усилий добывать каждый раз поллуидора на извозчика и напитки.

Жилось ему трудно, неизмеримо труднее, чем в ту пору, когда он служил в управлении железной дороги, ибо, сделавшись журналистом, первые месяцы он тратил много, без счета, в надежде вот-вот заработать крупную сумму, и в конце концов исчерпал все ресурсы и отрезал себе все пути к добыванию денег.

Самое простое средство — занять в кассе — давно уже было ему недоступно, так как жалованье он забрал вперед за четыре месяца, да еще взял шестьсот франков в счет построчного гонорара. Форестье он за-

должал сто франков, Жаку Ривалю, у которого кошелек был открыт для всех, триста, а кроме того, он весь был опутан мелкими позорными долгами от пяти до двадцати франков.

Сен-Потен, к которому он обратился за советом, где бы перехватить еще сто франков, при всей своей изобретательности ничего не мог придумать. И в душе у Дюруа поднимался бунт против этой нищеты, от которой он страдал теперь сильнее, чем прежде, так как потребностей у него стало больше. Глухая злоба, злоба на весь мир, росла в нем. Он раздражался поминутно, из-за всякого пустяка, по самому ничтожному поводу.

Нередко он задавал себе вопрос: почему в среднем у него уходит около тысячи франков в месяц, а ведь он не позволяет себе никакой роскоши и ничего не тратит на прихоти? Однако простой подсчет показывал следующее: завтрак в фешенебельном ресторане стоит восемь франков, обед — двенадцать,— вот уже луидор; к этому надо прибавить франков десять карманных денег, обладающих способностью утекать, как вода между пальцев,— итого тридцать франков. Тридцать франков в день — это девятьсот франков в месяц. А сюда еще не входят одежда, обувь, белье, стирка и прочее.

И вот четырнадцатого декабря он остался без единого су в кармане, а занять ему, сколько он ни ломал себе голову, было негде.

Как это часто случалось с ним в былые времена, он вынужден был отказаться от завтрака и, взбешенный и озабоченный, провел весь день в редакции.

Около четырех часов он получил от своей любовницы «голубой листочек»: «Хочешь пообедать вместе? Потом куда-нибудь закатимся».

Он сейчас же ответил: «Обедать невозможно». Затем, решив, что глупо отказываться от приятных мгновений, которые он может с ней провести, прибавил: «В девять часов буду ждать тебя в нашей квартире».

Чтобы избежать расхода на телеграмму, он отправил записку с одним из рассыльных и стал думать о том, где достать денег на обед.

Пробило семь, а он еще ничего не надумал. От голо-

да у него засосало под ложечкой. Внезапно им овладела решимость отчаяния. Дождавшись, когда все его сослуживцы ушли, он позвонил. Явился швейцар патрона, остававшийся сторожить помещение.

Дюруа нервно рылся в карманах.

— Послушайте, Фукар,— развязно заговорил он,— я забыл дома кошелек, а мне пора ехать обедать в Люксембургский сад. Дайте мне взаймы пятьдесят су на извозчика.

Швейцар, вынув из жилетного кармана три франка, спросил:

— Больше не требуется, господин Дюруа?

— Нет, нет, достаточно. Большое спасибо.

Схватив серебряные монеты, Дюруа бегом спустился по лестнице. Пообедал он в той самой харчевне, где ему не раз случалось утолять голод в черные дни.

В девять часов он уже грел ноги у камина в маленькой гостиной и поджидал любовницу.

Она вошла, веселая, оживленная, раскрасневшаяся от мороза.

— Не хочешь ли сперва пройтись,— предложила она,— с тем, чтобы к одиннадцати вернуться домой? Погода дивная.

— Зачем? Ведь и здесь хорошо,— проворчал он.

— Если б ты видел, какая луна!— не снимая шляпы, продолжала Клотильда.— Гулять в такой вечер одно наслаждение.

— Очень может быть, но я совсем не расположен гулять.

Он злобно сверкнул глазами. Клотильда была удивлена и обижена.

— Что с тобой?— спросила она.— Что значит этот тон? Мне хочется пройтись,— не понимаю, чего ты злишься.

Дюруа вскочил.

— Я не злюсь!— запальчиво крикнул он.— Просто мне это надоело. Вот и все!

Г-жа де Марель принадлежала к числу тех, кого упрямство раздражает, а грубость выводит из себя.

— Я не привыкла, чтоб со мной говорили таким тоном,— бросив на него презрительный взгляд, с хо-

лодным бешенством сказала она.— Я пойду одна. Прощай!

Смекнув, что дело принимает серьезный оборот, Дюруа бросился к ней и стал целовать ей руки.

— Прости, дорогая, прости,— бормотал он,— сегодня я такой нервный, такой раздражительный. Ты знаешь, у меня столько всяких огорчений, неприятностей по службе...

— Это меня не касается,— несколько смягчившись, но не успокоившись, возразила она.— Я вовсе не желаю, чтобы вы срывали на мне злобу.

Он обнял ее и подвел к дивану.

— Послушай, крошка, я не хотел тебя обидеть. Я сказал не подумав.

Насильно усадив ее, он опустился перед ней на колени.

— Ты простила меня? Скажи, что простила.

— Хорошо, но больше чтоб этого не было,— холодно ответила она и поднялась с дивана.— А теперь пойдем гулять.

Не вставая с колен, он обнимал ее ноги и бормотал:

— Останемся, прошу тебя. Умоляю. Уступи мне на этот раз. Мне так хочется провести этот вечер с тобой вдвоем, здесь, у камина. Скажи «да», умоляю тебя, скажи «да».

— Нет,— твердо, отчетливо проговорила она.— Я хочу гулять, я не намерена потворствовать твоим капризам.

— Я тебя умоляю,— настаивал он,— у меня есть причина, очень серьезная причина...

— Нет,— повторила она.— Не хочешь — дело твое, я пойду одна. Прощай.

Высвободившись резким движением, она направилась к выходу. Он поднялся и обхватил ее руками.

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, послушай, уступи мне...

Она отрицательно качала головой, молча уклонялась от его поцелуев и пыталась вырваться из его объятий.

— Кло, моя маленькая Кло, у меня есть причина.

Она остановилась и посмотрела ему в лицо.

— Ты лжешь... Какая причина?

Он покраснел,— он не знал, что сказать.

— Я вижу, что ты лжешь... Мерзавец!— с возмущением бросила Клотильда.

Она рванулась и со слезами на глазах выскользнула у него из рук.

Измученный, готовый сознаться во всем, лишь бы избежать разрыва, он снова удержал ее за плечи и с отчаянием в голосе произнес:

— У меня нет ни единого су... Вот!

Она обернулась и посмотрела ему в глаза, стараясь прочитать в них истину.

— Что такое?

Он покраснел до корней волос.

— У меня нет ни единого су. Понимаешь? Ни франка, ни полфранка, мне нечем было бы заплатить за рюмку ликера, если б мы зашли в кафе. Ты заставляешь меня сознаваться в таких позорных вещах. Не могу же я пойти с тобой, сесть за столик, спросить чего-нибудь, а потом как ни в чем не бывало объявить тебе, что у меня нет денег...

Она продолжала смотреть на него в упор:

— Так значит... это правда?

Дюруа в одну секунду вывернул карманы брюк, жилета, пиджака.

— Ну что... теперь ты довольна?— процедил он сквозь зубы.

Она раскрыла объятия и в приливе нежности бросилась к нему на шею:

— О, мой бедный мальчик!.. Мой бедный мальчик... Если б я знала! Как же это с тобой случилось?

Она усадила его, села к нему на колени и, обвив ему шею руками, поминутно целуя в усы, в губы, в глаза, заставила рассказать о своем несчастье.

Он сочинил трогательную историю. Ему надо было выручить из беды отца. Он отдал ему все свои сбережения и задолжал кругом.

— Придется голодать по крайней мере полгода, ибо все мои ресурсы истощились,— заявил он.— Ну ничего, в жизни бывает всякое. В конце концов из-за денег не стоит расстраиваться.

— Хочешь, я дам тебе взаймы?— шепнула она ему на ухо.

— Ты очень добра, моя крошка,— с достоинством ответил он,— но не будем больше об этом говорить, прошу тебя. Это меня оскорбляет.

Она умолкла.

— Ты не можешь себе представить, как я тебя люблю!— мгновение спустя, сжимая его в объятиях, прошептала она.

Это был один из лучших вечеров их любви.

Собираясь уходить, она сказала с улыбкой:

— Для человека в твоем положении нет ничего приятнее, как обнаружить у себя в кармане деньги, какую-нибудь монету, которая провалилась за подкладку. Правда?

— Я думаю!— искренне вырвалось у него.

Она решила пойти домой пешком под тем предлогом, что на улице изумительно хорошо. И всю дорогу любовалась луной.

Стояла холодная ясная ночь,— такие ночи бывают в начале зимы. Люди и лошади неслись, подгоняемые легким морозцем. Каблуки звонко стучали по тротуару.

— Хочешь, встретимся послезавтра?— спросила она при прощании.

— Ну да, конечно.

— В тот же час?

— В тот же час.

— До свиданья, мой дорогой.

И они нежно поцеловались.

Он быстрым шагом пошел домой, думая о том, как выйти из положения, что предпринять завтра. Но, отворяя дверь в свою комнату и отыскивая в жилетном кармане спички, он к крайнему своему изумлению нащупал пальцами монету.

Он зажег огонь, схватил монету и начал рассматривать ее. Это был двадцатифранковый золотой!

Ему казалось, что он сошел с ума.

Он вертел монету и так и сяк, стараясь понять, каким чудом она очутилась у него. Не могла же она упасть к нему с неба!

Наконец он догадался, и его охватило бешенство. Как раз сегодня его любовница толковала о том, что

монета иной раз проваливается за подкладку и что в трудную минуту ее обычно находят. Значит, она подала ему милостыню. Какой позор!

Он выругался.

— Хорошо! Я ей послезавтра устрою прием! Она у меня проведет веселенькие четверть часа!

Обозленный и оскорбленный, он лег спать.

Проснулся он поздно. Голод мучил его. Он попытался снова заснуть, с тем чтобы встать не раньше двух. Потом сказал себе:

— Это не выход, я должен во что бы то ни стало раздобыть денег.

В надежде, что на улице ему скорей что-нибудь придет в голову, Дюруа вышел из дому.

Он так ничего и не надумал, а когда проходил мимо ресторанов, то у него текли слюнки. В полдень он наконец решился: «Ладно, возьму сколько-нибудь из этих двадцати франков. Завтра я их отдам Клотильде».

Дюруа истратил в пивной два с половиной франка. Придя в редакцию, он вернул три франка швейцару.

— Возьмите, Фукар,— это те деньги, которые я у вас брал вчера на извозчика.

Работал он до семи. Затем отправился обедать и истратил еще три франка. Вечером две кружки пива увеличили дневной расход до девяти франков тридцати сантимов.

За одни сутки немыслимо было восстановить кредит или найти какие-нибудь новые средства к существованию, а потому на другой день ему пришлось истратить еще шесть с половиной франков из тех двадцати, которые он собирался вечером отдать, так что, когда он пришел на свидание, в кармане у него было четыре франка двадцать сантимов.

Он был зол, как сто чертей, и дал себе слово объясниться со своей любовницей начистоту. Он намеревался сказать ей следующее: «Ты знаешь, я нашел те двадцать франков, которые ты сунула мне в карман. Я не могу отдать их тебе сегодня, потому что положение мое не изменилось и потому что мне некогда было заниматься денежными делами. Но в следующий раз я непременно верну тебе долг».

Худ. К. Рудаков. [1936]. «МИЛЫЙ ДРУГ».

Худ. К. Рудаков. [1936]. «МИЛЫЙ ДРУГ».

Войдя, она бросила на него нежный, робкий, заискивающий взгляд. Как-то он ее примет? Чтобы отдалить объяснение, она долго целовала его.

А он в это время думал: «Я еще успею поговорить с ней об этом. Надо только найти повод».

Повода он так и не нашел и ничего не сказал ей: он все не решался начать этот щекотливый разговор.

Она уже не заговаривала о прогулке и была с ним обворожительна.

Расстались они около полуночи, назначив свидание только в среду на следующей неделе, так как ей предстояло несколько званых обедов подряд.

На другой день Дюруа позавтракал в ресторане и, расплачиваясь с лакеем, полез в карман за оставшимися четырьмя монетами, но вместо четырех вынул пять, из которых одна была золотая.

В первую секунду он подумал, что накануне ему дали ее по ошибке вместе со сдачей, но затем понял все, и у него заколотилось сердце,— до чего унизительна была эта назойливая милостыня.

Как он жалел теперь, что ничего не сказал ей! Поговори он с ней в резком тоне, этого бы не случилось.

В течение четырех дней он делал попытки, столь же частые, сколь и безуспешные, раздобыть пять луидоров и в конце концов проел второй луидор Клотильды.

При первой же встрече он пригрозил ей: «Послушай, брось ты эти фокусы, а то я рассержусь не на шутку», но она ухитрилась сунуть ему в карман брюк еще двадцать франков.

Обнаружив их, Дюруа пробормотал: «Дьявольщина!», но у него не было ни сантима, и он переложил их в жилетный карман, чтобы иметь под рукой.

«Я верну ей все сразу,— успокаивал он свою совесть.— Разумеется, я беру их у нее взаймы».

Кассир внял наконец его отчаянным мольбам и согласился выдавать ему по пять франков в день. Этого хватало только на еду, но о возврате долга, выросшего до шестидесяти франков, нечего было и думать.

Между тем Клотильде вновь припала охота к ночным скитаниям по всем парижским трущобам, и теперь он уже не сердился, когда после этих рискованных по-

хождений находил золотой то в кармане, то в ботинке, а то даже в футляре от часов.

Раз он в настоящее время не в состоянии исполнять ее прихоти, то что же тут такого, если она, вместо того чтобы отказаться от них, платит сама?

Впрочем, он вел счет ее деньгам, намереваясь когда-нибудь вернуть их сполна.

Однажды вечером она ему сказала:

— Представь, я ни разу не была в Фоли-Бержер. Пойдем?

Дюруа замялся: его пугала встреча с Рашелью. Но он тут же подумал: «Ничего! В конце концов она мне не жена. Увидит меня, поймет, в чем дело, и не заговорит. Тем более что мы будем в ложе».

Была еще одна причина, заставившая его согласиться: ему представлялся удобный случай предложить г-же де Марель ложу в театр, ничего за нее не платя. Это явилось бы своего рода ответной любезностью.

Дюруа оставил Клотильду в карете, а сам отправился за контрамаркой — ему не хотелось, чтобы она знала, что он ничего не заплатил за вход,— потом вернулся к ней, и они прошли мимо поклонившихся им контролеров.

В фойе было полно. С большим трудом пробирались они в толпе мужчин и кокоток. Наконец их заперли в клетке между бушующей галеркой и безмолвным партером.

Г-жа де Марель не смотрела на сцену,— ее занимали исключительно девицы, которые прогуливались позади ложи. И она беспрестанно оборачивалась и разглядывала их, испытывая желание прикоснуться к ним, ощупать их корсажи, их щеки, их волосы, чтобы понять, из чего сделаны эти странные существа.

Неожиданно она обратилась к Дюруа:

— Вон та полная брюнетка все время смотрит на нас. Я даже подумала, что она хочет заговорить. Ты обратил внимание?

— Нет, это тебе так кажется,— возразил он.

Но он давно уже заметил ее. Это была Рашель,— она все ходила мимо их ложи, и глаза у нее горели зловещим огнем, а с языка готовы были сорваться бранные слова.

Дюруа только что столкнулся с ней, когда протискивался сквозь толпу; она тихо сказала ему: «Здравствуй», а ее хитро прищуренный глаз говорил: «Понимаю». Но, боясь любовницы, он не ответил на это заигрывание и с высоко поднятой головой и надменно сжатыми губами холодно прошел мимо. Подстрекаемая смутною ревностью, девица пошла за ним, задела его плечом и сказала уже громче:

— Здравствуй, Жорж.

Он опять промолчал. Тогда она, решив во что бы то ни стало заставить его узнать себя и поклониться, в ожидании благоприятного момента начала расхаживать позади ложи.

Заметив, что г-жа де Марель смотрит на нее, она подошла к Дюруа и дотронулась до его плеча.

— Здравствуй. Как поживаешь?

Он даже не обернулся.

— Ты что, успел оглохнуть с четверга?

Он ничего ей не ответил,— своим презрительным видом он ясно давал понять, что считает ниже своего достоинства вступать с этой тварью в какие бы то ни было разговоры.

Рашель злобно захохотала.

— Да ты еще и онемел вдобавок? — не унималась она.— Уж не эта ли дамочка откусила тебе язык?

Он сделал нетерпеливый жест.

— Как вы смеете со мной заговаривать? — в бешенстве крикнул он.— Уходите, не то я велю задержать вас.

— А, ты вот как!— сверкнув глазами и задыхаясь от ярости, заорала она.— Ах, подлец! Спишь со мной — так изволь по крайней мере кланяться. Что ты нынче с другой — значит, можно и не узнавать меня? Кивни ты мне только, когда я проходила мимо, и я оставила бы тебя в покое. Но ты вздумал задирать нос! Нет, шалишь! Я тебе удружу! Ах, вот как! Ты даже не поздоровался со мной при встрече...

Она вопила бы еще долго, но г-жа де Марель, отворив дверь ложи, пустилась бежать, расталкивая толпу, и заметалась в поисках выхода.

Дюруа бросился за ней вдогонку.

Тогда Рашель, видя, что они спасаются бегством, торжествующе крикнула:

— Держите ее! Держите! Она украла у меня любовника!

В публике послышался смех. Двое мужчин, потехи ради, схватили беглянку за плечи, тащили ее куда-то, пытались поцеловать. Но Дюруа догнал ее, вырвал у них из рук и вывел на улицу.

Она вскочила в пустой экипаж, стоявший у подъезда. Он прыгнул вслед за ней и на вопрос извозчика: «Куда ехать, господин?» — ответил: «Куда хотите».

Карета медленно сдвинулась с места, подскакивая на камнях мостовой. Клотильда закрыла лицо руками,— с ней случилось что-то вроде нервного припадка: ей не хватало воздуха, и она задыхалась. Дюруа не знал, что делать, что говорить. Наконец, услыхав, что она плачет, забормотал:

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, позволь мне объяснить тебе! Я не виноват... Я встречался с этой женщиной очень давно... когда я только что...

Клотильда резким движением отняла от лица руки; злоба, дикая злоба влюбленной и обманутой женщины охватила ее, и, вновь обретя дар речи, она заговорила быстро, отрывисто, с трудом переводя дыхание:

— Ах, негодяй... негодяй... Какая низость!.. Могла ли я думать... Какой позор!.. Боже, какой позор!..

Гнев ее рос по мере того, как прояснялось сознание, по мере того, как все новые и новые поводы для упреков приходили ей в голову.

— Ты платил ей моими деньгами, да? И я давала ему денег... для этой девки... Ах, негодяй!..

В течение нескольких секунд она как будто искала более сильного выражения, искала и не могла найти, и внезапно, с таким видом, точно собиралась плюнуть, бросила ему в лицо:

— Ах, свинья, свинья, свинья!.. Ты платил ей моими деньгами... Свинья, свинья!..

Не находя другого слова, она все повторяла:

— Свинья, свинья...

Вдруг она высунулась в оконце, схватила кучера за рукав, крикнула:

— Стойте!

Отворила дверцу и выскочила на улицу.

Жорж хотел бежать за ней.

— Я тебе запрещаю вылезать из экипажа! — крикнула она так громко, что вокруг нее сейчас же собралась толпа.

И Дюруа из боязни скандала застыл на месте.

Она вынула из кармана кошелек, отсчитала при свете фонаря два с половиной франка и, вручив их кучеру, прерывающимся от волнения голосом сказала:

— Вот... получите... Я плачу... И отвезите мне этого прохвоста на улицу Бурсо, в Батиньоль.

В толпе загоготали.

— Браво, малютка! — сказал какой-то господин.

А уличный мальчишка, вскочив на подножку и просунув голову в открытую дверцу кареты, пронзительно крикнул:

— Счастливый путь, Биби!

И карета тронулась под громовой хохот зевак.

VI

Наутро Жорж Дюруа проснулся не в духе.

Он не спеша оделся, сел у окна и погрузился в раздумье. Он чувствовал себя совершенно разбитым, точно накануне на него сыпался град палочных ударов.

Наконец безденежье подхлестнуло его, и он отправился к Форестье.

Его друг сидел у себя в кабинете и грел ноги у камина.

— Что это тебя подняло ни свет ни заря?

— Важное дело. Долг чести.

— Карточный?

— Карточный,— после некоторого колебания подтвердил Дюруа.

— Большой?

— Пятьсот франков!

Он должен был только двести восемьдесят.

— Кому ты задолжал? — недоверчиво глядя на него, спросил Форестье.

Дюруа не сразу нашелся, что ответить.

— Господину... господину... господину де Карлевиль.

— А-а! Где же он живет?

— На улице... на улице...

Форестье расхохотался:

— На улице Ищи-Свищи, так, что ли? Знаю я этого господина. Вот что, милый мой: так и быть, двадцать франков я еще могу тебе ссудить, но больше не проси.

Дюруа взял у него золотой.

Затем он обошел всех своих знакомых, и к пяти часам у него набралось восемьдесят франков.

Ему не хватало двухсот, но он решил на этом остановиться и, пряча собранные деньги, пробормотал: «Плевать, стану я себе портить кровь из-за какой-то дряни! Когда будут деньги — отдам».

Он взял себя в руки: целых две недели отказывал себе во всем и вел правильный и добродетельный образ жизни. А затем его вновь охватила жажда любви. Ему казалось, что он уже несколько лет не обнимал женщины, и как матрос теряет голову, завидев землю, так трепетал он при виде каждой юбки.

И вот однажды вечером, в надежде встретить Рашель, он снова отправился в Фоли-Бержер. Она проводила в этом заведении все свое время, и он заметил ее сразу, как только вошел.

С улыбкой двинулся он к ней и протянул руку. Она оглядела его с головы до ног.

— Что вам угодно?

Он попытался засмеяться.

— Ну-ну, не валяй дурака.

Она повернулась к нему спиной.

— Я с альфонсами не знаюсь.

Она постаралась нанести ему самое тяжкое оскорбление, и он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Из Фоли-Бержер он вышел один.

В редакции ему отравлял существование больной, изнуренный, вечно кашлявший Форестье: он словно нарочно изобретал для него самые неприятные поручения. Как-то, в минуту сильного раздражения, после долгого приступа удушья, не получив от Дюруа нужных сведений, он даже буркнул:

— Черт возьми, ты еще глупее, чем я думал.

Дюруа чуть было не дал ему по физиономии, но сдержался и, уходя, пробормотал:

— Погоди, я тебе отплачу.

Внезапно у него мелькнула мысль.

— Я наставлю тебе рога, дружище,— прибавил он.

И, потирая руки от удовольствия, удалился.

Он решил как можно скорее приступить к осуществлению своего проекта. На другой же день он отправился на разведки к г-же Форестье.

Она лежала с книгой на диване.

При его появлении она не встала, а лишь повернула голову и протянула ему руку.

— Здравствуйте, Милый друг,— сказала она.

У него было такое чувство, точно ему дали пощечину.

— Почему вы меня так называете?

— На прошлой неделе я видела госпожу де Марель, и она мне сообщила, как вас там прозвали,— улыбаясь, ответила она.

Любезный тон г-жи Форестье успокоил его. Да и чего ему было бояться?

— Ее вы балуете! — продолжала она.— А ко мне являетесь раз в год по обещанию или вроде того?

Он сел и с особым любопытством, любопытством коллекционера, принялся рассматривать ее. Очаровательная блондинка с волосами нежного и теплого цвета, она была точно создана для ласк. «Она безусловно лучше той», — подумал Дюруа. Он не сомневался в успехе; казалось, стоит только дотронуться,— и она сама, как созревший плод, упадет в руки.

— Я не приходил к вам потому, что так лучше,— решительно проговорил он.

Она не поняла его.

— Как? Почему?

— Почему? Вы не догадываетесь?

— Нет, даю слово.

— Потому что я влюблен в вас... о, немножко, совсем немножко... я не хотел бы влюбиться в вас по-настоящему.

Она, видимо, не была ни поражена, ни оскорблена, ни польщена. По-прежнему улыбаясь своей бесстрастной улыбкой, она спокойно ответила:

— Ну, приходить-то ко мне все-таки можно. В меня нельзя влюбиться надолго.

Ее тон удивил его еще больше, чем слова.

— Почему?

— Потому что это бесполезно, и я сразу даю это понять. Если б вы раньше поведали мне свои опасения, я бы вас успокоила и посоветовала, наоборот, приходить почаще.

— Разве мы вольны в своих чувствах!— воскликнул он с пафосом.

Она повернулась к нему лицом.

— Дорогой друг, влюбленный мужчина перестает для меня существовать. Он глупеет, больше того: он становится опасен. С теми, кто любит меня как женщину или притворяется влюбленным, я порываю всякие отношения, во-первых, потому, что они мне надоедают, а во-вторых, потому, что я их боюсь, как бешеных собак, которые всегда могут наброситься. Я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока они не вылечатся. Запомните это. Я отлично знаю, что для вас любовь — это нечто вроде голода, а для меня это... это нечто вроде духовной связи, в которую не верят мужчины. Вы довольствуетесь формами ее проявления, а мне важен дух. Ну... смотрите мне прямо в глаза...

Она уже не улыбалась. С холодным и спокойным выражением лица она продолжала, отчеканивая каждое слово:

— Я никогда — слышите?— никогда не буду вашей любовницей. Упорствовать бесполезно и даже вредно для вас. А теперь... после этой операции... мы можем остаться друзьями, добрыми друзьями, но только настоящими, без всякой задней мысли. Хотите?

Поняв, что это приговор окончательный и что все его усилия будут бесплодны, он покорился своей участи и, в восторге от того, что приобретает такую союзницу, не колеблясь, протянул ей обе руки:

— Располагайте мной, как вам будет угодно.

Тон его показался ей искренним, и она дала ему руки.

Он поцеловал их одну за другой и, подняв на нее глаза, чистосердечно признался:

— Клянусь богом, если б я встретил такую женщину, как вы, с какой радостью я бы на ней женился!

На этот раз комплимент Дюруа, очевидно принадлежавший к числу тех, что доходят до женского сердца, тронул и умилил ее, и она бросила на него один из тех быстрых признательных взглядов, которые любого из нас превращают в раба.

Потом, видя, что он не может подыскать тему для разговора, она дотронулась до его плеча и ласково сказала:

— Приступаю к исполнению моих дружеских обязанностей. Вы недогадливы, друг мой...

Она замялась.

— Могу я с вами говорить откровенно?

— Да.

— Вполне?

— Вполне.

— Так вот. Пойдите с визитом к госпоже Вальтер,— она о вас очень высокого мнения,— и постарайтесь понравиться ей. Вот там ваши комплименты будут уместны, хотя она порядочная женщина — слышите? — абсолютно порядочная. Так что... лихие набеги там тоже не будут иметь успеха. Но вы можете добиться большего, если сумеете произвести выгодное впечатление. Мне известно, что в редакции вы все еще занимаете скромное место. Пусть это вас не смущает: всех своих сотрудников они принимают одинаково радушно. Послушайтесь меня, сходите к ней.

— Благодарю вас,— сказал он, улыбаясь,— вы ангел, вы мой ангел-хранитель.

После этого разговор перешел на другие темы.

Он сидел у нее долго, желая показать, как приятно ему находиться в ее обществе. Уходя, он еще раз спросил:

— Итак, решено: мы будем друзьями?

— Да, решено.

Желая усилить впечатление, которое, как он заметил, произвел на г-жу Форестье его комплимент, Дюруа добавил:

— Если вы когда-нибудь овдовеете, я выставлю свою кандидатуру.

И, чтобы не дать ей времени рассердиться, поспешил откланяться.

Идти с визитом к г-же Вальтер Дюруа стеснялся:

она никогда его к себе не приглашала, и он боялся показаться навязчивым. Впрочем, патрон к нему благоволил, ценил его как сотрудника, давал ему по большей части ответственные поручения,— почему бы не воспользоваться его расположением, чтобы проникнуть к нему в дом?

И вот однажды он встал рано утром, пошел на рынок и за десять франков купил штук двадцать превосходных груш. Тщательно уложив их в корзинку, так, чтобы казалось, что они привезены издалека, он отнес их к Вальтерам и оставил у швейцара вместе со своей визитной карточкой, на которой предварительно написал:

Жорж Дюруа
покорнейше просит госпожу Вальтер
принять эти фрукты,
которые он сегодня утром
получил из Нормандии

На другой день он нашел в редакции, в своем почтовом ящике, конверт с визитной карточкой г-жи Вальтер, которая «горячо благодарила господина Жоржа Дюруа» и извещала, что она «принимает у себя по субботам».

В ближайшую субботу он отправился к ней с визитом.

Вальтер жил на бульваре Мальзерба, в собственном доме, часть которого он, будучи человеком практичным, отдавал внаем. Единственный швейцар, обладавший величественной осанкой церковного привратника, носивший ливрею с золотыми пуговицами и малиновыми отворотами и белые чулки, которые плотно обтягивали его толстые икры, помещался между двумя парадными, отворял дверь и хозяевам и жильцам и придавал всему этому дому вид роскошного аристократического особняка.

В гостиные, находившиеся на втором этаже, надо было пройти через обитую гобеленами переднюю с портьерами на дверях. Здесь, сидя на стульях, дремали два лакея. Один из них принял от Дюруа пальто, другой взял у него тросточку, отворил дверь и, пройдя вперед, выкрикнул в пустом зале его имя, затем посторонился и пропустил его.

Дюруа растерянно оглядывался по сторонам и вдруг увидел в зеркале несколько человек, сидевших, казалось, где-то очень далеко. Сперва он попал не туда — его ввело в заблуждение зеркало, а затем, пройдя два пустых зала, очутился в маленьком будуаре, обитом голубым шелком с узором из лютиков; здесь за круглым столиком, на котором был сервирован чай, вполголоса беседовали четыре дамы.

Столичная жизнь и в особенности профессия репортера, постоянно сталкивавшая Дюруа с разными знаменитостями, выработали в нем привычку держаться развязно, но, попав в эту пышную обстановку, пройдя эти безлюдные залы, он ощутил легкое замешательство.

— Сударыня, я позволил себе...— пробормотал он, ища глазами хозяйку.

Г-жа Вальтер протянула ему руку. Дюруа пожал ее, изогнув при этом свой стан.

— Вы очень любезны, сударь, что пришли навестить меня,— заметила она, указав на кресло, и Дюруа, которому оно сперва показалось довольно высоким, едва не утонул в нем.

Наступило молчание. Наконец одна из дам нарушила его. Она заявила, что стало очень холодно, но все же недостаточно холодно для того, чтобы прекратилась эпидемия брюшного тифа и чтобы можно было кататься на коньках. И тут все дамы сочли долгом высказать свое мнение о наступивших в Париже морозах, а также о том, какое время года лучше, и привели при этом все те банальные доводы, которые оседают в головах, словно пыль в комнатах.

Чуть слышно скрипнула дверь. Дюруа обернулся и сквозь два непокрытых амальгамой стекла увидел приближающуюся полную даму. Как только она вошла в будуар, одна из посетительниц поднялась, пожала всем руки и удалилась. Дюруа проводил глазами черную фигуру этой дамы, поблескивавшую в пустых залах бусинками из стекляруса.

Когда волнение, вызванное сменой гостей, улеглось, разговор внезапно, без всякой связи с тем, что говорилось до этого, перешел к событиям в Марокко, к войне

на Востоке и к тем затруднениям, которые испытывала в Южной Африке Англия.

Обсуждая эти вопросы, дамы словно разыгрывали благопристойную светскую комедию, много раз ставившуюся на сцене, причем каждая из них знала свою роль назубок.

Вошла новая гостья, маленькая завитая блондинка, и вслед за тем высокая сухопарая немолодая дама покинула будуар.

Заговорили о Линэ, о том, какие у него шансы попасть в академики. Новая гостья была твердо убеждена, что ему перебьет дорогу Кабанон-Леба, автор прекрасной стихотворной инсценировки «Дон Кихота».

— Вы знаете, зимой ее собирается ставить Одеон!

— Вот как? Непременно пойду смотреть,— это настоящее художественное произведение.

Тон у г-жи Вальтер был ровный, любезный и равнодушный: ей не надо было обдумывать свои слова,— она всегда высказывала готовые мнения.

В будуаре стало темно. Она позвала лакея и велела зажечь лампы, но это не мешало ей думать о том, что она забыла заказать в литографии пригласительные карточки на обед, и в то же время прислушиваться к разговору, журчавшему, как ручеек.

Несколько располневшая, но еще не утратившая привлекательности, г-жа Вальтер находилась в том опасном для женщины возрасте, когда закат уже близок. Ей удалось сохраниться благодаря тому, что она тщательно следила за собой, принимала меры предосторожности, заботилась о гигиене тела, пользовалась разными притираниями. Она производила впечатление натуры уравновешенной,— казалось, это одна из тех благоразумных и рассудительных женщин, внутренний мир которых напоминает подстриженный французский сад. Он ничем не поразит вас, но в этом есть своя прелесть. Воображение ей заменял непоказной проницательный и трезвый ум; в ней чувствовались доброта, привязчивость и спокойная благожелательность, распространявшиеся на всех и на вся.

От нее не укрылось, что Дюруа до сих пор не проронил ни слова, что с ним никто не заговаривает, что он чувствует себя неловко. Наконец, воспользовавшись

тем, что дамы все еще были заняты академией, этим своим коньком, и никак не могли с ней расстаться, она обратилась к молодому человеку с вопросом:

— А вы что скажете, господин Дюруа,— ведь вы должны быть осведомлены на этот счет лучше, чем кто бы то ни было?

— Я, сударыня, в данном случае придаю больше значения возрасту и здоровью кандидатов, нежели их, всегда спорным, достоинствам,— не задумываясь, ответил он.— Я стал бы наводить справки не об их заслугах, а об их болезнях. Я не стал бы требовать от них стихотворных переводов из Лопе де Вега, но осведомился бы о состоянии их печени, сердца, почек и спинного мозга. На мой взгляд, расширение сердца, сахарная болезнь или, еще того лучше, начало мышечной атрофии перевесят многотомные рассуждения о патриотических мотивах в поэзии варварских народов.

Его слова были встречены удивленным молчанием.

— Почему же? — улыбаясь, спросила г-жа Вальтер.

— Потому что я всюду и всегда стараюсь найти то, что может доставить удовольствие женщинам,— ответил он.— Академия же, сударыня, привлекает ваше внимание лишь тогда, когда кто-нибудь из академиков умирает. Чем больше их отправляется на тот свет, тем это должно быть для вас приятнее. Но чтобы они скорее умирали, надо выбирать больных и старых.

Дамы, видимо, не понимали, к чему он клонит, и Дюруа счел нужным пояснить свою мысль:

— Откровенно говоря, мне тоже бывает приятно прочитать в парижской хронике о том, что какой-нибудь академик приказал долго жить. Я сейчас же задаю себе вопрос: «Кто на его место?» И намечаю кандидатов. Это игра, прелестная игра,— после кончины кого-нибудь из бессмертных в нее играют во всех парижских салонах,— «игра в смерть и в сорок старцев».

Дамы, все еще недоумевая, заулыбались,— они не могли не оценить меткости его наблюдений.

— Это вы, милостивые государыни, выбираете их,— заключил он, вставая,— выбираете только для того, чтобы они скорей умирали. Так выбирайте же старых, самых старых, наистарейших, а обо всем остальном можете отложить попечение.

И, сделав весьма изящный общий поклон, Дюруа удалился.

— Занятный молодой человек,— как только он вышел, заметила одна из дам.— Кто он такой?

— Один из наших сотрудников,— ответила г-жа Вальтер.— Пока что ему поручают мелкую газетную работу, но я не сомневаюсь, что он скоро выдвинется.

Дюруа, веселый, довольный собой, танцующей походкой шел по бульвару Мальзерба, бормоча себе под нос: «Для начала недурно».

Вечером он помирился с Рашелью.

На следующей неделе произошли два важных события: он был назначен заведующим отделом хроники и приглашен на обед к г-же Вальтер. Связь между этими событиями он уловил без труда.

Для коммерсанта Вальтера, которому и пресса и депутатское звание служили рычагами, «Французская жизнь» была прежде всего коммерческим предприятием. Прикидываясь простачком, никогда не снимая личины добродушия и веселости, он для своих весьма разнообразных целей пользовался только такими людьми, которых он уже проверил, прощупал, распознал, которых считал оборотистыми, напористыми и изворотливыми. И, понаблюдав за Дюруа, он пришел к заключению, что на посту заведующего хроникой этот малый будет незаменим.

До сих пор хроникой ведал секретарь редакции Буарепар, старый журналист, дотошный, исполнительный и робкий, как чиновник. В продолжение тридцати лет он перебывал секретарем в одиннадцати разных газетах и при этом ни в чем не изменил своего образа мыслей и образа действий. Он переходил из одной редакции в другую, как переходят из одного ресторана в другой, почти не замечая, что кухня не везде одинакова. Вопросы политики и религии были ему чужды. Он не за страх, а за совесть служил газете, какова бы она ни была, отдавая ей свои знания и свой драгоценный опыт. Он работал как слепой, который ничего не видит, как глухой, который ничего не слышит, как немой, который никогда ни о чем не говорит. Вместе с тем, отличаясь большой профессиональной чистоплотностью, он ни за что не совершил бы такого поступка, который с точки зре-

ния журналистской этики нельзя было бы признать честным, лояльным и благородным.

Патрон хотя и ценил его, а все же частенько подумывал о том, кому бы передать хронику, которую он называл сердцевиной газеты. Ведь именно отдел хроники распространяет новости, распускает слухи, влияет на публику и на биржу. Надо уметь, как бы невзначай, между двумя заметками о светских увеселениях, сообщить какую-нибудь важную вещь, вернее — только намекнуть на нее. Надо уметь договаривать между строк, опровергать так, чтобы слух становился от этого еще более правдоподобным, утверждать так, чтобы все усомнились в истинности происшествия. Надо вести отдел хроники таким образом, чтобы каждый ежедневно находил там хотя бы одну интересную для него строчку, и тогда хронику будут читать все. Надо помнить обо всем и обо всех, о всех слоях общества, о всех профессиях, о Париже и о провинции, об армии и о художниках, о духовенстве и об университете, о должностных лицах и о куртизанках.

Руководитель этого отдела, командир батальона репортеров, должен быть всегда начеку, должен быть вечно настороже; он должен быть недоверчивым, предусмотрительным, сметливым, гибким, проворным, должен быть во всеоружии коварнейших приемов и обладать безошибочным чутьем, чтобы в мгновение ока отличать достоверные сведения от недостоверных, чтобы знать наверняка, что можно сказать и чего нельзя, чтобы заранее представлять себе, какое впечатление произведет на читателей то или иное известие. Кроме того, он должен все преподносить в такой форме, которая усиливала бы эффект.

Буаренару, несмотря на его многолетнюю службу в редакциях, недоставало мастерства и блеска. А главное, ему недоставало врожденной смекалки, необходимой для того, чтобы постоянно угадывать тайные мысли патрона.

Дюруа мог великолепно поставить дело, он как нельзя более подходил к составу редакции этой газеты, которая, по выражению Норбера де Варена, «плавала в глубоких водах коммерции и в мелких водах политики».

Вдохновителями и подлинными редакторами «Французской жизни» были шесть депутатов, участвовавших в авантюрах, которые предпринимал или поддерживал издатель. В палате их называли «шайкой Вальтера» и завидовали тем солидным кушам, которые они срывали вместе с ним и через его посредство.

Отделом политики заведовал Форестье, но он был пешкой в руках этих дельцов, исполнителем их воли. Передовые статьи он писал у себя дома, «в спокойной обстановке», как он выражался, но по их указаниям.

А для того чтобы придать газете столичный размах, редакция привлекла к участию двух писателей, пользовавшихся известностью каждый в своей области: Жака Риваля, автора фельетонов на злобу дня, и Норбера де Варена, поэта и автора художественных очерков, или, вернее, рассказов, написанных в новой манере.

Затем из многочисленного племени продажных писак, мастеров на все руки, были набраны по дешевке художественные, музыкальные и театральные критики, а также судебный и беговой репортеры. Две дамы из общества, под псевдонимами «Розовое домино» и «Белая лапка», сообщали светские новости, писали о светских нравах, о модах, об этикете, хорошем тоне и перемывали косточки аристократкам.

И «Французская жизнь» «плавала в глубоких и мелких водах», управляемая всеми этими разношерстными кормчими.

Дюруа, еще не успев пережить ту радость, которую ему доставило новое назначение, получил маленький листик картона. На нем было написано: «Г-н и г-жа Вальтер просят господина Жоржа Дюруа пожаловать к ним на обед в четверг 20 января».

Этот знак благоволения, последовавший так быстро за первым, до того обрадовал его, что он поцеловал пригласительную карточку, точно это была любовная записка. Затем отправился к кассиру, чтобы разрешить сложный финансовый вопрос.

Заведующий отделом хроники обыкновенно имеет свой бюджет, из которого он и оплачивает всю ту доброкачественную и не вполне доброкачественную информацию, которую ему, точно огородники, поставляющие первые овощи зеленщику, приносят репортеры.

Для начала Дюруа ассигновали тысячу двести франков в месяц, причем львиную долю этой суммы он намеревался удерживать в свою пользу.

Кассир, уступая его настойчивым просьбам, выдал ему авансом четыреста франков. Дюруа сперва было твердо решил отослать двести восемьдесят франков г-же де Марель, а затем, рассчитав, что ста двадцати франков, которые останутся у него на руках, не хватит на то, чтобы поставить дело на широкую ногу, отложил уплату долга на более отдаленные времена.

В течение двух дней он устраивался на новом месте: в огромной комнате, где помещалась вся редакция, у него был теперь отдельный стол и ящики для корреспонденции. Он занимал один угол комнаты, а в другом сидел Буаренар, склонив над листом бумаги свои черные как смоль кудри, которые, несмотря на его почтенный возраст, еще и не начинали седеть.

Длинный стол посреди комнаты принадлежал «летучим» сотрудникам. Обычно он служил скамьей: на нем усаживались, свесив ноги или поджав их по-турецки. Иной раз человек пять — шесть сидели на этом столе в позе китайских болванчиков и с сосредоточенным видом играли в бильбоке.

Дюруа в конце концов тоже пристрастился к этой игре; под руководством Сен-Потена, следуя его указаниям, он делал большие успехи.

Форестье день ото дня становилось все хуже и хуже, и он предоставил в его распоряжение свое новое превосходное, но довольно тяжелое бильбоке черного дерева, и теперь уже Дюруа, мощной рукой дергая за шнурок увесистый черный шар, считал вполголоса:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В тот день, когда ему предстояло идти на обед к г-же Вальтер, он впервые выбил двадцать очков подряд. «Счастливый день,— подумал он,— мне везет во всем». А в глазах редакции «Французской жизни» умение играть в бильбоке действительно придавало сотруднику некоторый вес.

Он рано ушел из редакции, чтобы успеть переодеться. По Лондонской улице перед ним шла небольшого роста женщина, напоминавшая фигурой г-жу де Марель. Его бросило в жар, сердце учащенно забилось.

Он перешел на другую сторону, чтобы посмотреть на нее в профиль. Она остановилась,— ей тоже надо было перейти улицу. Нет, он ошибся. Вздох облегчения вырвался у Дюруа.

Он часто задавал себе вопрос: как ему вести себя при встрече с ней? Поклониться или же сделать вид, что он ее не заметил?

«Сделаю вид, что не заметил»,— решил он.

Было холодно, лужи затянуло льдом. Сухие и серые в свете газовых фонарей, тянулись тротуары.

Придя домой, он подумал: «Пора переменить квартиру. Здесь мне уже неудобно оставаться». Он находился в приподнятом настроении, готов был бегать по крышам и, расхаживая между окном и кроватью, повторял вслух:

— Что это, удача? Удача! Надо написать отцу.

Изредка он писал ему, и письма от сына доставляли большую радость содержателям нормандского кабачка, что стоял при дороге, на высоком холме, откуда видны Руан и широкая долина Сены.

Изредка и он получал голубой конверт, надписанный крупным, нетвердым почерком, и в начале отцовского послания неизменно находил такие строки:

«Дорогой сын, настоящим довожу до твоего сведения, что мы, я и твоя мать, здоровы. Живем по-старому. Впрочем, должен тебе сообщить...»

Дюруа близко принимал к сердцу деревенские новости, все, что случалось у соседей, сведения о посевах и урожаях.

Завязывая перед маленьким зеркальцем белый галстук, Дюруа снова подумал: «Завтра же напишу отцу. Вот ахнул бы старик, если б узнал, куда я иду сегодня вечером! Там, черт побери, меня угостят таким обедом, какой ему и во сне не снился». И он живо представил себе закопченную кухню в родительском доме, по соседству с пустующей комнатой для посетителей, кастрюли вдоль стен и загорающиеся на них желтоватые отблески, кошку, в позе химеры примостившуюся у огня, деревянный стол, лоснившийся от времени и пролитых напитков, дымящуюся суповую миску и зажженную свечу между двумя тарелками. И еще увидел он отца и мать, этих двух настоящих крестьян, неторопли-

во, маленькими глотками хлебающих суп. Он знал каждую морщинку на их старых лицах, их жесты, движения. Он знал даже, о чем они говорят каждый вечер за ужином, сидя друг против друга.

«Надо будет все-таки съездить к ним»,— подумал Дюруа. Окончив туалет, он погасил лампу и спустился по лестнице.

Доро́гой, на внешних бульварах, его осаждали проститутки. «Оставьте меня в покое!» — отдергивая руку, говорил он с таким яростным презрением, как будто они унижали, как будто они оскорбляли его... За кого принимают его эти шлюхи? Что они, не видят, с кем имеют дело? На нем был фрак, он шел обедать к богатым, почтенным, влиятельным людям — все это вызывало в нем такое чувство, точно он сам стал важной особой, стал совсем другим человеком, человеком из общества, из высшего общества.

Уверенной походкой вошел он в переднюю, освещенную высокими бронзовыми канделябрами, и привычным движением протянул пальто и тросточку двум подбежавшим к нему лакеям.

Все залы были ярко освещены. Г-жа Вальтер принимала гостей во втором, самом обширном. Его она встретила очаровательной улыбкой. Он поздоровался с двумя мужчинами, которые пришли раньше,— с г-ном Фирменом и г-ном Ларош-Матье, депутатами и анонимными редакторами «Французской жизни». Ларош-Матье пользовался огромным влиянием в палате, и это создало ему особый авторитет в редакции. Ни у кого не возникало сомнений, что со временем он станет министром.

Вошел Форестье с женой; его обворожительная супруга была в розовом платье. С обоими депутатами она держала себя запросто,— для Дюруа это было новостью. Минут пять, если не больше, беседовала она вполголоса возле камина с Ларош-Матье. У Шарля был измученный вид. Он очень похудел за последний месяц, кашлял не переставая и все повторял: «Зимой придется ехать на юг».

Жак Риваль и Норбер де Варен явились вместе. Немного погодя дверь в глубине комнаты отворилась, и вошел Вальтер с двумя девушками — хорошенькой и

дурнушкой; одной из них было лет шестнадцать, другой — восемнадцать.

Дюруа знал, что у патрона есть дети, и все-таки он был изумлен. До этого он думал о дочках издателя так, как думаем мы о далеких странах, куда нам заказан путь. Кроме того, он представлял их себе совсем маленькими, а перед ним были взрослые девушки. Эта неожиданность слегка взволновала его.

После того как он был представлен сестрам, они поочередно протянули ему руку, потом сели за маленький столик, по всей вероятности предназначавшийся для них, и начали перебирать мотки шелка в корзиночке.

Должен был прийти еще кто-то. Все молчали, испытывая то особое чувство стесненности, какое всегда испытывают перед званым обедом люди, собравшиеся вместе после по-разному проведенного дня и имеющие между собою мало общего.

Дюруа от нечего делать водил глазами по стене; заметив это, Вальтер издали, с явным намерением похвастать своими приобретениями, крикнул ему:

— Вы смотрите *мои* картины? — Он сделал ударение на слове «мои».— Я вам их сейчас покажу.

Он взял лампу, чтобы дать гостю возможность рассмотреть их во всех подробностях.

— Здесь пейзажи,— сказал он.

В центре висело большое полотно Гийеме — берег моря в Нормандии под грозовым небом. Внизу — лес Арпиньи и принадлежащая кисти Гийоме алжирская равнина с верблюдом на горизонте — огромным длинноногим верблюдом, похожим на некий странный монумент.

Перейдя к другой стене, Вальтер торжественно, словно церемониймейстер, возвестил:

— Великие мастера.

Тут были четыре полотна: «Приемный день в больнице» Жервекса, «Жница» Бастьен-Лепажа, «Вдова» Бугро и «Казнь» Жан-Поля Лоранса. Последняя картина изображала вандейского священника, которого расстреливал у церковной стены отряд «синих».

Когда Вальтер подошел к следующей стене, по его серьезному лицу пробежала улыбка:

— А вот легкий жанр.

Здесь прежде всего бросалась в глаза небольшая картина Жана Беро под названием «Вверху и внизу». Хорошенькая парижанка взбирается по лесенке движущейся конки. Голова ее уже на уровне империала, и сидящие на скамейках мужчины вперяют восхищенные, жадные взоры в это юное личико, появившееся среди них, в то время как лица мужчин, стоящих внизу, на площадке, и разглядывающих ее ноги, выражают досаду и вожделение.

— Ну что? Забавно? Забавно? — держа лампу в руке, с игривым смешком повторял Вальтер.

Затем он осветил «Спасение утопающей» Ламбера.

На обеденном столе, с которого уже убрали посуду, сидит котенок и недоумевающим, растерянным взглядом следит за мухой, попавшей в стакан с водой. Он уже поднял лапу, чтобы поймать ее одним быстрым движением. Но он еще не решился. Он колеблется. Что-то будет дальше?

Затем Вальтер показал «Урок» Детайя: солдат в казарме учит пуделя играть на барабане.

— Остроумно!— заметил патрон.

Дюруа одобрительно посмеивался, выражал свой восторг:

— Чудесно, чудесно, чуде...

И вдруг осекся, услыхав голос только что вошедшей г-жи де Марель.

Патрон продолжал показывать картины и объяснять их содержание.

Он навел лампу на акварель Мориса Лелуара «Препятствие». Посреди улицы затеяли драку два здоровенных парня, два геркулеса, и из-за них вынужден остановиться портшез. В оконце портшеза прелестное женское личико; оно не выражает ни нетерпения, ни страха... оно, если хотите, любуется единоборством этих двух зверей.

— В других комнатах у меня тоже есть картины,— сообщил Вальтер,— только менее известных художников, не получивших еще всеобщего признания. А здесь мой «Квадратный зал». В данный момент я покупаю молодых, совсем молодых, и пока что держу их в резерве, в задних комнатах,— жду, когда они прославятся.

Теперь самое время покупать картины,— понизив голос до шепота, прибавил он.— Художники умирают с голода. Они сидят без гроша... без единого гроша...

Но Дюруа уже ничего не видел, он слушал и не понимал. Г-жа де Марель была здесь, сзади него. Что ему делать? Поклонись он ей, она, чего доброго, повернется к нему спиной или ответит дерзостью. А если он к ней не подойдет, то что подумают другие?

«Во всяком случае надо оттянуть момент встречи»,— решил Дюруа. Он был так взволнован, что у него мелькнула мысль, не сказаться ли ему больным и не уйти ли домой.

Осмотр картин был закончен. Вальтер поставил лампу на стол и пошел встречать новую гостью, а Дюруа снова принялся рассматривать картины, точно он не мог на них налюбоваться.

Он терял голову. Что ему делать? Он слышал голоса, до него долетали обрывки разговора.

— Послушайте, господин Дюруа,— обратилась к нему г-жа Форестье.

Он поспешил к ней. Ей надо было познакомить его с одной своей приятельницей, которая устраивала бал и желала, чтобы о нем появилась заметка в хронике «Французской жизни».

— Непременно, сударыня, непременно...— бормотал он.

Г-жа де Марель находилась теперь совсем близко от него. Ему не хватало смелости повернуться и отойти.

Вдруг ему показалось, что он сошел с ума.

— Здравствуйте, Милый друг,— отчетливо произнесла г-жа де Марель.— Вы меня не узнаете?

Он живо обернулся. Она стояла перед ним, приветливо и радостно улыбаясь. И — протянула ему руку.

Дюруа взял ее руку с трепетом: он все еще опасался какой-нибудь каверзы или ловушки.

— Что с вами случилось? Вас совсем не видно,— простодушно сказала она.

— Я был так занят, сударыня, так занят,— тщетно стараясь овладеть собой, залепетал он.— Господин Вальтер возложил на меня новые обязанности, и у меня теперь масса дел.

Г-жа де Марель продолжала смотреть ему в лицо,

но ничего, кроме расположения, он не мог прочитать в ее глазах.

— Я знаю,— сказала она.— Однако это не дает вам права забывать друзей.

Их разлучила только что появившаяся толстая декольтированная дама с красными руками, с красными щеками, претенциозно одетая и причесанная; по тому, как грузно она ступала, можно было судить о толщине и увесистости ее ляжек.

Видя, что все с нею очень почтительны, Дюруа спросил г-жу Форестье:

— Кто эта особа?

— Виконтесса де Персмюр, та самая, которая подписывается «Белая лапка».

Дюруа был потрясен, он чуть не расхохотался.

— Белая лапка! Белая лапка! А я-то воображал, что это молодая женщина, вроде вас. Так это и есть Белая лапка? Хороша, хороша, нечего сказать!

В дверях показался слуга.

— Кушать подано,— объявил он.

Обед прошел банально и весело: это был один из тех обедов, во время которых говорят обо всем и ни о чем. Дюруа сидел между старшей дочерью Вальтера, дурнушкой Розой, и г-жой де Марель. Соседство последней несколько смущало его, хотя она держала себя в высшей степени непринужденно и болтала с присущим ей остроумием. Первое время Дюруа волновался, чувствовал себя неловко, неуверенно, точно музыкант, который сбился с тона. Но постепенно он преодолевал робость, и в тех вопросительных взглядах, которыми они обменивались беспрестанно, сквозила прежняя, почти чувственная интимность.

Вдруг что-то словно коснулось его ступни. Осторожно вытянув ногу, он дотронулся до ноги г-жи де Марель, и та не отдернула ее. В эту минуту оба они были заняты разговором со своими соседями.

У Дюруа сильно забилось сердце, и он еще немного выставил колено. Ему ответили легким толчком. И тут он понял, что их роман возобновится.

Что они сказали друг другу потом? Ничего особенного, но губы у них дрожали всякий раз, когда встречались их взгляды.

Дюруа, однако, не забывал и дочери патрона и время от времени заговаривал с ней. Она отвечала ему так же, как и ее мать,— не задумываясь над своими словами.

Справа от Вальтера с видом королевы восседала виконтесса де Персмюр. Дюруа без улыбки не мог на нее смотреть.

— А другую вы знаете — ту, что подписывается «Розовое домино»? — тихо спросил он г-жу де Марель.

— Баронессу де Ливар? Великолепно знаю.

— Она вроде этой?

— Нет. Но такая же забавная. Представьте себе шестидесятилетнюю старуху, сухую как жердь,— накладные букли, вставные зубы, вкусы и туалеты времен Реставрации.

— Где они нашли этих ископаемых?

— Богатые выскочки всегда подбирают обломки аристократии.

— А может быть, есть другая причина?

— Никакой другой причины нет.

Тут патрон, оба депутата, Жак Риваль и Норбер де Варен заспорили о политике, и спор этот продолжался до самого десерта.

Когда все общество вернулось в гостиную, Дюруа подошел к г-же де Марель и, заглянув ей в глаза, спросил:

— Вы позволите мне проводить вас?

— Нет.

— Почему?

— Потому что мой сосед, господин Ларош-Матье, отвозит меня домой всякий раз, как я здесь обедаю.

— Когда же мы увидимся?

— Приходите ко мне утром завтракать.

И, ничего больше не сказав друг другу, они расстались.

Вечер показался Дюруа скучным, и он скоро ушел. Спускаясь по лестнице, он нагнал Норбера де Варена. Старый поэт взял его под руку. Они работали в разных областях, и Норбер де Варен, уже не боясь встретить в его лице соперника, относился к нему теперь с отеческой нежностью.

— Может, вы меня немножко проводите? — спросил он.

— С удовольствием, дорогой мэтр,— ответил Дюруа.

И они медленным шагом пошли по бульвару Мальзерба.

Париж был почти безлюден в эту морозную ночь,— одну из тех ночей, когда небо словно раскинулось шире, звезды кажутся выше, а в ледяном дыхании ветра чудится что-то идущее из далеких пространств, еще более далеких, чем небесные светила.

Некоторое время оба молчали.

— Ларош-Матье производит впечатление очень умного и образованного человека,— чтобы что-нибудь сказать, заметил наконец Дюруа.

— Вы находите?— пробормотал старый поэт.

Этот вопрос удивил Дюруа.

— Да,— неуверенно ответил он.— И ведь его считают одним из самых даровитых членов палаты.

— Возможно. На безрыбье и рак рыба. Видите ли, дорогой мой, все это люди ограниченные,— их помыслы вращаются вокруг политики и наживы. Узкие люди,— с ними ни о чем нельзя говорить, ни о чем из того, что нам дорого. Ум у них затянуло тиной, или, вернее, нечистотами, как Сену под Аньером.

Ах, как трудно найти человека с широким кругозором, напоминающим тот беспредельный простор, воздухом которого вы дышите на берегу моря! Я знал таких людей — их уже нет в живых.

Норбер де Варен говорил внятно, но тихо,—чувствовалось, что поэт сдерживает голос, иначе он гулко раздавался бы в ночной тишине. Поэт был взволнован: душу его, казалось, гнетет печаль и заставляет дрожать все ее струны,— так содрогается земля, когда ее сковывает мороз.

— Впрочем,— продолжал он,— есть у тебя талант или нет,— не все ли равно, раз всему на свете приходит конец!

Он смолк.

У Дюруа было легко на сердце.

— Вы сегодня в дурном настроении, дорогой мэтр,— улыбаясь, заметил он.

— У меня всегда такое настроение, дитя мое,— возразил Норбер де Варен.— Погодите: через несколько лет и с вами будет то же самое. Жизнь — гора. Поднимаясь, ты глядишь вверх, и ты счастлив, но только успел взобраться на вершину, как уже начинается спуск, а впереди — смерть. Поднимаешься медленно, спускаешься быстро. В ваши годы все мы были веселы. Все мы были полны надежд, которые, кстати сказать, никогда не сбываются. В мои годы человек не ждет уже ничего... кроме смерти.

Дюруа засмеялся:

— Черт возьми, у меня даже мурашки забегали.

— Нет,— возразил Норбер де Варен,— сейчас вы меня не поймете, но когда-нибудь вы вспомните все, что я вам говорил.

Видите ли, настанет день,— а для многих он настает очень скоро,— когда вам, как говорится, уже не до смеха, когда вы начинаете замечать, что за всем, куда ни посмотришь, стоит смерть.

О, вы не в силах понять самое это слово «смерть»! В ваши годы оно пустой звук. Мне же оно представляется ужасным.

Да, его начинаешь понимать вдруг, неизвестно почему, без всякой видимой причины, и тогда все в жизни меняет свой облик. Я вот уже пятнадцать лет чувствую, как она гложет меня, словно во мне завелся червь. Она подтачивала меня исподволь, день за днем, час за часом, и теперь я точно дом, который вот-вот обвалится. Она изуродовала меня до того, что я себя не узнаю. От жизнерадостного, бодрого, сильного человека, каким я был в тридцать лет, не осталось и следа. Я видел, с какой злобной, расчетливой кропотливостью она окрашивала в белый цвет мои черные волосы! Она отняла у меня гладкую кожу, мускулы, зубы, все мое юное тело, и оставила лишь полную отчаяния душу, да и ту скоро похитит.

Да, она изгрызла меня, подлая. Долго, незаметно, ежесекундно, беспощадно разрушала она все мое существо. И теперь, за что бы я ни принялся, я чувствую, что умираю. Каждый шаг приближает меня к ней, каждое мое движение, каждый вздох помогает ей делать свое гнусное дело. Дышать, пить, есть, спать, трудить-

ся, мечтать — все это значит умирать. Жить наконец — тоже значит умирать!

О, вы все это еще узнаете! Если бы вы подумали об этом хотя бы четверть часа, вы бы ее увидели.

Чего вы ждете? Любви? Еще несколько поцелуев — и вы уже утратите способность наслаждаться.

Еще чего? Денег? Зачем? Чтобы покупать женщин? Велика радость! Чтобы объедаться, жиреть и ночи напролет кричать от подагрической боли?

Еще чего? Славы? На что она, если для вас уже не существует любовь?

Ну, так чего же? В конечном счете все равно смерть.

Я вижу ее теперь так близко, что часто мне хочется протянуть руку и оттолкнуть ее. Она устилает землю и наполняет собой пространство. Я нахожу ее всюду. Букашки, раздавленные посреди дороги, сухие листья, седой волос в бороде друга — все ранит мне сердце и кричит: «Вот она!»

Она отравляет мне все, над чем я тружусь, все, что я вижу, все, что я пью или ем, все, что я так люблю: лунный свет, восход солнца, необозримое море, полноводные реки и воздух летних вечеров, которым, кажется, никогда не надышишься вволю!

Он запыхался и оттого шел медленно, размышляя вслух и почти не думая о своем спутнике.

— И никто оттуда не возвращается, никто...— продолжал он.— Можно сохранить формы, в которые были отлиты статуи, слепки, точно воспроизводящие тот или иной предмет, по моему телу, моему лицу, моим мыслям, моим желаниям уже не воскреснуть. А между тем народятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут так же расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, и душа у них будет такая же, как и у меня, но я-то уж не вернусь, и они ничего не возьмут от меня, все эти бесчисленные создания, бесчисленные и такие разные, совершенно разные, несмотря на их почти полное сходство.

За что ухватиться? Кому излить свою скорбь? Во что нам верить?

Религии — все до одной — нелепы: их мораль рассчитана на детей, их обещания эгоистичны и чудовищно глупы.

Одна лишь смерть несомненна.

Он остановился и, взяв Дюруа за отвороты пальто, медленно заговорил:

— Думайте об этом, молодой человек, думайте дни, месяцы, годы, и вы по-иному станете смотреть на жизнь. Постарайтесь освободиться от всего, что вас держит в тисках, сделайте над собой нечеловеческое усилие и еще при жизни отрешитесь от своей плоти, от своих интересов, мыслей, отгородитесь от всего человечества, загляните в глубь вещей — и вы поймете, как мало значат споры романтиков с натуралистами и дискуссии о бюджете.

Он быстрым шагом пошел вперед.

— Но в то же время вы ощутите и весь ужас безнадежности. Вы будете отчаянно биться, погружаясь в пучину сомнений. Вы будете кричать во всю мочь: «Помогите!»— и никто не отзовется. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении, о спасении — и никто не придет к вам.

Почему мы так страдаем? Очевидно, потому, что мы рождаемся на свет, чтобы жить не столько для души, сколько для тела. Но мы обладаем способностью мыслить, и наш крепнущий разум не желает мириться с косностью бытия.

Взгляните на простых обывателей: пока их не постигнет несчастье, они довольны своей судьбой, ибо мировая скорбь им несвойственна. Животные тоже не знают ее.

Он снова остановился и, подумав несколько секунд, тоном смирившегося и усталого человека сказал:

— Я погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, ни бога.

После некоторого молчания он прибавил:

— У меня есть только рифма.

И, подняв глаза к небу, откуда струился матовый свет полной луны, продекламировал:

> И в небе я ищу разгадку жизни темной,
> Под бледною луной бродя в ночи бездомной.

Они молча перешли мост Согласия, миновали Бурбонский дворец.

— Женитесь, мой друг,— снова заговорил Норбер

де Варен,— вы себе не представляете, что значит быть одному в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь невыносимую тоску. Когда я сижу вечером дома и греюсь у камина, мне начинает казаться, что я один в целом свете, что я до ужаса одинок и в то же время окружен какими-то смутно ощутимыми опасностями, чем-то таинственным и страшным. Перегородка, отделяющая меня от моего неведомого соседа, создает между нами такое же расстояние, как от меня до звезд, на которые я гляжу в окно. И меня охватывает лихорадка, лихорадка отчаяния и страха, меня пугает безмолвие стен. Сколько грусти в этом глубоком молчании комнаты, где ты живешь один! Не только твое тело, но и душу окутывает тишина, и, чуть скрипнет стул, ты уже весь дрожишь, ибо каждый звук в этом мрачном жилище кажется неожиданным.

Немного помолчав, он прибавил:

— Хорошо все-таки, когда на старости лет у тебя есть дети!

Они прошли половину Бургундской улицы. Остановившись перед высоким домом, поэт позвонил.

— Забудьте, молодой человек, всю эту старческую воркотню и живите сообразно с возрастом. Прощайте!— пожав своему спутнику руку, сказал он и скрылся в темном подъезде.

Дюруа с тяжелым сердцем двинулся дальше. У него было такое чувство, точно он заглянул в яму, наполненную костями мертвецов,— яму, в которую он тоже непременно когда-нибудь свалится.

— Черт побери!— пробормотал он.— Воображаю, как приятно бывать у него. Нет уж, я бы не сел в первый ряд, когда он производит смотр своим мыслям, слуга покорный!

Но тут ему пришлось пропустить надушенную даму, вышедшую из кареты и направлявшуюся к себе домой; в воздухе повеяло ирисом и вербеной, и Дюруа с наслаждением вдохнул этот запах. Легкие жадно вбирали его, радостно забилось сердце. Он подумал о том, что завтра увидит г-жу де Марель, и при одном воспоминании о ней по его телу прошла горячая волна.

Все улыбалось ему, жизнь была к нему благосклонна. Как хорошо, когда надежды сбываются!

Заснул он, чувствуя себя на верху блаженства, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по аллее Булонского леса.

Ветер переменил направление, за ночь погода сделалась мягче, солнце светило, точно в апреле, стояла теплынь. Любители Булонского леса, все как один, вышли на зов ласкового, ясного неба.

Дюруа шел медленно, упиваясь свежим и сочным, как весенняя зелень, воздухом. Миновав Триумфальную арку, он пошел по широкой аллее, вдоль дороги, предназначенной для верховой езды. Он смотрел на богатых светских людей, мужчин и женщин, ехавших кто галопом, кто рысью, и если и завидовал им сейчас, то чуть-чуть. Профессия репортера сделала из него что-то вроде адрес-календаря знаменитостей и энциклопедии парижских скандалов, и он знал почти всех этих господ по фамилии, знал, в какую сумму исчисляется их состояние, знал закулисную сторону их жизни.

Мимо него проезжали стройные амазонки в темных суконных костюмах, обтягивавших фигуру, и было в них что-то высокомерное, неприступное, свойственное многим женщинам, когда они сидят на лошади. А Дюруа тем временем развлекался: вполголоса, точно псаломщик в церкви, называл имена, титулы и чины их настоящих или приписываемых им любовников; при этом один ряд имен: «Барон де Танкле, князь де ла Тур-Энгеран...» — порой сменялся другим: «Уроженки острова Лесбос: Луиза Мишо из Водевиля, Роза Маркетен из Оперы».

Эта игра казалась ему очень забавной: он словно убеждался воочию, что под чопорной внешностью скрывается исконная, глубоко укоренившаяся человеческая низость, и это его утешало, радовало, воодушевляло.

— Лицемеры! — громко сказал он и принялся искать глазами тех, о ком ходили самые темные слухи.

Среди всадников оказалось немало таких, о ком поговаривали, что они ловко передергивают карту, — как бы то ни было, игорные дома являлись для них неистощимым, единственным и, вне всякого сомнения, подозрительным источником дохода.

Иные, пользовавшиеся самой широкой известностью, жили исключительно на средства жен, и это знали все; иные — на средства любовниц, как уверяли люди осведомленные. Многие из них платили свои долги (привычка похвальная), но никто не мог бы сказать, где они доставали для этого деньги (тайна весьма сомнительная). Перед глазами Дюруа мелькали денежные тузы, чье сказочное обогащение началось с кражи и которых, тем не менее, пускали всюду, в лучшие дома; были тут и столь уважаемые лица, что при встрече с ними мелкие буржуа снимали шляпу, хотя ни для кого из тех, кто имел возможность наблюдать свет с изнанки, не составляло тайны, что они беззастенчиво обворовывают крупнейшие государственные предприятия.

Высокомерный вид, надменно сжатые губы, а также нахальное выражение лица являлись отличительными особенностями всех этих господ: и тех, кто носил бакенбарды, и тех, кто носил только усы.

Дюруа посмеивался.

— Экий сброд! — повторял он. — Шайка жуликов, шайка мошенников!

Но вот пронеслась красивая открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развевающимися гривами и хвостами; лошадьми правила молодая и миниатюрная белокурая женщина, известная куртизанка, сзади помещались два грума. Дюруа остановился, — ему хотелось поклониться ей, хотелось аплодировать этой выскочке, бойко торговавшей любовью и с такою дерзостью выставлявшей на погляденье в час, когда все эти лицемерные аристократы выезжают на прогулку, кричащую роскошь, которую она заработала под одеялом. Быть может, он смутно сознавал, что между ним и ею есть нечто общее, что в ее натуре заложено нечто родственное ему, что они люди одной породы, одного душевного строя и что он достигнет своей цели столь же смелыми приемами.

Назад он шел медленно, с чувством глубокого удовлетворения, и все же явился к своей прежней любовнице несколько раньше условленного часа.

Выйдя к нему, она протянула губы с таким видом, точно между ними ничего не произошло; на несколько секунд она даже забыла благоразумную осторожность,

обыкновенно удерживавшую ее от бурных проявлений страсти у себя дома.

— Ты знаешь, милый, какая досада? — сказала она, целуя закрученные кончики его усов. — Я надеялась провести с тобой чудесный медовый месяц, а тут, как снег на голову, свалился муж: ему дали отпуск. Но я не могу целых полтора месяца не видеть тебя, особенно после нашей легкой размолвки, и вот как я вышла из положения: я ему уже говорила о тебе, — в понедельник ты придешь к нам обедать, и я вас познакомлю.

Дюруа колебался: он был слегка озадачен, ему еще не приходилось бывать в гостях у человека, с женой которого он состоял в связи. Он со страхом думал о том, что его может выдать легкое смущение, взгляд, любой пустяк.

— Нет, — пробормотал он, — я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.

Наивно глядя на него широко раскрытыми от удивления глазами, она продолжала настаивать:

— Но отчего же? Что за вздор! Это так часто бывает! Честное слово, я думала, что ты умнее.

Это его задело.

— Ну хорошо, я приду обедать в понедельник.

— А чтобы это выглядело вполне прилично, я позову Форестье, — прибавила г-жа де Марель. — Хотя, должна сознаться, не любительница я принимать у себя гостей.

До самого понедельника Дюруа не помышлял о предстоящей встрече. Но когда он поднимался по лестнице к г-же де Марель, им овладело непонятное беспокойство: не то чтобы ему была отвратительна мысль, что ему придется пожать руку ее супругу, пить его вино, есть его хлеб,— нет, он просто боялся, боялся неизвестно чего.

Его провели в гостиную, и там ему, как всегда, пришлось ждать. Потом отворилась дверь, и высокий седобородый мужчина с орденом на груди, безукоризненно одетый и важный, подойдя к нему, изысканно вежливо произнес:

— Очень рад познакомиться с вами, сударь, жена мне много о вас рассказывала.

Стараясь придать своему лицу самое дружелюбное выражение, Дюруа шагнул навстречу хозяину и нарочито крепко пожал ему руку. Но как только они уселись, язык у Дюруа прилип к гортани.

— Давно вы пишете в газетах? — подкинув в камин полено, осведомился г-н де Марель.

— Всего несколько месяцев, — ответил Дюруа.

— Вот как! Быстро же вы сделали карьеру!

— Да, довольно быстро.

И он принялся болтать о том о сем, почти не вдумываясь в то, что говорил, пользуясь теми общими фразами, к которым прибегают люди, встречающиеся впервые. Он уже успокоился, положение казалось ему теперь забавным. Почтенные седины и серьезная физиономия г-на де Мареля смешили Дюруа, и, глядя на него, он думал: «Я наставил тебе рога, старина, я наставил тебе рога». Мало-помалу им овладело чувство постыдного внутреннего удовлетворения, он переживал бурную упоительную радость — радость непойманного вора. Ему внезапно захотелось войти к этому человеку в дружбу, вкрасться к нему в доверие, выведать все его секреты.

Неожиданно вошла г-жа де Марель и, бросив на них лукавый и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа. При муже он не осмелился поцеловать ей руку, как это делал всегда.

Она была весела и спокойна; чувствовалось, что в силу своей врожденной и откровенной беспринципности эта видавшая виды женщина считает состоявшуюся встречу вполне естественной и обыкновенной. Вошла Лорина и с необычной для нее застенчивостью подставила Жоржу лобик, — присутствие отца, видимо, стесняло ее.

— Отчего же ты не назвала его сегодня Милым другом? — спросила мать.

Девочка покраснела так, как будто по отношению к ней совершили величайшую бестактность, сказали про нее что-то такое, чего нельзя было говорить, выдали заветную и несколько предосудительную тайну ее сердца.

Явились Форестье; все пришли в ужас от того, как выглядит Шарль. За последнюю неделю он страшно осунулся, побледнел; кашлял он не переставая. Он объ-

явил, что в следующий четверг по настоянию врача едет с женой в Канн.

Сидели они недолго.

— По-моему, его дело плохо, — покачав головой, заметил Дюруа. — Не жилец он на этом свете.

— Да, конченый человек, — равнодушно подтвердила г-жа де Марель. — А женился он на редкость удачно.

— Много ему помогает жена? — спросил Дюруа.

— Вернее сказать, она делает за него все. Она в курсе всех его дел, всех знает, хотя можно подумать, что она ни с кем не видится. Добивается всего, чего ни захочет, в любое время и любыми средствами. О, таких тонких и ловких интриганок поискать! Настоящее сокровище для того, кто желает преуспеть.

— Разумеется, она не замедлит выйти замуж вторично? — осведомился Дюруа.

— Да, — ответила г-жа де Марель. — Я не удивлюсь, если у нее и сейчас уже есть кто-нибудь на примете... какой-нибудь депутат... разве только... он не пожелает... потому что... потому что... тут могут возникнуть серьезные препятствия... морального характера... Впрочем, я ничего не знаю. Довольно об этом.

— Вечно ты чего-то не договариваешь, не люблю я этой манеры, — проворчал г-н де Марель; в тоне его слышалось вялое раздражение. — Никогда не нужно вмешиваться в чужие дела. Надо предоставить людям поступать, как им подсказывает совесть. Этому правилу должны бы следовать все.

Дюруа ушел взволнованный: он уже смутно предугадывал какие-то новые возможности.

На другой день он отправился с визитом к Форестье; в доме у них заканчивались приготовления к отъезду. Шарль, лежа на диване, преувеличенно тяжело дышал.

— Мне надо было уехать месяц назад,— твердил он.

Хотя обо всем уже было переговорено с Вальтером, тем не менее он дал Дюруа ряд деловых указаний.

Уходя, Жорж крепко пожал руку своему приятелю.

— Ну, старик, до скорого свидания!

Г-жа Форестье пошла проводить его.

— Вы не забыли наш уговор? — с живостью обратился он к ней. — Ведь мы друзья и союзники, не так ли? А потому, если я вам зачем-нибудь понадоблюсь,— не стесняйтесь. Телеграмма, письмо — и я к вашим услугам.

— Спасибо, я не забуду, — прошептала она.

Взгляд ее говорил то же самое, но только еще нежнее и проникновеннее.

На лестнице Дюруа встретил медленно поднимавшегося де Водрека, которого он уже как-то видел у г-жи Форестье. Граф имел печальный вид, — быть может, ему было грустно оттого, что она уезжает?

Желая выказать перед ним свой светский лоск, журналист поспешил поклониться.

Де Водрек ответил учтивым, но несколько высокомерным поклоном.

В четверг вечером Форестье уехали.

VII

После отъезда Шарля Дюруа стал играть более видную роль в редакции «Французской жизни». Он напечатал за своей подписью несколько передовиц, продолжая в то же время подписывать хронику, так как патрон требовал, чтобы каждый сотрудник отвечал за свой материал. Вступал он и в полемику, причем всякий раз блестяще выходил из положения. Между тем постоянное общение с государственными деятелями вырабатывало в нем ловкость и проницательность — качества, необходимые для сотрудника политического отдела.

На горизонте Дюруа было только одно облачко. На него постоянно нападала одна злопыхательствовавшая газетка, выходившая под названием «Перо», — точнее, в его лице она нападала на заведующего отделом хроники «Французской жизни», «отделом сногсшибательной хроники г-на Вальтера», как выражался анонимный сотрудник этой газетки. Дюруа ежедневно находил в ней прозрачные намеки, колкости и всякого рода инсинуации.

— Терпеливый вы человек, — сказал ему как-то Жак Риваль.

— Ничего не поделаешь,— пробормотал Дюруа.— Пока прямого нападения нет.

Но вот однажды не успел Дюруа войти в редакционный зал, как Буаренар протянул ему номер «Пера».

— Смотрите, опять неприятная для вас заметка.

— А-а! В связи с чем?

— Ерунда, в связи с тем, что какую-то Обер задержал агент полиции нравов.

Жорж взял газету и прочел заметку под названием «Дюруа забавляется»:

«Знаменитый репортер «Французской жизни» объявляет, что г-жа Обер, которая, как мы об этом сообщали, была арестована агентом гнусной полиции нравов, существует лишь в нашем воображении. Между тем названная особа проживает на Монмартре, улица Экюрей, 18. Впрочем, мы прекрасно отдаем себе отчет, какого рода интерес или, вернее, какого рода интересы побуждают агентов банка Вальтера защищать агентов префекта полиции, который смотрит сквозь пальцы на их коммерцию. Что же касается самого репортера, то уж лучше бы он сообщил нам какую-нибудь сенсационную новость, — ведь он специалист по части известий о смерти, которые завтра же будут опровергнуты, сражений, которые никогда не происходили, и торжественных речей, произнесенных монархами, которые и не думали ничего говорить, — словом, мастер всей той информации, что составляет побочные доходы Вальтера, — или пусть бы он рассказал невинные сплетни о вечерах у женщин, пользующихся сомнительным успехом, или наконец расхвалил качество продуктов, приносящих немалую прибыль кое-кому из наших собратьев».

Дюруа, не столько взбешенный, сколько озадаченный, понял одно: под всем этим крылось нечто весьма для него неприятное.

— Кто вам дал эти сведения? — спросил Буаренар.

Дюруа тщетно перебирал в памяти своих сотрудников. Наконец вспомнил:

— Ах да, это Сен-Потен!

Перечитав заметку, он покраснел от злости: его обвиняли в продажности.

— Как! — воскликнул он. — Они утверждают, что мне платят за...

— Ну, разумеется. Они вам сделали гадость. А патрон в таких случаях поблажки не дает. Хроникеры так часто...

В это время вошел Сен-Потен. Дюруа устремился к нему.

— Вы читали заметку в «Пере»?

— Да, я сейчас прямо от госпожи Обер. Она действительно существует, но не была арестована. Этот слух ни на чем не основан.

Дюруа бросился к патрону; тот встретил его холодно, глядел недоверчиво.

— Поезжайте к этой особе, — выслушав его объяснения, сказал Вальтер, — а потом составьте опровержение таким образом, чтобы о вас больше не писали подобных вещей. Я имею в виду то, чем кончается заметка. Это бросает тень и на газету, и на меня, и на вас. Журналист, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений.

Дюруа, в качестве проводника взяв с собой Сен-Потена, сел в фиакр.

— Монмартр, улица Экюрей, восемнадцать! — крикнул он кучеру.

Им пришлось подняться на седьмой этаж огромного дома. Дверь отворила старуха в шерстяной кофте.

— Опять ко мне? — при виде Сен-Потена заворчала она.

— Я привел к вам инспектора полиции, — ответил Сен-Потен, — вы должны ему рассказать все, что с вами случилось.

Старуха впустила их.

— После вас приходили еще двое из какой-то газеты, не знаю только, из какой, — сообщила она и обратилась к Дюруа: — Так вы, сударь, хотите знать, как это было?

— Да. Правда ли, что вас арестовал агент полиции нравов?

Она всплеснула руками:

— Ничего подобного, сударь вы мой, ничего подобного. Дело было так. У моего мясника мясо хорошее,

да только он обвешивает. Я это часто за ним замечала, но ему — ни слова, а тут прошу у него два фунта отбивных, потому ко мне должны прийти дочка с зятем, — гляжу: он вешает одни обрезки да кости, — правда, отбивных без костей не бывает, да он-то мне кладет одни кости. Правда и то, что из этого можно сделать рагу, но ведь я-то прошу отбивных, — зачем же мне какие-то обрезки? Ну, я отказалась, тогда он меня назвал старой крысой, а я его старым мошенником. Слово за слово, сцепились мы с ним, а возле лавки уже собрался народ, человек сто, и ну гоготать, и ну гоготать! В конце концов подошел полицейский и повел нас к комиссару. Побыли мы у комиссара — и разошлись врагами. С тех пор я беру мясо в другом месте, даже лавку его всякий раз обхожу, — от греха подальше.

На этом она кончила свой рассказ.

— Все? — спросил Дюруа.

— Вот все, что было, сударь вы мой.

Старуха предложила Дюруа рюмку черносмородинной наливки, он отказался; тогда она пристала к нему, чтобы он упомянул в протоколе, что мясник обвешивает.

Вернувшись в редакцию, Дюруа написал опровержение:

«Анонимный писака из «Пера», выдернув у себя перышко, с явной целью опорочить меня, утверждает, что одна почтенного возраста женщина была арестована агентом полиции нравов, — я же это отрицаю. Я видел г-жу Обер своими глазами, — ей по меньшей мере шестьдесят лет, — и она во всех подробностях рассказала мне о своей ссоре с мясником: ссора эта возникла из-за того, что он обвесил ее, когда она покупала у него отбивные котлеты, и дело кончилось объяснением у комиссара полиции.

Таковы факты.

Что касается других инсинуаций сотрудника «Пера», то я считаю ниже своего достоинства на них отвечать. Тем более что изобретатель таковых скрывается под маской.

Жорж Дюруа».

Вальтер и вошедший в это время к нему в кабинет Жак Риваль нашли, что этого достаточно; решено было поместить опровержение в ближайшем же номере, прямо под отделом хроники.

Дюруа рано вернулся домой, несколько встревоженный и взволнованный. Что ему ответит аноним? Кто он такой? Почему так резко на него нападает? Зная крутой нрав журналистов, легко можно предположить, что из этой чепухи выйдет целая история. Спал Дюруа плохо.

Когда на другой день он перечитал свою заметку в газете, тон ее показался ему более оскорбительным, чем в рукописи. Пожалуй, отдельные выражения надо было смягчить.

Весь день он нервничал и опять почти не спал ночь. Встал он на рассвете, чтобы поскорее купить номер «Пера» с ответом на его опровержение.

Погода снова изменилась: было очень холодно. Вдоль тротуаров тянулись ледяные ленты прихваченных морозом ручьев.

Газеты еще не поступали в киоски. И тут Дюруа невольно вспомнил день, когда была напечатана его первая статья — «Воспоминания африканского стрелка». Руки и ноги у него закоченели, он уже чувствовал сильную боль, особенно в кончиках пальцев. Чтобы согреться, он начал бегать вокруг киоска, в окошке которого виден был лишь нос, красные щеки и шерстяной платок продавщицы, сидевшей на корточках подле жаровни.

Наконец газетчик просунул в форточку долгожданную кипу, и вслед за тем женщина протянула Жоржу развернутый номер «Пера».

Поискав глазами, Дюруа сперва не нашел своего имени. Он уже перевел дух, как вдруг увидел выделенную двумя чертами заметку:

«Почтенный Дюруа, сотрудник «Французской жизни», написал опровержение, но, опровергая, он снова лжет. Впрочем, он признает, что г-жа Обер действительно существует и что агент полиции водил ее в участок. Ему оставалось лишь после слов «агент полиции»

вставить еще одно слово: «нравов», и тогда все было бы сказано.

Но совесть у некоторых журналистов стоит на одном уровне с их дарованием.

Я подписываюсь:

Луи Лангремон».

У Дюруа сильно забилось сердце. Не отдавая себе ясного отчета в своих поступках, он пошел домой переодеться. Да, его оскорбили, оскорбили так, что всякое промедление становится невозможным. Из-за чего все это вышло? Ни из-за чего. Из-за того, что какая-то старуха поругалась с мясником.

Он быстро оделся и, хотя еще не было восьми, отправился к Вальтеру.

Вальтер уже встал и читал «Перо».

— Итак, — увидев Дюруа, торжественно начал он,— вы, конечно, не намерены отступать?

Дюруа ничего ему не ответил.

— Немедленно отправляйтесь к Жаку Ривалю, — продолжал издатель, — он вам все устроит.

Пробормотав нечто неопределенное, Дюруа отправился к фельетонисту. Тот еще спал. Звонок заставил его вскочить с постели.

— Дьявольщина! Придется к нему поехать, — прочитав заметку, сказал он. — Кого бы вы хотели вторым секундантом?

— Право, не знаю.

— Что, если Буаренара? Как вы думаете?

— Буаренара так Буаренара.

— Фехтуете вы хорошо?

— Совсем не умею.

— А, черт! Ну, а из пистолета?

— Немного стреляю.

— Прекрасно. Пока я займусь вашими делами, вы поупражняйтесь. Подождите минутку.

Он прошел к себе в туалетную и вскоре вернулся умытый, выбритый, одетый безукоризненно.

— Пойдемте,— сказал он.

Риваль жил в нижнем этаже маленького особняка. Он провел Дюруа в огромный подвал с наглухо заби-

тыми окнами на улицу — подвал, превращенный в тир и в фехтовальный зал.

Здесь он зажег цепь газовых рожков, обрывавшуюся в глубине смежного, менее обширного подвального помещения, где стоял железный манекен, окрашенный в красный и синий цвета, положил на стол четыре пистолета новой системы, заряжающиеся с казенной части, а затем, точно они были уже на месте дуэли, начал отрывисто подавать команду:

— Готово? Стреляйте! Раз, два, три!

В ранней юности Дюруа часто стрелял на огороде птиц из старого отцовского седельного пистолета, и теперь это ему пригодилось: покорно, не рассуждая, поднимал он руку, целился, спускал курок и часто попадал манекену прямо в живот, выслушивая при этом одобрительные замечания Жака Риваля:

— Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы делаете успехи.

Уходя, он сказал:

— Стреляйте так до полудня. Вот вам патроны, не жалейте их. Я зайду за вами, чтобы вместе позавтракать, и все расскажу.

С этими словами он вышел.

Сделав еще несколько выстрелов, Дюруа сел и задумался.

«Какая, однако, все это чушь! Кому это нужно? Неужели мерзавец перестает быть мерзавцем только оттого, что дрался на дуэли? И с какой радости честный человек, которого оскорбила какая-то мразь, должен подставлять свою грудь под пули?»

Мысли его приняли мрачное направление, и он невольно вспомнил то, что говорил Норбер де Варен о бессилии разума, убожестве наших идей, тщете наших усилий и о нелепости человеческой морали.

— Черт возьми, как он был прав! — вслух проговорил Дюруа.

Ему захотелось пить. Где-то капала вода; он обернулся и, увидев душ, подошел и напился прямо из трубки. Затем снова погрузился в раздумье. В подвале было мрачно, мрачно, как в склепе. Глухой стук экипажей, доносившийся с улицы, напоминал отдаленные раскаты грома. Который теперь час? Время тянулось

здесь, как в тюрьме, где его указывают и отмеряют лишь приходы тюремщика, который приносит пищу. Он ждал долго-долго.

Но вот послышались шаги, голоса, и вместе с Буаренаром вошел Жак Риваль.

— Все улажено! — издали крикнул он.

Дюруа подумал, что дело может кончиться извинительным письмом. Сердце у него запрыгало.

— А-а!.. Благодарю,— пробормотал он.

— Этот Лангремон — не робкого десятка,— продолжал фельетонист,— он принял все наши условия. Двадцать пять шагов, стрелять по команде, подняв пистолет. Так рука гораздо тверже, чем при наводке сверху вниз. Смотрите, Буаренар, вы увидите, что я прав.

И, взяв пистолет, он начал стрелять, показывая, что, наводя снизу вверх, легче сохранить линию прицела.

— А теперь пойдемте завтракать, уже первый час,— сказал он немного погодя.

Они позавтракали в ближайшем ресторане. Дюруа за все время не проронил ни слова; он ел только для того, чтобы не подумали, что он трусит. Придя вместе с Буаренаром в редакцию, он машинально, рассеянно принялся за работу. Все нашли, что он держится великолепно.

Среди дня Жак Риваль зашел пожать руку Дюруа, и они уговорились, что секунданты заедут за ним в ландо к семи утра, а затем все вместе отправятся в лес Везине, где и должна была состояться встреча.

Все это случилось внезапно, помимо него, никто даже не полюбопытствовал, что он обо всем этом думает, никто не дал себе труда спросить, согласен он или нет; события развивались с такой быстротой, что он до сих пор не мог опомниться, прийти в себя, разобраться в происшедшем.

Пообедав с Буаренаром, который, как преданный друг, весь день не отходил от него ни на шаг, Дюруа около девяти вечера вернулся домой.

Оставшись один, он несколько минут большими быстрыми шагами ходил из угла в угол. Он был до того взволнован, что ни о чем не мог думать. Одна-

единственная мысль гвоздем сидела у него в голове: «Завтра дуэль», но, кроме безотчетной, все растущей тревоги, она ничего не вызывала в нем. И, однако, был же он солдатом, стрелял же он когда-то в арабов,— впрочем, большой опасности это для него не представляло: ведь это почти то же, что охота на кабанов.

В общем он поступил как должно. Он показал себя с лучшей стороны. О нем заговорят, его будут хвалить, поздравлять. Но тут, как это бывает с людьми в минуту сильной душевной встряски, Дюруа громко воскликнул:

— Какая же он скотина!

Потом сел и задумался. На столе валялась визитная карточка противника, которую Риваль дал ему для того, чтобы он знал адрес. Он снова перечел ее — уже в двадцатый раз: «Луи Лангремон, улица Монмартр, 176». Вот и все.

Он всматривался в этот ряд букв, и они казались ему таинственными, полными зловещего смысла. «Луи Лангремон» — что это за человек? Сколько ему лет? Какого он роста? Какое у него лицо? Разве это не безобразие, что какой-то посторонний человек, незнакомец, вдруг, ни с того ни с сего, здорово живешь, нарушает мирное течение вашей жизни из-за того, что какая-то старуха поругалась со своим мясником?

— Экая скотина! — снова проговорил он вслух.

Он сидел неподвижно, смотрел, не отрываясь, на визитную карточку и размышлял. В нем росла злоба на этот клочок бумаги, дикая злоба, к которой примешивалось странное чувство неловкости. Какая глупая история! Он схватил ножницы для ногтей и, с таким видом, точно наносил кому-то удар кинжалом, проткнул напечатанное на картоне имя.

Итак, он должен драться, и притом на пистолетах! Почему он не выбрал шпагу? Отделался бы царапиной на руке, а тут еще неизвестно, чем кончится.

— А ну, не вешать голову! — сказал он себе.

Звук собственного голоса заставил его вздрогнуть, и он огляделся по сторонам. Какой он, однако, стал нервный! Он выпил стакан воды и начал раздеваться.

Затем лег, погасил свет и закрыл глаза.

Под одеялом ему стало очень жарко, хотя в ком-

нате было весьма прохладно, и ему так и не удалось задремать. Он все время ворочался: полежав минут пять на спине, ложился на левый бок, потом на правый.

К тому же его мучила жажда. Он встал, выпил воды, и тут им овладело беспокойство: «Что это, неужели я трушу?»

Отчего сердце у него начинает бешено колотиться при малейшем привычном шорохе в комнате? Чуть только скрипнет пружина стенных часов перед боем, как по телу у него пробегает дрожь, ему становится нечем дышать, и несколько секунд он ловит ртом воздух.

Он принялся подробно, как психолог, анализировать свое состояние: «Боюсь я или нет?»

Конечно, нет, не боится,— ведь он решил идти до конца, у него есть твердое намерение драться, не проявить малодушия. Но он так волновался, что невольно задал себе вопрос: «Можно ли испытывать страх помимо собственной воли?» И тут сомнения, тревога, ужас разом нахлынули на него. Что будет, если иная сила, более мощная, чем его личная воля, властная неодолимая сила возьмет над ним верх? Да, что тогда будет?

Конечно, он выйдет к барьеру, раз он этого хочет. Ну, а если начнет дрожать? Если потеряет сознание? Ведь от его поведения на дуэли зависит все: достигнутое благополучие, репутация, будущность.

У него возникло необъяснимое желание встать и посмотреть на себя в зеркало. Он зажег свечу. Увидев свое отражение в шлифованном стекле, он едва узнал себя — он точно видел себя впервые. Глаза казались огромными; он был бледен, да, бледен, очень бледен.

Внезапно пулей впилась в него мысль: «Быть может, завтра в это время меня уже не будет в живых». И опять у него отчаянно забилось сердце.

Он подошел к кровати, и вдруг ему ясно представилось, что он лежит на спине, под тем самым одеялом, которое он только что откинул, вставая. Лицо у двойника было истонченное, как у мертвеца, и еще бросалась в глаза белизна навеки застывших рук.

Ему стало страшно собственной кровати; чтобы не видеть ее, он растворил окно и высунулся наружу.

Тотчас же он весь заледенел, задохнулся и отскочил от окна.

Он решил затопить камин. Медленно, не оборачиваясь, принялся он растапливать. Когда он прикасался к чему-нибудь, руки у него начинали дрожать нервной дрожью. Соображал он плохо, в голове кружились разорванные, ускользающие, мрачные мысли, рассудок мутился, как у пьяного.

Он все время спрашивал себя:

— Что мне делать? Что со мной будет?

Он снова зашагал по комнате, машинально повторяя одно и то же:

— Я должен взять себя в руки, во что бы то ни стало я должен взять себя в руки.

Некоторое время спустя он вдруг подумал: «На всякий случай надо написать родителям».

Он сел и, положив перед собой лист почтовой бумаги, начал писать: «Дорогие папа и мама...»

Но это обращение показалось ему недостаточно торжественным для столь трагических обстоятельств. Разорвав лист, он начал снова: «Дорогие отец и мать, завтра чуть свет у меня дуэль, и так как может случиться, что...»

У него не хватило смелости дописать до конца, и он вскочил со стула.

Мысль о дуэли угнетала его. Завтра он выйдет к барьеру. Это неизбежно. Но что же в нем происходит? Он хочет драться, он непоколебим в этом своем твердом намерении и решении. И вместе с тем ему казалось, что, сколько бы он ни заставлял себя, у него даже не хватит сил добраться до места дуэли.

По временам у него начинали стучать зубы,— это был сухой и негромкий стук.

«Приходилось ли моему противнику драться на дуэли? — думал Дюруа.— Посещал ли он тир? Классный ли он стрелок? Знают ли его как хорошего стрелка?» Он, Дюруа, никогда о нем не слыхал. Однако если этот человек без малейших колебаний, без всяких разговоров соглашается драться на пистолетах, значит, он превосходно владеет этим опасным оружием.

Дюруа пытался вообразить, как будут вести себя во время дуэли он сам и его противник. Он напрягал

мысль, силясь угадать малейшие подробности поединка. Но вдруг он увидел перед собой узкое и глубокое черное отверстие, из которого должна вылететь пуля.

И тут им овладело невыразимое отчаяние. Все тело его судорожно вздрагивало. Он стиснул зубы, чтобы не закричать, он готов был, как безумный, кататься по полу, рвать и кусать все, что попадется под руку. Но, увидев на камине рюмку, вспомнил, что в шкафу у него стоит почти полный литр водки (от военной службы у Дюруа осталась привычка каждое утро «промачивать горло»).

Он схватил бутылку и, жадно припав к ней, стал пить прямо из горлышка, большими глотками. Только когда у него захватило дыхание, он поставил ее на место. Опорожнил он ее на целую треть.

Что-то горячее, как огонь, тотчас обожгло ему желудок, растеклось по жилам, одурманило его, и он почувствовал себя крепче.

«Я нашел средство»,— подумал он.

Тело у него горело, пришлось снова открыть окно.

Занимался день, морозный и тихий. Там, в посветлевшей вышине небес, казалось, умирали звезды, а в глубокой железнодорожной траншее уже начинали бледнеть сигнальные огни, зеленые, красные, белые.

Из депо выходили первые паровозы и, свистя, направлялись к первым поездам. Вдали, точно петухи в деревне, беспрестанно перекликались другие, спугивая предутреннюю тишь своими пронзительными криками.

«Быть может, я этого никогда больше не увижу»,— мелькнуло в голове у Дюруа. Но он сейчас же встряхнулся и подавил вновь пробудившуюся жалость к себе: «Полно! Ни о чем не надо думать до самой дуэли, только так и можно сохранить присутствие духа».

Он стал одеваться. Во время бритья у него снова екнуло сердце: ему пришла мысль, что, быть может, он в последний раз смотрит на себя в зеркало.

Однако, выпив еще глоток водки, он закончил свой туалет.

Последний час показался ему особенно тяжким. Он ходил взад и вперед по комнате, пытаясь восстановить душевное равновесие. Когда раздался стук в дверь, от

волнения он едва устоял на ногах. Пришли секунданты. Уже!

Они были в шубах.

Жак Риваль пожал своему подопечному руку.

— Холод сибирский. Ну, как мы себя чувствуем?

— Отлично.

— Не волнуемся?

— Ничуть.

— Ну-ну, значит, все в порядке. Вы уже позавтракали?

— Да, я готов.

Буаренар ради такого торжественного случая нацепил иностранный желто-зеленый орден,— Дюруа видел его на нем впервые.

Они сошли вниз. В ландо их дожидался какой-то господин.

— Доктор Ле Брюман,— представил его Риваль.

— Благодарю вас,— здороваясь с ним, пробормотал Дюруа.

Он решил было занять место на передней скамейке, но опустился на что-то твердое и подскочил, как на пружинах. Это был ящик с пистолетами.

— Не сюда! Дуэлянт и врач сзади! — несколько раз повторил Риваль.

Дюруа наконец понял, чего от него хотят, и грузно сел рядом с доктором.

Затем уселись секунданты, и лошади тронули. Кучер знал, куда ехать.

Ящик с пистолетами мешал всем, особенно Дюруа,— он предпочел бы не видеть его вовсе. Попробовали поставить сзади — он бил по спине; поместили между Ривалем и Буаренаром — он все время падал. Кончилось тем, что задвинули его под скамейку.

Доктор рассказывал анекдоты, но разговор все же не клеился. Один лишь Риваль подавал ему реплики. Дюруа хотелось выказать присутствие духа, но он боялся, что мысли у него спутаются и что этим он выдаст свое душевное смятение. Притом его мучила страшная мысль: а вдруг он начнет дрожать?

Экипаж вскоре выехал за город. Было около девяти. В это морозное зимнее утро вся природа казалась искрящейся, ломкой и твердой, как хрусталь. Каплями

ледяного пота висел на деревьях иней; земля под ногами звенела; в сухом воздухе далеко разносился малейший звук; голубое небо блестело, как зеркало, и в нем, ослепительное и тоже холодное, проплывало солнце, посылая окоченевшему миру свои негреющие лучи.

— Пистолеты я купил у Гастин-Ренета,— обращаясь к Дюруа, сказал Жак Риваль.— Он же сам их и зарядил. Ящик запечатан. Впрочем, придется бросить жребий, из чьих пистолетов стрелять: из ваших или из его.

— Благодарю,— машинально ответил Дюруа.

С целью предотвратить малейшую ошибку со стороны своего подопечного Риваль дал ему подробные указания. Каждое из них он повторял по нескольку раз:

— Когда спросят: «Готовы?», отвечайте громко: «Да!» Когда скомандуют: «Стреляйте!», быстро поднимите руку и спустите курок прежде, чем успеют крикнуть: «Три!»

«Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку,— твердил про себя Дюруа,— когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку, когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку».

Для того чтобы наставления Риваля запечатлелись у него в памяти, он зубрил их, как школьник, до тех пор, пока они не набили ему оскомины: «Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку».

Въехав в лес, ландо свернуло направо, в аллею, потом опять направо. Риваль резким движением распахнул дверцу и крикнул кучеру:

— Сюда, по этой дорожке.

Это была торная дорога, тянувшаяся между двумя перелесками; на деревьях дрожали сухие листья с ледяной бахромкой.

Дюруа все еще бормотал себе под нос:

— Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку.

Вдруг ему пришла мысль, что катастрофа с экипажем могла бы уладить все. Вывалиться из ландо, сломать себе ногу — как бы это было хорошо!..

Но тут он заметил, что на краю прогалины стоит экипаж, а поодаль четверо мужчин топчутся на месте,

чтобы согреть ноги. Ему даже пришлось раскрыть рот — так у него захватило дыхание.

Сначала вышли секунданты, за ними врач и Дюруа. Риваль взял ящик с пистолетами и вместе с Буаренаром пошел навстречу двум незнакомцам. Дюруа видел, как они церемонно раскланялись и вчетвером двинулись вперед по прогалине, глядя то себе под ноги, то на деревья, будто искали что-то улетевшее или упавшее наземь. Потом отсчитали шаги и с силой воткнули в мерзлую землю две палки. Затем опять сбились в кучу и стали делать такие движения, точно играли в орлянку.

— Вы себя хорошо чувствуете? — обратился к Дюруа Ле Брюман.— Вам ничего не требуется?

— Нет, ничего, благодарю вас.

Дюруа казалось, будто он сошел с ума, будто ему снится сон, будто он грезит, будто что-то сверхъестественное обступило его со всех сторон.

Боится ли он? Пожалуй, да! Он и сам не знал. Все вокруг него преобразилось.

Вернулся Жак Риваль и с довольным видом шепнул ему:

— Все готово. С пистолетами нам повезло.

Дюруа это было совершенно безразлично.

С него сняли пальто. Он не противился. Затем ощупали карманы сюртука, чтобы удостовериться, не защищен ли он бумажником или чем-нибудь вроде этого.

«Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку»,— как молитву твердил он про себя.

Потом его подвели к одной из воткнутых в землю палок и сунули в руку пистолет. Тут только он заметил, что впереди, совсем близко, стоит лысый пузан в очках. Это и был его противник.

Он видел его очень ясно, но думал об одном: «Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку и спущу курок». Внезапно мертвую тишину леса нарушил чей-то голос, как бы донесшийся издалека:

— Готовы?

— Да! — крикнул Жорж.

— Стреляйте! — скомандовал тот же голос.

Дюруа ничего уже больше не улавливал, не раз-

лачал, не сознавал, он чувствовал лишь, что поднимает руку и изо всех сил нажимает спусковой крючок.

Но он ничего не услышал.

Однако он тотчас же увидел дымок около дула своего пистолета. Человек, стоявший против него, не шевельнулся, не изменил положения, и над его головой тоже вилось белое облачко.

Они выстрелили оба. Все было кончено.

Секунданты и врач осматривали его, ощупывали, расстегивали одежду, с тревогой в голосе спрашивали:

— Вы не ранены?

— Кажется, нет,— ответил он наугад.

Лангремон тоже был невредим.

— С этими проклятыми пистолетами всегда так,— проворчал Риваль,— либо промах, либо наповал. Мерзкое оружие!

Дюруа не двигался. Он обомлел от радости и изумления. «Дуэль кончилась!» Пришлось отнять у него пистолет, так как он все еще сжимал его в руке. Теперь ему показалось, что он померился бы силами с целым светом. Дуэль кончилась. Какое счастье! Он до того вдруг осмелел, что готов был бросить вызов кому угодно.

Секунданты поговорили несколько минут и условились встретиться в тот же день для составления протокола, потом все снова сели в экипаж, и кучер, ухмыляясь, щелкнул бичом.

Некоторое время спустя оба секунданта, Дюруа и врач уже завтракали в ресторане и говорили о поединке. Дюруа описывал свои ощущения.

— Я нисколько не волновался. Нисколько. Впрочем, вы это и сами, наверно, заметили?

— Да, вы держались хорошо,— подтвердил Риваль.

В тот же день Дюруа получил протокол,— он должен был поместить его в хронике. Сообщение о том, что он «обменялся с г-ном Луи Лангремоном двумя выстрелами», удивило его, и, слегка смущенный, он спросил Риваля:

— Но ведь мы выпустили по одной пуле?

Риваль усмехнулся.

— Да, по одной... каждый — по одной... значит, всего две.

Объяснение Риваля удовлетворило Дюруа, и он не стал в это углубляться.

Старик Вальтер обнял его:

— Браво, браво, вы не посрамили «Французской жизни», браво!

Вечером Жорж показался в редакциях самых влиятельных газет и в самых модных ресторанах. Со своим противником он встретился дважды,— тот, видимо, тоже счел нужным показать себя.

Они не поклонились друг другу. Они обменялись бы рукопожатием только в том случае, если бы один из них был ранен. Впрочем, оба клялись, что слышали, как над головой у них просвистела пуля.

На другой день, около одиннадцати, Дюруа получил «голубой листочек»:

«Боже, как я боялась за тебя! Приходи скорей на Константинопольскую, я хочу поцеловать тебя, моя радость. Какой ты смелый!

Обожающая тебя *Кло*».

Когда он пришел на свидание, она бросилась к нему в объятия и покрыла поцелуями его лицо.

— Дорогой мой, если б ты знал, как взволновали меня сегодняшние газеты! Ну, рассказывай же! С самого начала. Я хочу знать, как это было.

Он вынужден был рассказать ей все до мелочей.

— Воображаю, какую ты ужасную ночь провел перед дуэлью! — воскликнула она.

— Да нет. Я отлично спал.

— Я бы на твоем месте не сомкнула глаз. А как прошла самая дуэль?

Он тут же сочинил драматическую сцену:

— Мы стали друг против друга в двадцати шагах — расстояние всего лишь раза в четыре больше, чем эта комната. Жак спросил, готовы ли мы, и скомандовал: «Стреляйте!». В ту же секунду я поднял руку, вытянул ее по прямой линии и стал целить в голову,— это была моя ошибка. Пистолет мне попался с тугим курком, а я привык к легкому спуску,— в результате сопротивление спускового крючка отклонило выстрел в

сторону. Но все-таки я чуть-чуть в него не попал. Он тоже здорово стреляет, мерзавец. Пуля оцарапала мне висок. Я почувствовал ветер.

Сидя у Дюруа на коленях, г-жа де Марель сжимала его в своих объятиях,— она точно желала разделить грозившую ему опасность.

— Ах, бедняжка, бедняжка,— шептала она.

Когда он кончил свой рассказ, г-жа де Марель воскликнула:

— Ты знаешь, я не могу больше жить без тебя! Я должна с тобой видеться, но, пока муж в Париже, это невозможно. Утром я могла бы вырваться на часок и забежать поцеловать тебя, когда ты еще в постели, но в твой ужасный дом я не пойду. Как быть?

Дюруа пришла в голову счастливая мысль.

— Сколько ты здесь платишь? — спросил он.

— Сто франков в месяц.

— Ну, так вот: я обоснуюсь в этих комнатах и буду платить за них сам. Теперь моя квартира меня уже не устраивает.

— Нет. Я не согласна,— подумав несколько секунд, возразила она.

Он удивился:

— Почему?

— Потому...

— Это не объяснение. Здесь мне очень нравится. Кончено. Я остаюсь.

И он засмеялся:

— К тому же квартира снята на мое имя.

Она стояла на своем:

— Нет, нет, я не хочу...

— Да почему же?

В ответ он услышал ее ласковый шепот:

— Потому что ты будешь приводить сюда женщин, а я этого не хочу.

Он возмутился:

— Да ни за что на свете! Обещаю тебе.

— Нет, будешь.

— Клянусь...

— Правда?

— Правда. Честное слово. Это наш дом — и больше ничей.

Она порывисто обняла его.

— Ну, хорошо, мой дорогой. Но знай: если ты меня хоть раз обманешь, один-единственный раз,— между нами все будет кончено, навсегда.

Дюруа снова разуверил ее, дал клятву, и в конце концов они решили, что он переедет сегодня же, а она будет забегать к нему по дороге.

— Во всяком случае, приходи к нам завтра обедать,— сказала она.— Мой муж от тебя в восторге.

Он был польщен.

— Вот как! В самом деле?..

— Ты его пленил. Да, слушай, ты мне говорил, что ты вырос в деревне, в имении, правда?

— Да, а что?

— Значит, ты немного смыслишь в сельском хозяйстве?

— Да.

— Ну, так поговори с ним о садоводстве, об урожаях,— он это страшно любит.

— Хорошо. Непременно.

Дуэль вызвала у нее прилив нежности к нему, и, перед тем как уйти, она целовала его без конца.

Идя в редакцию, Дюруа думал о ней:

«Что за странное существо! Порхает по жизни, как птичка! Никогда не угадаешь, что может ей взбрести на ум, что может ей прийтись по вкусу! И какая уморительная пара! Зачем проказнице-судьбе понадобилось сводить этого старца с этой сумасбродкой? Что побудило ревизора железных дорог жениться на этой сорвиголове? Загадка! Кто знает! Быть может, любовь?

Во всяком случае,— заключил он,— она очаровательная любовница. Надо быть круглым идиотом, чтобы ее упустить».

VIII

Дуэль выдвинула Дюруа в разряд присяжных фельетонистов «Французской жизни». Но так как ему стоило бесконечных усилий находить новые темы, то он специализировался на трескучих фразах о падении нравов, о всеобщем измельчании, об ослаблении патриотического чувства и об анемии национальной гор-

дости у французов. (Он сам придумал это выражение: «Анемия национальной гордости», и был им очень доволен.)

И когда г-жа де Марель, отличавшаяся скептическим, насмешливым и язвительным, так называемым парижским складом ума, издеваясь над его тирадами, уничтожала их одной какой-нибудь меткой остротой, он говорил ей с улыбкой:

— Ничего! Мне это пригодится в будущем.

Жил он теперь на Константинопольской; он перенес сюда свой чемодан, щетку, бритву и мыло,— в этом и заключался весь его переезд. Каждые два — три дня, пока он еще лежал в постели, к нему забегала г-жа де Марель; не успев согреться, она быстро раздевалась, чтобы сейчас же юркнуть к нему под одеяло, и долго еще не могла унять дрожи.

По четвергам Дюруа обедал у нее, и чтобы доставить мужу удовольствие, толковал с ним о сельском хозяйстве. Но так как он и сам любил деревню, то иной раз оба они так увлекались беседой, что забывали про свою даму, дремавшую на диване.

Лорина тоже засыпала, то на коленях у отца, то на коленях у Милого друга.

По уходе журналиста г-н де Марель неукоснительно замечал тем наставительным тоном, каким он говорил о самых обыкновенных вещах:

— Очень милый молодой человек. И умственно очень развит.

Был конец февраля. По утрам на улицах возле тележек с цветами уже чувствовался запах фиалок.

Дюруа наслаждался безоблачным счастьем.

И вот однажды вечером, вернувшись домой, он обнаружил под дверью письмо. На штемпеле стояло: «Канн». Распечатав конверт, он прочел:

«Канн, вилла «Красавица»

Дорогой друг, помните, вы мне сказали, что я могу во всем положиться на вас? Так вот, я вынуждена просить вас принести себя в жертву: приезжайте, не оставляйте меня одну с умирающим Шарлем в эти последние его часы. Хотя он еще ходит по комнате, но доктор

меня предупредил, что, может быть, он не проживет и недели.

У меня не хватает ни сил, ни мужества день и ночь смотреть на эту агонию. И я с ужасом думаю о приближающихся последних минутах. Родных у моего мужа нет; кроме вас, мне не к кому обратиться. Вы его товарищ; он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас. Мне некого больше позвать.

Ваш преданный друг

Мадлена Форестье».

Какое-то странное чувство точно ветром овеяло душу Дюруа: это было чувство освобождения, ощущение открывающегося перед ним простора.

— Конечно, поеду,— прошептал он.— Бедный Шарль! Вот она, жизнь человеческая!

Письмо г-жи Форестье он показал патрону,— тот поворчал, но в конце концов согласился.

— Только возвращайтесь скорей, вы нам необходимы,— несколько раз повторил Вальтер.

На другой день, послав супругам Марель телеграмму, Жорж Дюруа скорым семичасовым выехал в Канн.

Приехал он туда почти через сутки, около четырех часов вечера.

Посыльный проводил его на виллу «Красавица», выстроенную на склоне горы, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, что тянется от Канн до залива Жуан.

Форестье снимали низенький маленький домик в итальянском стиле; он стоял у самой дороги, извивавшейся меж деревьев и на каждом своем повороте открывавшей глазам чудесные виды.

Дверь отворил слуга.

— А-а, пожалуйте, сударь! — воскликнул он.— Госпожа Форестье ждет вас с нетерпением.

— Как себя чувствует господин Форестье? — спросил Дюруа.

— Да неважно, сударь! Ему недолго осталось жить.

Гостиная, куда вошел Дюруа, была обита розовым ситцем с голубыми разводами. Из большого широкого окна видны были город и море.

— Ого, шикарная дача! — пробормотал Дюруа.— Где же они, черт возьми, берут столько денег?

Шелест платья заставил его обернуться.

Г-жа Форестье протягивала ему руки:

— Как хорошо вы сделали, что приехали! Как это хорошо!

Неожиданно для Дюруа она обняла его. Затем они посмотрели друг на друга.

Она немного осунулась, побледнела, но все так же молодо выглядела,— пожалуй, она даже похорошела, стала изящнее.

— Понимаете, он в ужасном состоянии,— шепотом заговорила она,— он знает, что дни его сочтены, и мучает меня невыносимо. Я ему сказала, что вы приехали. А где же ваш чемодан?

— Я оставил его на вокзале,— ответил Дюруа,— я не знал, в какой гостинице вы мне посоветуете остановиться, чтобы быть поближе к вам.

— Оставайтесь здесь, у нас,— после некоторого колебания сказала она.— Кстати, комната вам уже приготовлена. Он может умереть с минуты на минуту, и если это случится ночью, то я буду совсем одна. Я пошлю за вашими вещами.

Он поклонился.

— Как вам будет угодно.

— А теперь пойдемте наверх,— сказала она.

Он последовал за ней. Поднявшись на второй этаж, она отворила дверь, и Дюруа увидел перед собой закутанный в одеяла полутруп: мертвенно-бледный при багровом свете вечерней зари, Форестье сидел у окна в кресле и смотрел на него. Дюруа мог только догадаться, что это его друг,— до того он изменился.

В комнате стоял запах человеческого пота, лекарств, эфира, смолы — удушливый, непередаваемый запах, пропитывающий помещение, где дышит чахоточный.

Форестье медленно, с трудом поднял руку.

— А, это ты! — сказал он.— Приехал посмотреть, как я умираю? Спасибо.

— Посмотреть, как ты умираешь? — с принужденным смехом переспросил Дюруа.— Не такое это веселое зрелище, чтобы ради него стоило ехать в Канн.

Просто мне захотелось немного отдохнуть и заодно навестить тебя.

— Садись,— прошептал Форестье и, опустив голову, мрачно задумался.

Дыхание у больного было частое, прерывистое; порой он словно хотел напомнить окружающим, как он страдает, и тогда оно вырывалось у него из груди вместе со стоном.

Заметив, что он не собирается продолжать беседу, г-жа Форестье облокотилась на подоконник и кивком головы указала на горизонт:

— Посмотрите, какая красота!

Прямо перед ними облепленный виллами склон горы спускался к городу, что разлегся подковой на берегу; справа, над молом, возвышалась старая часть города, увенчанная древнею башней, а слева он упирался в мыс Круазет, как раз напротив Леринских островов. Островки эти двумя зелеными пятнами выделялись среди синей-синей воды. Можно было подумать, что это громадные плывущие листья,— такими плоскими казались они сверху.

А там, далеко-далеко, по ту сторону залива, над молом и башней, заслоняя горизонт, причудливой изумительной линией вырисовывалась на пылающем небе длинная голубоватая цепь горных вершин, остроконечных, изогнутых, круглых, заканчивавшаяся высокой пирамидальной скалой, подножие которой омывали волны открытого моря.

— Это Эстерель,— пояснила г-жа Форестье.

Небо за темными высями гор было нестерпимого для глаз золотисто-кровавого цвета.

Дюруа невольно проникся величественностью заката.

— О да! Это потрясающе! — не найдя более образного выражения, чтобы передать свой восторг, прошептал он.

Форестье вскинул глаза на жену и сказал:

— Я хочу подышать воздухом.

— Смотри, ведь уж поздно, солнце садится,— возразила она,— еще простудишься, а ты сам должен знать, что это тебе совсем не полезно.

Форестье, видимо, хотел стукнуть кулаком, но вме-

сто этого слабо и нетерпеливо шевельнул правой рукой, а черты его лица исказила злобная гримаса, гримаса умирающего, от чего еще разче обозначились его иссохшие губы, впалые щеки и торчащие скулы.

— Говорят тебе, я задыхаюсь,— прохрипел он,— какое тебе дело, умру я днем раньше или днем позже,— все равно мне крышка...

Г-жа Форестье настежь распахнула окно.

Все трое восприняли дуновение ветра как ласку. Это был тихий, теплый, нежащий весенний ветер, уже напоенный пьянящим благоуханием цветов и деревьев, росших по склону горы. В нем можно было различить сильный запах пихты и терпкий аромат эвкалиптов.

Форестье вдыхал его с лихорадочной торопливостью.

Но вдруг он впился ногтями в ручки кресла, и в тот же миг послышался его свистящий, яростный шепот:

— Закрой окно. Мне только хуже от этого. Я предпочел бы издохнуть в подвале.

Г-жа Форестье медленно закрыла окно и, прижавшись лбом к стеклу, стала смотреть вдаль.

Дюруа чувствовал себя неловко; ему хотелось поговорить с больным, ободрить его.

Но он не мог придумать ничего утешительного.

— Так ты здесь не поправляешься? — пробормотал он.

Форестье нервно и сокрушенно пожал плечами.

— Как видишь,— сказал он и снова понурил голову.

— Дьявольщина! А насколько же здесь лучше, чем в Париже! Там еще зима вовсю. Снег, дождь, град, в три часа уже совсем темно, приходится зажигать лампу.

— Что нового в редакции? — спросил Форестье.

— Ничего. На время твоей болезни пригласили из «Вольтера» этого коротышку Лакрена. Но он еще зелен. Пора тебе возвращаться!

— Мне? — пробормотал больной.— Я уже теперь буду писать статьи под землей, на глубине шести футов.

Навязчивая идея возвращалась к нему с частотою ударов колокола, по всякому поводу проскальзывала в каждом его замечании, в каждой фразе.

Воцарилось молчание, тягостное и глубокое. Закатный пожар постепенно стихал, и горы на фоне темнев-

шего, хотя все еще алого неба становились черными. Тень, сохранявшая отблески догорающего пламени, предвестницей ночи проникнув в комнату, окрасила ее стены, углы, обои и мебель в смешанные чернильно-пурпурные тона. Зеркало над камином, отражавшее даль, казалось кровавым пятном.

Г-жа Форестье, припав лицом к окну, продолжала стоять неподвижно.

Форестье вдруг заговорил прерывающимся, сдавленным, надрывающим душу голосом:

— Сколько мне еще суждено увидеть закатов?.. Восемь... десять... пятнадцать, двадцать, может быть, тридцать,— не больше... У вас еще есть время... А для меня все кончено... И все будет идти своим чередом... после моей смерти,— так же, как и при мне...

— На что бы я ни взглянул,— помолчав несколько минут, продолжал он,— все напоминает мне о том, что спустя несколько дней я ничего больше не увижу... Как это ужасно... Не видеть ничего... ничего из того, что существует... самых простых вещей... стаканов... тарелок... кроватей, на которых так хорошо отдыхать... экипажей. Как приятны эти вечерние прогулки в экипаже... Я так любил все это!

Пальцы его быстро и нервно бегали по ручкам кресла, как если бы он играл на рояле. Каждая пауза, которую он делал, производила еще более тяжелое впечатление, чем его слова,— чувствовалось, что в это время он думает о чем-то очень страшном.

И тут Дюруа вспомнил то, что ему не так давно говорил Норбер де Варен: «Теперь я вижу смерть так близко, что часто мне хочется протянуть руку и оттолкнуть ее... Я нахожу ее всюду. Букашки, раздавленные посреди дороги, сухие листья, седой волос в бороде друга — все ранит мне сердце и кричит: «Вот она!»

Тогда он этого не мог понять; теперь, при взгляде на Форестье, понял. И еще не испытанная им безумная тоска охватила его: ему вдруг почудилось, будто совсем близко от него, на расстоянии вытянутой руки, в кресле, где задыхался больной, притаилась чудовищно уродливая смерть. Ему захотелось встать, уйти отсюда, бежать, как можно скорей вернуться в Париж! О, если б он знал, он ни за что не поехал бы в Канн!

Ночной мрак, словно погребальный покров, раньше времени накинутый на умирающего, мало-помалу окутал всю комнату. Можно было различить лишь окно и в его светлом четырехугольнике неподвижный силуэт молодой женщины.

— Что же, дождусь я сегодня лампу?— с раздражением спросил Форестье.— Это называется уход за больным!

Темный силуэт, вырисовывавшийся на фоне окна, исчез, и вслед за тем в гулкой тишине дома резко прозвучал звонок.

Немного погодя вошел слуга и поставил на камин лампу.

— Хочешь лечь или сойдешь вниз обедать? — обратилась к мужу г-жа Форестье.

— Сойду вниз,— прошептал он.

В ожидании обеда все трое еще около часа сидели неподвижно, порою обмениваясь пошлыми, ненужными словами, как будто слишком долгое молчание таило в себе опасность, неведомую опасность, как будто им во что бы то ни стало надо было не дать застыть немоте этой комнаты,— комнаты, где поселилась смерть.

Наконец обед начался. Дюруа он показался долгим, бесконечно долгим. Все ели молча, бесшумно, затем принимались лепить хлебные шарики. Слуга в мягких туфлях — стук каблуков раздражал Шарля — неслышно входил, уходил, подавал кушанья. Тишину нарушало лишь мерное качание маятника с его механическим, резким «тик-так».

После обеда Дюруа сослался на усталость и ушел к себе в комнату. Облокотясь на подоконник, он смотрел на полную луну: точно гигантский ламповый шар, стояла она в небе и, заливая своим безжизненным матовым светом белые стены вилл, осыпала море блестящей чешуей, тонкой и зыбкой. Дюруа пытался найти удобный предлог для отъезда,— вроде того, что он получил телеграмму, что его вызывает Вальтер,— придумывал всевозможные уловки.

Но на другое утро все эти планы бегства показались ему почти невыполнимыми. Г-жу Форестье все равно не проведешь, только из-за собственной трусости лишишься награды за свою преданность. «Разумеется, это

невесело,— говорил он себе,— ну, ничего, в жизни бывают неприятные моменты. К тому же это, пожалуй, не затянется».

Был один из тех южных дней, когда в воздухе разлита такая голубизна, что сердце невольно замирает от счастья. Решив, что он успеет еще насидеться у Форестье, Дюруа спустился к морю.

Когда он пришел завтракать, слуга сообщил ему:

— Господин Форестье, господин Дюруа, уже несколько раз справлялся о вас. Не угодно ли вам, господин Дюруа, пройти к господину Форестье?

Он поднялся наверх. Форестье, казалось, дремал в кресле. Его жена лежала на диване и читала книгу.

Больной поднял голову.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил Жорж.— Сегодня ты как будто молодцом.

— Да, мне лучше,— прошептал Форестье,— я чувствую себя крепче. Позавтракай на скорую руку с Мадленой,— мы хотим прокатиться.

— Видите? Сегодня ему уже кажется, что он здоров,— оставшись вдвоем с Дюруа, заговорила г-жа Форестье.— С самого утра он строит планы. Сейчас мы отправимся к заливу Жуан покупать фаянс для нашей парижской квартиры. Он хочет ехать во что бы то ни стало, а я ужасно боюсь, как бы чего не случилось. Он не вынесет дорожной тряски.

Когда подали ландо, Форестье, поддерживаемый лакеем, медленно спустился по лестнице. Увидев экипаж, он сейчас же потребовал опустить верх.

Жена воспротивилась:

— Ты простудишься. Это безумие.

Но он стоял на своем:

— Нет, мне гораздо лучше. Я себя знаю.

Миновав тенистые аллеи, которые тянутся между садами и придают Канну сходство с английским парком, экипаж выехал на дорогу в Антиб, идущую берегом моря.

Форестье называл местные достопримечательности. Показал виллу графа Парижского, потом другие. Он был весел, но эта была наигранная, искусственная, хилая веселость обреченного. Не имея сил протянуть

руку, он, когда указывал на что-нибудь, поднимал палец.

— Гляди, вот остров святой Маргариты и тот замок, откуда бежал Базен. Да, пришлось нам тогда из-за этого повозиться!

Затем он предался воспоминаниям о своей службе в полку, называл имена офицеров, рассказывал связанные с ними эпизоды.

Но вот с крутого поворота неожиданно открылся широкий вид: и залив Жуан, и белая деревушка на том берегу, и мыс Антиб впереди — все было теперь как на ладони.

— Вон эскадра! Сейчас ты увидишь эскадру! — по-детски радуясь, шептал Форестье.

В самом деле, посреди широкой бухты можно было различить до шести больших кораблей, которые напоминали поросшие кустарником утесы. Причудливые, бесформенные, огромные, снабженные выступами, башнями, водорезами, они так глубоко сидели в воде, точно собирались пустить корни.

Было непонятно, как все это могло передвигаться, меняться местами,— до того тяжелыми казались эти словно приросшие ко дну суда. Плавучая батарея, высокая и круглая, как обсерватория, напоминала маяк, стоящий на подводной скале.

Мимо них, весело развернув свои белые паруса, прошло в открытое море большое трехмачтовое судно. Рядом с этими военными чудовищами, отвратительными железными чудовищами, грузно сидевшими на воде, оно радовало глаз своим изяществом и грацией.

Форестье пытался вспомнить названия судов:

— «Кольбер», «Сюффрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Беспощадный»... Нет, я ошибся, «Беспощадный» — вон тот.

Экипаж подъехал к обширному павильону под вывеской «Художественные фаянсовые изделия залива Жуан» и, обогнув лужайку, остановился у входа.

Форестье хотел купить две вазы для своего парижского кабинета. Выйти из ландо он не мог, и ему стали, один за другим, приносить образцы. Он долго выбирал, советовался с женой и с Дюруа.

— Ты знаешь, это для книжного шкафа, который

стоит у меня в кабинете. Я буду сидеть в кресле и смотреть на них. Я предпочел бы нечто античное, нечто греческое.

Он рассматривал образцы, требовал, чтобы ему принесли другие, и снова обращался к первым. Наконец выбрал, заплатил и велел немедленно отправить вазы в Париж.

— Я уезжаю отсюда на днях,— твердил он.

Когда они на обратном пути ехали вдоль залива, из лощины внезапно подул холодный ветер, и больной закашлялся.

Сперва можно было подумать, что это так, легкий приступ, но кашель постепенно усиливался, не прекращаясь ни на секунду, и наконец перешел в икоту, в хрипение.

Форестье задыхался; при каждом вздохе кашель, клокотавший у него в груди, раздирал ему горло. Ничто не могло успокоить, остановить его. Из экипажа больного пришлось на руках перенести в комнату; Дюруа держал его ноги и чувствовал, как они вздрагивали при каждом конвульсивном сжатии легких.

Теплая постель не помогла Форестье,— приступ длился до полуночи. В конце концов наркотические средства прервали эти предсмертные спазмы. И больной, не смыкая глаз, до рассвета просидел в постели.

Первыми его словами были: «Позовите парикмахера»,— Форестье по-прежнему брился каждое утро. Он нашел в себе силы встать для этой процедуры, но его тотчас же снова пришлось уложить в постель, и короткое, тяжелое, затрудненное дыхание больного до того испугало г-жу Форестье, что она велела разбудить Дюруа, который только что лег, и попросила его сходить за доктором.

Дюруа почти тотчас же привел доктора, некоего Гаво. Доктор прописал микстуру и дал кое-какие указания. Но Жоржу, который, чтобы узнать правду, пошел проводить его, он сказал следующее:

— Это агония. Он не доживет до утра. Предупредите эту бедную молодую даму и пошлите за священником. Мне здесь больше нечего делать. Впрочем, я всегда к вашим услугам.

Дюруа велел позвать г-жу Форестье.

— Он умирает. Доктор советует послать за священником. Как вы думаете?

Она долго колебалась, но наконец, взвесив все, медленно проговорила:

— Да, так будет лучше... Во многих отношениях... Я его подготовлю, скажу, что его желает видеть священник... Словом, что-нибудь придумаю. А вы уж, будьте добры, разыщите священника. Постарайтесь найти какого-нибудь попроще, который ничего из себя не корчит. Устройте так, чтобы он ограничился исповедью и избавил нас от всего остального.

Дюруа привел сговорчивого старичка, который сразу понял, что от него требуется. Как только он вошел к умирающему, г-жа Форестье вышла в соседнюю комнату и села рядом с Дюруа.

— Это его потрясло,— сказала она.— Когда я заговорила о священнике, лицо его приняло такое ужасное выражение, точно... точно он почувствовал на себе... почувствовал на себе дыхание... вы меня понимаете... Словом, он понял, что все кончено, что остались считанные часы...

Г-жа Форестье была очень бледна.

— Никогда не забуду выражения его лица,— продолжала она.— В это мгновение он, конечно, видел перед собой смерть. Он видел ее...

До них доносился голос священника; он говорил довольно громко, так как был туговат на ухо:

— Да нет же, нет, ваши дела совсем не так плохи. Вы больны, но отнюдь не опасно. И зашел я к вам по-дружески, по-соседски,— вот первое доказательство.

Форестье что-то ответил ему, но они не расслышали.

— Нет, я не буду вас причащать,— продолжал старик.— Об этом мы поговорим, когда вам станет лучше. Вот если вы захотите воспользоваться моим присутствием для того, чтобы, например, исповедаться,— это другое дело. Я пастырь, мне надлежит при всяком удобном случае наставлять своих овец на путь истинный.

Стало тихо. Теперь, должно быть, говорил Форестье — беззвучным, прерывающимся голосом.

Затем, уже другим тоном, тоном священнослужителя, снова заговорил старик:

— Милосердие божье безгранично. Читайте Confiteor[1], сын мой. Если вы забыли, я вам подскажу. Повторяйте за мной: Confiteor Deo omnipotenti... Beatae Mariae semper virgini...[2].

Время от времени священник умолкал, чтобы дать возможность умирающему повторить за ним слова молитвы.

— А теперь исповедуйтесь...— наконец сказал он.

Охваченные необычайным волнением, измученные томительным ожиданием, г-жа Форестье и Дюруа сидели не шевелясь.

Больной что-то прошептал.

— У вас были сделки с совестью...— повторил священник.— Какого рода, сын мой?

Г-жа Форестье встала.

— Пойдемте ненадолго в сад,— с невозмутимым видом сказала она.— Мы не должны знать его тайны.

Они вышли в сад и сели у крыльца на скамейку под цветущим розовым кустом, возле клумбы гвоздики, разливавшей в чистом воздухе сильный и сладкий аромат.

— Вы еще не скоро в Париж? — после некоторого молчания спросил Дюруа.

— Скоро! — ответила она.— Как только все будет кончено, я уеду отсюда.

— Дней через десять?

— Да, самое позднее.

— Так, значит, родных у него никого нет?

— Никого, кроме двоюродных братьев. Его родители умерли, когда он был еще очень молод.

Оба засмотрелись на бабочку, собиравшую мед с гвоздик; она порхала с цветка на цветок, трепеща крыльями, не переставшими едва заметно дрожать, даже когда она садилась. Долго еще г-жа Форестье и Дюруа молча сидели в саду.

Наконец слуга доложил, что «господин кюре кончил исповедовать». И они поднялись наверх.

---

[1] Покаянная молитва *(лат.)*.

[2] Исповедуюсь богу всемогущему... Блаженной Марии присноděве... *(лат.)*.

Форестье, казалось, еще похудел со вчерашнего дня. Священник держал его руку в своей.

— До свидания, сын мой, я приду завтра утром.

С этими словами он удалился.

Как только он вышел за дверь, умирающий, все так же тяжело дыша, сделал над собой усилие и протянул руки к жене.

— Спаси меня...— зашептал он.— Спаси меня... милая... я не хочу умирать... я не хочу умирать... Спасите же меня!.. Скажите, что я должен делать, позовите доктора... Я приму все, что угодно... Я не хочу... я не хочу!..

Он плакал. По его впалым щекам текли крупные слезы, а углы иссохших губ оттягивались, как у обиженного ребенка.

Затем руки его упали на постель, и он начал медленно перебирать пальцами; следя за этим непрерывным однообразным движением, можно было подумать, что он собирает что-то на одеяле.

Жена его тоже плакала.

— Да нет же, это пустяки,— лепетала она.— Обыкновенный припадок, завтра тебе будет лучше, тебя утомила вчерашняя прогулка.

Дыхание у Форестье было еще более частое, чем у запыхавшейся от быстрого бега собаки, до того частое, что его невозможно было сосчитать, и до того слабое, что его почти не было слышно.

Он все повторял:

— Я не хочу умирать!.. Боже мой... Боже мой... Боже мой... что со мной будет? Я ничего больше не увижу... ничего... никогда... Боже мой!

Его остановившийся от ужаса взгляд различал нечто чудовищное, нечто такое, чего не могли видеть другие. И все не прекращалось это страшное и томительное скольжение пальцев по одеялу.

Внезапно по всему его телу пробежала судорога.

— На кладбище... меня... Боже мой!..— простонал он.

И смолк. Теперь он лежал неподвижно, глядя вокруг себя блуждающим взором, и ловил ртом воздух.

Время шло; на часах соседнего монастыря пробило двенадцать. Дюруа вышел в другую комнату переку-

сить. Вернулся он через час. Г-жа Форестье отказалась от еды. Больной не шевелился. Только его костлявые пальцы по-прежнему находились в движении и точно пытались натянуть одеяло на лицо.

Г-жа Форестье сидела в кресле у его ног. Дюруа сел в другое кресло, рядом с ней. Они молча ждали.

У окна дремала сиделка, присланная врачом.

Дюруа тоже начал было засыпать, но вдруг ему что-то почудилось. Он открыл глаза в ту самую минуту, когда глаза Форестье закрывались, погасая, точно огни. От легкой икоты голова умирающего запрокинулась, и вслед за тем две струйки крови показались в углах его рта, потом потекли на рубашку. Кончилось отвратительное блуждание пальцев по одеялу. Он перестал дышать.

Г-жа Форестье поняла все. Вскрикнув, она упала на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, заплакала навзрыд. Жорж, растерянный, оторопелый, машинально перекрестился. Проснулась сиделка, подошла к кровати.

— Кончился,— сказала она.

К Дюруа вернулось его обычное спокойствие, и, облегченно вздохнув, он прошептал:

— Я думал, это дольше протянется.

Не успел пройти первый столбняк, не успели высохнуть первые слезы, как уже начались заботы и хлопоты, неизбежно связанные с присутствием в доме покойника. Дюруа бегал до поздней ночи.

Вернулся он голодный, как волк. Вместе с ним немного поела и г-жа Форестье. После ужина оба перешли в комнату, где лежал покойник и где им предстояло провести всю ночь.

Две свечи горели на ночном столике, около тарелки с водой, в которой плавала ветка мимозы,— традиционной ветки букса достать не удалось.

Они сидели вдвоем, молодой человек и молодая женщина, возле того, кто уже не существовал более. Молча, задумчиво смотрели они на него.

Полумрак, обволакивавший труп Форестье, пугал Жоржа, но он упорно продолжал рассматривать его. Дрожащее пламя свечи подчеркивало худобу этого высохшего лица, приковавшего к себе, приворожив-

шего и мысль и взгляд Дюруа. Вот он, Шарль Форестье, его друг, с которым он беседовал еще вчера! Как ужасна и непостижима эта полная гибель живого существа! О, теперь у него все время звучали в ушах слова истерзанного страхом смерти Норбера де Варена: «Никто оттуда не возвращается!» Народятся миллионы, миллиарды почти во всем подобных ему существ, у которых все будет, как у него: и глаза, и нос, и рот, и мыслящий череп, но тому, кто лежит сейчас на этой кровати, уже не воскреснуть вновь.

Столько-то лет он жил, как все люди, ел, смеялся, на что-то надеялся, кого-то любил. А теперь все для него кончено, кончено навсегда. Да, жизнь! Каких-нибудь несколько дней, а затем — пустота! Ты появляешься на свет, ты растешь, ты счастлив, ты чего-то ждешь, затем умираешь. Кто бы ты ни был — мужчина ли, женщина ли,— прощай, ты уже не вернешься на землю! И все же каждый из нас несет в себе лихорадочную и неутолимую жажду бессмертия, каждый из нас представляет собой вселенную во вселенной и каждый из нас истлевает весь, без остатка, чтобы стать удобрением для новых всходов. Растения, животные, люди, звезды, миры — все зарождается и умирает для того, чтобы превратиться во что-то иное. Но ни одно существо не возвращается назад — будь то насекомое, человек или планета!

Неизъяснимый, безмерный, гнетущий ужас камнем лежал на сердце Дюруа — ужас перед этим неизбежным беспредельным небытием, без конца поглощающим все эти столь жалкие и столь быстротекущие жизни. Он уже склонял голову перед нависшей над ним угрозой. Он думал о насекомых, которые живут всего лишь несколько часов, о животных, которые живут всего лишь несколько дней, о людях, которые живут всего лишь несколько лет, о материках, которые существуют всего лишь несколько столетий. Какая между ними разница? Разница в нескольких солнечных восходах — только и всего.

Чтобы не смотреть на труп, он отвел глаза в сторону.

Г-жа Форестье сидела, опустив голову,— казалось, ее тоже одолевали мрачные мысли. Белокурые волосы

так красиво оттеняли ее печальное лицо, что внутри у Дюруа шевельнулось какое-то сладкое чувство, словно в его сердце заронила свой луч надежда. О чем горевать, когда вся жизнь еще впереди?

Он стал смотреть на г-жу Форестье. Погруженная в свои мысли, она не замечала его. «Вот оно, единственное утешение в жизни — любовь! — говорил он себе.— Держать в объятиях любимую женщину — вот он, верх человеческого блаженства!»

Какое счастье выпало на долю покойному — найти такую умную, обаятельную спутницу жизни! Как они познакомились? Как она согласилась выйти за этого малого, который не мог похвастаться ни умом, ни богатством? Как ей в конце концов удалось сделать из него человека?

У каждого свои тайны, решил он. И тут ему пришли на память все эти толки о графе Водреке, который якобы дал ей приданое и выдал замуж.

Что она будет делать теперь? Кого выберет себе в мужья? Депутата, как думает г-жа де Марель, или молодого человека, подающего надежды, второго Форестье, только повыше сортом? Есть ли у нее уже теперь твердые намерения, замыслы, планы? Как бы хотелось ему все это знать! Но почему его так волнует ее судьба? Задав себе этот вопрос, он тут же почувствовал, что его беспокойство вызвано одним из тех неясных и тайных умыслов, которые мы скрываем даже от самих себя и которые мы обнаруживаем лишь после того, как пороемся в тайниках собственной души.

Да, почему бы ему не попробовать покорить ее? В какую мощную и грозную силу вырос бы он при ее поддержке! Как быстро, уверенно и как далеко шагнул бы он сразу!

И почему бы ему не добиться успеха? Он чувствовал, что нравится ей, что она питает к нему больше, чем симпатию,— особого рода склонность, которая возникает у родственных натур и которую подогревает не только взаимное влечение, но и существующий между ними молчаливый заговор. Она знала, что он умен, решителен, цепок: он должен был внушать ей доверие.

Не к нему ли обратилась она в трудную минуту?

И зачем она его вызвала? Не значит ли это, что она уже сделала для себя выбор, что она уже решила для себя что-то, в чем-то призналась ему? Не потому ли он пришел ей на память, что в ту самую минуту, когда ей предстояло овдоветь, она уже начала думать о том, кто будет теперь ее спутником жизни, ее союзником?

Ему не терпелось знать все, выпытать у нее все, проникнуть в ее сокровенные замыслы. Послезавтра он должен уехать, ему неудобно оставаться в этом доме вдвоем с молодой женщиной. Значит, мешкать нельзя, надо еще до отъезда осторожно и деликатно выведать ее намерения, не допустить, чтобы она передумала, уступила домогательствам кого-то другого и, быть может, безвозвратно связала себя обещанием.

Глубокая тишина стояла в комнате; слышно было лишь металлическое мерное тиканье каминных часов.

— Вы, наверно, очень устали?— спросил Дюруа.

— Да,— ответила она.— Не столько устала, сколько подавлена.

Странно прозвучали их голоса в этой мрачной комнате, и они это почувствовали. Оба внезапно посмотрели на мертвеца, словно ожидая, что, как это бывало с Форестье раньше, всего несколько часов назад, он зашевелится и станет прислушиваться к их разговору.

— Да, это страшный удар для вас,— снова заговорил Дюруа,— весь уклад жизни нарушен, все перевернуто вверх дном, и какое сильное душевное потрясение!

Ответом ему был глубокий вздох.

— Как тяжело должно быть молодой женщине остаться одной! — добавил он.

Она промолчала.

— Во всяком случае, я прошу вас помнить наш уговор,— прошептал Дюруа.— Вы можете располагать мною, как вам заблагорассудится. Я в вашей власти.

Г-жа Форестье бросила на него грустный и нежный взгляд, один из тех взглядов, которые переворачивают нам душу.

— Благодарю вас, вы добрый, прекрасный человек,— протягивая ему руку, сказала она.— Если б я

могла, если б я смела что-нибудь сделать для вас, я тоже сказала бы вам: «Рассчитывайте на меня».

Он взял протянутую ему руку и, испытывая страстное желание поцеловать ее, задержал и стиснул в своей. Затем, осмелев, медленно поднес ее к губам, и губы его ощутили прикосновение тонкой, горячей, вздрагивавшей надушенной кожи.

Почувствовав, что эта дружеская ласка становится чересчур продолжительной, он разжал пальцы. И маленькая ручка г-жи Форестье вяло опустилась на ее колено.

— Да, я теперь совсем одна, но я постараюсь быть твердой,— очень серьезно проговорила она.

Он не знал, как ей намекнуть, что он был бы счастлив, счастлив вполне, если б она согласилась стать его женой. Разумеется, он не может заговорить с ней об этом сейчас, в комнате, где лежит покойник. Впрочем, пожалуй, можно было бы придумать какую-нибудь многозначительную, учтивую, хитросплетенную фразу, состоящую из слов, которые лишь намекают на глубоко запрятанный в ней смысл, изобилующую строго обдуманными фигурами умолчания, способными выразить все что угодно.

Но у Дюруа было такое чувство, точно этот труп, окоченелый труп, лежит не перед ними, а между ними, и это его стесняло.

Кроме того, в спертом воздухе комнаты ему уже некоторое время чудился смрад, зловонное дыхание этой разлагающейся груди, запах падали, которым бедный мертвец обдает, еще лежа в постели, бодрствующих родственников, ужасный запах, которым он потом наполняет свой тесный гроб.

— Нельзя ли открыть окно?— спросил Дюруа.— По-моему, здесь тяжелый воздух.

— Конечно,— ответила она.— Мне тоже показалось.

Он отворил окно. В комнату сразу повеяло благоуханной ночной прохладой, всколыхнувшей пламя свечей. Луна, как и в прошлый вечер, щедро изливала свой тихий свет на белые стены вилл, на широкую сверкающую водную гладь. Дюруа дышал полной грудью, в душу к нему словно хлынул поток надежд,

трепетная близость счастья словно отрывала его от земли.

— Подышите свежим воздухом,— сказал он обернувшись.— Ночь дивная.

Г-жа Форестье спокойно подошла к окну, стала рядом с ним и облокотилась на подоконник.

— Выслушайте меня,— шепотом заговорил он,— я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Главное, не сердитесь на то, что я в такой момент говорю о подобных вещах, но ведь я послезавтра уезжаю, а когда вы вернетесь в Париж, быть может, будет уже поздно. Так вот... Я бедняк, у меня нет ни гроша за душой и пока еще никакого определенного положения, это вам известно. Но у меня есть воля, мне кажется, я не глуп и стою на верном пути. Человек, достигший своей цели, весь налицо. О человеке, только еще начинающем жить, трудно сказать, что из него выйдет. В этом есть своя дурная и своя хорошая сторона. Короче, я как-то сказал вам, когда был у вас, что моя заветная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я повторяю то, что сказал тогда. Не отвечайте мне пока ничего. Выслушайте меня до конца. Я не делаю вам сейчас предложения. В таком месте и в такую минуту это было бы отвратительно. Мне важно, чтобы вы знали, что одно ваше слово может меня осчастливить, что вы можете сделать меня, хотите — ближайшим своим другом, хотите — мужем, как вам будет угодно, что мое сердце и вся моя жизнь принадлежат вам. Я не хочу, чтобы вы мне отвечали сейчас, я не хочу вести этот разговор в такой обстановке. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять, как вы решили. А до тех пор — ни слова, согласны?

Все это он проговорил, не глядя на нее, точно роняя слова в раскинувшуюся перед ним ночь. Она, казалось, не слушала,— так неподвижно она стояла, тоже глядя прямо перед собой, устремив рассеянный и вместе с тем пристальный взгляд в широкую даль, освещенную бледной луной.

Они еще долго стояли рядом, касаясь друг друга локтями, задумчивые и молчаливые

— Становится свежо,— наконец прошептала она и отошла к кровати.

Дюруа последовал за ней.

Убедившись, что от трупа действительно идет запах, он отодвинул кресло: он все равно не вынес бы долго этого зловония.

— Утром надо будет положить его в гроб,— заметил он.

— Да, да, я уже распорядилась, столяр придет к восьми.

— Бедняга! — со вздохом сказал Дюруа.

У нее тоже вырвался вздох — тяжелый вздох унылой покорности.

Теперь они реже смотрели на него; оба такие же смертные, как и он, они свыкались с мыслью о смерти, в глубине души примиряясь с этим уходом в небытие, с тем, что еще так недавно волновало и возмущало их.

Молча сидели они, из приличия стараясь не засыпать. Но около полуночи Дюруа заснул первый. А когда проснулся, то увидел, что г-жа Форестье тоже дремлет, и, устроившись поудобнее, снова закрыл глаза.

— Черт возьми, куда лучше в своей постели! — проворчал он.

Его разбудил какой-то стук. Вошла сиделка. Было уже совсем светло. Г-жа Форестье сидела против него; спросонья она тоже, видимо, не сразу пришла в себя. Она была немного бледна, но все так же мила, хороша собой, все так же молодо выглядела,— ночь, проведенная в кресле, не отразилась на ней.

Дюруа посмотрел на труп и вздрогнул.

— Смотрите! Борода! — вскрикнул он.

За несколько часов это разлагавшееся лицо обросло бородой так, как живой человек не обрастет и за несколько дней. И они оба оцепенели при виде жизни, еще сохранявшейся в мертвеце, словно это было некое страшное чудо, сверхъестественная угроза воскресения, нечто ненормальное, пугающее, нечто такое, что ошеломляет, что сводит с ума.

До одиннадцати оба отдыхали. Затем Шарля положили в гроб, и на душе у обоих стало легче, спо-

койнее. Сидя за завтраком друг против друга, они испытывали желание говорить о чем-нибудь веселом, отрадном: со смертью было покончено, и они стремились вернуться к жизни.

В распахнутое окно вместе с теплым и нежным дуновением весны вливался аромат цветущей гвоздики, что росла перед домом на клумбе.

Г-жа Форестье предложила Дюруа пройтись по саду, и они медленно стали ходить вокруг зеленой лужайки, с наслаждением вдыхая прогретый воздух, полный запахов пихты и эвкалипта.

— Послушайте, дорогой друг, я уже... обдумала... то, что вы мне предлагали,— не поворачивая к нему головы, точь-в-точь так же, как говорил он ночью, там, наверху, негромко, раздельно и веско начала г-жа Форестье.— И я не хочу, чтобы вы уехали, не услышав от меня в ответ ни слова. Впрочем, я не скажу ни да, ни нет. Подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Вы тоже подумайте хорошенько. Вы увлеклись,— не придавайте этому серьезного значения. Я потому заговорила об этом теперь, когда бедного Шарля еще не опустили в могилу, что после всего вами сказанного я почувствовала необходимость разъяснить вам, с кем вы имеете дело, чтобы вы не тешили себя больше мечтой, которой вы со мной поделились, в том случае, если... если вы не способны понять меня и принять такой, какая я есть.

Постарайтесь же меня понять. Брак для меня не цепи, но содружество. Это значит, что мне предоставляется полная свобода действий, что я не обязана отдавать отчет в своих поступках, не обязана докладывать, куда я иду. Я не терплю ни слежки, ни ревности, ни нравоучений. Разумеется, я обязуюсь ничем не компрометировать человека, фамилию которого я буду носить, не ставить его в ложное или смешное положение. Но пусть и он видит во мне не служанку, не кроткую и покорную жену, но союзницу, равную ему во всем. Я знаю, что мои взгляды многим покажутся слишком смелыми, но я от них не отступлю. Вот и все.

К этому я прибавлю то же, что и вы: не давайте мне ответа сейчас, это было бы бесполезно и неуме-

стно. Мы еще увидимся и, быть может, поговорим об этом.

А теперь погуляйте один. Я пойду к нему. До вечера.

Он надолго припал губами к ее руке, затем, ни слова не сказав, удалился.

Встретились они уже вечером, за обедом. Оба падали от усталости и оттого поспешили разойтись по своим комнатам.

Шарля Форестье похоронили на другой день, без всякой помпы, на каннском кладбище. Жорж Дюруа решил ехать курьерским, в половине второго.

Г-жа Форестье проводила его на вокзал. В ожидании поезда они спокойно гуляли по перрону и говорили о посторонних предметах.

Подошел поезд, настоящий курьерский поезд, с короткой цепью вагонов: их всего было пять.

Заняв место в вагоне, Дюруа сошел на платформу, чтобы еще несколько секунд побыть с г-жой Форестье; при мысли о том, что он покидает ее, ему вдруг стало томительно грустно, тоскливо, точно он расставался с ней навсегда.

— На Марсель — Лион — Париж, занимайте места! — крикнул кондуктор.

Войдя в вагон, Дюруа выглянул в окно, чтобы сказать ей еще несколько слов. Паровоз засвистел, и поезд медленно тронулся.

Высунувшись из вагона, Дюруа смотрел на г-жу Форестье: она неподвижно стояла на перроне и провожала его глазами. Внезапно, перед тем как потерять ее из виду, он поднес обе руки к губам и послал ей воздушный поцелуй.

Она ответила ему тем же, только ее поцелуй вышел более робким, стыдливым, едва уловимым.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Жорж Дюруа вернулся к своим давним привычкам.

Занимая все ту же маленькую квартирку в нижнем этаже на Константинопольской улице, он вел теперь скромную жизнь человека, ожидающего перемены в своей судьбе. Даже его связь с г-жой де Марель стала напоминать брачный союз, словно он заранее приучал себя к новой роли, и его любовница, дивясь благоразумной упорядоченности их отношений, часто повторяла со смехом:

— Ты еще мещанистей моего супруга. Незачем было менять.

Г-жа Форестье все не ехала. Она задержалась в Канне. Она написала ему, что вернется не раньше середины апреля, но то, что было ими сказано друг другу на прощание, обошла полным молчанием. Он стал ждать. Он твердо решил применить любые средства, в случае если она начнет колебаться, и в конце концов все-таки жениться на ней. Он верил в свою звезду, верил, что обладает даром покорять сердца, чувствовал в себе непонятную и неодолимую силу, перед которой не могла бы устоять ни одна женщина.

Коротенькая записка возвестила ему, что решительная минута близка:

«Я в Париже. Зайдите ко мне.

Мадлена Форестье».

И только. Он получил эту записку с утренней девятичасовой почтой. В три часа дня он был уже у нее. Улыбаясь своей милой, приветливой улыбкой, она про-

тянула ему обе руки. И несколько секунд они пристально смотрели друг на друга.

— Как хорошо, что вы приехали тогда, в такое ужасное для меня время! — прошептала она.

— Я сделал бы все, что бы вы мне ни приказали,— сказал он.

Они сели. Она попросила рассказать ей новости, начала расспрашивать его о супругах Вальтер, о сотрудниках, о газете. Оказалось, что о газете она вспоминала часто.

— Мне этого очень не хватает, очень,— призналась она.— Я стала журналисткой в душе. Что ни говорите, а я это дело люблю.

Она замолчала. В ее улыбке, тоне, словах ему почудился какой-то намек, и это заставило его изменить своему первоначальному решению не ускорять ход событий.

— Ну что ж!.. Почему бы... почему бы вам не заняться теперь... этим делом... под фамилией Дюруа? — запинаясь, проговорил он.

Г-жа Форестье сразу стала серьезной.

— Не будем пока об этом говорить,— положив ему руку на плечо, тихо сказала она.

Но Дюруа, догадавшись, что она принимает его предложение, упал перед ней на колени.

— Благодарю, благодарю, как я люблю вас! — страстно целуя ее руки, бормотал он.

Она встала. Последовав ее примеру, он вдруг заметил, что она очень бледна. И тут он понял, что нравится ей, быть может, уже давно. Они стояли друг против друга; воспользовавшись этим, он привлек ее к себе и запечатлел на ее лбу долгий, нежный, почтительный поцелуй.

— Послушайте, друг мой,— выскользнув у него из рук, строго заговорила она,— я еще ничего не решила. Однако может случиться, что я соглашусь. Но вы должны обещать мне держать это в строжайшем секрете до тех пор, пока я вам не скажу.

Он поклялся ей и ушел, чувствуя себя на седьмом небе.

С этого дня он начал проявлять в разговорах с ней сугубую сдержанность и уже не добивался от нее

точного ответа, поскольку в ее манере говорить о будущем, в тоне, каким она произносила: «В дальнейшем», в ее проектах совместной жизни угадывалось нечто более значительное и более интимное, чем формальное согласие.

Дюруа работал не покладая рук и тратил мало, стараясь накопить немного денег, чтобы ко дню свадьбы не остаться без гроша, так что теперешняя его скупость равнялась его былой расточительности.

Прошло лето, затем осень, но ни у кого по-прежнему не возникало никаких подозрений, так как виделись они редко и держали себя в высшей степени непринужденно.

Однажды вечером Мадлена, глядя ему прямо в глаза, спросила:

— Вы ничего не говорили о нашем проекте госпоже де Марель?

— Нет, дорогая. Я обещал вам хранить его в тайне, и ни одна живая душа о нем не знает.

— Ну, теперь можете ей сказать. А я сообщу Вальтерам. На этой же неделе. Хорошо?

Он покраснел.

— Да, завтра же.

— Если хотите,— медленно отведя глаза в сторону, словно для того, чтобы не замечать его смущения, продолжала она,— мы можем пожениться в начале мая. Это будет вполне прилично.

— С радостью повинуюсь вам во всем.

— Мне бы очень хотелось десятого мая, в субботу. Это как раз день моего рождения.

— Десятого мая, отлично.

— Ваши родители живут близ Руана, да? Так вы мне по крайней мере говорили.

— Да, близ Руана, в Кантеле.

— Чем они занимаются?

— Они... мелкие рантье.

— А! Я мечтаю с ними познакомиться.

Дюруа, крайне смущенный, замялся:

— Но... дело в том, что они...

Затем, внушив себе, что надо быть мужественным, решительно заговорил:

— Дорогая, они крестьяне, содержатели кабачка,

они из кожи вон лезли, чтобы дать мне образование. Я их не стыжусь, но их... простота... их... неотесанность... может неприятно на вас подействовать.

Она улыбалась прелестной улыбкой, все лицо ее светилось нежностью и добротой.

— Нет. Я буду их очень любить. Мы съездим к ним. Непременно. Мы еще с вами об этом поговорим. Мои родители тоже были простые люди... Но они умерли. Во всем мире у меня нет никого... кроме вас,— добавила она, протянув ему руку.

Он был взволнован, растроган, покорен,— до сих пор ни одна женщина не внушала ему таких чувств.

— Я кое-что надумала,— сказала она,— но это довольно трудно объяснить.

— Что именно? — спросил он.

— Видите ли, дорогой, у меня, как и у всякой женщины, есть свои... свои слабости, свои причуды, я люблю все блестящее и звучное. Я была бы счастлива носить аристократическую фамилию. Не можете ли вы, по случаю нашего бракосочетания, сделаться... сделаться дворянином?

Теперь уже покраснела она, покраснела так, словно совершила бестактность.

— Я сам об этом подумывал,— простодушно ответил Дюруа,— но, по-моему, это не так-то легко.

— Почему же?

Он засмеялся.

— Боюсь показаться смешным.

Она пожала плечами.

— Что вы, что вы! Так поступают все, и никто над этим не смеется. Разделите свою фамилию на две части: «Дю Руа». Очень хорошо!

— Нет, нехорошо,— с видом знатока возразил он.— Это слишком простой, слишком шаблонный, слишком избитый прием. Я лично думал взять сперва в качестве литературного псевдонима название моей родной деревни, затем незаметно присоединить ее к фамилии, а потом уже, как вы предлагаете, разделить ее на две части.

— Ваша деревня называется Кантеле? — спросила она.

— Да.

Она призадумалась.

— Нет. Мне не нравится окончание. Послушайте, нельзя ли чуть-чуть изменить это слово... Кантеле?

Г-жа Форестье взяла со стола перо и начала выписывать разные фамилии, всматриваясь при этом в их начертание.

— Готово, смотрите, смотрите! — неожиданно воскликнула она и протянула ему лист бумаги, на котором стояло: «Госпожа Дюруа де Кантель».

— Да, это очень удачно,— подумав несколько секунд, заметил он с важностью.

— Дюруа де Кантель, Дюруа де Кантель, госпожа Дюруа де Кантель. Чудесно! Чудесно! — в полном восторге повторяла г-жа Форестье.

— Вы увидите, как просто все к этому отнесутся,— уверенно продолжала она.— Только не надо терять времени. Потом будет уже поздно. Свои статьи вы с завтрашнего же дня начинайте подписывать: «Дюруа де Кантель», а заметки — просто «Дюруа». Среди журналистов это так принято, и ваш псевдоним никого не удивит. Ко дню нашей свадьбы мы еще кое-что изменим, а друзьям объясним, что до сих пор вы отказывались от частицы «дю» из скромности, что к этому вас вынуждало занимаемое положение, а может, и вовсе ничего не объясним. Как зовут вашего отца?

— Александр.

— Александр, Александр,— несколько раз повторила она, прислушиваясь к звучанию этого слова, потом взяла чистый лист бумаги и написала:

«Господин и госпожа Александр дю Руа де Кантель имеют честь сообщить вам о бракосочетании их сына Жоржа дю Руа де Кантель с госпожой Мадленой Форестье».

Она издали взглянула на свое рукописание и, довольная эффектом, заявила:

— При известной сноровке можно добиться чего угодно.

Выйдя от нее с твердым намерением именоваться впредь «дю Руа» и даже «дю Руа де Кантель», он почувствовал, что вырос в собственных глазах. Походка у него стала еще более молодцеватой, голову он дер-

жал выше, а его усы были теперь особенно лихо закручены,— так, по его мнению, должен был выглядеть дворянин. Он находился в таком приподнятом состоянии, что ему хотелось объявить первому встречному: «Меня зовут дю Руа де Кантель».

Но, вернувшись домой, он с беспокойством подумал о г-же де Марель и тотчас же написал письмо, в котором назначил ей свидание на завтра.

Затем, с той же врожденной беспечностью, благодаря которой он ко всему относился легко, Дюруа махнул на это рукой и начал писать бойкую статью о новых налогах, которые он предлагал установить в целях укрепления государственного бюджета.

За частицу, указывающую на дворянское происхождение, он считал нужным взимать сто франков в год, а за титул, начиная с баронского и кончая княжеским, от пятисот до тысячи франков.

Подписался он: «Д. де Кантель».

На другой день из «голубого листочка», посланного ему любовницей, он узнал, что она будет у него в час.

Дюруа ждал ее с некоторым волнением; он решил сразу приступить к делу, сказать ей все напрямик, и только потом, когда острая боль пройдет, привести убедительные доводы, объяснить ей, что он не может оставаться холостяком до бесконечности и что раз г-н де Марель упорно не желает отправляться на тот свет, то ему пришлось подумать о законной супруге.

И все же ему было не по себе. Когда раздался звонок, у него сильно забилось сердце.

Она бросилась к нему:

— Здравствуй, Милый друг!

Холодность его объятий не укрылась от г-жи де Марель.

— Что с тобой? — внимательно посмотрев на него, спросила она.

— Сядь,— сказал он.— Нам надо серьезно поговорить.

Не снимая шляпы, а лишь приподняв вуалетку, г-жа де Марель села в ожидании.

Дюруа опустил глаза,— он собирался с мыслями.

— Дорогая моя,— медленно заговорил он,— меня очень волнует, расстраивает и огорчает то, что я должен тебе сообщить. Я горячо люблю тебя, люблю всем сердцем, и боязнь причинить тебе горе удручает меня сильней, чем самая новость.

Г-жа де Марель побледнела и начала дрожать.

— Что случилось? Ну, говори! — прошептала она.

Тогда он печально и в то же время решительно, с той притворной грустью в голосе, с какой обыкновенно извещают о приятной неприятности, проговорил:

— Дело в том, что я женюсь.

Из груди у нее вырвался болезненный стон — так стонут женщины перед тем, как лишиться чувств, ей стало душно, она задыхалась и не могла выговорить ни слова.

— Ты себе не представляешь, сколько я выстрадал, прежде чем прийти к этому решению,— видя, что она молчит, продолжал он.— Но у меня нет ни денег, ни определенного положения. Я одинок, я затерян в Париже. Мне нужно, чтобы около меня находился человек, который помогал бы мне советами, утешал бы меня, служил мне опорой. Я искал союзницу, подругу жизни, и я ее нашел!

Дюруа смолк в надежде, что она что-нибудь ответит ему,— он ждал вспышки гнева, резкостей, оскорблений.

Она прижала руку к сердцу словно для того, чтобы сдержать его биение. Дышала она все так же прерывисто, тяжело, отчего высоко поднималась ее грудь и вздрагивала голова.

Он взял ее руку, лежавшую на спинке кресла, но она резко отдернула ее.

— О боже! — в каком-то оцепенении прошептала она.

Он опустился на колени, но дотронуться до нее не посмел: любая дикая выходка с ее стороны не испугала бы его так, как ее молчание.

— Кло, моя маленькая Кло,— пробормотал он,— войди в мое положение, постарайся меня понять. Ах, если бы я мог на тебе жениться,— какое это было бы счастье! Но ты замужем. Что же мне остается делать? Подумай сама, подумай сама! Я должен занять поло-

жение в обществе, а для этого необходим семейный очаг. Если бы ты знала!.. Бывали дни, когда я готов был убить твоего мужа...

Его мягкий, вкрадчивый, чарующий голос звучал, как музыка.

Две крупные слезы, выступив на ее неподвижных глазах, покатились по щекам, а на ресницах меж тем повисли другие.

— Не плачь, Кло, не плачь, умоляю тебя! — шептал он.— У меня душа разрывается.

Чувство собственного достоинства и женская гордость заставили ее сделать над собой огромное усилие.

— Кто она? — тем сдавленным голосом, какой появляется у женщины, когда ее душат рыдания, спросила г-жа де Марель.

Он помедлил секунду, затем, поняв, что это неизбежно, ответил:

— Мадлена Форестье.

Г-жа де Марель вздрогнула всем телом — и окаменела вновь; погруженная в свои размышления, она словно не замечала, что он все еще стоит перед ней на коленях.

А прозрачные капли, одна другою сменяясь, все текли и текли у нее по щекам.

Она встала. Дюруа понял, что она хочет уйти, не сказав ему ни слова, не бросив ни единого упрека, но и не простив его. Он был обижен, оскорблен этим до глубины души. Пытаясь удержать ее, он обхватил ее полные ноги и почувствовал сквозь материю, как они напряглись, ощутил их сопротивление.

— Не уходи так, заклинаю тебя,— молил Жорж.

Она бросила на него сверху вниз замутненный слезою отчаянный взгляд, тот чудный и грустный взгляд, в котором женщина выражает всю свою душевную боль.

— Мне... нечего сказать...— прошептала она,— мне... нечего здесь больше делать... Ты... ты прав... ты... ты... ты сделал хороший выбор...

Высвободившись резким движением, она пошла к выходу, и он не удерживал ее более.

Поднимаясь с колен, Жорж испытывал такое чув-

ство, точно его хватили обухом по голове. Но он быстро овладел собой.

— Ну что ж, тем хуже, или, верней, тем лучше,— сказал он себе.— Дело обошлось... без скандала. А мне того и надо.

Почувствовав, что с души у него свалилась огромная тяжесть, почувствовав, что он свободен, ничем не связан, что теперь ничто не мешает ему начать новую жизнь, упоенный удачей, не зная, куда девать избыток сил, он с такой яростью принялся бить кулаками в стену, точно вступал в единоборство с самой судьбой.

На вопрос г-жи Форестье:

— Вы сказали госпоже де Марель?

Он с невозмутимым видом ответил:

— Конечно...

Она испытующе посмотрела на него своим ясным взглядом.

— И это ее не огорчило?

— Ничуть. Напротив, она нашла, что это очень хорошо.

Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что они это предвидели, третьи улыбались, давая понять, что это их нисколько не удивляет.

Жорж, подписывавший теперь свои фельетоны «Д. де Кантель», заметки — «Дюруа», а политические статьи, которые он время от времени давал в газету,— «Дю Руа», полдня проводил у невесты, и она держала себя с ним, как сестра, просто и естественно, но в этой простоте, вместе с подлинной, хотя и затаенной нежностью проскальзывало едва заметное влечение к нему, которое она скрывала, как некую слабость. Она условилась с ним, что на их бракосочетании не будет никого, кроме свидетелей, и что в тот же вечер они уедут в Руан. Ей хотелось погостить несколько дней у его родителей.

Дюруа пытался отговорить ее от этой поездки, но безуспешно; в конце концов он вынужден был уступить.

Отказавшись от церковного обряда, поскольку они никого не звали, новобрачные десятого мая зашли в мэрию, потом вернулись домой уложить вещи, а вече-

ром шестичасовой поезд, отходивший с вокзала Сен-Лазар, уже уносил их в Нормандию.

До той минуты, когда они остались вдвоем в вагоне, им все не удавалось поговорить. Почувствовав, что они уже едут, они взглянули друг на друга и, чтобы скрыть легкое смущение, засмеялись.

Поезд, миновав наконец длинный Батиньольский деб'аркадер, выбрался на равнину — ту чахлую равнину, что тянется от городских укреплений до Сены.

Жорж и его жена изредка произносили незначащие слова и снова принимались смотреть в окно.

Проезжая Аньерский мост, они ощутили радостное волнение при виде реки, сплошь усеянной судами, яликами и рыбачьими лодками. Косые лучи солнца, могучего майского солнца, ложились на суда и на тихую, неподвижную, без плеска и зыби, воду, словно застывшую в жарком блеске уходящего дня. Парусная лодка, развернувшая посреди реки два больших белых полотняных треугольника, которые сторожили малейшее дуновение ветра, напоминала огромную птицу, приготовившуюся к полету.

— Я обожаю окрестности Парижа,— тихо сказал Дюруа,— одно из самых приятных моих воспоминаний — это воспоминание о том, как я ел здесь рыбу.

— А лодки! — подхватила она.— Как хорошо скользить по воде, когда заходит солнце!

Они замолчали, как бы не решаясь продолжать восхваления прошлого; погруженные в задумчивость, они, быть может, уже предавались поэзии сожалений.

Дюруа сидел против жены; он взял ее руку и медленно поцеловал.

— Когда вернемся в Париж, мы будем иногда ездить в Шату обедать,— сказал он.

— У нас будет столько дел! — проговорила она таким тоном, будто желала сказать: «Надо жертвовать приятным ради полезного».

Он все еще держал ее руку, с беспокойством думая о том, как перейти к ласкам. Он нимало не смутился бы, если б перед ним была наивная девушка, но он чуял в Мадлене живой и насмешливый ум, и это сбивало его с толку. Он боялся попасть впросак, боялся показаться слишком робким или, наоборот, слишком

бесцеремонным, медлительным или, наоборот, торопливым.

Он слегка пожимал ей руку, но она не отвечала на его зов.

— Мне кажется очень странным, что вы моя жена,— сказал он.

Это, видимо, поразило ее.

— Почему же?

— Не знаю. Мне это кажется странным. Мне хочется поцеловать вас, и меня удивляет, что я имею на это право.

Она спокойно подставила ему щеку, и он поцеловал ее так, как поцеловал бы сестру.

— Когда я вас увидел впервые,— продолжал он,— помните, в тот день, когда я по приглашению Форестье пришел к вам обедать,— я подумал: «Эх, если бы мне найти такую жену!» Так оно и случилось. Я ее нашел.

— Вы очень любезны,— хитро улыбаясь и глядя ему прямо в глаза, прошептала она.

«Я слишком холоден. Это глупо. Надо бы действовать смелее»,— подумал Дюруа и обратился к ней с вопросом:

— Как вы познакомились с Форестье?

— Разве мы едем в Руан для того, чтобы говорить о нем? — с лукавым задором спросила она в свою очередь.

Он покраснел.

— Я веду себя глупо. Я робею в вашем присутствии.

Это ей польстило.

— Да что вы! Почему же?

Он сел рядом с ней, совсем близко.

— Олень! — вдруг закричала она.

Поезд проезжал Сен-Жерменский лес. На ее глазах испуганная козуля одним прыжком перескочила аллею.

Мадлена все еще смотрела в раскрытое окно, когда Дюруа вдруг наклонился и прильнул губами к ее шее,— это был продолжительный поцелуй любовника.

Несколько минут она сидела не шевелясь, затем подняла голову:

— Перестаньте, мне щекотно.

Но возбуждающая ласка не прекращалась: медлен-

но и осторожно продолжал он водить своими закрученными усами по ее белой коже.

Она выпрямилась:

— Да перестаньте!

Тогда он обхватил правой рукой ее голову и повернул лицом к себе. Затем, как ястреб на добычу, набросился на ее губы.

Она отбивалась, отталкивала его, пыталась высвободиться. Наконец ей это удалось.

— Да перестаньте же! — повторила она

Но он не слушал ее; сжимая ее в своих объятиях, он целовал ее жадными, дрожащими губами и старался опрокинуть на подушки.

Она с трудом вырвалась от него и быстро встала.

— Послушайте, Жорж, перестаньте! Ведь мы не дети, мы отлично можем потерпеть до Руана.

Он сидел весь красный, охлажденный ее благоразумием. Когда же к нему вернулось прежнее спокойствие, он весело сказал:

— Хорошо, я потерплю, но до самого Руана вы не услышите от меня и двадцати слов,— вот вам за это. Имейте в виду: мы еще только проезжаем Пуасси.

— Говорить буду я,— сказала она.

И, спокойно сев рядом с ним, она начала подробно описывать то, что их ожидает по возвращении. Они останутся в той квартире, где она жила со своим первым мужем, причем обязанности, которые Форестье исполнял в редакции, вместе с его жалованьем тоже перейдут к Дюруа.

Впрочем, материальную сторону их брачного сожительства она с точностью дельца уже заранее обдумала до мелочей.

Их союз был основан на началах раздельного владения имуществом, и все случаи жизни — смерть, развод, появление одного или нескольких младенцев — были ими предусмотрены. Дюруа, по его словам, располагал суммой в четыре тысячи франков, из них полторы тысячи он взял в долг. Прочее составляли сбережения, которые он делал в этом году, ожидая перемены в своей судьбе. Мадлена располагала суммой в сорок тысяч франков, которую, по ее словам, оставил ей Форестье.

Вспомнив о Шарле, она отозвалась о нем с похвалой:

— Он был очень бережлив, очень аккуратен, очень трудолюбив. В короткий срок он нажил бы себе целое состояние.

Дюруа, занятый совсем другими мыслями, уже не слушал ее.

Порой она умолкала, думала о чем-то своем, затем возобновляла начатый разговор:

— Через три — четыре года вы сможете зарабатывать от тридцати до сорока тысяч франков. Проживи Шарль дольше, он зарабатывал бы столько же.

Жоржу наскучили ее наставления, и он прервал ее:

— Насколько мне известно, мы едем в Руан не для того, чтобы говорить о нем.

Она слегка ударила его по щеке.

— Правда, я совсем забыла,— сказала она смеясь.

Разыгрывая пай-мальчика, он сложил руки на коленях.

— У вас теперь глупый вид,— заметила она.

— Вы сами навязали мне эту роль,— возразил он,— теперь уж я из нее не выйду.

— Почему? — спросила она.

— Потому что вы не только будете вести наше хозяйство, но и руководить моей особой. Впрочем, вам, как вдове, и карты в руки!

Она была удивлена:

— Что вы, собственно, хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что ваши познания должны рассеять мое невежество, а ваш опыт замужней женщины должен расшевелить мою холостяцкую невинность, вот что!

— Это уж слишком! — воскликнула она.

— Это именно так,— возразил он.— Я не знал женщин, так?.. А вы мужчин знаете,— ведь вы вдова, так? — и вы займетесь моим воспитанием... сегодня вечером, так? — можно начать даже сейчас, если хотите.

— О, если вы рассчитываете в данном случае на меня!..— воскликнула она, развеселившись.

— Ну да, я рассчитываю на вас,— тоном школьника, отвечающего урок, заговорил Дюруа.— Больше того: я рассчитываю, что в двадцать уроков... вы сделаете

из меня образованного человека... Десять уроков на основные предметы... на чтение и на грамматику... десять — на упражнения и на риторику... Ведь я ничего не знаю, ничего!

— Ты глуп! — все более и более оживляясь, воскликнула она.

— Раз ты начала говорить мне «ты»,— продолжал он,— то я немедленно последую твоему примеру, и я должен сказать тебе, дорогая, что любовь моя с каждой секундой становится все сильней и что путь до Руана кажется мне очень долгим!

Он говорил теперь с актерскими интонациями, сопровождая свою речь смешными ужимками, которые забавляли молодую женщину, привыкшую к выходкам и проказам высшей литературной богемы.

Она искоса поглядывала на него, и он казался ей поистине очаровательным, он внушал ей желание, подобное тому, какое вызывает в нас висящий на дереве плод, хотя рассудок и шепчет нам, что надо запастись терпением и съесть его после обеда.

Нескромные мысли, осаждавшие молодую женщину, заставили ее слегка покраснеть.

— Мой милый ученик,— сказала Мадлена,— поверьте моему опыту, моему большому опыту. Поцелуи в вагоне ничего не стоят. Они портят аппетит.

Покраснев еще больше, она прошептала:

— Недозрелый колос не жнут.

Дюруа посмеивался,— двусмысленности, исходившие из этого прелестного ротика, возбуждали его. Затем он беззвучно пошевелил губами, словно шепча молитву, и, перекрестившись, торжественно произнес:

— Отдаю себя под покровительство святого Антония, оберегающего от искушений. Ну вот, теперь я каменный.

Неслышно надвигалась ночь, и ее прозрачный сумрак, будто легкий креп, окутывал раскинувшиеся справа необозримые поля. Поезд шел вдоль Сены. Молодые супруги смотрели на реку, что тянулась рядом с железнодорожным полотном широкою лентою свеженачищенного металла, и на багровые отсветы — на эти пятна, упавшие с неба, которые лучи заходящего солнца отполировали огнем и пурпуром. Отблески мало-

помалу тускнели и, подернувшись пеплом, печально гасли. А поля с зловещей предсмертной дрожью, каждый раз пробегающей по земле с наступлением сумерек, погружались во тьму.

Вечерняя грусть, вливаясь в раскрытое окно, охватывала души еще недавно таких веселых, а теперь внезапно примолкших молодоженов.

Прижавшись друг к другу, они следили за агонией дня, чудесного, ясного майского дня.

Когда поезд остановился в Манте, в вагоне зажгли масляный фонарик, и он мерцающим желтым светом озарил серое сукно обивки.

Дюруа обнял Мадлену и притянул к себе. Острое желание сменилось в нем нежностью, томною нежностью, безбурною жаждой тихой, убаюкивающей, умиротворяющей ласки.

— Я буду очень любить тебя, моя маленькая Мад,— прошептал он чуть слышно.

Его вкрадчивый голос взволновал ее, по ее телу пробежала нервная дрожь, и, слегка наклонившись, так как щека его покоилась на теплом ложе ее груди, она протянула ему губы.

Это был продолжительный поцелуй, безмолвный и глубокий, затем рывок, внезапное и яростное сплетение тел, короткая ожесточенная борьба, стремительное и беспорядочное утоление страсти. Потом, оба несколько разочарованные, утомленные и все еще полные нежности, они не разжимали объятий до тех пор, пока паровозный гудок не возвестил им скорой остановки.

— Как это глупо! — воскликнула она, приглаживая кончиками пальцев растрепавшиеся на висках волосы.— Мы ведем себя, как дети.

Но Дюруа с лихорадочной торопливостью покрывал поцелуями ее руки, то одну, то другую.

— Я тебя обожаю, моя маленькая Мад,— сказал он.

До самого Руана они сидели почти неподвижно, щека к щеке, глаза — в раскрытое окно, за которым в ночной темноте порою мелькали освещенные домики. Наслаждаясь тем, что они так близко один к другому, испытывая все растущее желание более интимных, бо-

лее непринужденных ласк, они отдавались своим мечтам.

Остановились они в гостинице, окна которой выходили на набережную, и, наскоро поужинав, легли спать. Наутро горничная разбудила их ровно в восемь.

Чай им подали на ночной столик, и, когда они выпили по чашке, Дюруа, посмотрев на жену, в порыве радости, охватывающей тех счастливцев, которым удалось найти сокровище, сжал ее в своих объятиях.

— Моя маленькая Мад,— шептал он,— я тебя очень люблю... очень... очень...

Мадлена улыбалась доверчивой и довольной улыбкой.

— И я тоже... как будто...— целуя его, сказала она.

Но его смущала поездка к родителям. Он много раз предупреждал жену, отговаривал ее, старался ее подготовить. И теперь он счел необходимым возобновить этот разговор.

— Пойми, что это крестьяне, настоящие, а не опереточные.

Она засмеялась.

— Да знаю, ты мне уже говорил. Вставай-ка лучше, а то из-за тебя и я не могу встать.

Он спрыгнул с кровати и начал надевать носки.

— Нам будет у них очень неудобно, очень. У меня в комнате стоит старая кровать с соломенным тюфяком — и больше ничего. О волосяных матрацах в Кантле не имеют понятия.

Она пришла в восторг:

— Ну и чудесно. Что может быть лучше... провести с тобой... бессонную ночь... и вдруг услышать пение петухов!

Она надела широкий пеньюар из белой фланели. Дюруа сразу узнал его, и ему стало неприятно. Почему? Он отлично знал, что у его жены целая дюжина утренних туалетов. Что же, значит, она должна купить себе новое приданое? Это уж как ей будет угодно, но только он не желает видеть домашние туалеты, ночные сорочки, все эти одежды любви, в которые она облекалась при его предшественнике. У него было такое ощущение, словно мягкая и теплая ткань все еще хранит в себе что-то от прикосновений Форестье.

Закурив папиросу, он отошел к окну.

Вид на гавань и на широкую реку, усеянную легкими парусными судами и коренастыми пароходами, которые при помощи лебедок с диким грохотом разгружались у пристани, произвел на него сильное впечатление, хотя все это ему было давно знакомо.

— Черт, до чего красиво! — воскликнул он.

Подбежала Мадлена, положила ему на плечо обе руки и, доверчиво прижавшись к нему, замерла, потрясенная и очарованная.

— Ах, какая красота, какая красота! — повторяла она.— Я и не думала, что на реке может быть столько судов сразу!

Завтракать супруги должны были у стариков, которых они известили за несколько дней. И через час они уже тряслись в открытом фиакре, дребезжавшем, как старый котел. Сперва бесконечно долго тянулся унылый бульвар, затем начались луга, среди которых протекала речка, потом дорога пошла в гору.

Мадлена была утомлена; прикорнув в углу ветхого экипажа, где ее чудесно пригревало солнце, она разомлела от пронизывающей ласки его лучей и, словно погруженная в теплые волны света и деревенского воздуха, вскоре задремала.

Муж разбудил ее.

— Посмотри,— сказал он.

Проехав две трети горы, они остановились в том месте, откуда открывался славившийся своей живописностью вид, который показывают всем путешественникам.

Внизу светлая река извивалась по длинной, широкой, необъятной равнине. Испещренная бесчисленными островками, она появлялась откуда-то издали и, не доходя до Руана, описывала дугу. На правом берегу реки из дымки утреннего тумана вставал город с позлащенными солнцем кровлями и множеством остроконечных и приплюснутых, хрупких и отшлифованных, словно гигантские драгоценные камни, воздушных колоколен, круглых и четырехугольных башен, увенчанных геральдическими коронами, шпилей и звонниц, а надо всем этим готическим лесом верхушек церквей взметнулась острая соборная игла, изумительная брон-

зовая игла, до странности уродливая и несоразмерная, высочайшая в мире.

Напротив, на том берегу реки, возносились тонкие, круглые, расширявшиеся кверху заводские трубы далеко раскинувшегося предместья Сен-Севэр.

Длинные кирпичные колоннады этих труб, еще более многочисленных, чем их сестры-колокольни, обдавая голубое небо черным от угля дыханием, терялись вдали среди простора полей.

Выше всех взлетевшая труба, такая же высокая, как пирамида Хеопса (это второе по высоте творение человеческих рук), и почти равная своей горделивой подруге — соборной игле, исполинская водонапорная башня «Молнии» казалась царицей трудолюбивого, вечно дымящего племени заводов, а ее соседка — царицей островерхого скопища храмов.

За рабочей окраиной тянулся сосновый лес. И Сена, пройдя между старым и новым городом, продолжала свой путь, подмывая крутой, покрытый лесом извилистый берег и местами обнажая его каменный белый костяк, а затем, еще раз описав громадный полукруг, исчезала вдали. Вверх и вниз по течению шли пароходы величиною с муху и, выхаркивая густой дым, тащили на буксире баржи. Островки, распластавшиеся на воде, то составляли непрерывную цепь, то, словно неодинакового размера бусинки зеленоватых четок, держались один от другого на большом расстоянии.

Кучер ждал, когда его пассажиры кончат восхищаться. Он знал по опыту, сколько времени длится восторг у туристов разных сословий.

Но как только они тронулись в путь, Дюруа на расстоянии нескольких сот метров увидел двух стариков, двигавшихся навстречу, и, выскочив из экипажа, крикнул:

— Это они! Я их узнал!

Двое крестьян, мужчина и женщина, шли неровным шагом, покачиваясь и по временам задевая друг друга плечом. Мужчина был низенький, коренастый, краснощекий, пузатый,— несмотря на свой возраст, он казался здоровяком; женщина — высокая, сухощавая, сгорбленная, печальная, настоящая деревенская труженица, которую сызмала заставляли работать и кото-

рая никогда не смеялась, тогда как муж ее вечно балагурил, выпивая с посетителями.

У Мадлены, неожиданно для нее, мучительно сжалось сердце, когда она, тоже выйдя из экипажа, взглянула на эти два жалких создания. Они не узнали своего сына в этом шикарном господине, и никогда не пришло бы им в голову, что эта нарядная дама в белом платье — их сноха.

Быстро и молча двигались они навстречу долгожданному сыну, не глядя на этих горожан, за которыми ехал экипаж.

Они чуть было не прошли мимо.

— Здорово, папаша Дюруа!— смеясь, крикнул Жорж.

Оба остановились как вкопанные, остолбенев, оторопев. Старуха опомнилась первая и, не двигаясь с места, пробормотала:

— Это ты, сынок?

— Ну да, а то кто же, мамаша Дюруа!— ответил Жорж и, подойдя к ней, поцеловал ее в обе щеки крепким сыновним поцелуем. Затем потерся щеками о щеки отца, снявшего свою руанскую фуражку, черную шелковую, очень высокую, похожую на те, какие носят прасолы.

— Это моя жена,— объявил Жорж.

Крестьяне взглянули на Мадлену. Они смотрели на нее, как на чудо, со страхом и беспокойством, причем у старика к этому сложному чувству примешивалось еще что-то вроде удовлетворения и одобрения, а у старухи — ревнивая неприязнь.

Старик, жизнерадостный от природы да к тому же еще повеселевший от выпитой водки и сладкого сидра, расхрабрился и, хитро подмигнув, спросил:

— А поцеловать-то ее все-таки можно?

— Сколько хочешь,— ответил сын.

Мадлене, и без того чувствовавшей себя не в своей тарелке, пришлось подставить старику щеки, и тот по-деревенски звонко чмокнул ее и вытер губы тыльной стороной руки.

Старуха тоже поцеловала ее, но это был сдержанный в своей враждебности поцелуй. Нет, не о такой невестке мечтала она: ей рисовалась дородная, пышущая

здоровьем девушка с фермы, румяная, как яблочко, и упитанная, как племенная кобыла. А эта дамочка с ее оборками и запахом мускуса смахивала на потаскушку. Дело в том, что, по мнению старухи, духи всегда отзывали мускусом.

Все пошли за экипажем, который вез чемодан молодых супругов.

Старик взял сына под руку и, замедлив шаг, с любопытством спросил:

— Ну, как дела?

— На что лучше!

— Молодец, молодец! А сколько взял за женой?

— Сорок тысяч франков,— ответил Жорж.

Старик присвистнул от восторга.

— Ух ты, черт!— только и мог проговорить он, до того потрясла его сумма.

Затем добавил важно и уверенно:

— Красавица, что и говорить!

Она и в самом деле пришлась ему по вкусу. А ведь в свое время он по этой части слыл знатоком.

Мадлена со своей свекровью молча шли рядом. Мужчины догнали их.

Они уже подходили к деревне — крошечной деревушке, расположенной по обочинам дороги,— десять домов слева, десять домов справа: тут были дома, построенные на городской лад, и обыкновенные хибарки, кирпичные и глиняные, крытые соломой и крытые шифером. На краю деревни с левой стороны стоял одноэтажный домишко с чердаком: это и было заведение старика Дюруа — «Красивый вид». Сосновая ветка, по старинному обычаю прибитая над дверью, указывала, что жаждущие могут войти.

Завтрак был приготовлен в зале на двух сдвинутых столах, накрытых двумя небольшими скатертями. Соседка, помогавшая по хозяйству, увидев нарядную даму, низко поклонилась, затем, узнав Жоржа, воскликнула:

— Господи Исусе, это ты, малый?

— Да, это я, мамаша Брюлен!— весело ответил он и поцеловал ее так же, как перед этим целовал отца и мать.

Затем он обратился к жене:

— Пойдем в нашу комнату, там есть куда положить шляпу.

Через дверь направо он провел ее в прохладную комнату с каменным полом — комнату, сверкавшую белизной, так как стены ее были выбелены известью, а над кроватью висел коленкоровый полог. Распятие над кропильницей и две олеографии, изображавшие Поля и Виржини под синей пальмой и Наполеона I на рыжем коне, составляли единственное украшение этой чистой и скучной комнаты.

Как только они остались одни, Жорж поцеловал Мадлену.

— Здравствуй, Мад. Я рад повидать стариков. В Париже о них не думаешь, а побывать у них все-таки приятно.

Но в перегородку уже стучал кулаком отец:

— Скорей, скорей, суп на столе!

Пришлось идти в залу.

Начался завтрак, по-деревенски долгий завтрак, меню которого было весьма неискусно составлено: после баранины подали колбасу, после колбасы — яичницу. Сидр и несколько стаканов вина привели старика Дюруа в веселое настроение, и он открыл фонтан красноречия: сыпал шутками, которые приберегал для больших праздников, рассказывал непристойные, сальные анекдоты, будто бы случившиеся с его друзьями. Жорж знал их наизусть, но все же смеялся, смеялся оттого, что его опьянял воздух родных полей, оттого, что в нем снова заговорила любовь к родному краю, к знакомым с детства местам, ко всякой вещи, ко всякой мелочи, при виде которой в нем оживали прежние чувства и воспоминания прошлого: это могла быть зарубка на двери, треногий стул, напоминавший о каком-нибудь незначительном происшествии, благоухание земли, сильный аромат смолы и деревьев, которым дышал ближний лес, запах жилья, запах стоячей воды, запах навоза.

Старуха Дюруа, по-прежнему суровая и печальная, все время молчала и с ненавистью поглядывала на свою невестку, да и ничего, кроме ненависти, старая труженица с мозолистыми руками, крестьянка, чье тело было изуродовано непосильной работой, и не могла питать к

Худ. К. Рудаков. 1936. «МИЛЫЙ ДРУГ».

Худ. К. Рудаков. 1935. «МИЛЫЙ ДРУГ».

этой горожанке, производившей на нее отталкивающее впечатление — впечатление чего-то нечистого, порочного, зачумленного,— казавшейся ей олицетворением праздности и греха. Она поминутно вставала, чтобы подать какое-нибудь блюдо, подлить в стаканы желтого кислого вина из графина или сладкого пенистого рыжего сидра, точно газированный лимонад вышибавшего из бутылок пробки.

Мадлена была грустна; она ничего не ела, ни с кем не разговаривала; с уст ее, как всегда, не сходила улыбка, но в этой улыбке сквозила теперь унылая покорность. Она была разочарована, удручена. Чем? Ведь ей самой хотелось сюда. Для нее не составляло тайны, что она едет к крестьянам, к простым крестьянам. Зачем же она идеализировала их,— она, которая никогда никого не идеализировала?

Впрочем, разве она это сознавала? Женщины всегда ждут чего-то иного, не того, что существует в действительности! Быть может, издали они представлялись ей более поэтичными? Поэтичными — нет, но, пожалуй, более возвышенными, более благородными, более радушными, более живописными. Вместе с тем она вовсе не желала, чтобы они были такими же благовоспитанными, как в романах. Почему же ее коробил теперь каждый пустяк, малейшая грубость, их мужицкие ухватки, их слова, движения, смех?

Она вспомнила свою мать, о которой она никогда никому не говорила,— гувернантку, получившую образование в Сен-Дени, соблазненную кем-то и умершую от нищеты и горя, когда Мадлене было двенадцать лет. Какой-то неизвестный человек дал Мадлене образование. Наверно, ее отец? Кто он был? Этого она так и не узнала, хотя кое о чем смутно догадывалась.

Конца завтраку не предвиделось. Стали заходить посетители,— они здоровались со стариком Дюруа, ахали при виде Жоржа и, поглядев искоса на молодую женщину, лукаво подмигивали, как бы говоря: «Ай да Жорж Дюруа, молодчина! Какую жену себе подцепил!»

Другие, малознакомые, садились за деревянные столы, кричали: «Литр!», «Кружку!», «Две рюмки коньяку!», «Стакан рапайля!»— и, громко стуча белыми и черными костяшками, принимались играть в домино.

Старуха Дюруа то и дело входила и уходила, с унылым видом обслуживала посетителей, получала с них деньги и концом синего передника вытирала столы.

Комнату наполнял дым от глиняных трубок и дешевых сигар. Мадлена закашлялась.

— Не выйти ли нам? Я больше не могу.

Но завтрак еще не кончился. Старик Дюруа выразил неудовольствие. Тогда она вышла из-за стола и, решив подождать, пока мужчины выпьют кофе с коньяком, села на стул у входной двери.

Немного погодя Жорж подошел к ней.

— Хочешь, сбежим к Сене?— предложил он.

— Да, да! Пойдем,— с радостью согласилась она.

Они спустились с горы и наняли в Круассе лодку. Охваченные истомой, они провели остаток дня возле островка, под сенью ив, где их пригревало ласковое весеннее солнце и убаюкивала легкая зыбь.

Когда стемнело, они вернулись домой.

Ужин при свете сальной свечи показался Мадлене еще более тягостным, чем завтрак. Старик Дюруа захмелел и все время молчал. Мать сидела с надутым лицом.

На серых, слабо освещенных стенах колыхались носатые тени, делавшие какие-то странные, несоразмерные движения. Стоило кому-нибудь повернуться в профиль к дрожащему желтому пламени свечки, и на стене мгновенно вырастала гигантская рука, подносила ко рту вилку, похожую на вилы, и вслед за тем, словно пасть чудовища, раскрывался рот.

Как только ужин кончился, Мадлена, чтобы не оставаться в этой мрачной комнате, где вечно стоял едкий запах табачного дыма и пролитых напитков, увела мужа на воздух.

— Вот ты и заскучала,— когда они вышли, заметил Жорж.

Она хотела возразить, но он продолжал:

— Нет. Я все вижу. Если хочешь, мы завтра же уедем отсюда.

— Да. Хочу,— прошептала она.

Они медленно шли вперед. Ласкающая, теплая, безбрежная ночная тьма была полна легких шорохов, шелестов, вздохов. Они шли по узкой просеке под высоки-

ми деревьями, между двумя стенами леса, окутанными непроницаемым мраком.

— Где мы?— спросила она.

— В лесу,— ответил он.

— Большой это лес?

— Очень большой, один из самых больших во всей Франции.

Запах земли, деревьев, мха, запах перегноя, запах почек, набухающих соком,— весь этот древний и свежий аромат лесной глуши, казалось, дремал здесь. Подняв голову, Мадлена в просветах между деревьями увидела звезды, и, хотя не шевелилась ни одна ветка, она все же улавливала чуть слышный плеск окружавшего ее океана листвы.

Странная дрожь пробежала по ее телу и отозвалась в душе; сердце сжалось непонятной тоской. Отчего? Этого она не могла себе уяснить. Но у нее было такое чувство, точно ей со всех сторон грозит опасность, точно она затеряна, всеми покинута, заживо погребена, точно она одна, совсем одна под этим одушевленным сводом, чуть колыхавшимся в вышине.

— Мне страшно. Вернемся назад,— шепотом сказала Мадлена.

— Ну что ж, вернемся.

— А в Париж... мы поедем завтра?

— Да, завтра.

— Завтра утром!

— Как хочешь, можно и утром.

Они вернулись домой. Старики уже легли.

Мадлена плохо спала эту ночь, ее все время будили непривычные деревенские звуки: крик совы, хрюканье борова в хлеву за стеной, пение петуха, горланившего с самой полночи.

С первым лучом зари она была уже на ногах и начала собираться в дорогу.

Когда Жорж объявил родителям о своем отъезде, они сначала опешили, но тут же догадались, чье это желание.

Старик ограничился вопросом:

— Увидимся-то мы скоро?

— Конечно. Нынешним летом.

— Ну, ладно.

— Желаю, чтоб тебе после каяться не пришлось,— буркнула старуха.

Чтобы сгладить впечатление, он подарил родителям двести франков. Экипаж, за которым был послан какой-то мальчишка, подали к десяти часам, и, поцеловав стариков, молодые уехали.

Когда они спускались с горы, Дюруа засмеялся.

— Вот,— сказал он,— я тебя предупреждал. Я не должен был знакомить тебя с моими родителями — господином и госпожой Дю Руа де Кантель.

Мадлена тоже засмеялась.

— Теперь я от них в восторге,— возразила она.— Они славные люди, и, мне кажется, я буду их очень любить. Из Парижа я пришлю им что-нибудь в подарок.

И, помолчав, продолжала:

— Дю Руа де Кантель... Ты увидишь, что наши пригласительные письма никого не удивят. Мы скажем, что прожили неделю в имении у твоих родителей.

Прижавшись к нему, она коснулась губами его усов:

— Здравствуй, Жорж!

— Здравствуй, Мад,— ответил он и обнял ее за талию.

Вдали, среди равнины, освещенная утренним солнцем, серебряной лентой изогнулась река, заводские трубы, все до одной, выдыхали в небо угольно-черные облака, а над старым городом вздымались остроконечные колокольни.

II

Прошло два дня с тех пор, как чета Дю Руа вернулась в столицу, и Жорж уже приступил к исполнению своих обязанностей, втайне надеясь, что его освободят от заведования хроникой и назначат на место Форестье и что тогда он всецело посвятит себя политике.

В этот вечер он в превосходном расположении духа шел домой обедать — туда, где жил когда-то его предшественник, и ему не терпелось как можно скорее поцеловать жену, обаятельная внешность которой действовала на него неотразимо и которая, незаметно для него самого, приобретала над ним большое влияние. Прохо-

дя мимо цветочницы, стоявшей на углу Нотр-Дам-де-Лорет, он решил купить Мадлене цветов и тут же выбрал огромный букет еще не совсем распустившихся роз, целый сноп душистых бутонов.

На каждой площадке своей новой лестницы он самодовольно поглядывал на себя в зеркало и все время вспоминал, как он входил в этот дом впервые.

Ключ он забыл дома, и дверь ему отворил все тот же слуга, которого он оставил по совету Мадлены.

— Госпожа Дю Руа дома? — спросил он.

— Да, сударь.

Проходя через столовую, он, к крайнему своему изумлению, заметил на столе три прибора. Портьера, отделявшая столовую от гостиной, была приподнята, и ему было видно Мадлену; как раз в эту минуту она ставила в вазу на камине букет роз, точь-в-точь такой же, как у него. Ему стало до того досадно, до того неприятно, словно у него украли идею, лишили удовольствия оказать ей внимание — удовольствия, которое он заранее предвкушал.

— Ты разве кого-нибудь пригласила?— спросил он, входя.

— И да и нет,— не оборачиваясь и продолжая возиться с цветами, ответила она.— По заведенному обычаю, придет мой старый друг, граф де Водрек: он всегда раньше обедал у нас по понедельникам.

— А! Прекрасно,— пробормотал Жорж.

С букетом в руках он стоял позади нее и не знал, то ли спрятать его, то ли выбросить.

— Посмотри, я принес тебе розы,— все же сказал он.

Мадлена повернула к нему улыбающееся лицо.

— Как это мило с твоей стороны!— воскликнула она и с такой искренней радостью протянула ему руки и губы, что он сразу успокоился.

Затем взяла цветы, понюхала их и с живостью ребенка, которому доставили огромное удовольствие, поставила в пустую вазу, рядом с первой.

— Как я рада!— любуясь эффектом, прошептала она.— Вот теперь на мой камин приятно смотреть.

И тут же убежденно добавила:

— Ты знаешь, Водрек такой прелестный, вы с ним очень скоро сойдетесь.

Звонок дал знать о приходе графа. Вошел он спокойно, уверенно, словно к себе домой. Грациозно изогнув стан, он поцеловал Мадлене пальчики, затем повернулся к мужу и, приветливо протянув ему руку, спросил:

— Как поживаете, дорогой Дю Руа?

Надменность и чопорность уступили в нем место благожелательности, наглядно свидетельствовавшей о том, что положение изменилось. Журналиста это удивило, и в ответ на эти знаки расположения он тоже решил быть любезным. Через пять минут можно было подумать, что они знакомы лет десять и души не чают друг в друге.

— Я вас оставлю одних,— с сияющим лицом сказала Мадлена.— Мне надо заглянуть в кухню.

Мужчины посмотрели ей вслед.

Когда Мадлена вернулась, они говорили о театре в связи с какой-то новой пьесой и до того сходились во мнениях, что на их лицах отражалось даже нечто вроде взаимной симпатии, мгновенно возникшей благодаря тому, что между ними обнаружилось такое полное единомыслие.

Обед прошел чудесно, без всякой натянутости. Граф так хорошо чувствовал себя в этом доме, у этой милой четы, что просидел до позднего вечера.

Когда он ушел, Мадлена сказала мужу:

— Правда, он чудный? Он очень выигрывает при ближайшем знакомстве. Вот уж настоящий друг, испытанный, преданный, верный. Ах, если б не он...

Она не докончила своей мысли.

— Да, он очень симпатичный,— вставил Жорж.— Мне кажется, мы с ним будем большими друзьями.

— Ты знаешь,— снова заговорила она,— нам еще предстоит поработать перед сном. Я не успела сказать тебе об этом до обеда, потому что сейчас же пришел Водрек. Сегодня я узнала, что в Марокко произошли важные события. Это мне сообщил депутат, будущий министр, Ларош-Матье. Нам надо написать большую статью, которая должна произвести сенсацию. Факты и цифры у меня есть. Придется сесть за работу немедленно. Бери лампу.

Он взял лампу, и они перешли в кабинет.

Те же книги стояли рядами в книжном шкафу, а на самом верху красовались три вазы, за которыми Форестье накануне своей смерти ездил к заливу Жуан. Лежавший под столом меховой коврик покойного Шарля ожидал прикосновения ног Дю Руа,— тот уселся и взял ручку из слоновой кости, слегка обгрызенную на конце зубами его предшественника.

Мадлена прислонилась к камину и, закурив папиросу, начала рассказывать новости, затем поделилась своими соображениями и наметила план задуманной статьи.

Он внимательно слушал ее, а сам в это время делал заметки. Когда же она кончила, он высказал свою точку зрения на этот вопрос, углубил его и выдвинул свой план, но уже не одной статьи, а целой кампании против нынешнего министерства. Это нападение должно было быть только началом. Мадлену так заинтересовали широкие возможности, открывшиеся перед ней в замыслах Жоржа, что она даже перестала курить.

— Да... да... Очень хорошо... Чудесно... Превосходно...— время от времени шептала она.

И когда он кончил, сказала:

— Теперь давай писать.

Однако начало всегда давалось ему нелегко, и на этот раз он тоже с трудом находил слова. Заметив это, Мадлена слегка оперлась на его плечо и начала шептать ему на ухо фразу за фразой.

Время от времени она нерешительно обращалась к нему:

— Ты это хочешь сказать?

— Да, именно это,— отвечал он.

С чисто женской беспощадностью осыпала она язвительными, колкими насмешками председателя совета министров, до того остроумно чередуя издевательства над его наружностью с издевательствами над проводимою им политикой, что нельзя было не рассмеяться и в то же время не подивиться меткости ее наблюдений.

Дю Руа вставлял порой несколько строк, сообщавших ее нападкам более глубокий смысл и вместе с тем бóльшую остроту. Кроме того, ему было хорошо знако-

мо искусство коварных недомолвок, которому он учился, шлифуя свои заметки для хроники, и если он находил, что какое-нибудь происшествие, которое Мадлена выдавала за истинное, маловероятно или что оно бросает на кого-либо тень, то лишь прозрачно намекал на него и тем самым придавал ему в глазах читателей больше веса, чем если бы говорил о нем прямо.

Когда статья была написана, Жорж с чувством прочитал ее вслух.

Она показалась им обоим великолепной, и, ликующие, изумленные, они улыбнулись так, словно только сейчас оценили друг друга. Они смотрели друг на друга с нежностью, влюбленными глазами, а затем, почувствовав, что ощущение близости духовной переходит у них в жажду физической близости, порывисто обнялись и поцеловались.

Дю Руа взял лампу.

— А теперь бай-бай,— сказал он, и в глазах у него вспыхнул огонь.

— Идите вперед, мой повелитель,— ведь вы освещаете путь,— проговорила она.

Он пошел в спальню, а она следовала за ним, щекотала ему кончиком пальца шею между волосами и воротником и этим подгоняла его, так как он боялся щекотки.

Статья, появившаяся за подписью «Жорж Дю Руа де Кантель», наделала много шуму. В палате начался переполох. Старик Вальтер поздравил автора и тут же назначил его заведующим политическим отделом «Французской жизни». Хроника опять отошла к Буаренару.

С этого дня «Французская жизнь» повела тонко рассчитанную, яростную кампанию против министерства. В этой искусной, всегда основанной на фактах полемике, то язвительной, то серьезной, то шутливой, то злобной, всех поражало ее упорство и уверенный тон. Другие газеты постоянно цитировали «Французскую жизнь», приводили из нее целые абзацы, а те, кто стоял у власти, осведомлялись, нельзя ли заткнуть рот неведомому и дерзкому врагу с помощью какой-либо провинциальной префектуры.

Дю Руа стал пользоваться известностью в полити-

ческих кругах. О росте своего влияния он судил по рукопожатиям и поклонам. Что касается его супруги, то она изумляла и восхищала его гибкостью своего ума, своей исключительной осведомленностью и своими широкими связями.

Возвращаясь домой, он каждый день заставал в гостиной то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, и все они держали себя с Мадленой как старые друзья, почтительно и непринужденно. Где она с ними познакомилась? В обществе, утверждала она. Но как удалось ей завоевать их доверие и симпатию? Это оставалось для него загадкой.

«Из нее мог бы выйти шикарный дипломат»,— думал он.

Она часто опаздывала к обеду, вбегала запыхавшись, раскрасневшаяся, возбужденная и, не успев снять шляпу, начинала выкладывать новости:

— Сегодня нам будет чем поживиться. Представь, министр юстиции назначил судьями двух бывших членов смешанных комиссий. Влетит же ему от нас,— долго будет помнить!

И министру влетало несколько дней подряд. Депутат Ларош-Матье, обедавший на улице Фонтэн по вторникам, вслед за графом де Водреком, крепко пожимал супругам руку и предавался неумеренному восторгу.

— Черт возьми, ну и кампания! — всякий раз говорил он.— Если уж мы теперь не одержим победы...

В глубине души он был убежден, что ему удастся оттягать портфель министра иностранных дел, к которому он давно подбирался.

Это был заурядный политический деятель, не имевший ни своего лица, ни своего мнения, не блиставший способностями, не отличавшийся смелостью и не обладавший солидными знаниями,— адвокат из какого-нибудь захолустного городка, провинциальный лев, иезуит под маской республиканца, искусно лавировавший между враждующими партиями, один из тех сомнительного качества либеральных грибов, что сотнями растут на навозе всеобщего избирательного права.

Благодаря своему доморощенному макиавеллизму он сходил за умного среди своих коллег — среди всех

этих отщепенцев и недоносков, из которых делаются депутаты. Он был достаточно вылощен, достаточно хорошо воспитан, достаточно развязен и достаточно любезен для того, чтобы преуспеть. В свете, этом разношерстном, текучем и не очень разборчивом обществе видных чиновников, случайно всплывших на поверхность, он пользовался успехом.

О нем говорили всюду: «Ларош будет министром»,— и он сам был в этом уверен больше, чем кто-либо другой.

Он был одним из главных пайщиков газеты старика Вальтера, его компаньоном и соучастником многих его финансовых операций.

Дю Руа поддерживал Ларош-Матье: он верил в него и, считая, что тот может ему пригодиться в будущем, возлагал на него некоторые надежды. Впрочем, он лишь продолжал дело Форестье, которого Ларош-Матье обещал наградить орденом Почетного легиона, когда настанет день его торжества. Теперь этот орден предназначался для второго мужа Мадлены — только и всего. Ведь в сущности ничего же не изменилось.

Это было так очевидно, что сослуживцы Дю Руа постоянно кололи ему этим глаза и доводили до бешенства.

Иначе, как «Форестье», его теперь не называли.

Как только он являлся в редакцию, кто-нибудь уже кричал:

— Послушай, Форестье!

Он делал вид, что не слышит, и продолжал разбирать в ящике письма.

Тот же голос повторял громче:

— Эй, Форестье!

Сотрудники фыркали.

Дю Руа шел в кабинет издателя, но сослуживец останавливал его:

— Ах, извини! Ведь это я к тебе обращался. Глупо, конечно, но я вечно путаю тебя с беднягой Шарлем. Это оттого, что твои статьи дьявольски похожи на статьи Форестье. Тут всякий ошибется.

Дю Руа ничего не отвечал, но внутри у него все кипело. Втайне он уже начинал ненавидеть покойного.

Сам Вальтер заявил однажды, когда кто-то с удив-

лением заметил, что статьи нового заведующего политическим отделом ни по форме, ни по существу не отличаются от статей его предшественника:

— Да, это Форестье, но только более темпераментный, более мужественный, более зрелый.

В другой раз Дю Руа, случайно открыв шкаф, обнаружил, что бильбоке Форестье обмотаны крепом, а его собственное бильбоке, на котором он упражнялся под руководством Сен-Потена, перевязано розовой ленточкой. Все бильбоке были расставлены по величине в один ряд, на той же самой полке. Надпись, похожая на музейный ярлычок, поясняла: «Бывшая коллекция Форестье и К°. Наследник — Форестье Дю Руа. Патентовано. Прочнейший товар, коим можно пользоваться во всех случаях жизни, даже в пути».

Он спокойно закрыл шкаф и умышленно громко сказал:

— Дураки и завистники водятся всюду.

Но это не могло не задеть Дю Руа, самолюбивого и тщеславного, как всякий литератор, в котором, будь то простой репортер или гениальный поэт, болезненное самолюбие и тщеславие неизменно порождают обидчивость и настороженную мнительность.

Слово «Форестье» терзало ему слух; он боялся его услышать и чувствовал, что краснеет, когда слышал его.

Он воспринимал это имя как язвительную насмешку, нет, больше,— почти как оскорбление. Оно кричало ему: «За тебя все делает жена, так же как она делала все за другого. Ты бы пропал без нее».

Он охотно допускал, что без Мадлены пропал бы Форестье, но чтобы он — это уж извините!

Наваждение продолжалось и дома. Теперь все здесь напоминало ему об умершем: мебель, безделушки, все, к чему бы он ни прикоснулся. Первое время он совсем об этом не думал, но колкости сослуживцев нанесли ему глубокую душевную рану, и рану эту бередил любой пустяк, на который прежде он не обратил бы никакого внимания.

До чего бы он ни дотронулся — всюду мерещилась ему рука Шарля. На что бы он ни взглянул, что бы ни взял — все это были вещи, некогда принадлежавшие

Шарлю: он их покупал, он ими пользовался, он дорожил ими. Даже мысль о том, что Мадлена была когда-то в близких отношениях с его другом, начинала раздражать Дю Руа.

Его самого подчас изумлял этот непонятный внутренний протест, и он задавал себе вопрос: «Черт возьми, что же это со мной делается? Ведь не ревную же я Мадлену к ее приятелям? Меня совершенно не интересует, как она проводит время. Я не спрашиваю ее, куда она идет, когда вернется, но стоит мне вспомнить об этой скотине Форестье — и я прихожу в неистовство!»

«В сущности Шарль был идиот,— продолжал он рассуждать сам с собой,— это-то меня, конечно, и возмущает. Я бешусь при мысли о том, что Мадлена могла выйти за такого осла».

Он постоянно спрашивал себя: «Чем мог приглянуться ей этот скот?»

Разжигаемая каждою мелочью, коловшей его, точно иголка, разжигаемая беспрестанными напоминаниями о Шарле, которые он усматривал в словах Мадлены, лакея, горничной, злоба его росла день ото дня.

Дю Руа любил сладкое.

— Почему у нас не бывает сладких блюд? — спросил он как-то вечером.— Ты их никогда не заказываешь.

— Это верно, я про них забываю,— с веселым видом ответила Мадлена.— Дело в том, что их терпеть не мог Шарль...

— Знаешь, мне это начинает надоедать,— не в силах сдержать досаду, прервал ее Жорж.— Только и слышно: Шарль, Шарль... Шарль любил то, Шарль любил это. Шарль сдох — и пора оставить его в покое.

Ошеломленная этой внезапной вспышкой, Мадлена с недоумением посмотрела на него. Но со свойственной ей чуткостью она отчасти догадалась, что в его душе совершается медленная работа ревности, ревности к покойному, усиливавшейся с каждым мгновением, при каждом напоминании о нем.

Быть может, это показалось ей ребячеством, но в то же время, несомненно, польстило ей, и она ничего ему не ответила.

Дю Руа самому было стыдно за свою выходку, но

он ничего не мог с собой поделать. В тот же вечер, после обеда, когда они принялись за очередную статью, он запутался ногами в коврике. Перевернуть коврик ему не удалось, и он отшвырнул его ногой.

— У Шарля, должно быть, всегда мерзли лапы? — спросил он со смехом.

Она тоже засмеялась:

— Да, он вечно боялся простуды! У него были слабые легкие.

— Что он и доказал,—злобно подхватил Дю Руа.— К счастью для меня,— галантно прибавил он и поцеловал ей руку.

Но и ложась спать, Дю Руа мучился все тою же мыслью.

— Уж наверно Шарль надевал на ночь колпак, чтоб не надуло в уши? — опять начал он.

— Нет, он повязывал голову шелковым платком,— с намерением обернуть это в шутку ответила Мадлена.

Жорж, пожав плечами, презрительным тоном человека, сознающего свое превосходство, процедил:

— Экий болван!

С этого дня Шарль сделался для него постоянной темой для разговора. Он заговаривал о нем по всякому поводу и с выражением бесконечной жалости называл его не иначе, как «бедняга Шарль».

Вернувшись из редакции, где его по нескольку раз в день называли «Форестье», он вознаграждал себя тем, что злобными насмешками нарушал могильный сон покойника. Он припоминал его недостатки, его смешные черты, его слабости, с наслаждением перечислял их, смаковал и преувеличивал, точно желая вытравить из сердца жены всякое чувство к некоему опасному сопернику.

— Послушай, Мад,— говорил он,— помнишь, как однажды эта дубина Шарль пытался нам доказать, что полные мужчины сильнее худых?

Некоторое время спустя он начал выпытывать у нее интимные подробности, касавшиеся покойного, но Мадлена смущалась и не желала отвечать. Однако он не отставал от нее:

— Да ну, расскажи! Воображаю, какой дурацкий вид бывал у него в такие минуты, верно?

— Послушай, оставь ты его наконец в покое,— цедила она сквозь зубы.

Но он не унимался.

— Нет, ты мне скажи! В постели он был неуклюж, как медведь, правда? Какой он был скот! — всякий раз прибавлял Дю Руа.

Однажды вечером, в конце мая, он курил у окна папиросу; было очень душно, и его потянуло на воздух.

— Мад, крошка, поедем в Булонский лес?

— Ну что ж, с удовольствием.

Они сели в открытый экипаж и, миновав Елисейские Поля, въехали в аллею Булонского леса. Стояла безветренная ночь, одна из тех ночей, когда в Париже становится жарко, как в бане, а воздух до того раскален, что кажется, будто дышишь паром, вырвавшимся из открытых клапанов. Полчища фиакров влекли под сень деревьев бесчисленное множество влюбленных. Нескончаемой вереницей тянулись они один за другим.

Перед любопытным взором Мадлены и Жоржа мелькали женщины в светлом и мужчины в темном, сидевшие в экипажах и обнимавшие друг друга. Бесконечный поток любовников двигался к Булонскому лесу под звездным, огнедышащим небом. Кроме глухого стука колес, катившихся по земле, ничего не было слышно кругом. А они все ехали и ехали, по двое в каждом фиакре, прижавшись друг к другу, откинувшись на подушки, безмолвные, трепещущие в чаянии будущих наслаждений, погруженные в сладострастные мечты. Знойный полумрак был точно полон поцелуев. Воздух казался еще тяжелее, еще удушливее от разлитой в нем любовной неги, от насыщавшей его животной страсти. Все эти парочки, одержимые одним и тем же стремлением, пылавшие одним и тем же огнем, распространяли вокруг себя лихорадочное возбуждение. От всех этих колесниц любви, над которыми словно реяли ласки, исходило возбуждающее, неуловимое дуновение чувственности.

Жоржу и Мадлене тоже как будто передалась эта истома. Слегка разомлевшие от духоты, охваченные волнением, они молча взялись за руки.

Доехав до поворота, который начинается за городскими укреплениями, они поцеловались.

— Мы опять ведем себя, точно школьники, как тогда, по дороге в Руан,— слегка смутившись, прошептала Мадлена.

При въезде в рощу мощный поток экипажей разделился. На Озерной аллее, по которой ехали теперь молодые супруги, фиакры несколько поредели, и густой мрак, гнездившийся среди деревьев, воздух, освежаемый листвою и влагою ручейков, журчавших под ветвями, прохлада, которою веяло широкое ночное, разукрашенное звездами небо,— все это придавало поцелуям ехавших парочек особую пронзительную и таинственную прелесть.

— Моя маленькая Мад! — привлекая ее к себе, прошептал Жорж.

— Помнишь тот лес, около твоей деревни,— как там было страшно! — сказала она.— Мне казалось, что он полон диких зверей, что ему нет конца. А здесь чудесно. Ветер точно ласкает тебя, и ты знаешь наверное, что по ту сторону леса находится Севр.

— Ну, в моем лесу водятся только олени, лисицы, козули и кабаны,— возразил он,— да разве кое-где попадется домик лесника.

Это слово, эта сорвавшаяся у него с языка фамилия покойного [1] поразила его так, словно кто-то выкрикнул ее из чащи леса, и он сразу осекся: опять у него защемило сердце, все та же странная и неотвязная, зудящая, гложущая, непреоборимая ревность, с некоторых пор отравлявшая ему существование, охватила его.

— Ты когда-нибудь ездила сюда вечером с Шарлем? — немного помолчав, спросил он.

— Ездила, и даже часто,— ответила она.

И ему вдруг мучительно, до боли в душе, захотелось вернуться домой. Образ Форестье вновь проник в его сознание, он завладел им, он угнетал его. Дю Руа мог думать теперь только о нем, говорить только о нем.

— Послушай, Мад...— начал он злобно.

— Что, дорогой?

— Ты наставляла бедняге Шарлю рога?

---

[1] Форестье (Forestier) — лесник *(франц.)*.

— Опять ты за свое, это же глупо наконец! — с презрительной ноткой в голосе сказала она.

Но он не сдавался.

— Да ну же, крошка, будь откровенна, признайся! Ты наставляла ему рога, да? Признайся, что наставляла!

Она ничего ему не ответила,— как всякую женщину, ее коробило это выражение.

— Черт возьми, если у кого и была подходящая голова, так это у него,— не унимался Дю Руа.— Да, да, да! Мне было бы очень приятно узнать, что Форестье носил рога. Как они, наверно, шли к его глупой роже, а?

Почувствовав, что она улыбается, быть может, каким-нибудь своим мыслям, он продолжал настаивать:

— Ну скажи! Что тебе стоит? Напротив, будет очень забавно, если ты скажешь мне, не кому-нибудь, а именно мне, что ты изменяла ему.

Он и в самом деле горел желанием узнать, что Шарль, постылый Шарль, ненавистный, презренный мертвец, носил это смешное и позорное украшение. И вместе с тем другое, более смутное чувство возбуждало его любопытство.

— Мад, моя маленькая Мад, прошу тебя, скажи! — повторял он. — Ведь он это заслужил. Если б ты не украсила его рогами, это была бы с твоей стороны огромная ошибка. Да ну же, Мад, сознайся!

Мадлену, видимо, забавляло его упорство, на это указывал ее короткий и нервный смешок.

Он почти коснулся губами ее уха.

— Да ну же... ну... сознавайся!

Мадлена резким движением отодвинулась от него.

— Как ты глуп! — в сердцах проговорила она.— Разве на такие вопросы отвечают?

Необычный тон, каким она произнесла эти слова, заставил Дю Руа похолодеть; он окаменел, оцепенел, ему не хватало воздуха, как это бывает в минуту душевного потрясения.

Теперь экипаж ехал вдоль озера, в котором небо словно перебирало зерна своих звезд. По воде неторопливо и плавно скользили два лебедя, чуть заметные, почти неразличимые в темноте.

Жорж крикнул извозчику: «Назад!»,— и фиакр повернул навстречу другим медленно двигавшимся экипажам, огромные фонари которых сверкали во мраке леса, точно глаза.

«Каким странным голосом она это проговорила! Что это, признание?» — спрашивал себя Дю Руа. И эта почти полная уверенность в том, что она изменяла своему первому мужу, доводила его сейчас до исступления. Ему хотелось избить ее, сдавить ей горло, рвать ей волосы.

О, скажи она ему: «Нет, дорогой, если б я изменила Шарлю, то только с тобой»,— он заласкал бы ее, он стал бы ее боготворить!

Дю Руа сидел неподвижно, скрестив руки и глядя в небо: он был слишком взволнован для того, чтобы вновь предаться размышлениям. Он чувствовал лишь, как в нем шевелится злоба и пухнет гнев — тот самый гнев, что зреет в каждом самце, озадаченном прихотями женского вкуса. Впервые ощущал он безотчетную тревогу мужа, в сердце которого закралось сомнение. В сущности, он ревновал за мертвеца, ревновал за Форестье, ревновал необычайной и мучительной ревностью, к которой внезапно примешалась ненависть к Мадлене. Раз она изменяла Шарлю, то как мог доверять ей он, Дю Руа?

Однако мало-помалу ему удалось привести свои мысли в порядок, и, силясь подавить душевную боль, он подумал: «Все женщины — потаскушки, надо пользоваться их услугами, но нельзя тратить на них душевные силы».

Горькое чувство подсказывало ему обидные, оскорбительные слова. Но он все же не давал им срываться с языка. «Мир принадлежит сильным,— повторял он про себя.— Надо быть сильным. Надо быть выше этого».

Экипаж двигался быстрее. Городские укрепления остались позади. Дю Руа видел перед собой бледное зарево, похожее на отсвет гигантского горна. До него доносился невнятный, беспрерывный, немолчный гул, вобравший в себя бесчисленное множество разнообразных звуков, глухой, далекий и вместе с тем близкий рокот, чуть слышное и могучее биение жизни, тяжелое

дыхание Парижа — дыхание титана, изнемогавшего от усталости в эту легнюю ночь.

«Надо быть дураком, чтобы портить себе из-за этого кровь,— размышлял Жорж.— Каждый — за себя. Победа достается смелым. Эгоизм — это все. Но эгоизм, алчущий богатства и славы, выше эгоизма, алчущего любви и женских ласк».

Показалась Триумфальная арка на своих чудовищных лапах,— как будто при въезде в город стоял нескладный великан, который вот сейчас зашагает по широко раскинувшейся перед ним улице.

Жоржу и Мадлене снова пришлось принять участие в параде экипажей, которые везли домой, в желанную постель, все те же безмолвные, сплетенные в объятии пары. Казалось, будто возле них движется все человечество, пьяное от радости, счастья и наслаждения.

Мадлена отчасти догадывалась, что происходит в душе у ее мужа.

— О чем ты думаешь, дружок? — с обычной для нее нежностью в голосе спросила она.— За полчаса ты не сказал ни слова.

— Я смотрю, как обнимается это дурачье,— ответил он, усмехаясь,— и говорю себе, что в жизни, право, есть кое-что поинтереснее.

— Да... но иной раз это бывает приятно,— тихо проговорила она.

— Приятно... приятно... за неимением лучшего!

Мысль Жоржа шла дальше, с какой-то бешеной злобой срывая с жизни ее блестящие покровы. «Глупее глупого стесняться, отказывать себе в чем бы то ни было, глупо, что последнее время я так изводил себя, волновался, страдал». Образ Форестье встал перед его глазами, не вызвав в нем, однако, ни малейшего раздражения. У него было такое чувство, словно они только что помирились, снова стали друзьями. Ему даже хотелось крикнуть: «Здорово, старик!»

Мадлену тяготило это молчание.

— Хорошо бы заехать по дороге к Тортони и съесть мороженого,— предложила она.

Он бросил на нее косой взгляд. В это мгновение ее тонко очерченный профиль и белокурые волосы ярко

осветила гирлянда газовых рожков, зазывавшая в кафешантан.

«Она красива,— подумал он.— Что ж, это хорошо. О нас с тобой, голубушка, можно сказать: на ловца и зверь бежит. Но если мои сослуживцы опять начнут дразнить меня тобой, то я их так отделаю, что небу жарко станет».

Затем, проговорив: «С удовольствием, дорогая»,— он, чтобы рассеять ее подозрения, поцеловал ее.

Мадлене показалось, что губы ее мужа холодны, как лед.

Но, стоя у дверей кафе и помогая ей выйти из экипажа, он улыбался своей обычной улыбкой.

III

На другой день, явившись в редакцию, Дю Руа подошел к Буаренару.

— Дорогой друг,— сказал он,— у меня к тебе просьба. Последнее время кое-кому из наших остряков понравилось называть меня «Форестье». Мне это начинает надоедать. Будь добр, предупреди их, что я дам пощечину первому, кто еще раз позволит себе эту шутку. Их дело решить, стоит ли эта забава удара шпаги. Я обращаюсь к тебе потому, что ты человек с выдержкой и сумеешь уладить дело мирным путем, а во-вторых, потому, что ты уже был моим секундантом.

Буаренар согласился исполнить поручение.

Дю Руа отправился по разным делам и через час вернулся. Никто уже не называл его «Форестье».

Когда он пришел домой, из гостиной до него донеслись женские голоса.

— Кто это? — спросил он.

— Госпожа Вальтер и госпожа де Марель,— ответил слуга.

У Жоржа дрогнуло сердце, но он тут же сказал себе: «Э, будь что будет!» — и отворил дверь.

Клотильда сидела у камина; луч света падал на нее из окна. Жоржу показалось, что при виде его она слегка побледнела. Поклонившись сперва г-же Вальтер и ее дочкам, которые, как два часовых, сидели справа и слева от нее, он повернулся к своей бывшей любовни-

це. Она протянула ему руку, он взял ее и пожал так, словно хотел сказать: «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила ему на это пожатие.

— Как вы поживаете? — спросил он.— Ведь мы не виделись целую вечность.

— Отлично. А вы, Милый друг? — как ни в чем не бывало спросила она в свою очередь и обратилась к Мадлене: — Ты разрешишь мне по-прежнему называть его Милым другом?

— Разумеется, дорогая, я разрешаю тебе все что угодно.

В тоне ее слышалась легкая ирония.

Г-жа Вальтер заговорила о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостяцкой квартире,— о большом фехтовальном состязании, на котором должны были присутствовать и светские дамы.

— Это очень интересно,— сказала она.— Но я в отчаянии. Нам не с кем пойти, муж как раз в это время будет в отъезде.

Дю Руа тотчас же предложил свои услуги. Она согласилась.

— Мои дочери и я, мы будем вам очень признательны.

Дю Руа поглядывал на младшую из сестер Вальтер и думал: «Она совсем недурна, эта маленькая Сюзанна, совсем, совсем даже недурна». Крошечного роста, но стройная, с узкими бедрами, осиной талией и чуть обозначавшейся грудью, с миниатюрным личиком, на котором серо-голубые, отливавшие эмалью глаза были словно тщательно вырисованы прихотливой и тонкой кистью художника, она напоминала хрупкую белокурую куклу, и довершали это сходство слишком белая, слишком гладкая, точно выутюженная, кожа, без единой складки, без единого пятнышка, без единой кровинки, и прелестное легкое облачко взбитых кудряшек, которым нарочно был придан поэтический беспорядок,— точь-в-точь как у красивой дорогой куклы, какую иной раз видишь в руках у девочки значительно меньше ее ростом.

Старшая, Роза, некрасивая, худая, невзрачная, принадлежала к числу девушек, которых не замечают, с которыми не разговаривают, о которых нечего сказать.

Г-жа Вальтер встала.

— Итак, я рассчитываю на вас,— обратилась она к Жоржу.— В четверг на будущей неделе, в два часа.

— К вашим услугам, сударыня,— сказал он.

Как только они вышли, г-жа де Марель тоже встала.

— До свиданья, Милый друг.

Теперь уже она долго и крепко пожимала ему руку. И, взволнованный этим молчаливым признанием, он вдруг почувствовал, что его опять потянуло к этой взбалмошной и добродушной бабенке, которая, быть может, по-настоящему любит его.

«Завтра же пойду к ней»,— решил он.

Когда супруги остались одни, Мадлена засмеялась веселым искренним смехом и, внимательно посмотрев на него, спросила:

— Тебе известно, что госпожа Вальтер от тебя без ума?

— Да будет тебе! — с недоверием в голосе проговорил он.

— Да, да, уверяю тебя; из ее слов я заключила, что она от тебя в диком восторге. Как это на нее непохоже! Она бы хотела, чтобы у ее дочерей были такие мужья, как ты!.. К счастью, все это для нее самой уже не опасно.

Он не понял, что она хотела этим сказать.

— Что значит — не опасно?

— О, госпожа Вальтер ни разу в жизни не подала повода для сплетен,— понимаешь? — ни разу, ни разу! — тоном женщины, отвечающей за свои слова, воскликнула Мадлена.— Она ведет себя безукоризненно во всех отношениях. Мужа ее ты знаешь не хуже меня. Но она — это другое дело. Между прочим, она очень страдала от того, что вышла замуж за еврея, но осталась ему верна. Это глубоко порядочная женщина.

Дю Руа был удивлен:

— Я думал, что она тоже еврейка.

— Она? Ничего подобного. Она дама-патронесса всех благотворительных учреждений квартала Мадлен. Она даже венчалась в церкви. Не знаю только, крестился ли патрон для проформы или же духовенство посмотрело на это сквозь пальцы.

— Так... стало быть... она в меня... влюблена? — пробормотал Жорж.

— Окончательно и бесповоротно. Если б ты был свободен, я бы тебе посоветовала просить руки... Сюзанны,— ведь правда, она лучше Розы?

— Да и мамаша еще в соку! — сказал он, покручивая усы.

Мадлена рассердилась:

— Насчет мамаши, дорогой мой, могу сказать тебе одно: сделай одолжение. Мне это не страшно. Она вышла из того возраста, когда совершают свой первый грех. Надо было раньше думать.

«Неужели я и впрямь мог бы жениться на Сюзанне!..» — говорил себе Жорж.

Затем он пожал плечами:

«А, вздор!... Разве отец когда-нибудь согласится выдать ее за меня!»

Еще не отдавая себе отчета в том, какой ему будет от этого прок, он все же решил понаблюдать за г-жой Вальтер.

Весь вечер его томили воспоминания, нежные и в то же время будившие чувственность воспоминания о романе с Клотильдой. Ему приходили на память ее проказы, ее шаловливые ласки, их совместные похождения. «Право, она очень мила,—твердил он себе.—Да, завтра же пойду к ней».

На другой день, после завтрака, он действительно отправился на улицу Верней. Все та же горничная отворила ему дверь и с той развязностью, с какою прислуга держит себя в мещанских домах, спросила:

— Как поживаете, сударь?

— Превосходно, малютка,— ответил он и вошел в гостиную, где чья-то неопытная рука разучивала на фортепьяно гаммы. Это была Лорина. Он думал, что она бросится к нему на шею. Но она с важным видом встала, церемонно, как взрослая, поздоровалась и с достоинством удалилась.

Она держала себя как оскорбленная женщина, и это его поразило. Вошла мать. Дю Руа поцеловал ей руки.

— Как часто я думал о вас! — сказал он.

— А я — о вас,— призналась Клотильда.

Они сели. Оба улыбались, глядя друг другу в глаза, обоим хотелось поцеловаться.

— Моя дорогая маленькая Кло, я люблю вас.

— А я тебя.

— Значит... значит... ты на меня не очень сердилась?

— И да и нет... Мне было больно, а потом я поняла, что ты прав, и сказала себе: «Ничего! Не сегодня-завтра он ко мне вернется».

— Я боялся к тебе идти, я не знал, как ты меня примешь. Я боялся, но мне страшно хотелось прийти. Кстати, скажи, пожалуйста, что с Лориной? Она едва поздоровалась и с бешеным видом ушла.

— Не знаю. Но с тех пор, как ты женился, с ней нельзя говорить о тебе. Право, мне кажется, что она ревнует.

— Не может быть!

— Уверяю тебя, дорогой. Она уже не называет тебя Милым другом, теперь она зовет тебя «господин Форестье».

Дю Руа покраснел.

— Дай мне губы,— придвинувшись к Клотильде, сказал он.

Она исполнила его желание.

— Где бы нам встретиться? — спросил он.

— Да... на Константинопольской.

— Как!.. Разве квартира еще не сдана?

— Нет... Я ее оставила за собой!

— Оставила за собой?

— Да, я надеялась, что ты ко мне вернешься.

Ему стало тесно в груди от внезапно наполнившей его горделивой радости. Значит, эта женщина любит его, значит, это настоящее, неизменное, глубокое чувство.

— Я тебя обожаю,— прошептал он и, помолчав, спросил: — Как поживает твой муж?

— Отлично. Он пробыл здесь месяц и только третьего дня уехал.

Дю Руа не мог удержаться от смеха:

— Как это кстати!

— Да, очень кстати! — простодушно заметила Клотильда. — Впрочем, его присутствие меня не стесняет. Ты же знаешь?

— Да, это верно. В сущности, он прекрасный человек.

— Ну, а ты? Как тебе нравится твоя новая жизнь? — спросила она.

— Так себе. Моя жена — подруга, союзница.

— И только?

— И только... А сердце...

— Понимаю. Но она мила.

— Да, но она меня не волнует. Когда же мы увидимся? — еще ближе придвинувшись к Клотильде, прошептал он.

— Ну хоть... завтра... если хочешь?

— Хорошо. Завтра в два часа?

— В два часа.

Он встал и, уже собираясь уходить, смущенно заговорил:

— Знаешь что, квартиру на Константинопольской я хочу перевести на свое имя. Непременно. Недоставало еще, чтобы ты и теперь за меня платила!

В приливе нежности Клотильда поцеловала ему руки.

— Делай, как знаешь,— прошептала она.— С меня довольно, что я ее сохранила и что мы можем там видеться.

С чувством полного удовлетворения Дю Руа удалился.

Проходя мимо витрины фотографа, он увидел портрет полной женщины с большими глазами, и эта женщина напомнила ему г-жу Вальтер. «Ничего, — сказал он себе, — с ней еще можно иметь дело. Как это я до сих пор не обратил на нее внимания! Интересно знать, с каким лицом встретит она меня в четверг?»

Он шел, потирая руки от радости — радости, охватившей все его существо, радости при мысли о том, что ему всюду сопутствует удача, эгоистической радости ловкого и преуспевающего мужчины, испытывая сложное и приятное ощущение польщенного самолюбия и утоленной чувственности — ощущение, вызываемое успехом у женщин.

В четверг он спросил Мадлену:

— Ты не пойдешь на турнир к Ривалю?

— О нет! Меня туда совсем не тянет, я пойду в палату депутатов.

Погода была великолепная, и Дю Руа заехал за г-жой Вальтер в открытом экипаже.

Увидев ее, он замер от удивления, — такой молодой и красивой показалась она ему. Сквозь белые кружева, которыми был отделан корсаж ее светлого с небольшим вырезом платья, проглядывала пышная, высокая грудь. Он никогда не думал, что она может быть такой моложавой. Он нашел, что она и в самом деле весьма соблазнительна. Но во всем ее облике — облике тонной, благовоспитанной дамы, добродетельной матери, было нечто такое, что не привлекало к ней нескромного взора мужчин. К тому же, обладая ясным, здравым и трезвым умом, застрахованным от крайностей, она взвешивала каждое свое слово и говорила лишь о том, что всем было давно известно и никого не могло задеть.

Сюзанна, вся в розовом, напоминала только что покрытую лаком картину Ватто, а ее сестра Роза походила на гувернантку, приставленную к этой прелестной куколке.

Перед домом Риваля уже вытянулись в ряд экипажи. Дю Руа предложил своей спутнице руку, и они вошли.

Это был турнир в пользу сирот шестого парижского округа, и в его устройстве принимали участие в качестве дам-патронесс жены сенаторов и депутатов, связанных с «Французской жизнью».

Г-жа Вальтер обещала приехать с дочерьми, но от звания дамы-патронессы отказалась: ее благотворительность не выходила за рамки, предусмотренные духовенством, и не потому, чтобы она была очень набожна, а потому, что брак с иудеем, по ее мнению, обязывал ее к известного рода религиозности, тогда как празднество, затеянное журналистом, принимало республиканскую окраску и могло произвести впечатление чего-то антиклерикального.

Уже за три недели до турнира в газетах всех направлений можно было прочитать:

«У нашего уважаемого коллеги Жака Риваля возникла столь же блестящая, сколь и благородная идея устроить в своей холостой квартире, при которой имеется прекрасный фехтовальный зал, большой турнир в пользу сирот шестого парижского округа.

Приглашения рассылаются супругами сенаторов: г-жами Лалуань, Ремонтель и Рисолен и супругами известных депутатов: г-жами Ларош-Матье, Персероль и Фирмен. Сбор пожертвований состоится в антракте, после чего вся сумма будет немедленно вручена мэру шестого округа или же его заместителю».

Это была грандиозная реклама, в корыстных целях изобретенная ловким журналистом.

Жак Риваль встречал гостей у входа в свою квартиру, где был устроен буфет, — расходы на него должны были быть покрыты из валового сбора.

Просительным жестом указывал он на узкую лестницу, по которой надо было спуститься в подвал, где находился фехтовальный зал и тир.

— Вниз, сударыни, пожалуйте вниз. Турнир будет происходить в подземном зале.

Увидев жену своего издателя, он бросился к ней навстречу. Затем пожал руку Дю Руа.

— Здравствуйте, Милый друг.

Тот был удивлен.

— Кто вам сказал, что...

Риваль не дал ему договорить:

— Госпожа Вальтер, здесь присутствующая, — ей очень нравится это прозвище.

Г-жа Вальтер покраснела.

— Да, признаюсь, если б мы с вами познакомились поближе, то я, как маленькая Лорина, называла бы вас Милым другом. Это к вам очень подходит.

Дю Руа засмеялся.

— Сделайте одолжение, сударыня, прошу вас.

Она опустила глаза.

— Нет. Мы недостаточно близки для этого.

— Могу ли я надеяться, что со временем мы станем ближе? — спросил он вполголоса.

— Будущее покажет, — ответила она.

Пропустив ее вперед, он начал спускаться по узким

ступенькам, освещенным газовым рожком. Что-то зловещее было в резком переходе от дневного света к желтому пламени газа. Уже на этой винтовой лестнице пахло погребом, влажным теплом, сыростью, которая пропитывала вытертые ради такого случая стены, веяло церковным запахом ладана и ароматом женских духов — ириса, вербены, фиалки.

Из ямы долетал мощный гул толпы, дрожавшей от нетерпения.

Подвал был весь иллюминован гирляндами газовых рожков и венецианскими фонарями, которые прятались в зелени, маскировавшей каменные, покрытые плесенью стены. Всюду, куда ни посмотришь,— ветки. Потолок был украшен папоротником, пол устлан цветами и листьями. Публика была в восторге от этого убранства, свидетельствовавшего, по ее мнению, о необыкновенной изобретательности устроителей.

В глубине, в маленьком смежном подвальном помещении, возвышалась эстрада, по обеим сторонам которой тянулись два ряда стульев, предназначенных для жюри.

На скамьях для публики, расставленных справа и слева, по десяти в каждом ряду, могло разместиться около двухсот человек. Приглашено же было четыреста.

Подле эстрады молодые люди в фехтовальных костюмах, длиннорукие, долговязые, поджарые, закрутив усы и выпятив грудь, уже рисовались перед публикой. Зрители называли их по фамилии, показывали друг другу любителей и профессионалов, прославленных мастеров фехтовального искусства. Мужчины в сюртуках, старые и молодые, являвшие некое фамильное сходство с фехтовальщиками в специальных костюмах, стоя вокруг них, вели между собой беседу. Штатские рыцари и знатоки рапиры, они тоже добивались, чтобы их заметили, узнали, назвали по фамилии.

Дамы, занявшие почти все скамьи, наполняли зал громким шепотом и шелестом платьев. В этом густолиственном гроте уже нечем было дышать, и они, точно в театре, обмахивались веерами.

— Оршад! Лимонад! Пиво! — время от времени выкрикивал какой-то остряк.

Г-жа Вальтер и ее дочери пробрались к первому ряду, где для них были оставлены места. Дю Руа усадил их и, намереваясь уйти, шепнул:

— Я вынужден покинуть вас, — мужчинам не разрешается занимать места на скамьях.

— Мне бы все-таки очень хотелось, чтобы вы остались, — нерешительно заметила г-жа Вальтер. — Вы бы называли мне участников турнира. Может быть, вы станете у края скамейки, — здесь вы никому не будете мешать.

Она смотрела на него своими большими кроткими глазами.

— Право, оставайтесь с нами, господин... господин Милый друг, — настаивала она. — Вы нам необходимы.

— Слушаюсь, сударыня... с удовольствием,— сказал Жорж.

Со всех сторон слышалось:

— Здесь очень занятно, в этом подвале, очень, очень мило.

Жоржу был хорошо знаком этот сводчатый зал. Ему живо вспомнилось утро накануне дуэли, которое он провел здесь в полном одиночестве, перед белым картонным кружком, смотревшим на него из глубины второго подвала, будто огромный и страшный глаз.

— Сейчас начинаем, сударыни, — раздался голос спускавшегося по лестнице Жака Риваля.

И в ту же минуту шестеро мужчин в сюртуках, плотно облегавших и четко обрисовывавших фигуру, взошли на эстраду и сели на стулья, предназначенные для жюри.

Их имена облетели зал. Это были: генерал де Рейпальди, председатель жюри, маленький человек с большими усами; художник Жозефен Руде, высокий, лысый, с длинной бородой; Матео де Южар, Симон Рамонсель и Пьер де Карвен — все трое статные юноши — и признанный мастер Гаспар Мерлерон.

Справа и слева от эстрады вывесили два плаката. На одном было написано «Г-н Кревкер», на другом «Г-н Плюмо».

Это были два мастера, два настоящих мастера второй категории. Оба сухопарые, по-военному подтянутые и чересчур резкие в движениях, они поднялись на

эстраду. Как автоматы, отсалютовали они друг другу и начали вести нападение, — костюм из полотна и белой кожи придавал им сходство с балаганными солдатиками, потешающими народ.

По временам слышалось слово: «Задел!», — после чего шестеро судей с видом знатоков утвердительно кивали головами. Публика не видела ничего, кроме двух живых марионеток, с вытянутою рукой носившихся по эстраде; она ничего не понимала, но была довольна. Все же она находила, что эти два манекена недостаточно изящны и что в них есть даже что-то комичное. Невольно приходили на память деревянные борцы, которых под Новый год продают на бульварах.

Первых двух фехтовальщиков сменили гг. Карапен и Плантон — военный и штатский. Мэтр Плантон был очень мал ростом, мэтр Карапен — очень толст. Казалось, что от первого же удара рапиры этот пузырь лопнет, как резиновый слон, из которого выпустили воздух. В публике послышался смех. Г-н Плантон прыгал, как обезьяна. Г-н Карапен шевелил только рукой, — двигать всем корпусом ему мешала толщина. Через каждые пять минут он так медленно и с такими усилиями делал выпад, словно принимал какое-то чрезвычайно важное решение. Всякий раз после этого он с большим трудом выпрямлялся.

Знатоки уверяли, что у него очень сдержанный и уверенный стиль игры. Доверчивая публика соглашалась.

Затем появились гг. Порьон и Лапальм — профессионал и любитель, и началась какая-то дикая гимнастика: они стремительно налетали друг на друга, всякий раз вынуждая судей схватывать стулья и бросаться в сторону, и перебегали с одного конца эстрады на другой, причем один нападал, а другой отступал, высоко и уморительно подпрыгивая. Их маленькие прыжки назад смешили дам, зато их порывистые скачки вперед вызывали даже некоторое волнение. Какому-то нахалу эти гимнастические упражнения дали повод заметить:

— Что вы так стараетесь, — ведь платят-то по часам!

Публика зашикала, — ее возмутила эта бестакт-

ность. Мнение экспертов передавалось из уст в уста: фехтовальщики проявили большой темперамент, но порой им недоставало находчивости.

Первое отделение закончилось блестящим поединком между Жаком Ривалем и известным бельгийским мастером Лебегом. Риваль очень понравился дамам. Он и в самом деле был красивый малый, хорошо сложенный, увертливый, ловкий, более грациозный, чем его предшественники. Его манера обороняться и нападать, отличавшаяся каким-то пленительным светским изяществом, составляла контраст с шаблонными, хотя и решительными приемами противника.

— Сразу видно воспитанного человека, — говорили в публике.

Победа осталась за ним. Ему аплодировали.

Но зрители уже несколько минут с беспокойством прислушивались к странному гулу, доносившемуся сверху. В нем можно было различить яростный топот ног и взрывы хохота. Двести человек приглашенных, которым не удалось спуститься в подвал, видимо, развлекались по-своему. На узкой винтовой лестнице сгрудилось человек пятьдесят. Внизу стало нестерпимо душно. Раздавались крики: «Воздуху!», «Пить!» Все тот же остряк пронзительно визжал, заглушая шум голосов: «Оршад! Лимонад! Пиво!»

Появился Жак Риваль, весь красный, еще не успевший снять фехтовальный костюм.

— Я велю принести прохладительного,— сказал он и побежал к лестнице.

Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Легче было пробить потолок, чем пройти сквозь человеческую стену, выросшую на ступеньках.

— Скажите, чтобы принесли мороженого для дам! — крикнул Риваль.

— Мороженого! — подхватило пятьдесят голосов.

Наконец появился поднос. Но стаканы на нем стояли пустые, — мороженое расхватали по дороге.

— Здесь задохнешься, — зарычал чей-то мощный бас, — пора кончать — и по домам.

— Сбор! — выкрикнул другой голос.

И вся публика, тяжело дышавшая, но все же радостно возбужденная, подхватила:

— Сбор! Сбор! Сбор!

Шесть дам начали обходить ряды, и вслед за тем послышался легкий звон серебра, падавшего в сумочки.

Дю Руа называл г-же Вальтер знаменитостей. Это были светские люди, сотрудники солидных газет, издававшихся с давних пор, журналисты, смотревшие на «Французскую жизнь» свысока, в силу своего опыта относившиеся к ней несколько скептически. На их глазах погибло столько политико-финансовых листков, возникших благодаря какой-нибудь подозрительной махинации и погребенных под обломками рухнувшего министерства! Большинство живописцев и скульпторов увлекается спортом, а потому тут были представлены обе профессии; был тут и поэт-академик, на которого все обращали внимание; были два композитора и много знатных иностранцев, к фамилиям которых Дю Руа прибавлял «прото» (от слова «протобестия»), поясняя, что это он делает в подражание англичанам, которые на визитных карточках прибавляют к своим фамилиям «эск».

— Здравствуйте, дорогой друг! — сказал ему кто-то.

Это был граф де Водрек. Извинившись перед дамами, Дю Руа подошел к нему.

— Водрек очарователен, — заметил он, вернувшись.— Как в нем чувствуется порода!

Г-жа Вальтер ничего не ответила. Она немного устала, и грудь ее, привлекая взоры Дю Руа, высоко поднималась при каждом вздохе. По временам он ловил на себе ее взгляд, несмелый, выражавший смятение взгляд, который останавливался на нем и тотчас же ускользал от него. «Так, так, так... — говорил он себе. — Неужели попалась и эта?»

Сборщицы обошли весь зал. Их сумочки были полны серебра и золота. На эстраде был вывешен новый плакат, возвещавший о каком-то «гррррандиозном сюрпризе». Члены жюри снова заняли свои места. Публика притихла в ожидании.

Появились две женщины с рапирами в руках, в фехтовальных костюмах: на них было темное трико, короткие, выше колен, юбки и такие высокие пластроны, что им все время приходилось задирать голову. Обе были

молоды и хороши собой. Обе улыбались и кланялись публике. Им долго хлопали.

Но вот они стали в позицию, и зрители весело зашептались, по рядам пробежал игривый смешок.

Судьи отмечали удары отрывистым «браво», с их уст не сходила любезная улыбка.

Зрители были в восторге от этих двух воительниц: мужчины — оттого, что они разжигали их чувственность, женщины — оттого, что они будили в них врожденную страсть парижан к нескромным увеселениям, к развлечениям низкого пошиба, к поддельной красоте и поддельному изяществу, к опереточным куплетам и кафешантанным певичкам.

Всякий раз, когда одна из фехтующих делала выпад, в зале начиналось веселое оживление. Другая в это время показывала публике свою упругую спину, и зрители раскрывали рты, а глаза у них становились круглыми, хотя искусство, с каким фехтовальщица оборонялась, занимало их меньше всего.

Аплодировали им бешено.

За этим последовало состязание на саблях, но на него никто не смотрел, так как внимание зрителей было поглощено тем, что происходило наверху. Оттуда уже несколько минут доносился грохот передвигаемой мебели, точно кто-то съезжал с квартиры. Потом вдруг заиграли на рояле, и вслед за тем явственно послышался ритмичный топот ног, прыгающих в такт. Те, кто не попал на турнир, чтобы вознаградить себя, устроили бал.

Публика разразилась хохотом, дамам захотелось потанцевать; не глядя на эстраду, они громко разговаривали между собой.

Этот бал, затеянный наверху, забавлял всех. Опоздавшие, как видно, не скучали. Зрители, казалось, охотно присоединились бы к ним.

Но вот два новых соперника, поклонившись друг другу, с таким решительным видом стали в позицию, что все взгляды невольно устремились на них.

Они то сгибались, то выпрямлялись, обнаруживая при этом такую эластичную грацию, такую расчетливую отвагу, такую уверенную силу, такую скупость жестов, такое изящество приемов и чувство меры во всем,

Худ. К. Рудаков. 1936. «МИЛЫЙ ДРУГ».

Худ. К. Рудаков. 1935. «МИЛЫЙ ДРУГ».

что даже эта невежественная публика была очарована и потрясена.

Их несуетливое проворство, их осмысленная увертливость и стремительные движения, строго обдуманные и оттого казавшиеся медленными, пленяли и приковывали взор, как всякое подлинное искусство. Публика почувствовала, что глазам ее открывается нечто исключительное по красоте, что перед ней во всем своем великолепии выступают два могучих художника, два законченных мастера, что они хотят выказать все свое умение, все свое коварство, блеснуть своим проверенным на опыте знанием теории, поразить гибкостью своего тела.

Все следили за ними молча, не спуская глаз. Но после заключительного удара, после того как они обменялись рукопожатием, в зале раздались крики «браво». Публика ревела, топала ногами. Все уже знали их имена: это были Сержан и Равиньяк.

Мужчины пришли в воинственное настроение. Сосед вызывающе поглядывал на соседа. Случайная улыбка могла послужить поводом к дуэли. Люди, никогда не державшие в руках рапиры, тросточками чертили в воздухе выпады и парировали воображаемые удары.

Но вскоре зрители один за другим начали подниматься по узкой лестнице. Наконец-то можно было утолить жажду. Но как же все вознегодовали, когда обнаружилось, что танцоры опустошили буфет и ушли, заявив, что зря побеспокоить двести человек и так ничего и не показать им — это просто свинство!

Не осталось ни одного пирожка, ни капли шампанского, ни капли сиропа, ни капли пива, ни конфет, ни яблок — ничего. Все было разграблено, уничтожено, истреблено.

Стали расспрашивать слуг,—те делали вид, что огорчены, а сами едва удерживались от смеха. «Дамы набрасывались на все еще пуще мужчин,— уверяли они,— так напились и наелись, что как бы с ними потом чего не случилось». Можно было подумать, что это рассказ уцелевших жителей города, разрушенного и разграбленного вражескими полчищами.

Оставалось только уйти. Мужчинам стало жаль по-

жертвованных двадцати франков; они были злы на тех, кто попировал тут, наверху, и ушел, не заплатив.

Дамы-патронессы собрали больше трех тысяч франков. Для сирот шестого округа за вычетом расходов осталось двести двадцать франков.

Жоржу Дю Руа, сопровождавшему семейство Вальтер, подали экипаж.

Дорогой, сидя против супруги издателя, он вновь поймал на себе ее ласковый, ускользающий и как будто смущенный взгляд. «Эге, должно быть, клюет!» — подумал он и улыбнулся при мысли о том, что он действительно имеет успех у женщин: ведь и г-жа де Марель, с тех пор как их связь возобновилась, была безумно в него влюблена.

Он вернулся домой в отличном расположении духа. Мадлена поджидала его в гостиной.

— У меня есть для тебя новости, — сказала она. — Положение в Марокко осложняется. Весьма возможно, что через несколько месяцев Франция пошлет туда войска. Во всяком случае этим собираются воспользоваться, чтобы сбросить правительство, и Ларош, конечно, не упустит случая взять в свои руки портфель министра иностранных дел.

Чтобы подразнить жену, Дю Руа притворился, что ничему этому не верит. Затевать ту же глупую историю, что и в Тунисе,— для этого надо быть сумасшедшим.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— А я тебе говорю, что так оно и выйдет! Так оно и выйдет! Значит, ты не понимаешь, что для них это очень важный вопрос, вопрос денег. В наше время, дорогой мой, когда наблюдаешь за политической игрой, надо говорить не «ищите женщину», а «ищите выгоду».

— Вот как! — чтобы позлить ее, презрительно пробормотал он.

Она вспыхнула:

— Послушай, ты так же наивен, как Форестье.

Она хотела уязвить его и ожидала, что он рассердится. Но он улыбнулся и переспросил:

— Как рогоносец Форестье?

Это ее сразило.

— Жорж! — прошептала она.

— А что? — с насмешливым, вызывающим видом

продолжал Дю Руа.— Разве ты не призналась в тот вечер, что Форестье был рогоносцем? Бедный малый!— прибавил он с искренним сожалением.

Не удостоив его ответом, Мадлена повернулась к нему спиной.

— Во вторник у нас будут гости,— помолчав с минуту, снова заговорила она.— Госпожа Ларош-Матье и виконтесса де Персмюр приедут обедать. Можно тебя попросить позвать Риваля и Норбера де Варена? Я буду завтра у госпожи Вальтер и де Марель. Может быть, приедет и госпожа Рисолен.

С некоторых пор, пользуясь влиянием мужа в политических кругах, она начала заводить знакомства в свете и всеми правдами и неправдами старалась залучить к себе жен сенаторов и депутатов, нуждавшихся в поддержке «Французской жизни».

— Прекрасно,— сказал Дю Руа.— Я приглашу Риваля и Норбера.

Он потирал руки от удовольствия: теперь у него будет чем изводить жену и утолять свою глухую злобу, ту безотчетную грызущую ревность, которую он ощутил во время прогулки в Булонском лесу. Отныне, когда речь зайдет о Форестье, он всякий раз будет величать его рогоносцем. Он отлично понимал, что в конце концов доведет этим Мадлену до бешенства. И в течение вечера он раз десять вставлял с добродушной иронией: «Этот рогоносец Форестье...»

Он уже не испытывал неприязни к покойнику — он мстил за него.

Мадлена, сидя напротив мужа, делала вид, что не слышит, и, как всегда, улыбалась своей равнодушной улыбкой.

На другой день, вспомнив, что Мадлена собирается пригласить г-жу Вальтер, он решил опередить ее, чтобы застать жену патрона одну и проверить, действительно ли она увлечена им. Это его забавляло и льстило ему. А затем... почему бы нет... если это только возможно?

В два часа он был на бульваре Мальзерба. Его провели в гостиную. Там ему пришлось подождать.

Наконец вошла г-жа Вальтер и, явно обрадовавшись, протянула ему руку:

— Какими судьбами?

— Меня привело сюда одно только желание видеть вас. Какая-то сила влекла меня к вам, сам не знаю зачем, ибо мне нечего вам сказать. Я пришел — вот и все! Надеюсь, вы простите мне этот ранний визит и мою откровенность?

Все это он проговорил с улыбкой, игривым и любезным тоном, в котором слышалось, однако, что-то серьезное.

Г-жа Вальтер была поражена, легкая краска выступила у нее на лице.

— Но я... право... не понимаю... вы меня удивляете...— сказала она, запинаясь.

— Это объяснение в любви, но на веселый лад, чтобы вы не испугались,— добавил он.

Они сели рядом. Она было приняла это в шутку.

— Так, значит, это... признание всерьез?

— Разумеется! Я уже давно хотел признаться, очень давно. Но я не смел. Я столько слышал о вашей суровости, о вашей непреклонности...

Г-жа Вальтер овладела собой.

— Почему вы выбрали именно этот день? — спросила она.

— Не знаю,— ответил он и, понизив голос, добавил:— Вернее, потому, что со вчерашнего дня я только о вас и думаю.

Она внезапно побледнела.

— Довольно, все это ребячество, поговорим о чем-нибудь другом.

Тогда он упал к ее ногам, и так неожиданно, что она испугалась. Она хотела встать, но он обвил руками ее талию и удержал силой.

— Да, это правда,— заговорил он страстным голосом,— я вас люблю, люблю безумно, люблю давно. Не отвечайте мне. Что же делать, если я теряю рассудок! Я люблю вас... Если бы вы знали, как я вас люблю!

Она задыхалась, ловила ртом воздух, хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Она отталкивала его обеими руками, потом схватила за волосы, чтобы отвести от себя эти губы, приближавшиеся к ее губам. При этом, закрыв глаза, чтобы не видеть его, она резким движением поворачивала голову то вправо, то влево.

Он касался ее тела сквозь платье, тискал, щупал ее, а она изнемогала от этой грубой, расслабляющей ласки. Внезапно он поднялся с колен и хотел обнять ее, но она, воспользовавшись тем, что он отпустил ее на секунду, рванулась, выскользнула у него из рук и, перебегая от кресла к креслу, заметалась по комнате.

Решив, что гоняться за нею нелепо, он тяжело опустился на стул и, делая вид, что его душат рыдания, закрыл руками лицо.

Затем вскочил, крикнул: «Прощайте, прощайте!» — и выбежал из комнаты.

В передней он как ни в чем не бывало взял свою тросточку и вышел на улицу.

«Кажется, дело в шляпе, черт побери!» — подумал он и проследовал на телеграф, чтобы послать Клотильде «голубой листочек» и назначить ей свидание на завтра.

Домой он вернулся в обычное время.

— Ну что, придут твои гости обедать? — спросил он жену.

— Да,— ответила она,— только госпожа Вальтер не знает еще, будет ли она свободна. Она что-то колеблется, заговорила со мной о каком-то нравственном долге, о совести. Вообще у нее был очень странный вид. Впрочем, думаю, что она все-таки приедет.

Он пожал плечами.

— Можешь не сомневаться.

Однако в глубине души он не был в этом уверен и все это время, до самого дня обеда, провел в волнении.

Утром Мадлена получила от г-жи Вальтер записку:

«Мне с большим трудом удалось освободиться, и я буду у вас. Но муж приехать не может».

«Хорошо, что я больше не был у нее! — подумал Дю Руа.— Вот она уже и успокоилась. Посмотрим, что будет дальше».

Тем не менее мысль о том, как они встретятся, внушала ему легкую тревогу. И вот наконец она появилась — с очень спокойным, несколько холодным и надменным выражением лица. Он сразу принял весьма скромный, смиренный и покорный вид.

Г-жи Ларош-Матье и Рисолен пожаловали со своими мужьями. Виконтесса де Персмюр начала рассказы-

вать великосветские новости. Г-жа де Марель была обворожительна; экстравагантный испанский костюм, черный с желтым, чудесно обрисовывал ее тонкую талию, высокую грудь и полные руки и придавал задорное выражение ее птичьей головке.

Дю Руа сидел справа от г-жи Вальтер и во все время обеда с особой почтительностью говорил с ней только о серьезных вещах. Время от времени он поглядывал на Клотильду: «Конечно, она красивее и свежее»,— думал он. Затем взгляд его останавливался на жене: она тоже казалась ему хорошенькой, хотя он по-прежнему испытывал к ней затаенное, глубоко укоренившееся враждебное и злое чувство.

Но к г-же Вальтер его влекла трудность победы над ней и та новизна ощущений, которая представляет вечный соблазн для мужчин.

Она рано собралась домой.

— Я провожу вас,— предложил он.

Она отказалась.

— Но почему же? — настаивал он.— Вы меня этим горько обидите. Не заставляйте меня думать, что вы все еще сердитесь. Вы видите, как я спокоен.

— Вам нельзя уходить от гостей,— возразила она.

Он усмехнулся:

— Ничего, я отлучусь всего на двадцать минут. Никто этого и не заметит. А вот если вы мне откажете, я буду оскорблен в своих лучших чувствах.

— Хорошо, я согласна,— тихо сказала она.

Но как только она очутилась в карете, он схватил ее руку и, покрывая ее страстными поцелуями, заговорил:

— Я люблю вас, я люблю вас. Позвольте мне это сказать. Я до вас не дотронусь. Я хочу лишь говорить с вами о своей любви.

— Ах... вы же мне обещали... нехорошо... нехорошо,— прошептала она.

Дю Руа сделал вид, что с огромным трудом пересилил себя.

— Послушайте, вы видите, как я владею собой,— приглушенным голосом снова заговорил он.— И все же... Позвольте сказать вам только одно: я люблю вас... Позвольте мне повторять это каждый день... Да, позвольте мне проводить у ваших ног хотя бы пять ми-

нут и, впиваясь глазами в ваше чудное лицо, произносить эти три слова.

Г-жа Вальтер все еще не отнимала у него руки.

— Нет, я не могу, я не хочу,— проговорила она, задыхаясь.— Что станут говорить обо мне, что подумает прислуга, мои дочери... Нет, нет, это невозможно...

— Я не могу без вас жить,— продолжал он.— В вашем доме или где-нибудь еще, но я должен видеть вас каждый день, хотя бы одну минуту, должен прикасаться к вашей руке, чувствовать на себе дуновение ветра, который вы поднимаете своим платьем, любоваться очертаниями вашего тела, глядеть в ваши большие дивные глаза, от которых я без ума.

Она слушала эту пошлую музыку любви и, вся дрожа, повторяла:

— Нет... нет... это невозможно. Замолчите!

Дю Руа понимал, что эту простушку надо прибирать к рукам исподволь,— ведь все дело в том, чтобы они стали встречаться — сперва там, где захочет она, а потом уж он сам будет назначать ей свидания.

— Послушайте... Это необходимо...— зашептал он ей на ухо,— я вас увижу... я буду стоять у дверей вашего дома... как нищий... Если вы ко мне не выйдете, я поднимусь к вам... Но я вас увижу... я вас увижу... завтра.

— Нет, нет, не приходите. Я вас не приму. Подумайте о моих дочерях.

— В таком случае скажите, где я мог бы вас встретить... на улице или... где вы хотите... час мне безразличен... только бы видеть вас... Я вам поклонюсь... скажу «люблю» — и уйду.

Окончательно растерявшись, она медлила с ответом. Но вдруг, заметив, что карета подъезжает к ее дому, быстрым шепотом проговорила:

— Хорошо, завтра в половине четвертого я буду в церкви Трините.

И, выйдя из экипажа, крикнула кучеру:

— Отвезите господина Дю Руа домой.

Когда он вернулся, жена спросила его:

— Где ты пропадал?

— Мне надо было отправить срочную телеграмму,— сказал он вполголоса.

К нему подошла г-жа де Марель.

— Вы меня проводите, Милый друг? Ведь я только с этим условием и езжу так далеко в гости,— заявила она и обратилась к хозяйке дома: — Ты не ревнуешь?

— Нет, не очень,— умышленно растягивая слова, ответила г-жа Дю Руа.

Гости расходились. Г-жа Ларош-Матье имела вид провинциальной горничной. Дочь нотариуса, она вышла за Ларошa, когда тот был еще никому не известным адвокатом. Жеманная старуха г-жа Рисолен напоминала старозаветную акушерку, получившую образование в читальных залах. Виконтесса де Персмюр смотрела на них свысока. «Белая лапка» виконтессы с отвращением притрагивалась к их мещанским рукам.

Клотильда завернулась в кружева и, прощаясь с Мадленой у двери, сказала:

— Твой обед удался как нельзя лучше. Скоро у тебя будет первый политический салон в Париже.

Оставшись вдвоем с Жоржем, она обвила его руками.

— О, мой дорогой Милый друг, я люблю тебя день ото дня все больше и больше!

Их экипаж качало, словно корабль.

— То ли дело у нас в комнате! — сказала она.

— О да! — согласился Жорж.

Но думал он в эту минуту о г-же Вальтер.

IV

Площадь Трините была почти безлюдна в этот ослепительный июльский день. Палящая жара угнетала Париж: стеснявший дыхание, знойный, тяжелый, густой, раскаленный воздух словно давил его своей тяжестью.

Возле церкви лениво бил фонтан,— казалось, у воды нет больше сил струиться, казалось, она тоже изнемогает от усталости. В мутной густой зеленоватой жидкости, наполнявшей бассейн, плавали клочки бумаги и листья.

Через каменную ограду перемахнула собака и погрузилась в эти сомнительной чистоты волны. Из круглого садика, огибавшего портал, с завистью поглядывали на нее сидевшие на скамейках люди.

Дю Руа вынул часы. Маленькая стрелка стояла на трех. Он пришел на полчаса раньше.

Свидание с г-жой Вальтер забавляло его. «Она пользуется церковью для любых целей,— думал он.— Церковь снимает с ее души грех, который она совершила, выйдя замуж за еврея, в политических кругах создает о ней представление как о женщине, идущей против течения, возвышает ее во мнении света, и она же служит ей местом свиданий. Обращаться с религией, как с зонтиком, вошло у нее в привычку. В хорошую погоду зонт заменяет тросточку, в жару защищает от солнца, в ненастье укрывает от дождя, а когда сидишь дома, он пылится в передней. И ведь таких, как она, сотни; сами не ставят господа бога ни в грош, а другим затыкают рот и вместе с тем в случае нужды прибегают к нему как к своднику. Пригласи их в номера — они примут это за личное оскорбление, а заводить шашни перед алтарем — это у них в порядке вещей».

Медленным шагом обошел он бассейн и взглянул на церковные часы. Против его часов они спешили на две минуты: на них было пять минут четвертого.

Он решил, что в церкви ждать удобнее, и вошел туда.

На него пахнуло погребом, он с наслаждением втянул в себя эту прохладу, а затем, чтобы изучить расположение храма, начал обходить главный придел.

В глубине обширного храма чьи-то мерные шаги, которые то затихали, то снова явственно доносились, вторили его собственным шагам, гулко раздававшимся под высокими сводами. Человек, расхаживавший по церкви, возбудил его любопытство. Он пошел к нему навстречу. Держа шляпу за спиной, с важным видом разгуливал тучный лысый господин.

На некотором расстоянии одна от другой, преклонив колена и закрыв руками лицо, молились старухи.

Душой овладевало ощущение покоя, одиночества, безлюдья. Цветные стекла скрадывали солнечный свет, и он не раздражал глаз.

Дю Руа нашел, что здесь «чертовски хорошо».

Он подошел к двери и еще раз посмотрел на часы. Было только четверть четвертого. Досадуя на то, что

здесь нельзя курить, он сел у главного входа. В противоположном конце храма, около амвона, все еще медленно расхаживал тучный господин.

Кто-то вошел. Дю Руа обернулся. Это была простая, бедно одетая женщина в шерстяной юбке; она упала на колени возле первого стула, сложила на груди руки и, устремив глаза к небу, вся ушла в молитву.

Дю Руа с любопытством присматривался к ней, стараясь понять, какая печаль, какая скорбь, какое неутешное горе терзает это жалкое существо. Она живет в ужасающей нищете,— это ясно. В довершение всего муж, наверно, колотит ее, а ребенок, может быть, при смерти.

«Бедняги! Есть же на свете такие несчастные!»— говорил он себе. И в нем поднимался бунт против безжалостной природы. Затем ему пришло на ум, что вся эта голытьба верит по крайней мере, будто кто-то невидимо печется о ней, будто где-то там небесная бухгалтерия заносит ее добрые и злые дела в особые книги и в конце концов подводит баланс... Где-то там... Где же именно?

Тишина, царившая в храме, располагала к высоким размышлениям, и, окинув мысленным оком вселенную, Дю Руа процедил сквозь зубы:

— До чего нелепо устроен мир!

Шелест платья заставил его вздрогнуть. Это была она.

Он встал и быстро подошел к ней.

— В моем распоряжении всего несколько минут,— не подавая ему руки, тихо сказала она.— Мне надо идти домой. Станьте на колени подле меня, а то нас могут узнать.

С этими словами она направилась в главный придел, отыскивая удобное и укромное место,— видно было, что она хорошо знает эту церковь. Лицо ее было скрыто под густою вуалью, ступала она чуть слышно, почти не касаясь пола.

Дойдя до амвона, она обернулась.

— В боковых приделах, пожалуй, лучше. Здесь уж очень на виду,— тем таинственным шепотом, каким принято говорить в церкви, сказала она.

Остановившись перед алтарем, она низко опустила голову, хотела было стать на колени, но вдруг повернула направо, к выходу, а затем, видимо, решившись на что-то, придвинула скамеечку и преклонила колена.

Жорж взял себе другую скамеечку, ту, что стояла рядом, и, как только они оба приняли молитвенную позу, заговорил:

— Благодарю вас, благодарю. Я обожаю вас. Я готов повторять это без конца, я хотел бы рассказать вам о том, как я полюбил вас, о том, как вы покорили меня с первого взгляда... Когда же вы позволите мне излить свою душу, высказать вам все это?

Она была погружена в глубокое раздумье и, казалось, совсем не слушала его.

— То, что я разрешаю вам так со мной говорить — это с моей стороны безумие,— все еще не отнимая от лица рук, заговорила она.— Безумие — то, что я сюда пришла, безумие — все, что я делаю, безумием с моей стороны было подавать вам надежду на продолжение того, что... того, что произошло между нами. Забудьте обо всем, так надо, и никогда больше не заговаривайте со мной об этом.

Она выжидающе смолкла. А он думал о том, как ей ответить, пытался найти решительные, страстные слова, но ему нельзя было подкреплять свою речь жестами, и это его сковывало.

— Я ни на что не надеюсь... ничего не жду,— снова заговорил он,— я вас люблю. Что бы вы ни делали, я буду повторять это так часто, с такой силой и с таким пылом страсти, что в конце концов вы меня поймете. Я хочу, чтобы любовь, которой дышит каждое мое слово, нашла доступ к вашему сердцу, чтобы она наполняла его день за днем, час за часом, чтобы она пропитывала его, как влага, просачиваясь капля за каплей, и чтобы, растроганная и смягченная, вы однажды сказали мне: «Я тоже люблю вас».

Он чувствовал, как дрожит ее плечо, как вздымается ее грудь. И вдруг он услыхал быстрый шепот:

— Я тоже люблю вас.

Он вздрогнул так, словно его изо всех сил ударили по голове.

— О боже!..— вырвалось у него вместе со вздохом.

— Зачем я вам это сказала?— тяжело дыша, продолжала г-жа Вальтер.— Я преступница, грешница... а ведь я... мать двух дочерей... но я не могу... не могу... Я бы никогда не поверила... никогда не подумала... но это сильнее... сильнее меня. Слушайте... слушайте... я никогда никого не любила... кроме вас... клянусь вам... И я люблю вас уже целый год, тайной любовью, любовью, которую я хранила в тайниках души. О, если б вы знали, как я страдала, как я боролась, но я больше не могу: я вас люблю...

Она плакала, закрыв лицо руками, и все тело ее вздрагивало, сотрясаемое глубоким волнением.

— Дайте мне вашу руку,— прошептал Жорж,— я хочу прикоснуться к ней, пожать ее...

Она медленно отняла от лица руку. Щека у нее была вся мокрая, на ресницах повисли слезинки.

Он сжал ее руку:

— О, как бы я хотел выпить ваши слезы!

— Не совращайте меня...— сказала она приглушенным, похожим на тихий стон голосом.— Я погибла!

Он чуть было не улыбнулся. Как же это он мог бы совратить ее здесь? Так как запас нежных слов у него истощился, то он ограничился тем, что прижал ее руку к своему сердцу и спросил:

— Слышите, как оно бьется?

Но еще за несколько секунд перед этим послышались приближающиеся мерные шаги тучного господина. Он заглянул во все алтари и теперь, по меньшей мере вторично, обходил тесный правый придел. Поняв, что он подходит вплотную к скрывавшей ее колонне, г-жа Вальтер вырвала у Жоржа свою руку и снова закрыла лицо.

Мгновение спустя оба неподвижно стояли на коленях и, казалось, вместе возносили к небу жаркую мольбу. Тучный господин равнодушно взглянул на них мимоходом и, по-прежнему держа шляпу за спиной, прошествовал в левый придел.

Дю Руа в это время думал о том, как бы добиться свидания где-нибудь в другом месте.

— Где я увижу вас завтра?— прошептал он.

Г-жа Вальтер не ответила. Она словно окаменела,— сейчас это была статуя, которую скульптор мог бы назвать «Молитва».

— Хотите, встретимся завтра в парке Монсо?— настаивал он.

Опустив руки, она повернула к нему мертвенно-бледное лицо, искаженное нестерпимой мукой.

— Оставьте меня...— прерывающимся голосом заговорила она.— Уйдите... уйдите... оставьте меня на некоторое время одну... только на пять минут... мне слишком тяжело сейчас с вами... я хочу молиться... я не могу... уйдите... дайте мне помолиться... одной... пять минут... я не могу... дайте мне помолиться о том, чтобы господь простил меня... чтобы он меня спас... оставьте меня одну... на пять минут.

У нее было такое растерянное, такое страдальческое выражение лица, что Дю Руа молча поднялся с колен и лишь после некоторого колебания обратился к ней:

— Я скоро вернусь. Хорошо?

Она кивнула головой в знак согласия, и он отошел к амвону.

Она попыталась заставить себя молиться. Она сделала над собой нечеловеческое усилие, чтобы воззвать к небу, и, изнывая от тоски, дрожа всем телом, воскликнула:

— Боже, помилуй меня!

Она судорожно мигала, чтобы не смотреть этому человеку вслед. Она гнала от себя всякую мысль о нем, она боролась с ним, но вместо небесного видения, которого так жаждало ее израненное сердце, перед ней все время мелькали закрученные усы Жоржа.

Целый год, днем и ночью, боролась она с этим все усиливавшимся наваждением, с этим образом, который поглощал все ее помыслы, распалял ее плоть и преследовал ее даже во сне. У нее было такое чувство, точно она попалась в сети, точно ее связали и бросили в объятия этого самца, который прельстил и покорил ее цветом глаз, пушистыми усами и ничем больше.

И сейчас, в этом храме, столь близко от бога, она чувствовала себя такой слабой, одинокой и беззащитной, какой никогда не чувствовала себя и дома. Молиться она не могла — она могла думать только о нем. Она уже страдала оттого, что он ушел. И, несмотря на это, отчаянно сопротивлялась — она защищалась и всей душой молила о помощи. Она всегда была чиста перед мужем, и оттого падение было для нее хуже смерти. Она шептала бессвязные слова мольбы, а сама в это время прислушивалась к шагам Жоржа, замиравшим в отдалении под сводами.

Она сознавала, что все кончено, что борьба безнадежна. И все же упорно не желала сдаваться. В конце концов с ней случился припадок, один из тех нервных припадков, которые швыряют наземь дрожащих, корчащихся, воющих женщин. Она тряслась как в лихорадке и чувствовала, что сейчас упадет и с пронзительным воплем забьется в судорогах.

Кто-то быстрыми шагами шел сюда. Она обернулась. Это был священник. Увидев его, она встала с колен и, простирая руки, бросилась к нему.

— Спасите меня! Спасите!— прошептала она.

Священник остановился в изумлении.

— Что вам угодно, сударыня?

— Я хочу, чтобы вы меня спасли. Сжальтесь надо мной. Если вы мне не поможете, я погибла.

Он посмотрел на нее, как на безумную.

— Чем же я могу вам помочь?

Это был молодой священник, высокий, упитанный, с отвислыми, пухлыми, выбритыми до синевы щеками — красивый городской викарий из богатого прихода, привыкший к щедрым даяниям своих духовных дочерей.

— Исповедуйте меня,— сказала она,— дайте мне совет, поддержите меня, скажите, что мне делать!

— Я исповедую по субботам, с трех до шести,— возразил он.

— Нет! Нет! Нет!— сжимая его руку, повторяла она.— Сейчас! Сейчас! Мне это необходимо! Он здесь! В церкви! Он ждет меня!

— Кто ждет вас?— спросил священник.

— Тот, кто погубит меня... тот, кто овладеет мной,

если вы меня не спасете... Мне от него не уйти... Я слишком слаба... так слаба... так слаба!

Рыдая, она упала перед ним на колени.

— Сжальтесь надо мной, отец мой! Спасите меня, ради бога, спасите!

Боясь, что священник уйдет от нее, она вцепилась в его черную сутану, а он с беспокойством оглядывался по сторонам: не видит ли чей-нибудь недоброжелательный или слишком набожный взор эту женщину, припавшую к его ногам?

— Встаньте,— поняв, что отделаться от нее ему не удастся, сказал наконец священник,— ключ от исповедальни при мне.

Порывшись в кармане, он вынул связку ключей, выбрал тот, который был ему нужен, и быстрыми шагами направился к исповедальням, напоминавшим игрушечные деревянные домики,— к этим ящикам для грехов, ящикам, куда верующие сваливают мусор души.

Он вошел в среднюю дверь и запер ее за собой, а г-жа Вальтер бросилась в одну из узких боковых клеток и с пламенной и страстной верой воскликнула:

— Простите меня, отец мой,— я согрешила!

Дю Руа, обойдя амвон, прошел в левый придел. Дойдя до середины, он увидел тучного лысого господина,— тот все еще спокойно прогуливался.

«Что этому субъекту здесь нужно?» — подумал он.

Господин тоже замедлил шаг и с явным желанием заговорить посмотрел на Жоржа. Подойдя вплотную, он поклонился и изысканно вежливым тоном спросил:

— Простите за беспокойство, сударь, не можете ли вы мне сказать, когда был построен этот храм?

— Право, не знаю,— ответил Дю Руа,— думаю, лет двадцать — двадцать пять тому назад. Впрочем, я в первый раз в этой церкви.

— Я тоже. Мне не приходилось бывать здесь.

Журналиста разбирало любопытство.

— Вы, кажется, весьма тщательно ее осматриваете,— сказал он. — Вы изучаете ее во всех подробностях.

— Я не осматриваю, сударь, я жду свою жену,—

с унылым видом возразил тот,— она назначила мне свидание, а сама запаздывает.

И, помолчав несколько секунд, добавил:

— На улице невыносимо жарко.

Приглядевшись к его добродушной физиономии, Дю Руа нашел, что он похож на Форестье.

— Вы не из провинции? — спросил он.

— Да. Я уроженец Рена. А вы зашли сюда из любопытства, сударь?

— Нет. Я поджидаю одну даму.

Дю Руа поклонился и, улыбаясь, проследовал дальше.

У главного входа он снова увидел бедно одетую женщину; она все еще стояла на коленях и все еще молилась. «Вот так усердие!» — подумал он. Но теперь она уже не трогала его и не возбуждала в нем жалости.

Он прошел мимо и медленно двинулся к правому приделу, где должна была ждать его г-жа Вальтер.

Но еще издали он с удивлением обнаружил, что там, где он оставил ее, никого нет. Подумав, что это не та колонна, он дошел до конца и вернулся обратно. Значит, она ушла! Это его поразило и взорвало. Но тут ему пришло в голову, что она, наверно, ищет его, и он еще раз обошел церковь. Убедившись, что ее нигде нет, он вернулся и, в надежде, что она еще придет сюда, сел на тот стул, на котором раньше сидела она. Он решил ждать.

Какой-то шепот вскоре привлек его внимание. Однако в этом углу церкви не было ни души. Откуда же долетал шепот? Встав со стула, он заметил ряд дверей, которые вели в исповедальни. Из-под одной двери высовывался край женского платья. Он подошел ближе, чтобы получше рассмотреть женщину. Это была г-жа Вальтер. Она исповедовалась!..

Им овладело непреодолимое желание схватить ее за плечи и вытащить из этой клетки. Но он тут же подумал: «Ничего! Сегодня очередь священника, завтра — моя». И, посмеиваясь над этим приключением, в ожидании своего часа преспокойно уселся против окошка исповедальни.

Ждать ему пришлось долго. Наконец г-жа Валь-

тер встала, обернулась и, увидев его, подошла к нему. Лицо ее было холодно и сурово.

— Милостивый государь,— сказала она,— прошу вас: не провожайте меня, не ходите за мной и никогда больше не являйтесь ко мне один. Я не приму вас. Прощайте!

И она с достоинством удалилась.

Дю Руа не удерживал ее: он давно уже взял себе за правило не ускорять ход событий. Когда же из своего убежища вышел слегка сконфуженный священник, он подошел к нему и, глядя ему прямо в глаза, прошипел:

— Не будь на вас этой юбки, как бы я смазал вас по вашей гнусной роже!

С этими словами он круто повернулся и, насвистывая, вышел из церкви.

На паперти стоял, уже в шляпе, тучный господин и, заложив руки за спину, с явно скучающим видом оглядывал широкую площадь и прилегающие к ней улицы.

Они раскланялись.

Журналисту больше нечего было здесь делать, и он отправился в редакцию. Уже в прихожей по озабоченным лицам рассыльных он понял, что произошло нечто необычайное, и сейчас же проследовал в кабинет издателя.

Старик Вальтер, стоя, короткими фразами нервно диктовал статью и в промежутке между двумя абзацами давал поручения окружившим его репортерам, делал указания Буаренару и распечатывал письма.

— Ах, как это кстати, вот и Милый друг! — при виде его радостно воскликнул он, но вдруг осекся и, слегка смущенный, стал извиняться: — Простите, что я вас так назвал: я очень взволнован всем происшедшим. К тому же от жены и дочерей я только и слышу: «Милый друг, Милый друг»,— поневоле привыкнешь. Вы на меня не сердитесь?

— Нисколько,— со смехом ответил Жорж.— Это прозвище не обидное.

— Отлично, стало быть, я тоже буду вас называть Милым другом,— продолжал старик Вальтер.— Итак, мы стоим перед лицом важных событий... Вотум недоверия министерству принят большинством трехсот де-

сяти голосов против ста двух. Парламентские каникулы отложены, отложены на неопределенное время, а сегодня уже двадцать восьмое июля. Испания злится на нас за Марокко,— потому-то и слетел Дюран де Лен со своими приспешниками. Заварилась каша. Сформировать новый кабинет поручено Маро. Портфель военного министра он предложил генералу Бутену д'Акру, портфель министра иностранных дел — нашему другу Ларош-Матье. Себе он оставляет министерство внутренних дел и пост председателя совета министров. Наша газета становится официозной. В передовой статье я в общих чертах излагаю наши принципы и указываю путь новым министрам. Разумеется,— добавил он с добродушной усмешкой,— тот путь, по которому они сами намерены идти. Но мне нужно что-нибудь интересное по вопросу о Марокко, что-нибудь этакое злободневное, эффектное, сенсационное. Как вы насчет этого?

— Я вас понял,— подумав, ответил Дю Руа.— Наши колонии в Африке — это Алжир посредине, Тунис справа и Марокко слева; так вот я вам дам статью, в которой постараюсь осветить политическую обстановку в этих наших владениях, изложить историю племен, населяющих эту обширную территорию, и описать поход к марокканской границе, вплоть до огромного оазиса Фигиг, где еще не ступала нога европейца, а ведь он-то и явился причиной нынешнего конфликта. Это вам подходит?

— Как нельзя лучше! — воскликнул старик Вальтер.— Ну, а заглавие?

— «От Туниса до Танжера».

— Превосходно.

Дю Руа пошел искать в комплекте «Французской жизни» свою первую статью «Воспоминания африканского стрелка»,— ей только надо было дать другое название, кое-что изменить и подправить, а так она вся целиком могла сослужить службу, ибо в ней говорилось и о колониальной политике, и о населении Алжира, и о походе в провинцию Оран.

В три четверти часа статейка была переделана, подштопана, приведена в надлежащий вид, подновлена и сдобрена похвалами по адресу нового кабинета.

— Чудесно, чудесно, чудесно,— прочитав статью, заметил издатель.— Вы золото. Очень вам благодарен.

К обеду Дю Руа, в восторге от проведенного дня, вернулся домой; неудача в церкви Трините его не смущала: он чувствовал, что выиграл партию.

Мадлена ждала его с нетерпением. Когда он вошел, первыми ее словами были:

— Тебе известно, что Ларош — министр иностранных дел?

— Да, в связи с этим я уже дал статью об Алжире.

— Какую статью?

— Ты ее знаешь,— первую, которую мы писали вместе: «Воспоминания африканского стрелка»; я ее просмотрел и выправил так, как того требуют обстоятельства.

Мадлена улыбнулась.

— А! Да, это именно то, что сейчас нужно,— заметила она и, помолчав, прибавила: — Я думаю о продолжении, которое ты должен был написать и которое ты тогда... бросил. Теперь нам есть смысл за него взяться. Из этого может выйти несколько отличных статей, подходящих к данному моменту.

— Прекрасно,— сказал он и сел за стол.— Теперь нам уж никто не помешает,— ведь рогоносец Форестье на том свете.

Это ее задело.

— Твоя шутка более чем неуместна, и я прошу тебя положить этому конец,— сухо проговорила она.— Ты злоупотребляешь моим терпением.

Он собирался пустить ей шпильку, но в это время ему подали телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи: «Я совсем потеряла голову, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо».

Он понял, и сердце у него запрыгало от радости.

— Больше не буду, моя дорогая. Это глупо. Сознаюсь,— пряча в карман голубую бумажку, сказал он.

И принялся за суп.

За едой он повторял про себя эти слова: «Я совсем потеряла голову, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». Итак, она сдается. Ведь это означает: «Я в вашей власти, делайте со мной, что хотите, где хотите и когда хотите».

Он засмеялся.

— Что гы? — спросила Мадлена.

— Так, ничего. Я встретил одного священника, и мне сейчас вспомнилась его толстая морда.

На другой день Дю Руа явился на свидание ровно в четыре. Все скамейки в парке Монсо были заняты изнемогавшими от жары буржуа и беспечными няньками, которые, по-видимому, не обращали ни малейшего внимания на детей, барахтавшихся в песке на дорожках.

Г-жу Вальтер он нашел среди искусственных руин, возле источника. С испуганным и несчастным видом она ходила вокруг небольшой колоннады.

— Как здесь много народу! — сказала она, прежде чем Дю Руа успел поздороваться с ней.

Он обрадовался предлогу:

— Да, это верно. Хотите куда-нибудь еще?

— Но куда?

— Это безразлично, можно взять карету. Вы спустите штору и сразу почувствуете себя в полной безопасности.

— Да, так будет лучше. Здесь я умираю от страха.

— В таком случае ждите меня у выхода на внешний бульвар. Через пять минут я подъеду в экипаже.

И он помчался бегом.

Как только они остались вдвоем в экипаже, г-жа Вальтер тщательно завесила со своей стороны окошко.

— Что вы сказали извозчику? — спросила она.

— Не беспокойтесь, он знает, куда ехать,— ответил Жорж.

Он велел извозчику везти их на Константинопольскую.

— Вы себе не представляете, как я страдаю из-за вас, как я измучена, как я истерзана,— продолжала она.— Вчера, в церкви, я была с вами сурова, но я хотела во что бы то ни стало бежать от вас. Я так боюсь остаться с вами наедине! Вы меня простили?

Он сжимал ее руки.

— Конечно, конечно. Чего бы я вам не простил,— ведь я так люблю вас!

Она смотрела на него умоляющими глазами.

— Послушайте, вы должны обещать мне, что вы меня не тронете... и не... и не... иначе мы видимся в последний раз.

Сперва он ничего не ответил ей, но в усах у него пряталась тонкая улыбка, которая так волновала женщин.

— Я ваш покорный раб,— наконец прошептал он.

Тогда г-жа Вальтер начала рассказывать, как она, узнав, что он женится на Мадлене Форестье, впервые почувствовала, что любит его. Она припоминала подробности, даты, делилась с ним своими переживаниями.

Вдруг она замолчала. Карета остановилась. Дю Руа отворил дверцу.

— Где мы? — спросила она.

— Выходите из экипажа — и прямо в этот дом,— ответил Дю Руа.— Здесь нам будет спокойнее.

— Но где мы?

— У меня. Это моя холостяцкая квартира... я ее опять снял... на несколько дней... чтобы иметь уголок, где бы мы могли видеться.

Г-жа Вальтер вцепилась в подушку.

— Нет, нет, я не хочу! Я не хочу! — лепетала она в ужасе от предстоящего свидания наедине.

— Клянусь, что я вас не трону,— решительно проговорил он.— Идемте. Видите — на нас смотрят, вокруг уже собирается народ. Скорей... скорей... выходите. Клянусь, что я вас не трону,— еще раз повторил он.

На них с любопытством поглядывал содержатель винного погребка, стоявший у дверей своего заведения. Ей стало страшно, и она вбежала в подъезд.

Она начала было подниматься по лестнице, но Дю Руа удержал ее за руку.

— Это здесь, внизу,— сказал он и втолкнул ее в свою квартиру.

Заперев за собой дверь, он бросился на нее, как хищный зверь на добычу.

Она отбивалась, боролась, шептала: «Боже мой!.. Боже мой!..»

А он страстно целовал ее шею, глаза, губы, так что она не успевала уклоняться от его бурных ласк: отталкивая его, пытаясь избежать его поцелуев, она невольно прикасалась к нему губами.

Вдруг она перестала сопротивляться и, обессилевшая, покорная, позволила ему раздеть себя. Опытными, как у горничной, руками проворно и ловко начал он снимать одну за другой принадлежности ее туалета.

Она выхватила у него корсаж и спрятала в нем лицо,— теперь она, вся белая, стояла среди упавшей к ее ногам одежды.

Оставив на ней только ботинки, он понес ее к кровати. И тут она чуть слышно прошептала ему на ухо:

— Клянусь вам... клянусь вам... что у меня никогда не было любовника.

Так молодые девушки говорят о себе: «Клянусь вам, что я невинна».

«Вот уж это мне совершенно все равно»,— подумал Жорж.

V

Наступила осень. Супруги Дю Руа все лето жили в Париже и во время непродолжительных парламентских каникул вели на страницах «Французской жизни» решительную кампанию в пользу нового правительства.

Положение в Марокко становилось угрожающим, и в связи с этим, хотя было еще только самое начало октября, обе палаты собирались возобновить заседания.

Никто в сущности не верил в возможность танжерской экспедиции, несмотря на то, что в день роспуска парламента правый депутат, граф де Ламбер-Саразен, в своей остроумнейшей речи, которой аплодировал даже центр, предложил пари и, как это сделал когда-то знаменитый вице-король Индии, поставил свои усы против бакенбард председателя совета министров, доказывая, что новый кабинет неминуемо должен будет пойти по стопам прежнего кабинета и в дополнение к тунисской экспедиции послать экспедиционную армию в Танжер — исключительно из любви к симметрии, подобно тому как на камин ставят две вазы.

«В самом деле, господа,— продолжал он развивать свою мысль,— Африка — это камин для Франции, камин, в котором сгорают наши лучшие дрова, камин с

сильной тягой, который растапливают банковскими билетами.

Вы отдались на волю своей художественной фантазии и украсили левый угол камина тунисской безделушкой, которая обошлась вам недешево,— теперь вы увидите, что и господин Маро, в подражание своему предшественнику, украсит правый его угол безделушкой марокканской».

Речь эта приобрела широкую известность и послужила Дю Руа темой для десятка статей об Алжире — для той серии статей, которая была прервана, как только он поступил в редакцию. Он горячо поддерживал идею военной экспедиции, хотя в глубине души был убежден, что она не состоится. Он играл на патриотических чувствах и нападал на Испанию, пользуясь всем тем арсеналом насмешек, к которому мы обращаемся, когда интересы какого-нибудь государства не совпадают с нашими.

«Французская жизнь» открыто поддерживала связь с правительственными кругами, и это придавало ей особый вес. Она сообщала политические новости раньше других газет, даже самых солидных, и при помощи намеков давала читателям возможность проникнуть в замыслы ее друзей-министров. Она являлась источником информации для всех столичных и провинциальных газет. На нее ссылались, ее побаивались, с ней начинали считаться. Не внушавший доверия орган шайки политических проходимцев превратился в признанный орган правительства. Ларош-Матье был душой газеты, Дю Руа — ее рупором. Старик Вальтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, умевший, когда нужно, отойти в сторонку, затевал под шумок огромное дело, связанное, по слухам, с марокканскими медными рудниками.

Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где каждую неделю сходились некоторые из членов кабинета. Сам председатель совета министров обедал у нее два раза. А жены государственных деятелей — те, что еще недавно не решались переступить порог ее дома, теперь гордились дружбой с нею и бывали у нее чаще, чем она у них.

Министр иностранных дел держал себя здесь почти

как хозяин. Он приходил в любое время, приносил телеграммы, всякого рода сведения и диктовал то мужу, то жене информацию, как будто они были его секретарями.

Стоило министру уйти, и Дю Руа, оставшись вдвоем с Мадленой, ополчался на этого бездарного выскочку: в голосе его появлялись угрожающие нотки, каждое его замечание было полно яда.

Но Мадлена презрительно поводила плечами.

— Добейся того же, чего и он,— говорила она.— Сделайся министром, тогда и задирай нос. А до тех пор помалкивай.

Жорж крутил усы, искоса поглядывая на нее.

— Еще неизвестно, на что я способен,— возражал он,— быть может, когда-нибудь об этом узнают.

— Поживем — увидим,— тоном философа заключала она.

В день открытия парламента, пока Жорж одевался, собираясь идти к Ларош-Матье, чтобы до заседания получить у него информацию для завтрашней передовицы, в которой должны были быть изложены в официозном духе истинные намерения правительства, Мадлена, еще лежа в постели, поучала своего супруга.

— Главное, не забудь спросить, пошлют ли генерала Белонкля в Оран, как это предполагалось вначале, — говорила она. — Это может иметь большое значение.

— Не приставай,— огрызнулся Жорж.— Я не хуже тебя знаю, что мне надо делать.

— Дорогой мой, ты всегда забываешь половину моих поручений к министру,— спокойно возразила она.

— Мне осточертел твой министр! — проворчал Жорж.— В конце концов он просто болван.

— Он столько же мой, сколько и твой,— хладнокровно заметила она.— Тебе он еще полезнее, чем мне.

— Виноват, за мной он не ухаживает,— слегка повернув к ней голову, сказал он с усмешкой.

— За мной тоже, но с его помощью мы создаем себе положение,— нарочито медленно сказала она.

— Если б мне пришлось выбирать между твоими поклонниками,— помолчав несколько секунд, снова заговорил Жорж,— я уж скорее отдал бы предпочтение

старому олуху Водреку. Кстати, что с ним такое? Я не видел его уже целую неделю.

— Он болен,— с невозмутимым видом ответила Мадлена,— он писал мне, что приступ подагры приковал его к постели. Не мешало бы тебе навестить его. Ты знаешь, что он тебя очень любит,— это ему будет приятно.

— Да, конечно,— согласился Жорж,— сегодня же съезжу к нему.

Он закончил свой туалет и, надев шляпу, еще раз проверил, не забыл ли он чего-нибудь. Убедившись, что все в порядке, он подошел к кровати, поцеловал жену в лоб и сказал:

— До свиданья, дорогая, я вернусь не раньше семи.

И вышел из комнаты.

Ларош-Матье поджидал его; ввиду того, что совет министров должен был собраться в двенадцать часов дня, до открытия парламента, он завтракал сегодня в десять.

Г-жа Ларош-Матье не пожелала перенести свой завтрак на другой час, и потому, кроме личного секретаря министра, у них никого не было. Как только они сели за стол, Дю Руа заговорил о своей статье; заглядывая в свои заметки, нацарапанные на визитных карточках, он излагал ее основные положения.

— Что вы находите нужным изменить, дорогой министр? — спросил он под конец.

— Почти ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы с излишней определенностью высказываетесь по вопросу о Марокко. Лучше говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, и одновременно дайте ясно понять, что она не состоится и что вы меньше, чем кто-либо другой, в нее верите. Сделайте так, чтобы публика вычитала между строк, что мы не сунемся в эту авантюру.

— Отлично. Я вас понял и постараюсь, чтобы поняли и меня. Кстати, жена просила узнать, будет ли послан в Оран генерал Белонкль. Из того, что вы мне сейчас сообщили, я сделал вывод, что нет.

— Нет,— изрек государственный муж.

Далее речь зашла о предстоящей парламентской сессии. Ларош-Матье начал разглагольствовать, зара-

нее любуясь эффектом той речи, которую несколько часов спустя он собирался предложить вниманию своих коллег. Он взмахивал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, ни на кого не глядя, обращаясь к невидимому собранию, брызгал сладенькой водицей своего красноречия, столь соответствовавшего его парикмахерской внешности. Маленькие закрученные усики жалами скорпиона торчали над его верхней губой, а напомаженные бриллиантином волосы, с пробором посредине, завивались кольцами на висках, как у провинциального фата. Несмотря на свою молодость, он уже начинал толстеть и заплывать жиром; жилет вплотную облегал его солидное брюшко.

Личный секретарь, по всей вероятности, привыкший к подобным словоизвержениям, преспокойно ел и пил, а Дю Руа, которому лавры Лароша не давали покоя, говорил себе: «Экая дубина! Ну и дурачье же все эти политические деятели!»

Сравнивая себя с этим напыщенным болтуном, он приходил к такому заключению: «Эх, будь у меня всего только сто тысяч франков, чтобы иметь возможность выставить свою кандидатуру в депутаты от моего милого Руана и умаслить моих славных нормандцев, этих лукавых, себе на уме, увальней и тяжелодумов, показал бы я всем этим безмозглым шалопаям, какие бывают на свете политические деятели!»

Ларош-Матье продолжал говорить до тех пор, пока не принесли кофе, потом, заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали карету, и протянул журналисту руку:

— Вы меня хорошо поняли, дорогой друг?

— Прекрасно, дорогой министр, будьте спокойны.

До четырех часов Жоржу нечего было делать, и он не спеша отправился в редакцию писать статью. В четыре ему предстояло свидание на Константинопольской с г-жой де Марель, которая приходила к нему туда два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Но не успел он войти в редакцию, как ему подали телеграмму. Телеграмма была от г-жи Вальтер и содержала в себе следующее:

«Мне непременно надо поговорить с тобой сегодня. У меня к тебе дело, важное дело. Жди меня в два часа на Константинопольской. Я могу оказать тебе большую услугу.

Твоя до гроба
Виржини».

«Черт возьми! Экая пиявка!» — пробормотал он.

У него сразу испортилось настроение, работать он в таком раздраженном состоянии уже не мог и поспешил уйти из редакции.

В течение последних полутора месяцев он несколько раз пытался порвать с нею, но ему так и не удалось охладить ее сердечный жар.

Она мучительно переживала свое падение и три свидания подряд осыпала любовника упреками и проклятиями. Ему стало тошно от таких сцен, и, пресыщенный этою стареющею героинею мелодрамы, он стал попросту избегать ее в надежде, что их роман сам собою сойдет на нет. Но она с решимостью отчаяния ухватилась за него, она бросилась в эту любовь, как бросаются с камнем на шее в воду. Из жалости, из любезности, из уважения к супруге патрона он снова дался ей в руки, и она заточила его в темницу своей бешеной назойливой страсти, она преследовала его своею нежностью.

Она желала видеть его ежедневно, постоянно вызывала его телеграммами, назначала минутные свидания на углах улиц, в магазинах, в городских садах.

И всякий раз в одних и тех же выражениях она клялась, что обожает, боготворит его, и, уходя, заявляла, что теперь она «счастлива вполне,— счастлива тем, что видела его».

Она оказалась совсем не такой, какою он ее себе представлял: она разыгрывала из себя влюбленную девочку и пыталась прельстить его смешным в ее годы ребячеством. До сих пор это была сама добродетель, женщина с девственною душой, закрытой для страстей, свободной от побуждений чувственности, и вот у этой-то благонравной и рассудительной сорокалетней женщины бессолнечная осень, наступившая после нежаркого лета, неожиданно сменилась чем-то вроде чахлой весны, полной жалких, тронутых холодком цветов и не-

раскрывшихся почек, до странности поздним расцветом девической любви, пылкого непосредственного чувства, проявлявшегося во внезапных порывах, в манере вскрикивать, как шестнадцатилетняя девочка, в приторных ласках, в кокетстве, которое не знало юности и уже успело состариться. Он получал от нее по десяти писем в день, глупых, сумасшедших писем, написанных вычурным, возвышенным, потешным слогом, цветистым, как речь индусов, изобилующим названиями животных и птиц.

Как только они оставались одни, она набрасывалась на него с поцелуями, подпрыгивала, тряся своим пышным бюстом, резвилась, как нескладный, угловатый подросток, уморительно надувала губки. Ему претили ее ласковые словечки: «мышонок», «котик», «песик», «птенчик», «бесценный мой», «сокровище мое», претил этот девичий стыд, который она напускала на себя перед тем, как лечь в постель, претили эти легкие движения испуга, которые, видимо, казались ей самой очаровательными, претило ее заигрывание с ним — заигрывание развращенной институтки.

«Чей это ротик?» — спрашивала она, и если он не сразу отвечал «мой»,— своими приставаниями доводила его до того, что он бледнел от злости.

Как она не понимает, недоумевал он, что любовь требует исключительного такта, деликатности, осторожности, чуткости, что, сойдясь с ним, она, взрослая женщина, мать семейства, светская дама, должна отдаваться ему, не роняя своего достоинства, с увлечением сдержанным и строгим, пусть даже со слезами, но со слезами Дидоны, а не Джульетты?

— Как я люблю тебя, мой мальчик! — беспрестанно повторяла она.— И ты меня любишь, моя крошка?

А ему всякий раз, когда она называла его «мой мальчик» или «моя крошка», хотелось назвать ее «моя старушка».

— Подчиниться тебе было с моей стороны безумием,— говорила она.— Но я не жалею. Любить — это так приятно!

Все в ее устах бесило Жоржа. «Любить — это так приятно» она произносила, как инженю на сцене.

При этом она изводила его неуклюжестью своих

ласк. Поцелуи этого красавчика, воспламенившего ее кровь, пробудили в ней чувственность, но она обнимала его с какой-то неумелой страстностью, с таким сосредоточенным и серьезным видом, что этим только смешила Дю Руа, мысленно сравнивавшего ее с теми людьми, которые на старости лет берутся за букварь.

Ей бы надо было душить любовника в объятиях, не отводя от него пламенного, глубокого и страшного взгляда, каким смотрят иные, уже увядшие, но великолепные в своей последней любви женщины; ей бы надо было, впиваясь в него безмолвными дрожащими губами, прижимать его к своему тучному, жаркому, утомленному, но ненасытному телу, а вместо этого она вертелась, как девчонка, и сюсюкала, думая, очевидно, что это придает ей особую прелесть:

— Я так люблю тебя, мой мальчик! Приласкай понежней свою птичку!

В такие минуты ему безумно хотелось выругаться, схватить шляпу и, хлопнув дверью, уйти.

Первое время они часто виделись на Константинопольской, но Дю Руа, опасаясь встречи с г-жой де Марель, изыскивал теперь всевозможные предлоги, чтобы уклоняться от этих свиданий.

Но зато он должен был почти каждый день приходить к ней то обедать, то завтракать. Она жала ему под столом руку, подставляла за дверью губы. А ему больше нравилось шутить с Сюзанной, оттого что с ней всегда было весело. Бойкое остроумие этой девушки с кукольной внешностью проявлялось неожиданно, жалило исподтишка и, подобно ярмарочной марионетке, в любую минуту готово было позабавить публику. С убийственной меткостью вышучивала она всех и вся. Жорж поощрял в ней любовь к злословию, подхлестывал ее иронию, и они с полуслова понимали друг друга.

Она ежесекундно обращалась к нему: «Послушайте, Милый друг!», «Подите сюда, Милый друг!».

И он сейчас же оставлял мамашу и бежал к дочке; та шептала ему на ухо что-нибудь весьма ехидное, и оба покатывались со смеху.

Между тем мамаша до того опротивела ему своей любовью, что он уже чувствовал к ней непреодолимое отвращение: он не мог видеть ее, слышать, думать о

ней без раздражения. Он перестал у нее бывать, не отвечал на ее письма и не являлся на ее зов.

Наконец ей стало ясно, что он уже не любит ее, и она ужасно страдала. Но она не сдавалась: она учинила за ним слежку, не давала ему прохода, караулила его в карете с опущенными шторами у дверей редакции, около его дома, на улицах, где, по ее расчету, она могла с ним встретиться.

Ему хотелось наговорить ей дерзостей, обругать ее, ударить, сказать напрямик: «К черту, с меня довольно, вы мне надоели», но он дорожил службой в редакции и оттого все еще церемонился с ней, стараясь своим холодным, убийственно вежливым, а временами просто резким тоном дать ей понять, что давно пора положить этому конец.

Она пускалась на всякие хитрости, чтобы заманить его на Константинопольскую, а он смертельно боялся, как бы в один прекрасный день обе женщины не столкнулись нос к носу в дверях.

Что касается г-жи де Марель, то он еще сильней привязался к ней за лето. Он называл ее «Мой сорванец», она положительно нравилась ему. Они были под стать друг другу: оба принадлежали к племени вечных бродяг, искателей приключений, тех светских бродяг, которые, сами того не подозревая, обнаруживают разительное сходство с бездомниками, кочующими по большим дорогам.

Они чудесно провели лето, погуляли на славу: постоянно удирали завтракать или обедать то в Аржантей, то в Буживаль, то в Мэзон, то в Пуасси, часами катались на лодке, собирали цветы на берегу. Она обожала разные блюда из рыбы, которую ловили тут же в Сене, и фрикасе из кролика, обожала беседки в загородных кабачках и крики гребцов. А он любил ездить с ней в солнечный день на империале пригородной конки и, весело болтая, окидывать взглядом унылые окрестности Парижа, где буржуа настроили себе безобразных дач.

И, возвращаясь в Париж, где его ждала к обеду г-жа Вальтер, он чувствовал, как в нем поднимается ненависть к навязчивой старой любовнице — ненависть, усиливавшаяся при воспоминании о молодой,

которая только что, на берегу реки, в траве, насытила его страсть и утолила его любовный пыл.

Он уже был уверен, что почти разделался с г-жой Вальтер,— ведь он наконец до жестокости ясно дал ей понять, что намерен порвать с нею,— и вдруг ему опять приносят в редакцию телеграмму с просьбой быть в два часа на Константинопольской!

Дорогой он еще раз прочитал телеграмму: «Мне непременно надо поговорить с тобой сегодня. У меня к тебе дело, важное дело. Жди меня в два часа на Константинопольской. Я могу оказать тебе большую услугу. Твоя до гроба *Виржини*».

«Что еще от меня нужно этой старой сове? — думал он.— Бьюсь об заклад, что все это зря. Только для того, чтобы сказать, что она меня обожает. Впрочем, надо узнать. Она упоминает о каком-то важном деле, о большой услуге,— может, это и правда. А Клотильда придет в четыре. Стало быть, я должен выпроводить ту не позднее трех. Дьявольщина, только бы они не встретились! Беда с этими бабами!»

И тут он невольно вспомнил Мадлену: в сущности она одна ничем ему не докучает. Она живет с ним бок о бок и как будто бы очень любит его, но только в часы, отведенные для любви, ибо она строго следит за соблюдением раз установленного порядка и не выносит, когда ее отрывают от дел.

Он медленно шел в свой дом свиданий, мысленно проклиная г-жу Вальтер:

«Если только она мне ничего путного не скажет, я ей устрою веселенькую встречу. Язык Камброна покажется верхом изящества в сравнении с моим. Прежде всего я заявлю, что ноги моей больше у нее не будет».

Он вошел в свою квартиру и стал ждать г-жу Вальтер.

Она явилась почти вслед за ним и, увидев его, воскликнула:

— А-а, ты получил мою телеграмму? Какое счастье!

Он сделал злое лицо.

— Ну да, мне ее принесли в редакцию как раз, когда я собирался идти в парламент. Что тебе еще от меня нужно?

Она подняла вуаль, чтобы поцеловать его, и с видом побитой собаки подошла к нему.

— Как ты жесток со мной... Ты так грубо со мной разговариваешь... Что я тебе сделала? Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчаешь!

— Опять сначала? — проворчал он.

Г-жа Вальтер стояла подле него и ждала улыбки, жеста, чтобы кинуться к нему в объятия.

— Вот как ты со мной обращаешься,— тихо заговорила она.— Тогда незачем было и обольщать меня, надо было оставить меня такой, какою я была до этого — счастливой и чистой. Помнишь, что ты говорил мне в церкви и как ты силой заставил меня войти в этот дом? А теперь ты как со мной разговариваешь! И как встречаешь! Боже мой, боже мой, что ты со мной делаешь!

Он в бешенстве топнул ногой:

— Довольно! К черту! Ты не можешь пробыть со мной ни одной минуты, чтобы не завести этой песни. Право, можно подумать, что я тебя взял, когда тебе было двенадцать лет, и что ты была невинна, как ангел. Нет, дорогая моя, давай восстановим истину: я малолетних не совращал. Ты отдалась мне в сознательном возрасте. Я очень тебе благодарен, крайне признателен, но до конца дней быть привязанным к твоей юбке — на это я не согласен. У тебя есть муж, а у меня жена. Мы не свободны — ни ты, ни я. Мы позволили себе эту прихоть, никто про это не узнал — и дело с концом.

— О, как ты груб! Как ты циничен и мерзок! Да, я не была молодой девушкой, но я никогда никого не любила, никогда не изменяла...

Он перебил ее:

— Знаю, ты мне двадцать раз об этом говорила. Но у тебя двое детей... стало быть, не я лишил тебя невинности.

Она отшатнулась.

— Жорж, это низко!..

Рыдания подступили ей к горлу, и, схватившись обеими руками за грудь, она начала всхлипывать.

Заметив, что сейчас польются слезы, он взял с камина свою шляпу.

— А-а, ты плачешь? В таком случае до свиданья.

Значит, только ради этого представления ты и вызвала меня сюда?

Она шагнула вперед, чтобы преградить ему дорогу, и, порывистым движением вынув из кармана платок, быстро вытерла слезы. Она изо всех сил старалась казаться спокойной, но душевная боль была так сильна, что голос у нее все же прерывался и дрожал.

— Нет... я пришла... сообщить тебе новость... политическую новость... я хотела, чтобы ты заработал пятьдесят тысяч франков... даже больше... при желании.

Он мгновенно смягчился.

— Каким образом? Что ты имеешь в виду?

— Вчера вечером я нечаянно подслушала разговор моего мужа с Ларошем. Впрочем, от меня они не очень таились. А вот тебя Вальтер советовал министру не посвящать в их тайну, потому что ты можешь разоблачить их.

Дю Руа положил шляпу на стол. Он насторожился.

— Ну, так в чем же дело?

— Они собираются захватить Марокко!

— Чушь! Я завтракал сегодня у Лароша, и он мне почти продиктовал план действий нового кабинета.

— Нет, мой дорогой, они тебя надули. Они боятся, как бы кто-нибудь не узнал про их махинации.

— Сядь,— сказал Жорж и сам сел в кресло.

Придвинув к себе низенькую скамеечку, г-жа Вальтер примостилась между колен любовника.

— Я постоянно думаю о тебе,— заискивающим тоном продолжала она,— и потому, о чем бы теперь ни шептались вокруг меня, я непременно прислушиваюсь.

И она вполголоса начала рассказывать, как она с некоторых пор стала догадываться, что за его спиной что-то затевается, что его услугами пользуются, но сделать его своим сообщником не решаются.

— Знаешь, кто любит, тот пускается на хитрости,— сказала она.

Наконец вчера она поняла все. Под шумок затевалось огромное, колоссальное дело. Теперь она уже улыбалась в восторге от своей ловкости, рассказывала с увлечением и рассуждала как жена финансиста, на глазах у которой подготовлялись биржевые крахи, колебания акций, внезапные повышения и понижения

курса — все эти спекуляции, которые в какие-нибудь два часа дотла разоряют тысячи мелких буржуа, мелких рантье, вложивших свои сбережения в предприятия, гарантированные именами почтенных, уважаемых лиц — банкиров и политических деятелей.

— Да, это они ловко придумали. Исключительно ловко,— повторяла она.— Впрочем, все до мелочей обмозговал Вальтер, а он на этот счет молодец. Надо отдать ему справедливость, сделано артистически.

Жоржа начинали раздражать эти предисловия.

— Да говори скорей.

— Ну, так вот. Экспедиция в Танжер была решена еще в тот день, когда Ларош стал министром иностранных дел. К этому времени облигации марокканского займа упали до шестидесяти чегырех — шестидесяти пяти франков, и они скупили их все до одной. Скупали они их очень осторожно, через мелких, не внушающих доверия биржевых жучков, которые ни в ком не возбуждали подозрений. Ротшильды не могли взять в толк, почему такой спрос на марокканский заем, но они и их обвели вокруг пальца. Им назвали имена посредников: все это оказались люди нечистые на́ руку, выброшенные за борт. Тузы успокоились. Ну, а теперь затевается экспедиция, и, как только мы будем в Танжере, французское правительство сейчас же обеспечит заем. Наши друзья заработают миллионов пятьдесят — шестьдесят. Понимаешь, в чем штука? Понимаешь теперь, почему они боятся решительно всего, боятся малейшей огласки?

Голова ее лежала у него на жилете, а руки она положила к нему на колени; она чувствовала, что нужна ему теперь, и ластилась, льнула к нему, готова была за одну его ласку, за одну улыбку сделать для него все, пойти на все.

— А ты не ошибаешься? — спросил он.

— Ну, вот еще! — воскликнула она с полной уверенностью.

— Да, это здо́рово,— согласился он.— А уж перед этим прохвостом Ларошем я в долгу не останусь. Погоди, мерзавец!.. Погоди!.. Ты у меня вверх тормашками полетишь из своего министерства!

Он призадумался.

— Не мешало бы, однако, этим воспользоваться,— пробормотал он.

— Купить заем еще не поздно,— сказала она.— Каждая облигация стоит всего семьдесят два франка.

— Да, но у меня нет свободных денег,— возразил он.

Она умоляюще посмотрела на него.

— Я об этом подумала, котик, и если ты меня хоть чуточку любишь — будь добренький, будь добренький, позволь мне дать тебе взаймы.

— Это уж извините,— резко, почти грубо ответил он.

— Послушай,— молила она,— можно устроить так, что тебе не придется занимать. Чтобы иметь немножко собственных денег, я было решила купить этих облигаций на десять тысяч франков. Ну, так я куплю не на десять, а на двадцать! Половина будет принадлежать тебе. Само собой разумеется, Вальтеру я за них платить не стану. Значит, пока что деньги не понадобятся. В случае удачи ты выиграешь семьдесят тысяч франков. В случае неудачи ты будешь мне должен десять тысяч франков, а отдашь, когда захочешь.

— Нет, мне эта комбинация не по нутру,— снова возразил он.

Тогда она начала приводить разные доводы, доказывать, что в сущности он берет у нее десять тысяч франков, веря ей на слово, что, следовательно, он идет на риск, что она лично не ссужает ему ни одного франка, поскольку выплату за облигации будет производить «банк Вальтера».

В заключение она напомнила ему, что это он вел на страницах «Французской жизни» кампанию, сделавшую возможным это предприятие, и что не извлечь из него выгоды было бы с его стороны просто неумно.

Он все еще колебался.

— Да ты только подумай,— прибавила она,— ведь фактически же это Вальтер одолжит тебе десять тысяч франков, а те услуги, которые ты ему оказывал, стоят дороже.

— Ну ладно! — сказал он.— Вхожу к тебе в половинную долю. Если мы проиграем, я уплачу тебе десять тысяч франков.

Не помня себя от радости, она вскочила и, обхватив руками его голову, начала жадно целовать его.

Сперва он не сопротивлялся, но она, осмелев, готова была зацеловать, заласкать его, и тут он вспомнил, что сейчас придет другая и что если он не даст отпора, то лишь потеряет время и растратит в объятиях старухи тот пыл, который следовало приберечь для молодой.

Он тихонько оттолкнул ее.

— Послушай, успокойся!

Она бросила на него отчаянный взгляд.

— Ах, Жорж! Мне уж и поцеловать тебя нельзя.

— Только не сегодня,— сказал он.— У меня болит голова, а от этого мне становится хуже.

Тогда она опять послушно села у его ног.

— Приходи к нам завтра обедать, — сказала она. — Как бы я была рада!

Он некоторое время колебался, но в конце концов у него не хватило духу отказать ей.

— Хорошо, приду.

— Спасибо, дорогой.

Ласкаясь к нему, она медленно водила щекой по его груди до тех пор, пока ее длинный черный волос не зацепился за пуговку жилета. Она это заметила, и тут ей пришла нелепая фантазия, одна из тех суеверных фантазий, которые так часто заменяют женщинам разум. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом другой, третий. И так вокруг каждой пуговицы она обмотала по волосу.

Сейчас он встанет и вырвет их. Он причинит ей боль,— какое счастье! Сам того не зная, он унесет с собой частицу ее существа — унесет с собой прядь ее волос, которой он, кстати сказать, никогда у нее не просил. Этой таинственной невидимой нитью она привяжет его к себе. Она оставит на нем талисман, и он невольно будет думать о ней, увидит ее во сне и завтра будет с ней ласковее.

— Мне надо идти,— неожиданно заявил он,— меня ждут в палате к концу заседания. Сегодня я никак не могу пропустить.

— Ах, так скоро! — со вздохом сказала она и, покорно добавив: — Иди, дорогой, но только завтра непре-

менно приходи обедать,— резким движением подалась назад.

На одно мгновение она почувствовала острую боль в голове, точно в кожу ей вонзились иголки. Сердце у нее забилось. Она была счастлива, что вытерпела эту боль ради него.

— Прощай! — сказала она.

Снисходительно улыбаясь, он обнял ее и холодно поцеловал в глаза.

Но от этого прикосновения г-жа Вальтер совсем обезумела.

— Так скоро! — снова прошептала она.

А ее умоляющий взгляд показывал на отворенную дверь в спальню.

Жорж отстранил ее рукой.

— Мне надо бежать, а то я опоздаю,— с озабоченным видом пробормотал он.

Тогда она протянула ему губы, но он едва коснулся их и, подав ей зонтик, который она чуть не забыла, сказал:

— Идем, идем, пора, уже четвертый час.

Она шла впереди и все повторяла:

— Завтра в семь.

— Завтра в семь,— подтвердил он.

Они расстались. Она повернула направо, а он налево.

Дю Руа дошел до внешнего бульвара. Затем неспешным шагом двинулся по бульвару Мальзерба. Проходя мимо кондитерской, он увидел засахаренные каштаны в хрустальной вазе. «Возьму-ка ливр для Клотильды»,— подумал он и купил этих сладостей, которые она любила до безумия. В четыре часа он был уже дома и поджидал свою молодую любовницу.

Она немного опоздала,— оказалось, что к ней на неделю приехал муж.

— Приходи к нам завтра обедать,— предложила она. — Он будет очень рад тебя видеть.

— Нет, я обедаю у патрона. Мы заняты по горло,— у нас бездна политических и финансовых вопросов.

Она сняла шляпу. Затем начала расстегивать корсаж, который был ей немного тесен.

Он показал глазами на пакет, лежавший на камине.

— Я принес тебе каштанов в сахаре.

Она захлопала в ладоши:

— Какая прелесть! Ах ты, мой милый!

Она взяла пакет, попробовала и сказала:

— Объедение! Боюсь, что скоро от них ничего не останется.

Затем, бросив на Жоржа задорный и чувственный взгляд, добавила:

— Значит, ты снисходишь ко всем моим слабостям?

Она медленно ела каштаны и все время заглядывала в пакет, как бы желая удостовериться, что там еще что-то осталось.

— Послушай, сядь в кресло,— сказала она,— а я примощусь у твоих ног и буду сосать конфетки. Так мне будет очень уютно.

Он улыбнулся, сел и обхватил ее коленями, как только что г-жу Вальтер.

Обращаясь к нему, Клотильда всякий раз поднимала голову.

— Ты знаешь, мой дорогой,— с полным ртом говорила она,— я видела тебя во сне: мне снилось, будто мы с тобой едем куда-то далеко на верблюде. У него два горба, и мы оба сидим верхом на горбах: ты на одном, я на другом, и проезжаем через пустыню... Мы взяли с собой сандвичей в бумаге и бутылку вина, и вот мы закусываем на горбах. Но мне скучно, потому что ничем другим заняться нельзя. Мы слишком далеко друг от друга, и мне хочется сойти.

— Мне тоже хочется сойти,— признался он.

Ее рассказ забавлял Жоржа, и он настраивал Клотильду на шутливый лад, заставлял ее дурачиться, болтать чепуху, городить весь этот милый вздор, который приходит на ум только влюбленным. Детский лепет, который так раздражал его в устах г-жи Вальтер, казался ему очаровательным в устах г-жи де Марель.

Клотильда тоже называла его: «Мой дорогой, мой мальчик, мой котик». И слова эти казались ему нежными и ласковыми. Когда же их незадолго перед тем произносила другая, они злили его и вызывали в нем отвращение. Слова любви всегда одинаковы,— все зависит от того, из чьих уст они исходят.

Но, смеясь над ее забавными выходками, Дю Руа не переставал думать о семидесяти тысячах франков, которые ему предстояло выиграть. И, прикоснувшись пальцем к голове своей подружки, он неожиданно прервал ее болтовню:

— Послушай, кошечка. Я хочу тебе дать поручение к твоему мужу. Скажи ему от моего имени, чтобы он завтра же приобрел на десять тысяч франков марокканского займа,— каждая его облигация стоит семьдесят два франка. Ручаюсь, что меньше чем через три месяца он заработает на этом деле от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков. Внуши ему, чтобы он никому про это не говорил. Передай ему от моего имени, что экспедиция в Танжер решена и что французское правительство обеспечит марокканский заем. Но больше никому ни полслова. Я доверяю тебе государственную тайну.

Клотильда выслушала его внимательно.

— Спасибо,— прошептала она. — Сегодня же вечером поговорю с мужем. Ты вполне можешь на него положиться,— он не проболтается. Он человек надежный. Ему доверять не опасно.

С каштанами Клотильда покончила. Она скомкала пакет и бросила его в камин.

— А теперь в постельку,— сказала она и, не вставая со скамейки, принялась расстегивать ему жилет.

Потом вдруг наклонилась и двумя пальцами вытащила из петли длинный волос.

— Смотри! — сказала она со смехом. — На тебе волос Мадлены. Вот уж верный супруг!

Внезапно она нахмурилась и начала пристально разглядывать на ладони чуть заметную нить.

— Нет, это не Мадлены, он черный,— прошептала она.

Жорж усмехнулся:

— Наверно, горничной.

Но Клотильда, точно сыщик, продолжала изучать жилет: нашла другой волос, обмотанный вокруг пуговицы, потом третий. Она побледнела и слегка вздрогнула.

— А-а! — воскликнула она. — Ты спал с женщиной, и она обмотала свои волосы вокруг твоих пуговиц!

Жорж был поражен.

— Да нет же. Ты с ума сошла,— бормотал он.

Но тут он вспомнил про г-жу Вальтер, понял все, сначала смутился, а затем начал отрицать со смехом, ибо в глубине души не был в претензии на Клотильду за то, что она подозревает его в волокитстве.

Она продолжала искать и все находила волосы, быстро разматывала их и швыряла на ковер.

Инстинкт опытной женщины подсказал ей, в чем тут дело, и она пришла в ярость.

— Она тебя любит... — чуть не плача от бешенства, повторяла Клотильда. — И ей хотелось, чтобы ты унес какую-то частицу ее самой... Изменник!

Неожиданно у нее вырвался пронзительный злорадный крик:

— А! А! Да это старуха... Вот седой волос... А-а, так ты перешел на старух... Они тебе платят?.. Скажи, они тебе платят?.. А-а, так ты путаешься со старухами! Значит, я тебе больше не нужна?.. Ну и милуйся со старухой...

Она вскочила и, схватив со стула корсаж, быстро начала одеваться.

Жорж пытался удержать ее.

— Да нет же, Кло... — сконфуженно бормотал он.— Не говори глупостей... Я сам не могу понять... Послушай, останься... да ну, останься же!..

— Милуйся со своей старухой... милуйся со своей старухой...— повторяла она.— Закажи себе кольцо из ее волос... из ее седых волос... У тебя их достаточно...

Она быстро, проворно оделась, надела шляпу, опустила вуаль. Он было потянулся к ней, но она со всего размаху влепила ему пощечину и, не дав опомниться, отворила дверь и вылетела из комнаты.

Как только он остался один, в нем поднялась бешеная злоба на эту старую хрычовку, мамашу Вальтер. Теперь уж он пошлет ее куда-нибудь подальше, без всяких церемоний.

Щека у него горела, и он смочил ее водой. Затем, обдумывая план мести, вышел на улицу. Этого он ей не простит. Ни за что не простит!

Гуляя по бульвару, он остановился перед витриной ювелирного магазина, на которой был выставлен хронометр — Дю Руа давно хотелось купить его, но он стоил тысячу восемьсот франков.

Вдруг у него радостно забилось сердце: «Выиграю семьдесят тысяч — тогда и куплю». И он стал мечтать о том, что́ он сделает на эти семьдесят тысяч франков.

Прежде всего станет депутатом. Потом купит хронометр, потом начнет играть на бирже, потом... потом...

Идти в редакцию ему не хотелось; решив сперва переговорить с Мадленой, а потом уже повидать Вальтера и приняться за статью, он зашагал по направлению к дому.

Дойдя до улицы Друо, он вдруг остановился: он забыл справиться о здоровье графа де Водрека, а тот жил на шоссе д'Антен. Гуляющей походкой пошел он обратно, погруженный в сладкие мечты о многих приятных, чудесных вещах, о будущем богатстве, и в то же время у него не выходили из головы эта сволочь Ларош и эта старая мерзавка Вальтер. Что касается Клотильды, то ее гнев не внушал ему ни малейшего беспокойства: он знал, что она отходчива.

Войдя в дом, где жил граф де Водрек, он обратился к швейцару:

— Как здоровье господина де Водрека? Я слышал, что он хворает.

— Граф очень плох, сударь,— ответил швейцар. — Говорят, что он и до завтра не доживет,— подагра перешла на сердце.

Дю Руа остолбенел, он не знал, как быть. Водрек умирает! В голове у него кружился рой неясных, волнующих мыслей, в которых он не посмел бы признаться даже самому себе.

— Благодарю вас... я еще зайду... — пробормотал он, сам не понимая, что говорит.

Затем вскочил в экипаж и поехал домой.

Мадлена была уже дома. Он вбежал, запыхавшись, к ней в комнату и выпалил:

— Ты ничего не знаешь? Водрек умирает.

Мадлена сидя читала письмо. При этих словах она вскинула на мужа глаза и три раза подряд переспросила:

— А? Что ты сказал?.. Что ты сказал?.. Что ты сказал?..

— Я говорю, что Водрек умирает, подагра перешла на сердце. Что ты думаешь делать? — прибавил он.

Мадлена побледнела, щеки у нее судорожно подергивались; она встала и, закрыв лицо руками, горько заплакала. Убитая горем, некоторое время она стояла неподвижно, и только плечи вздрагивали у нее от беззвучных рыданий.

Но вдруг она пересилила себя и вытерла слезы.

— Я поеду... я поеду к нему... Ты не беспокойся... я не знаю, когда вернусь... не жди меня...

— Хорошо. Поезжай,— сказал он.

Они пожали друг другу руки, и она, забыв второпях перчатки, вышла из комнаты.

Жорж пообедал один и принялся за статью. Писал он ее, строго придерживаясь указаний министра и предоставляя читателям самим догадаться о том, что экспедиция в Марокко не состоится. Затем отнес статью в редакцию, поговорил несколько минут с патроном и, сам не понимая, отчего ему так весело, с папиросой в зубах зашагал домой.

Жены еще не было. Он лег и заснул.

Вернулась Мадлена около полуночи. Жорж сейчас же проснулся и сел на постели.

— Ну что? — спросил он.

Никогда еще не видел он ее такой бледной и такой расстроенной.

— Умер,— прошептала она.

— А! Что же... он ничего тебе не сказал?

— Ничего. Когда я приехала, он был уже без сознания.

Жорж задумался. На языке у него вертелись вопросы, но он не решался задать их.

— Ложись спать,— сказал он.

Она быстро разделась и юркнула к нему под одеяло.

— Кто-нибудь из родственников присутствовал при его кончине? — продолжал он допытываться.

— Только один племянник.

— А! И часто бывал у него этот племянник?

— Никогда не бывал. Они не встречались лет десять.

— А еще кто-нибудь из родственников у него есть?

— Нет... Не думаю.

— Значит... все достанется племяннику?

— Не знаю.

— Водрек был очень богат?

— Да, очень богат.

— Ты не знаешь примерно, сколько у него может быть?

— Точно не знаю. Один или два миллиона, что-то в этом роде.

Больше он ни о чем ее не расспрашивал. Мадлена потушила свечу. Они молча лежали рядом, в полной темноте, задумчивые и возбужденные.

Сон у Дю Руа уже прошел. Семьдесят тысяч франков, о которых толковала г-жа Вальтер, потеряли для него теперь всякое значение. Вдруг ему показалось, что Мадлена плачет. Чтобы убедиться в этом, он окликнул ее:

— Ты спишь?

— Нет.

Голос у нее дрожал от слез.

— Я забыл тебе сказать, что твой министр провел нас за нос.

— Как так?

Он обстоятельно, со всеми подробностями начал рассказывать ей о замыслах Вальтера и Ларош.

— Откуда ты это знаешь? — когда он кончил, спросила Мадлена.

— Об этом позволь мне умолчать,— ответил Жорж.— У тебя свои источники информации, и я тебя о них не расспрашиваю. У меня — свои, и я бы хотел держать их в тайне. Но за достоверность этих сведений я ручаюсь головой.

— Да, это возможно... — прошептала она. — Я подозревала, что они что-то затевают помимо нас.

Жоржу не спалось; он придвинулся к жене и тихонько поцеловал ее в ухо. Она резко оттолкнула его:

— Прошу тебя, оставь меня в покое! Мне не до баловства.

Он покорно повернулся к стене, закрыл глаза и наконец заснул.

VI

Церковь была обтянута черным, огромный увенчанный короной щит над дверями возвещал прохожим, что хоронят дворянина.

Похоронный обряд только что кончился, и присутствующие расходились, дефилируя перед гробом и перед племянником графа де Водрека; тот раскланивался и пожимал всем руки.

Жорж и Мадлена вместе пошли домой. Они были озабочены чем-то и хранили молчание.

— Однако это очень странно! — как бы рассуждая сам с собой, заметил Жорж.

— Что именно, друг мой? — отозвалась Мадлена.

— То, что Водрек ничего нам не оставил.

Мадлена внезапно покраснела,— казалось, будто розовая вуаль, поднимаясь от шеи к лицу, закрывала белую ее кожу.

— А почему, собственно, он должен был нам что-нибудь оставить? — сказала она. — У него не было для этого никаких оснований.

И, помолчав, прибавила:

— Очень может быть, что завещание хранится у какого-нибудь нотариуса. Мы еще ничего не знаем.

— Да, вероятно,— подумав, согласился Жорж,— в конце концов он был нашим лучшим другом, твоим и моим. Обедал у нас два раза в неделю, приходил в любой час. Чувствовал себя у нас как дома, совсем как дома. Тебя он любил, как родной отец, семьи у него не было: ни детей, ни братьев, ни сестер — никого, кроме племянника, да и племянник-то не родной. Да, наверно, есть завещание. На что-нибудь крупное я не рассчитываю, но что-то должен же он был подарить нам на память в доказательство того, что он подумал о нас, что он нас любил и понимал, как мы к нему привязаны. Какого-нибудь знака дружбы мы во всяком случае вправе от него ждать.

— В самом деле, очень возможно, что он оставил завещание,— с задумчивым и безучастным видом заметила она.

Дома слуга подал Мадлене письмо. Она прочитала его и передала мужу.

«Контора нотариуса
Ламанера
улица Вогезов, 17

Милостивая государыня,

Имею честь просить Вас пожаловать ко мне в контору между двумя и четырьмя часами во вторник, в среду или в четверг по касающемуся Вас делу.

Примите и пр.
Ламанер».

Теперь уж покраснел Жорж.

— Это, наверно, то самое. Странно, однако ж, что он приглашает тебя, а не меня, законного главу семьи.

Сперва она ничего не ответила, но, подумав немного, сказала:

— Хочешь, пойдем туда сейчас же?

— Да, очень хочу.

После завтрака они отправились к нотариусу.

Как только они вошли в контору Ламанера, старший клерк вскочил и с чрезвычайной предупредительностью провел их к своему патрону.

Нотариус был маленький человечек, маленький и весь круглый. Голова его напоминала шар, привинченный к другому шару, который держался на двух ножках — до того маленьких и коротких, что в них тоже было нечто шарообразное.

Он поклонился, указал на кресла и, обращаясь к Мадлене, заговорил:

— Сударыня, я пригласил вас для того, чтобы вы ознакомились с касающимся вас завещанием графа де Водрека.

— Так я и знал,— не удержавшись, прошептал Жорж.

— Сейчас я оглашу этот документ, впрочем, весьма краткий.

Нотариус достал из папки завещание и прочитал следующее:

«Я, нижеподписавшийся, Поль-Эмиль-Сиприен-Гонтран граф де Водрек, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим выражаю свою последнюю волю.

Так как смерть всегда может застигнуть нас врас-

плох, то, в предвидении ее прихода, я рассудил за благо составить завещание, каковое будет храниться у нотариуса Ламанера.

Не имея прямых наследников, я все свое состояние, заключающееся в процентных бумагах на сумму шестьсот тысяч франков и в недвижимом имуществе стоимостью приблизительно в пятьсот тысяч франков, оставляю госпоже Клер-Мадлене Дю Руа, не ставя ей при этом никаких условий и не налагая на нее никаких обязательств. Прошу ее принять этот дар покойного друга в знак преданности и почтительной глубокой привязанности».

— Вот и все,— присовокупил нотариус. — Завещание это помечено августом прошлого года, и оно заменяет собой другой подобный же документ, каковой был составлен два года тому назад на имя госпожи Клер-Мадлены Форестье. Первое завещание также хранится у меня и в случае протеста со стороны родственников может служить доказательством, что воля графа де Водрека осталась неизменной.

Мадлена, бледная как полотно, сидела потупившись. Жорж нервно покручивал усы.

— Само собой разумеется,— после некоторого молчания заметил нотариус,— что без вашего согласия супруга ваша не может принять наследство.

Дю Руа встал.

— Я должен подумать,— сухо сказал он.

Нотариус, приятно осклабившись, наклонил голову.

— Понимаю, сударь: вас заставляет колебаться известная щепетильность. Считаю нужным прибавить, что племянник графа де Водрека, ознакомившись сегодня утром с последней волей своего дяди, выразил готовность подчиниться ей в том случае, если ему будет выдана сумма в сто тысяч франков. На мой взгляд, завещание неоспоримо, но процесс наделал бы много шуму, а вы, вероятно, пожелаете его избежать. В обществе всегда могут возникнуть недоброжелательные толки. Во всяком случае, не могли ли бы вы дать мне ответ по всем пунктам до субботы?

Дю Руа утвердительно кивнул головой:

— Хорошо, сударь.

Он церемонно раскланялся, пропустил вперед жену, которая за все время не проронила ни слова, и вышел с видом оскорбленного достоинства, так что нотариус перестал улыбаться.

Придя домой, Дю Руа с силой захлопнул за собой дверь и бросил на кровать шляпу.

— Ты была любовницей Водрека?

Мадлена, снимая вуаль, тотчас обернулась.

— Я? О!..

— Да, ты. Кто это станет завещать все свое состояние женщине, если она не...

Мадлена вся дрожала и никак не могла отцепить булавки, которыми была приколота прозрачная ткань.

— Полно... полно... — подумав секунду, прерывающимся от волнения голосом заговорила она.— Ты с ума сошел... Ты... ты... не ты ли сам... только что... высказывал предположение... что он тебе что-нибудь оставит?

Жорж, стоя около нее, точно следователь, который старается поймать на чем-нибудь подсудимого, сторожил малейшее изменение ее лица.

— Да... Водрек мог оставить что-нибудь мне... — отчеканивая каждое слово, заговорил он,— мне, твоему мужу... мне, своему приятелю... понимаешь?.. но не тебе... не тебе, своей приятельнице... не тебе, моей жене... Тут есть существенная, огромная разница с точки зрения светских приличий... и общественного мнения.

Мадлена тоже смотрела в его прозрачные глаза, смотрела пристальным, сосредоточенным и странным взглядом — как бы для того, чтобы прочитать в них что-то, заглянуть в темную область человеческого сознания, в которую никому не дано проникнуть и которая приоткрывается лишь на минуту, в те краткие мгновения, когда мы рассеяны, не держим себя в руках, не следим за собой, в мгновения, приподнимающие завесу над тайниками души.

— Все же мне думается, что... — медленно, с расстановкой заговорила она,— что по меньшей мере столь же странным показалось бы, если б такое колоссальное наследство было оставлено... тебе.

— Это почему же? — резко спросил он.

— Потому что... — Она запнулась, но сейчас же нашлась. — Потому что ты мой муж... потому что в сущ-

ности он очень мало знал тебя... потому что я его старый друг... я, а не ты... потому что и первое завещание, составленное еще при жизни Форестье, было в мою пользу.

Жорж большими шагами ходил по комнате.

— Ты должна отказаться от наследства,— заявил он.

— Хорошо,— равнодушно сказала она,— но тогда нечего ждать субботы, мы можем сейчас же известить Ламанера.

Он остановился перед ней. И снова они несколько мгновений смотрели друг на друга в упор,— каждый силился разгадать тайну, заключенную в сердце другого, докопаться до корней его мысли, в глазах у каждого стоял жгучий и немой вопрос, пытавшийся обнажить совесть другого. Это была сокровенная борьба двух существ, которые, живя бок о бок, остаются чужими, ибо хотя они вечно подозревают, выслеживают, подстерегают друг друга, но илистое дно души одного из них оказывается недоступным для другого.

— Послушай, признайся, что ты была любовницей Водрека,— не повышая голоса, неожиданно бросил он ей в лицо.

Она пожала плечами.

— Ты говоришь глупости... Водрек был очень привязан ко мне, очень... но больше ничего... никогда...

Он топнул ногой.

— Ты лжешь. Этого не может быть!

— И все же это так,— спокойно возразила она.

Он опять зашагал по комнате и снова остановился.

— Ну, так объясни, почему он все свое состояние оставил именно тебе...

— Очень просто,— с бесстрастным видом, небрежно процедила Мадлена. — Ты же сам говорил, что, кроме нас, вернее, кроме меня, друзей у него не было,— меня он знал еще ребенком. Моя мать была компаньонкой у его родственников. У нас он бывал постоянно, и так как прямых наследников у него нет, то он и подумал обо мне. Что он меня немножко любил, это возможно. Но кого из женщин не любили такой любовью? Быть может, эта его тайная, тщательно скрываемая любовь и подсказала ему мое имя, когда он взялся за перо, что-

бы выразить свою последнюю волю,— что ж тут такого? Каждый понедельник он приносил мне цветы. Тебя это нисколько не удивляло, а ведь тебе-то он не приносил цветов, правда? Теперь он по той же самой причине отказывает мне свое состояние, да ему и некому его оставить. Напротив, было бы очень странно, если б он оставил его тебе. С какой стати? Что ты для него?

Тон у нее был до того естественный и спокойный, что Жорж поколебался.

— Все равно,— сказал он,— при таких условиях мы не должны принимать наследство. Это может нам очень повредить. Пойдут пересуды, все станут надо мной смеяться, трепать мое имя. Сослуживцы и так уже завидуют мне, и чуть что — мне от них не поздоровится. Я больше, чем кто-либо другой, должен беречь свою честь, свою репутацию. Я не могу допустить, чтобы моя жена принимала подобный дар от человека, которого злые языки и так уже называли ее любовником. Форестье, быть может, и примирился бы с этим, а я нет.

— Хорошо, мой друг,— кротко сказала Мадлена,— одним миллионом будет у нас меньше, только и всего.

Жорж все время шагал из угла в угол и размышлял вслух; не обращаясь непосредственно к жене, он тем не менее говорил исключительно для нее:

— Да, одним миллионом!.. Хотя бы и так... Что же делать... Составляя таким образом свое завещание, он, очевидно, не сознавал, что это с его стороны чудовищная бестактность, нарушение всех приличий. Он не предвидел, в какое ложное и смешное положение он меня ставит... Все дело в оттенках... Оставь он мне половину — и все было бы в порядке.

Он сел, положил ногу на ногу и, как это с ним бывало в минуту досады, волнения или мрачного раздумья, начал нервно крутить усы.

Мадлена взяла вышивание, которым она изредка занималась, и, разбирая мотки, сказала:

— Мое дело сторона. Решать должен ты.

Он долго не отвечал ей, потом неуверенно заговорил:

— Люди никогда не поймут, почему Водрек сделал тебя своей единственной наследницей и почему я на это пошел. Обстоятельства таковы, что если мы принимаем наследство, то это значит, что ты расписываешься... в

преступной связи, а я — в постыдной снисходительности... Понимаешь, как могут истолковать наше согласие? Надо придумать какой-нибудь ловкий ход, найти лазейку и придать всему этому делу пристойный вид. Можно, например, распространить слух, что он поделил между нами свое состояние: половину отдал мужу, половину жене.

— Я не представляю себе, как это сделать практически, поскольку существует формальное завещание,— заметила Мадлена.

— О, это очень просто! Ты могла бы составить на мое имя дарственную запись и отказаться от половины наследства в мою пользу... Детей у нас нет, значит, никаких возражений быть не может. Так мы заткнем рот злопыхателям.

— Опять-таки я не представляю себе, как тут можно заткнуть рот злопыхателям, когда документ, подписанный Водреком, налицо,— с нетерпеливой ноткой в голосе проговорила она.

— Какой вздор! — вспылил Жорж. — Кто нас заставляет показывать завещание или вывешивать его на стену? Мы скажем, что свое состояние граф де Водрек разделил между нами поровну... Вот и все... Ведь без моего разрешения ты не можешь принять наследство. А разрешение я даю тебе при одном условии — при условии раздела, иначе я буду всеобщим посмешищем.

Она еще раз испытующе посмотрела на него.

— Как хочешь. Я согласна.

При этих словах Жорж встал и опять заходил по комнате. Казалось, его снова обуяли сомнения, и теперь он явно избегал проницательного взгляда жены.

— Нет... — заявил он. — Нет, нет и нет... Пожалуй, лучше совсем отказаться... Это будет честнее... благовиднее... достойнее... Впрочем, и так нас не в чем будет упрекнуть, положительно не в чем. Самые щепетильные люди не найдут здесь ничего предосудительного.

Он остановился перед Мадленой.

— Так вот, дорогая, если хочешь, я пойду к Ламанеру один, посоветуюсь с ним, объясню, в чем дело. Скажу ему о своих сомнениях и сообщу, что мы из приличия, чтобы избежать лишних разговоров, решились

на раздел. А раз я принимаю половину наследства, то ясно, что никто не посмеет даже улыбнуться. Это значит, что я во всеуслышание заявляю: «Моя жена принимает наследство, потому что принимаю я, ее муж, единственный правомочный судья в том, что касается ее чести». А то выйдет скандал.

Ответ Мадлены был краток.

— Как хочешь,— тихо сказала она.

А он опять пустился в длинные рассуждения:

— Да, при условии такого именно раздела все становится ясно, как день. Мы получаем наследство от друга, который не хотел делать между нами различия, не хотел никого из нас выделять, не хотел сказать этим завещанием: «Я и после смерти отдаю предпочтение одному из них, как это я делал при жизни». Разумеется, он больше любил жену, но, оставляя свое состояние обоим, он хотел подчеркнуть, что предпочтение это было чисто платоническим. Можешь быть уверена, что если б он подумал об этом, то так бы и поступил. Ему это в голову не пришло, он не учел последствий. Ты совершенно верно заметила, что цветы он каждую неделю приносил тебе, и последний свой дар он тоже предназначил тебе, не отдавая себе отчета...

— Это уже решено,—перебила она; в голосе ее слышалось легкое раздражение. — Я все поняла. Тебе незачем вдаваться в столь подробные объяснения. Иди скорей к нотариусу.

— Это верно,— краснея, пробормотал он, взял шляпу и, уходя, снова обратился к ней: — Я постараюсь сделать так, чтобы племянник помирился на пятидесяти тысячах. Хорошо?

— Нет,— высокомерно ответила Мадлена. — Дай ему столько, сколько он просит: сто тысяч франков. Если хочешь, можешь взять их из моей доли.

Ему стало стыдно.

— Да нет, мы разделим пополам. Если каждый даст по пятидесяти тысяч, так и то у нас останется целый миллион. До скорого свидания, моя крошка,— прибавил Жорж.

Придя к нотариусу, он изложил ему эту комбинацию, которую якобы придумала жена.

На другой день они составили дарственную запись,

по которой Мадлена Дю Руа уступала мужу пятьсот тысяч франков.

Стояла прекрасная погода, и, выйдя из конторы, Жорж предложил Мадлене пройтись. Он прикинулся заботливым, предупредительным, внимательным, нежным. Ему было весело, он ликовал, а она хранила задумчивый и несколько суровый вид.

Был довольно холодный осенний день. Прохожие шли быстро, словно торопясь куда-то. Дю Руа подвел жену к тому самому магазину, перед которым он так часто останавливался, чтобы полюбоваться хронометром, предметом его мечтаний.

— Позволь мне подарить тебе какую-нибудь вещицу,— сказал он.

— Как знаешь,— равнодушно ответила она.

Они вошли в магазин.

— Что ты хочешь: серьги, колье, браслет?

При виде золотых безделушек и драгоценных камней она сбросила с себя напускную холодность и мгновенно оживившимся любопытным взором окинула витрины, полные ювелирных изделий.

— Вот красивый браслет,— загоревшись желанием приобрести его, сказала она.

Это была затейливой работы цепочка, каждое звено которой украшал какой-нибудь драгоценный камень.

— Сколько стоит этот браслет? — прищенился Жорж.

— Три тысячи франков,— ответил ювелир.

— Уступите за две с половиной, тогда я его возьму.

— Нет, сударь, не могу,— после некоторого колебания сказал ювелир.

— Послушайте, я у вас возьму еще этот хронометр за полторы тысячи франков,— всего выйдет четыре тысячи, плачу наличными. Идет? Не хотите — дело ваше, я пойду в другой магазин.

Ювелир помялся, но в конце концов сбавил цену:

— Так и быть, сударь!

Журналист дал свой адрес и сказал:

— Прикажите выгравировать на хронометре баронскую корону, а под ней письменными буквами мои инициалы: Ж. Р. К.

Мадлену это привело в изумление; она заулыбалась. А когда они вышли из магазина, она уже с какой-то нежностью взяла его под руку. Она убедилась, что он действительно сильный и ловкий человек. Теперь, когда у него есть деньги, ему необходим титул,— это резонно.

Ювелир проводил их с поклонами.

— Не беспокойтесь, господин барон, к четвергу все будет готово.

Они проходили мимо Водевиля. Там давали новую пьесу.

— Хочешь, пойдем вечером в театр? — предложил Дю Руа.— Надо попытаться достать ложу.

Ложа нашлась, и они ее взяли.

— Не пообедать ли нам в ресторане? — предложил он.

— Ну что ж, с удовольствием.

Он был счастлив, как властелин, и все старался что-нибудь придумать.

— А что, если мы зайдем за госпожой де Марель и вместе проведем вечерок? Мне говорили, что ее муж приехал. Мне бы очень хотелось с ним повидаться.

Они пошли туда. Жорж побаивался первой встречи с любовницей и ничего не имел против, что с ним жена,— по крайней мере можно будет избежать объяснений.

Но Клотильда, видимо, не сердилась на него и сама уговорила мужа принять приглашение.

Обед прошел весело, вечер они провели чудесно.

Жорж и Мадлена поздно вернулись домой. Газ на лестнице уже не горел. Журналист то и дело зажигал восковые спички.

На площадке второго этажа огонек чиркнувшей и вспыхнувшей спички выхватил из темноты зеркало, и в нем четко обозначились две фигуры.

Казалось, будто два призрака появились внезапно и тотчас же снова уйдут в ночь.

Чтобы ярче осветить их, Дю Руа высоко поднял руку и с торжествующим смехом воскликнул:

— Вот идут миллионеры!

VII

Со времени покорения Марокко прошло два месяца. Захватив Танжер, Франция сделалась обладательницей всего африканского побережья Средиземного моря до самого Триполи и обеспечила заем аннексированной страны.

Говорили, что два министра заработали на этом до двадцати миллионов, и почти открыто называли имя Ларош-Матье.

Что касается Вальтера, то весь Париж знал, что он убил двух зайцев: миллионов тридцать — сорок нажил на займе и от восьми до десяти миллионов на медных и железных рудниках, а также на огромных участках земли, купленных за бесценок еще до завоевания и перепроданных колонизационным компаниям на другой день после французской оккупации.

В какие-нибудь несколько дней он стал одним из властелинов мира, одним из всесильных финансистов, более могущественных, чем короли,— одним из тех финансистов, перед которыми склоняются головы, немеют уста и которые выпускают на свет божий гнездящиеся в глубине человеческого сердца низость, подлость и зависть.

Это уже был не жид Вальтер, директор банка, который никому не внушал доверия, издатель подозрительной газеты, депутат, подозреваемый в грязных делишках. Теперь это был господин Вальтер, богатый еврей.

И он захотел наглядно доказать это.

Узнав, что князь Карлсбургский, владелец одного из самых роскошных особняков на улице Фобур-Сент-Оноре с садом, выходившим на Елисейские Поля, находится в затруднительном положении, он предложил ему в двадцать четыре часа продать эту недвижимость со всей обстановкой, не переставляя ни одного кресла. Он давал ему три миллиона. Прельстившись суммой, князь согласился.

На другой день Вальтер уже устраивался на новом месте.

Но тут у него появилась другая мысль — мысль, которая могла прийти в голову только завоевателю,

желающему победить Париж, мысль, достойная Бонапарта.

В то время весь город ходил в комиссионный магазин Жака Ленобля смотреть картину венгерского художника Карла Марковича, изображавшую Христа, шествующего по водам.

Художественные критики восторгались ею и утверждали, что это лучшее из произведений искусства, которыми может гордиться наш век.

Вальтер купил картину за пятьсот тысяч франков и перевез ее в свой особняк,— таким образом он направил поток общественного любопытства в новое русло и заставил весь Париж завидовать ему, порицать или одобрять его — словом, заставил говорить о себе.

Затем он объявил в газетах, что в один из ближайших вечеров собирается пригласить к себе видных представителей парижского общества посмотреть замечательную картину иностранного художника, дабы никто не мог упрекнуть его в том, что он держит под спудом произведение искусства.

Двери его дома будут открыты для всех. Добро пожаловать. При входе надо будет только предъявить пригласительный билет.

Приглашение было составлено так: «Господин и госпожа Вальтер просят вас почтить их своим присутствием тридцатого декабря, между девятью и двенадцатью ночи, на осмотре при электрическом освещении картины Карла Марковича «Иисус, шествующий по водам».

В постскриптуме мелким шрифтом было напечатано: «После двенадцати танцы».

Итак, желающие могут остаться, и из их числа Вальтеры подберут себе новых знакомых.

Прочие со светским любопытством, наглым или равнодушным, поглядят на картину, на особняк, на хозяев и разойдутся по домам. Но старик Вальтер отлично знал, что немного погодя они снова придут сюда, как приходили к его собратьям-иудеям, разбогатевшим так же, как и он.

Прежде всего надо, чтобы его дом посетили титулованные особы, имена которых не сходят с газетных

столбцов. И они, конечно, явятся,— они придут посмотреть на человека, в течение полутора месяцев отхватившего пятьдесят миллионов, придут окинуть взглядом и сосчитать его гостей, придут, ибо он оказался столь тактичным и сообразительным, что позвал их к себе, сыну Израиля, полюбоваться картиной, написанной на сюжет из евангелия.

Он как бы говорил им: «Смотрите, я заплатил пятьсот тысяч франков за картину Марковича «Иисус, шествующий по водам», за этот шедевр христианской живописи. И шедевр этот отныне будет всегда у меня перед глазами, он так и останется в доме жида Вальтера».

В свете, в обществе герцогинь и членов Жокей-клуба, долго обсуждали это приглашение и наконец решили, что в сущности оно ни к чему не обязывает. Все туда пойдут, как ходили раньше к г-ну Пти смотреть акварели. Вальтерам принадлежит некий шедевр; на один вечер они открывают двери своего дома, чтобы всякий мог им полюбоваться. На что же лучше?

В течение двух недель «Французская жизнь», стараясь возбудить общественное любопытство, ежедневно помещала на своих страницах какую-нибудь заметку об этом вечере, назначенном на тридцатое декабря.

Триумф патрона доводил Дю Руа до бешенства.

Вытянув у жены пятьсот тысяч франков, он уже считал себя богачом, но теперь, когда он сравнивал свое ничтожное состояние с дождем миллионов, который прошел мимо него стороной, ему казалось, что он нищ, до ужаса нищ.

Его завистливая злоба росла день ото дня. Он был зол на весь свет: на Вальтеров, у которых он перестал бывать, на жену, которая, поверив Ларошу, отсоветовала ему покупать марокканский заем, а главное, на самого министра, который втер ему очки, но по-прежнему пользовался его услугами и обедал у него два раза в неделю. Жорж состоял у Лароша на посылках, заменял ему секретаря, писца, и, когда он писал под его диктовку, ему всякий раз безумно хотелось задушить этого торжествующего пшюта. Как министр Ларош особой популярности не снискал, и, чтобы сохранить за собой портфель, ему приходилось тщательно скрывать, что

портфель этот туго набит золотом. Но Дю Руа чувствовал золото во всем: в еще более презрительном тоне, какой появился за последнее время у этого выскочки-адвоката, в его еще более нахальной манере держаться, в его еще более безапелляционных суждениях, в его теперь уже безграничной самоуверенности.

Ларош царил в доме Дю Руа: он занял место графа де Водрека, он приходил обедать в те же дни и разговаривал с прислугой, как второй хозяин.

Жорж с трудом выносил его; в его присутствии он дрожал от злости, как собака, которая хочет укусить, да не смеет. Зато с Мадленой он часто бывал резок и груб, но она только пожимала плечами и относилась к нему, как к невоспитанному ребенку. И все же ее удивляло то, что он всегда в дурном настроении.

— Я тебя не понимаю,— говорила она.— Ты вечно на что-нибудь жалуешься. Между тем положение у тебя блестящее.

Он молча поворачивался к ней спиной.

Сперва он заявил, что не пойдет на вечер к патрону, что ноги его не будет у этого пархатого жида.

Г-жа Вальтер в течение двух месяцев писала ему ежедневно, умоляя прийти, назначить ей свидание где угодно для того, чтобы она могла вручить ему семьдесят тысяч франков, которые она для него выиграла.

Он не отвечал на эти отчаянные письма и бросал их в огонь. Он вовсе не отказывался от своей доли в их общем выигрыше, но он хотел истерзать ее, раздавить своим презрением, растоптать. Она теперь так богата! Он должен показать ей, что он горд.

В день осмотра картины Мадлена начала убеждать его, что он сделает большую оплошность, если не пойдет к Вальтерам.

— Отстань от меня,— буркнул Дю Руа.— Никуда я не пойду.

Но, пообедав, он неожиданно заявил:

— Придется все-таки отбыть эту повинность. Одевайся.

Она этого ожидала.

— Через четверть часа я буду готова,— сказала она.

Одеваясь, он все время ворчал и даже в карете продолжал изливать желчь.

На парадном дворе карлсбургского особняка горели по углам четыре электрических фонаря, напоминавшие маленькие голубоватые луны. Дивный ковер покрывал ступени высокого крыльца, и на каждой ступени неподвижно, как статуя, стоял ливрейный лакей.

— Пыль в глаза пускают!— пробормотал Дю Руа.

Он презрительно пожимал плечами, но сердце у него ныло от зависти.

— Наживи себе такой дом, а до тех пор прикуси язык,— заметила жена.

Войдя, они передали подбежавшим лакеям свое тяжелое верхнее платье.

Здесь было уже много дам с мужьями,— они тоже сбрасывали с себя меха. Слышался шепот:

— Великолепно! Великолепно!

Стены огромного вестибюля были обтянуты гобеленами, на которых были изображены похождения Марса и Венеры. Вправо и влево уходили крылья монументальной лестницы и соединялись на втором этаже. Перила из кованого железа являли собой настоящее чудо; старая, потемневшая их позолота тускло отсвечивала на красном мраморе ступеней.

У входа в залы две маленькие девочки — одна в воздушном розовом платьице, другая в голубом — раздавали дамам цветы. Все нашли, что это очень мило.

В залах уже было полно.

Большинство дам было в закрытых платьях,— очевидно, они желали подчеркнуть, что смотрят на этот званый вечер, как на обычную частную выставку. Те, которые собирались потанцевать, были декольтированы.

Г-жа Вальтер, окруженная приятельницами, сидела во втором зале и отвечала на приветствия посетителей. Многие не знали ее и расхаживали по комнатам, как в музее, не обращая внимания на хозяев.

Увидев Дю Руа, она смертельно побледнела и сделала такое движение, точно хотела пойти к нему навстречу, но сдержалась: видимо, она ждала, что он сам подойдет к ней. Он церемонно поклонился ей, а Мадлена рассыпалась в похвалах и изъявлениях нежности. Оставив ее с г-жой Вальтер, он замешался в толпу: ему хотелось послушать толки недоброжелателей, которые должны были быть здесь представлены в изобилии.

Пять зал, обитых дорогими тканями, итальянскими вышивками, восточными коврами всевозможных оттенков и стилей и увешанных картинами старинных мастеров, следовали один за другим. Публике больше всего нравилась маленькая комната в стиле Людовика XVI— нечто вроде будуара, обтянутого шелковой материей с розовыми цветами по бледно-голубому полю. Точно такой же материей была обита поразительно тонкой работы мебель золоченого дерева.

Перед глазами Жоржа мелькали знаменитости: герцогиня де Феррачини, граф и графиня де Равенель, генерал князь д'Андремон, прекраснейшая маркиза де Дюн и все постоянные посетительницы театральных премьер.

Кто-то схватил его за руку, и молодой радостный голос прошептал ему на ухо:

— Ах, вот и вы наконец, противный Милый друг! Что это вас совсем не видно?

Из-под кудрявого облачка белокурых волос на него смотрели эмалевые глаза Сюзанны Вальтер.

Он очень обрадовался ей и, с чувством пожав ей руку, начал извиняться:

— Я никак не мог. Я был так занят эти два месяца, что нигде не бывал.

— Нехорошо, нехорошо, очень нехорошо,— серьезным тоном продолжала она.— Вы нас так огорчаете, ведь мы вас обожаем — и мама и я. Я, например, просто не могу без вас жить. Когда вас нет, я готова повеситься от тоски. Я для того говорю с вами так откровенно, чтобы вы больше не смели исчезать. Дайте руку, я сама хочу вам показать «Иисуса, шествующего по водам»,— это в самом конце, за оранжереей. Папа выбрал такое место единственно с той целью, чтобы гости обошли предварительно все залы. Он так носится со своим особняком, просто ужас!

Они медленно пробирались в толпе. Все оборачивались, чтобы посмотреть на этого красавца мужчину и на эту прелестную куколку.

— До чего же красивая пара! На редкость!— заметил один известный художник.

«Будь я в самом деле ловкий человек, я бы женился на этой,— думал Жорж.— Между прочим, это было

вполне возможно. Как это мне не пришло в голову? Как это случилось, что я женился на той? Какая нелепость! Сперва надо было обдумать хорошенько, а потом уже действовать».

Зависть, едкая зависть капля за каплей просачивалась к нему в душу, отравляя своим ядом все его радости, самое его существование.

— Правда, Милый друг, приходите почаще,— говорила Сюзанна.— Папа разбогател, теперь мы начнем проказничать. Будем веселиться напропалую.

Но его преследовала все та же мысль.

— Ну, теперь вы выйдете замуж! Найдете себе какого-нибудь прекрасного, но слегка обедневшего князя — и только вас и видели.

— О нет, пока еще нет!— искренне вырвалось у нее.— Я выйду только за того, кто мне придется по душе, совсем-совсем по душе. Моего богатства хватит на двоих.

Улыбаясь насмешливой и презрительной улыбкой, он стал называть ей имена проходивших мимо людей — представителей высшей знати, которые продали свои старые ржавые титулы дочерям богатых финансистов, таким, как Сюзанна, и теперь живут вместе с женами или отдельно — ничем не связанные, беспутные, но окруженные почетом и уважением.

— Ручаюсь, что не пройдет и полгода, как вы тоже попадетесь на эту самую удочку,— сказал Жорж.— Станете маркизой, герцогиней или княгиней и будете, милая барышня, смотреть на меня сверху вниз.

Она возмущалась, хлопала его по руке веером, клялась, что выйдет замуж только по любви.

— Посмотрим, посмотрим, вы для этого слишком богаты,— подтрунивал он.

— Вы тоже богаты,— ведь вы получили наследство,— ввернула она.

— Есть о чем говорить!— с кислой миной воскликнул он.— Каких-нибудь двадцать тысяч ренты. По нынешним временам это сущий пустяк.

— Но ваша жена тоже получила наследство.

— Да. У нас миллион на двоих. Сорок тысяч годового дохода. На это даже собственного выезда не заведешь.

Они вошли в последний зал, и глазам их открылась оранжерея — большой зимний сад, полный высоких тропических деревьев, осенявших своими ветвями сплошные заросли редких цветов. Под этою темною зеленью, сквозь которую серебристой волной проникал свет, стоял парной запах влажной земли, веяло душным ароматом растений. В этом сладком и упоительном благоухании было что-то раздражающее, томящее, искусственное и нездоровое. Ковры, расстеленные между двумя рядами частого кустарника, поразительно напоминали мох. Налево, под широким куполом, образованным ветвями пальм, Дю Руа бросился в глаза беломраморный бассейн, такой большой, что в нем можно было купаться, с четырьмя огромными фаянсовыми лебедями по краям; клювы у лебедей были полуоткрыты, и из них струилась вода.

В бассейне, дно которого было усыпано золотистым песком, плавали громадные красные рыбы — диковинные китайские чудища с выпученными глазами и с голубою каймой на чешуе, мандарины вод, напоминавшие затейливые китайские вышивки: одни из них блуждали в воде, другие словно повисли над золотистым дном.

Дю Руа остановился, сердце у него забилось. «Вот она, роскошь!— говорил он себе.— Вот в каких домах надо жить. Другие этого достигли. Почему бы и мне не добиться того же?» Он пытался найти способ, но так, сразу, трудно было что-нибудь придумать, и он злился на свое бессилие.

Его спутница, занятая своими мыслями, тоже приумолкла. Дю Руа искоса взглянул на нее. «А ведь стоило только жениться на этой живой марионетке!»— подумал он.

Сюзанна неожиданно встрепенулась.

— Внимание!— сказала она и, пробившись сквозь толпу, загородившую им дорогу, вдруг повернула направо.

Среди леса причудливых растений, раскинувших трепещущие, раскрытые, словно руки с тонкими пальцами, листья, на морских волнах неподвижно стоял человек.

Это производило потрясающее впечатление. Картина, края которой прятались в колыхавшейся зелени, ка-

залась черной дырой, прорывом в некую фантастическую и манящую даль.

Надо было пристально вглядеться в картину, и тогда все становилось понятным. Рама надвое перерезала лодку, где, слабо освещенные косыми лучами фонаря, находились апостолы, один из которых, сидя на краю, направлял этот фонарь на приближавшегося Иисуса.

Христос ступил одной ногой на волну, и видно было, как она послушно и мягко опустилась, легла, прильнув к попиравшей ее божественной стопе. Вокруг богочеловека все было погружено во мрак. Одни лишь звезды сияли в небе.

При бледном свете фонаря, который держал в руках тот, кто указывал на господа, казалось, что лица учеников искажены священным ужасом.

Это было поистине могучее, вдохновенное искусство, одно из тех созданий мастера, которые будоражат мысль и надолго врезаются в память.

Люди молча впивались глазами в картину, потом задумчиво отходили, и лишь некоторое время спустя начинали обсуждать ее достоинства.

Дю Руа, посмотрев на картину, сказал:

— Позволить себе роскошь приобрести такую вещицу — это шикарно!

Но его оттесняли и толкали другие, которым тоже хотелось посмотреть, и, все еще не отпуская маленькую ручку Сюзанны и слегка пожимая ее, он отошел от картины.

— Хотите выпить шампанского? — спросила Сюзанна.— Пойдемте в буфет. Там мы найдем папу.

Они снова медленно прошли через залы, где толпа все росла — шумная, нарядная толпа общественных увеселений, чувствовавшая себя здесь как дома.

Вдруг Жоржу послышалось, что кто-то сказал:

— Вон Ларош и госпожа Дю Руа.

Слова эти достигли его слуха, точно неясный шорох, донесенный издалека ветром. Кто мог произнести их?

Оглядевшись по сторонам, он в самом деле увидел жену,— она шла под руку с министром. Глаза в глаза, они тихо говорили о чем-то интимном и улыбались.

Ему почудилось, что все смотрят на них, шепчутся. И у него возникло свирепое и бессмысленное желание броситься на них с кулаками и уложить на месте.

Она ставила его в смешное положение. Он вспомнил Форестье. Может быть, и про него говорят: «Этот рогоносец Дю Руа». Что она такое? Довольно ловкая выскочка, но в сущности без особых талантов. У него бывают в гостях, потому что боятся его, потому что чувствуют его силу, но вряд ли особенно стесняются в выражениях, когда заходит речь об этой чете посредственных журналистов. С такой женой, которая постоянно бросает тень на его дом, которая вечно себя компрометирует, все поведение которой обличает в ней интриганку,— с такой женой ему не выдвинуться. Теперь она будет ему в тягость. Ах, если бы он мог все это предвидеть, если б он знал! Какую крупную и смелую игру повел бы он тогда! В каком выигрыше остался бы он, если б ставкой была маленькая Сюзанна! Почему он был так слеп и не понял этого раньше?

Они вошли в столовую — громадную комнату с мраморными колоннами, стены которой были обтянуты старинными гобеленами.

Увидев своего сотрудника, Вальтер с распростертыми объятиями бросился к нему. Он был на верху блаженства.

— Вы все видели? Сюзанна, ты ему все показала? Сколько народу,— правда, Милый друг? Видели князя де Герша? Он только что заходил сюда выпить стакан пуншу.

Но тут он устремился навстречу сенатору Рисолену,— тот вел свою расфуфыренную, как ярмарочная торговка, супругу; вид у супруги был явно растерянный.

Сюзанне поклонился высокий и поджарый молодой человек с белокурыми бакенбардами и небольшой лысиной,— в нем сразу чувствовался примелькавшийся тип светского шаркуна. Кто-то назвал его имя: «Маркиз де Казоль», и Жорж сейчас же приревновал Сюзанну к нему. Давно ли она познакомилась с ним? Конечно, после того как разбогатела? Он угадывал в нем претендента.

Кто-то взял его под руку. Это был Норбер де Ва-

рен. С безучастным и усталым видом старый поэт выставлял напоказ свои сальные волосы и поношенный фрак.

— Это у них называется весельем,— заметил он.— Сейчас начнутся танцы, потом все лягут спать,— девочки останутся довольны. Хотите выпить превосходного шампанского?

С этими словами он налил себе в бокал вина, Жорж взял другой бокал.

— Пью за победу духовного начала над миллионами,— поклонившись ему, провозгласил Норбер и более мягким тоном прибавил: — Не то чтобы они мешали мне в чужих карманах, и я вовсе не завидую их обладателям,— я протестую из принципа.

Дю Руа уже не слушал его. Поискав глазами Сюзанну, упорхнувшую с маркизом де Казолем, он улизнул от Норбера и пустился на розыски.

Густая толпа жаждущих преградила ему путь. Пробившись наконец, он очутился лицом к лицу с четой де Марель.

С женой он часто встречался, но мужа не видел давно. Тот протянул ему обе руки:

— Дорогой мой, как я вам благодарен за совет, который мне передала Клотильда! Я выиграл около ста тысяч по марокканскому займу. Этим я всецело обязан вам. Вот уж, можно сказать, бесценный друг!

Мужчины оглядывались на эту хорошенькую, изящную брюнетку.

— Услуга за услугу, дорогой мой,— сказал Дю Руа,— я отнимаю у вас жену,— вернее, я предлагаю ей руку. Супругов всегда надо разлучать.

Г-н де Марель наклонил голову:

— Это верно. Если я вас потеряю, то мы встретимся здесь через час.

— Отлично.

Дю Руа и Клотильда втиснулись в толпу; муж следовал за ними.

— Вальтерам безумно везет,— говорила Клотильда.— Вот что значит быть оборотистым дельцом.

— Что ж! Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего,— заметил Жорж.

— За каждой дочкой миллионов двадцать — тридцать приданого,— продолжала она.— А Сюзанна к тому же еще хорошенькая.

Он промолчал. Его собственная мысль, высказанная другим человеком, раздражала его.

Она еще не видела «Иисуса, шествующего по водам». Он предложил проводить ее туда. Дорогой они судачили, высмеивали незнакомых лиц. Мимо них прошел Сен-Потен с уймой орденов на лацкане фрака,— это их очень насмешило. Даже бывший посланник, который шел следом за ним, не так густо увешан был орденами, как этот репортер.

— Винегрет, а не общество! — заметил Дю Руа.

У Буаренара, подошедшего к ним поздороваться, тоже красовалась в петлице та самая желто-зеленая ленточка, которую он надевал в день дуэли.

В маленьком будуаре беседовала с каким-то герцогом расфранченная толстуха виконтесса де Персмюр.

— Объяснение в любви,— прошептал Жорж.

А в оранжерее сидели рядом его жена и Ларош-Матье,— за растениями их почти не было видно. На их лицах было написано: «Мы назначили друг другу свидание здесь, у всех на глазах. Пусть говорят про нас что угодно, нам наплевать».

Г-жа де Марель нашла, что «Иисус» Карла Марковича изумителен. Они пошли назад. Мужа они потеряли из виду.

— А что Лорина — все еще дуется на меня? — спросил он.

— Да, по-прежнему. Не желает тебя видеть, и стоит только заговорить о тебе, как она уходит.

Он промолчал. Неприязнь, которую внезапно почувствовала к нему эта девочка, огорчала и угнетала его.

У дверей их остановила Сюзанна:

— А, вот вы где! Ну, Милый друг, вы остаетесь в одиночестве. Я похищаю прекрасную Клотильду,— мне хочется показать ей мою комнату.

И обе женщины начали быстро пробираться в сутолоке, как умеют пробираться в толпе только женщины: скользя и извиваясь по-змеиному.

Почти в ту же секунду кто-то прошептал:

— Жорж!

Это была г-жа Вальтер.

— О, как вы бесчеловечны! — еще тише заговорила она.— Зачем вы меня так мучаете! Мне надо сказать вам несколько слов, и я попросила Сюзетту увести вашу спутницу. Послушайте, я должна... я должна поговорить с вами сегодня вечером... или... или... вы не можете себе представить, на что я решусь. Идите в оранжерею. Налево будет дверь в сад. Идите прямо по аллее. В самом конце увидите беседку. Я приду туда через десять минут. Если вы не согласитесь,— клянусь, я устрою скандал, здесь, сию же минуту!

— Хорошо,— смерив ее надменным взглядом, сказал он.— Через десять минут я буду в указанном месте.

И они расстались. Но он чуть было не опоздал из-за Жака Риваля. Тот взял его под руку и крайне оживленно начал выкладывать новости. По-видимому, он только что вышел из буфета. В конце концов Дю Руа сдал его на руки г-ну де Марель, с которым они столкнулись в дверях, и скрылся. Надо было еще незаметно прошмыгнуть мимо жены и Ларошa. Это ему удалось без особых усилий, так как они были увлечены разговором, и он очутился в саду.

На воздухе Дю Руа почувствовал себя, точно в ледяной ванне. «Черт, как бы не простудиться»,— подумал он и вместо шарфа повязал шею носовым платком. Затем медленно двинулся по аллее,— после яркого света он почти ничего не видел.

Справа и слева колыхались тонкие безлиственные ветки кустов. Свет из окон ложился на них серыми пятнами. Вдруг что-то белое мелькнуло на дорожке, и в ту же минуту он услышал дрожащий голос г-жи Вальтер, которая, в декольтированном платье, спешила ему навстречу.

— А, это ты? Ты что же, хочешь свести меня в могилу? — прошептала она.

— Только, пожалуйста, без трагедий,— спокойно проговорил он.— Иначе я сейчас же уйду.

Она обвила его шею руками и, почти касаясь губами его губ, сказала:

— Но что я тебе сделала? Ты поступаешь со мной, как подлец. Что я тебе сделала?

Он пытался оттолкнуть ее.

— В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты намотала свои волосы на все мои пуговицы, и у меня чуть не произошло разрыва с женой.

Она сначала удивилась, потом отрицательно покачала головой.

— Нет, твоей жене это совершенно безразлично. Это уж кто-нибудь из твоих любовниц устроил тебе сцену.

— У меня нет любовниц.

— Молчи лучше! Почему же ты у меня совсем не бываешь? Почему не приходишь ко мне обедать, хотя бы раз в неделю? Все мои мысли связаны с тобой, ты вечно у меня перед глазами, к ужасу моему, твое имя каждую секунду готово сорваться у меня с языка,— вот до чего я люблю тебя. Нет, тебе этого не понять! У меня такое чувство, будто я в тисках, в каком-то мешке; я сама не знаю, что со мной. Неотвязная мысль о тебе стесняет мне дыхание, терзает мне грудь,— вот тут, под сердцем,— ноги у меня подкашиваются, так что я не могу двигаться. Целыми днями я бессмысленно сижу на одном месте и думаю о тебе.

Он смотрел на нее с удивлением. Перед ним была уже не прежняя шаловливая толстая девчонка, но обезумевшая от горя, дошедшая до полного отчаяния, на все способная женщина.

Между тем у него в голове зарождались какие-то неопределенные планы.

— Дорогая моя, на свете вечной любви не бывает,— начал он.— Люди сходятся, а затем расстаются. Но если это затягивается, как у нас, тогда это становится тяжкой обузой. Я больше не могу. Говорю тебе откровенно. Однако, если благоразумие возьмет верх и ты будешь принимать меня и относиться ко мне как к другу, то я стану бывать у тебя по-прежнему. Ну как, способна ты совладать с собой?

— Я способна на все, лишь бы видеть тебя,— положив свои голые руки ему на плечи, прошептала г-жа Вальтер.

— Значит, решено,— сказал он,— мы друзья, но и только.

— Да, решено,— прошептала она и подставила ему губы.— Еще один поцелуй... последний.

— Нет,— мягко возразил он.— Надо держать свое слово.

Она отвернулась, вытерла слезы и, достав из-за корсажа пакет, перевязанный розовой шелковой лентой, протянула его Дю Руа.

— Возьми. Это твоя доля выигрыша по марокканскому займу. Я так рада, что выиграла это для тебя. Бери же...

Он начал было отказываться:

— Нет, я не возьму этих денег!

Но она вспылила:

— О, теперь это было бы с твоей стороны слишком жестоко! Эти деньги твои, и ничьи больше. Если ты не возьмешь, я выброшу их в мусорный ящик. Но ты не откажешь мне в этом, Жорж. Правда?

Дю Руа взял эту пачку и сунул в карман.

— Пора идти,— заметил он,— ты схватишь воспаление легких.

— Тем лучше! — тихо сказала она.— Ах, если б я могла умереть!

Она припала к его руке, страстно, исступленно, с каким-то отчаянием поцеловала ее и побежала к дому.

Погруженный в раздумье, он медленно двинулся вслед за ней. В оранжерею он вошел, высоко подняв голову, и на губах у него играла улыбка.

Его жены и Лароша здесь уже не было. Толпа редела. Было ясно, что на бал останутся лишь немногие. Вдруг он увидел Сюзанну под руку с сестрой. Они подошли к нему и попросили станцевать с ними первую кадриль вместе с графом де Латур-Ивеленом.

— Это еще кто такой? — спросил он с удивлением.

— Это новый друг моей сестры,— лукаво улыбаясь, ответила Сюзанна.

Роза вспыхнула:

— Как не стыдно, Сюзетта, он столько же мой, сколько и твой!

— Я знаю, что говорю.

Роза рассердилась и ушла.

Дю Руа фамильярно взял Сюзанну под локоть.

— Послушайте, дорогая крошка,— начал он своим медоточивым голосом,— вы считаете меня своим другом?

— Ну, конечно, Милый друг.

— Вы доверяете мне?

— Вполне.

— Помните наш сегодняшний разговор?

— О чем?

— О вашем замужестве,— вернее, о человеке, за которого вы выйдете замуж.

— Да.

— Ну, так вот, можете вы мне обещать одну вещь?

— Да. Но что именно?

— Обещайте советоваться со мной, когда кто-нибудь будет просить вашей руки, и, не узнав, как я на это смотрю, никому не давать согласия.

— Хорошо, обещаю.

— И это должно остаться между нами. Ни отцу, ни матери — ни слова.

— Ни слова.

— Клянетесь?

— Клянусь.

С деловым видом к ним подбежал Риваль.

— Мадмуазель, папа зовет вас на бал.

— Идемте, Милый друг,— сказала она.

Но он отказался,— он решил сейчас же уехать, ему хотелось побыть одному и поразмыслить на досуге. Слишком много новых впечатлений запало ему в душу. Он стал искать жену и вскоре нашел ее в буфете,— она сидела с какими-то двумя мужчинами и пила шоколад. Мужа она им представила, но ему не назвала их.

— Поедем? — немного погодя обратился он к ней.

— Как хочешь.

Она взяла его под руку, и они снова прошли через опустевшие залы.

— А где же хозяйка? — спросила она.— Я хотела с ней попрощаться.

— Не стоит. Она начнет уговаривать нас остаться на бал, а с меня довольно.

— Да, ты прав.

Всю дорогу они молчали. Но как только они вошли в спальню, Мадлена, еще не успев снять вуаль, с улыбкой обратилась к нему:

— Ты знаешь, у меня есть для тебя сюрприз.

— Какой еще сюрприз? — огрызнулся Жорж.

— Угадай.

— Не намерен утруждать себя.

— Ну, хорошо. Послезавтра первое января.

— Да.

— Теперь самое время новогодних подарков.

— Да.

— Так вот тебе новогодний подарок,— я только что получила его от Ларош.

И она протянула ему маленькую черную коробку, похожую на футляр для золотых вещей.

Дю Руа с равнодушным видом открыл ее и увидел орден Почетного легиона.

Он слегка побледнел, затем, усмехнувшись, сказал:

— Я бы предпочел десять миллионов. А это ему обошлось недорого.

Она ожидала бурных изъявлений восторга, и его холодность возмутила ее.

— Ты стал просто невыносим. Тебе ничем нельзя угодить.

— Этот человек выплачивает свой долг — только и всего,— хладнокровно заметил он.— Он мне еще много должен.

Его тон удивил Мадлену.

— Однако в твои годы и это неплохо,— сказала она.

— Все относительно,— возразил он.— Я мог бы иметь теперь гораздо больше.

Он положил футляр на камин и принялся рассматривать блестящую звезду. Потом закрыл футляр и, пожав плечами, стал раздеваться.

В «Правительственном вестнике» от первого января действительно появилась заметка о том, что публицист г-н Проспер-Жорж Дю Руа за выдающиеся заслуги получил звание кавалера ордена Почетного легио-

на. Его фамилия была напечатана в два слова, и это порадовало Жоржа больше, чем самый орден.

Через час после того, как он прочитал в газете об этом событии, приобретавшем таким образом общественное значение, ему подали записку от г-жи Вальтер: она умоляла его сегодня же прийти к ней с женой обедать и отпраздновать это награждение. Он было поколебался, а затем, бросив в огонь ее письмо, составленное в несколько двусмысленных выражениях, объявил Мадлене:

— Сегодня мы обедаем у Вальтеров.

Это ее удивило.

— Вот как! Ведь ты же сам, по-моему, говорил, что ноги твоей там больше не будет?

— Я передумал,— это все, что она услышала от него в ответ.

Когда они приехали, г-жа Вальтер сидела одна в маленьком будуаре, отведенном для интимных приемов. Она была вся в черном, с напудренными волосами, что очень ей шло. Издали она казалась старой, вблизи — молодой, и для наблюдательного человека это был пленительный обман зрения.

— Вы в трауре? — спросила Мадлена.

— И да и нет,— печально ответила она.— Все мои близкие живы. Но я уже в таком возрасте, когда носят траур по собственной жизни. Сегодня я надела его впервые, чтобы освятить его. Отныне я буду носить его в своем сердце.

«Хватит ли выдержки?» — подумал Дю Руа.

Обед прошел довольно уныло. Только Сюзанна болтала без умолку. Роза казалась чем-то озабоченной. Все горячо поздравляли журналиста.

Вечером все, беседуя между собой, разбрелись по залам и зимнему саду. Дю Руа шел сзади с г-жой Вальтер, она удержала его за руку.

— Послушайте,— тихо сказала она.— Я больше ни о чем не буду с вами говорить, никогда... Только приходите ко мне, Жорж. Видите, я уже не говорю вам «ты». Но жить без вас — это выше моих сил, выше моих сил. Это чудовищная пытка. Днем и ночью я чувствую вас, вы всегда у меня перед глазами, я храню ваш образ в своем сердце, в своем теле. Вы точно да-

ли мне какой-то отравы, и она подтачивает меня изнутри. Я больше не могу. Нет. Не могу. Смотрите на меня только как на старуху,— я согласна. Я нарочно напудрила волосы, чтобы вы посмотрели на меня седую,— только приходите, приходите хоть изредка, как друг.

Она сжимала, она стискивала его руку, впиваясь в нее ногтями.

— Это решено,— спокойно заметил он.— Незачем больше об этом говорить. Вы же видите, что я приехал тотчас по получении вашего письма.

Вальтер с дочками и Мадленой шли впереди; около «Иисуса, шествующего по водам» Вальтер остановился и подождал Дю Руа.

— Представьте себе,— сказал он со смехом,— вчера я застал жену перед этой картиной: она стояла на коленях, точно в часовне. Она здесь молилась. Как я хохотал!

— Этот образ Христа спасет мою душу,— уверенно произнесла г-жа Вальтер; в голосе ее слышался тайный восторг.— Всякий раз, когда я смотрю на него, он придает мне силы и бодрости.

Повернувшись лицом к богу, стоявшему на морских волнах, она добавила шепотом:

— Как он прекрасен! Какой страх наводит он на этих людей, и как они любят его! Посмотрите на его голову, на его глаза,— как все в нем просто и вместе с тем сверхъестественно!

— Да ведь он похож на вас, Милый друг! — воскликнула Сюзанна.— Честное слово, похож. Если б у вас была бородка или если б он был бритый,— вы были бы одно лицо. Поразительно!

Она попросила Жоржа стать рядом с картиной. И все нашли, что в их лицах действительно есть некоторое сходство.

Это вызвало всеобщее удивление. Вальтеру это показалось весьма странным. Мадлена заметила с улыбкой, что у Христа более мужественный вид.

Г-жа Вальтер, застыв на месте, напряженно всматривалась то в черты своего любовника, то в черты Христа. И лицо ее стало таким же белым, как ее волосы.

VIII

В конце зимы супруги Дю Руа часто бывали у Вальтеров. Жорж постоянно обедал там даже один, так как Мадлена жаловалась на усталость и предпочитала сидеть дома.

Он приходил по пятницам, и в этот день г-жа Вальтер никого уже больше не принимала. Этот день принадлежал Милому другу, ему одному. После обеда играли в карты, кормили китайских рыб, проводили время и развлекались по-семейному. Не раз где-нибудь за дверью, за кустами в оранжерее, в каком-нибудь темном углу г-жа Вальтер порывисто обнимала Жоржа и, изо всех сил прижимая его к груди, шептала ему на ухо:

— Я люблю тебя!.. Я люблю тебя!.. Люблю безумно!

Но он холодно отстранял ее и сухо отвечал:

— Если вы приметесь за старое, я перестану у вас бывать.

В конце марта неожиданно распространился слух о том, что обе сестры выходят замуж. Женихом Розы называли графа де Латур-Ивелена, женихом Сюзанны — маркиза де Казоля. Эти два господина стали в доме у Вальтеров своими людьми; они пользовались здесь исключительными правами и особым расположением.

Между Жоржем и Сюзанной установились простые, дружеские отношения — отношения брата и сестры; они болтали целыми часами, издевались над всеми поголовно и, казалось, наслаждались обществом друг друга. Никто из них словом не обмолвился ни о ее будущей свадьбе, ни о том, кого ей прочат в мужья.

Однажды утром патрон затащил Дю Руа к себе, и после завтрака, когда г-жу Вальтер вызвали для переговоров с каким-то поставщиком, Жорж предложил Сюзанне:

— Идемте кормить красных рыбок.

Они взяли со стола по большому куску мягкого хлеба и пошли в оранжерею.

Вокруг мраморного водоема лежали подушки, чтобы можно было стать на колени и посмотреть на морских чудищ вблизи. Сюзанна и Дю Руа опустились друг подле друга на колени и, нагнувшись к воде, принялись

лепить хлебные шарики и бросать их в бассейн. Рыбы это заметили и начали подплывать; двигая хвостом, шевеля плавниками, вращая большими выпученными глазами, они кружились, ныряли, чтобы поймать погружавшуюся в воду круглую свою добычу, тотчас выплывали снова и требовали еще.

Они уморительно двигали ртом, стремительно и внезапно бросались вперед, всем своим видом напоминая диковинных маленьких страшилищ. Кроваво-красными пятнами выделялись они на золотистом песке, устилавшем дно, струями огня сверкали в прозрачных волнах бассейна и, останавливаясь, показывали голубую кайму на своей чешуе.

Жорж и Сюзанна смотрели на свои отражения, опрокинутые в воде, и улыбались им.

Вдруг Жорж тихо сказал:

— У вас завелись от меня секреты, Сюзанна,— это нехорошо.

— Какие секреты, Милый друг? — спросила она.

— А помните, что вы мне обещали на званом вечере, вот здесь, на этом самом месте?

— Нет.

— Вы обещали советоваться со мной, когда кто-нибудь будет просить вашей руки.

— Ну, и что же?

— А то, что кто-то уже просил вашей руки.

— Кто же это?

— Вы сами прекрасно знаете.

— Нет. Клянусь вам.

— Да знаете! Этот долговязый фат, маркиз де Казоль.

— Во-первых, он не фат.

— Очень может быть. Но он глуп. Его разорили карты и изнурили кутежи. Нечего сказать, хорошенькая партия для такой молодой, красивой и умной девушки, как вы!

— Что вы против него имеете? — улыбаясь, спросила она.

— Я? Ничего.

— Нет, да. Но он совсем не такой, каким вы его рисуете.

— Оставьте, пожалуйста. Дурак и интриган.

Она перестала смотреть на воду и чуть повернула голову.

— Послушайте, что с вами?

— Я... я... я вас ревную,— произнес он таким тоном, как будто у него вырвали из сердца тайну.

Это признание не очень удивило ее.

— Вы?

— Да, я!

— Вот так так! Это почему же?

— Потому что я люблю вас, и вы, негодница, сами это прекрасно знаете.

— Вы с ума сошли, Милый друг! — строго сказала она.

— Я сам знаю, что я сошел с ума,— возразил он.— Смею ли я говорить с вами об этом, я, женатый человек, с вами, молодой девушкой! Я больше чем сумасшедший, я преступник, подлец, в сущности говоря. У меня нет никакой надежды, и от одной этой мысли я теряю рассудок. И когда при мне говорят, что вы собираетесь замуж, я прихожу в такую ярость, что, кажется, убил бы кого-нибудь. Вы должны простить меня, Сюзанна!

Он замолчал. Рыбам перестали бросать мякиш, и они, точно английские солдаты, вытянувшись в неподвижную и почти ровную шеренгу, рассматривали склоненные лица людей, но люди уже не занимались ими.

— Жаль, что вы женаты,— полушутя-полусерьезно заметила девушка. — Но что же делать? Этому не поможешь. Все кончено!

Он живо обернулся и, нагнувшись к самому ее лицу, спросил:

— Будь я свободен, вы бы вышли за меня замуж?

— Да, Милый друг, я вышла бы за вас замуж: вы мне нравитесь больше всех,— искренне ответила она.

— Благодарю... благодарю... — прошептал он. — Молю вас об одном: не давайте никому слова. Подождите еще немного. Умоляю вас! Обещаете?

— Обещаю,— слегка смущенно, не понимая, для чего это ему нужно, проговорила она.

Дю Руа бросил в воду весь хлеб, который у него еще оставался, и, не простившись, убежал с таким видом, словно он окончательно потерял голову.

Так как ничьи пальцы не разминали этот комок мя-

киша, то он не пошел ко дну, и рыбы, все до одной, жадно набросились на него,— хищные их пасти рвали его на куски. Они утащили его на другой конец бассейна и стали кружиться над ним, образуя теперь некую движущуюся гроздь, нечто напоминающее одушевленный вертящийся цветок, живой цветок, брошенный в воду венчиком вниз.

Сюзанна, взволнованная, изумленная, встала и медленно пошла в комнаты. Журналиста уже не было.

Он вернулся домой очень спокойный и обратился к Мадлене, которая в это время писала письма:

— Ты пойдешь в пятницу обедать к Вальтерам? Я пойду.

— Нет,— неуверенно ответила она. — Мне что-то нездоровится. Я лучше посижу дома.

— Как хочешь. Никто тебя не неволит,— сказал он, взял шляпу и сейчас же ушел.

Он давно уже ходил за ней по пятам, следил, подсматривал, знал каждый ее шаг. Наконец долгожданный час настал. Он сразу смекнул, что означает это: «Я лучше посижу дома».

В течение следующих дней он был с ней предупредителен. Сверх обыкновения он даже казался веселым.

— Узнаю прежнего милого Жоржа,—говорила Мадлена.

В пятницу он рано начал одеваться: до обеда у патрона ему, по его словам, надо было еще кое-куда поспеть.

Около шести он поцеловал жену и, выйдя из дому, отправился на площадь Нотр-Дам-де-Лорет и нанял карету.

— Вы остановитесь на улице Фонтэн, против дома номер семнадцать, и будете стоять там, пока я не прикажу ехать дальше,— сказал он кучеру. — А затем отвезете меня на улицу Лафайета, в ресторан «Фазан».

Лошадь затрусила ленивой рысцой, и Дю Руа опустил шторы. Остановившись против своего подъезда, он уже не спускал с него глаз. Через десять минут из дому вышла Мадлена и направилась к внешним бульварам. Как только она отошла подальше, он просунул голову в дверцу и крикнул:

— Поезжайте!

Некоторое время спустя фиакр подвез его к ресторану «Фазан» — средней руки ресторану, пользовавшемуся известностью в этом квартале. Жорж вошел в общий зал и заказал обед. Ел он не спеша и все поглядывал на часы. Наконец, выпив кофе и две рюмки коньяку, со смаком выкурив хорошую сигару, он ровно в половине восьмого вышел из ресторана, нанял экипаж, проезжавший мимо, и велел ехать на улицу Ларошфуко.

Не сказав ни слова швейцару, Дю Руа поднялся на четвертый этаж того дома, против которого он приказал кучеру остановиться, и, когда горничная отворила дверь, спросил:

— Дома господин Гибер де Лорм?

— Да, сударь.

Его провели в гостиную; там ему пришлось немного подождать. Затем к нему вышел высокий, бравый, увешанный орденами рано поседевший мужчина.

Дю Руа поклонился.

— Как я и предполагал, господин полицейский комиссар,— сказал он,— моя жена обедает сейчас со своим любовником на улице Мартир в нанятых ими меблированных комнатах.

Блюститель порядка наклонил голову.

— Я к вашим услугам, сударь.

— Мы должны все успеть до девяти, не так ли? — продолжал Жорж. — Ведь после девяти вы уже не имеете права входить в частную квартиру, чтобы установить факт прелюбодеяния?

— Не совсем так, сударь: зимой — до семи, а начиная с тридцать первого марта — до девяти. Сегодня пятое апреля, следственно до девяти часов у нас еще есть время.

— Так вот, господин комиссар, внизу меня ждет экипаж, так что мы можем захватить с собой и агентов, которые должны вас сопровождать, а затем подождем немного у дверей. Чем позднее мы войдем, тем больше будет у нас шансов застать их на месте преступления.

— Как вам угодно, сударь.

Комиссар вышел и вернулся уже в пальто, скрывавшем его трехцветный пояс. Он посторонился, чтобы про-

пустить вперед Дю Руа, но тот, занятый своими мыслями, отказался выйти первым и все повторял:

— После вас... после вас...

— Проходите же, сударь, я у себя дома,— заметил блюститель порядка.

Тогда Дю Руа поклонился и переступил порог.

Он еще днем успел предупредить, что облаву надо будет устроить вечером, и когда они заехали в комиссариат, там их уже поджидали трое переодетых агентов. Один из них уселся на козлы рядом с кучером, двое других разместились в карете, а затем извозчик повез их на улицу Мартир.

— План квартиры у меня имеется,— говорил дорогой Дю Руа. — Это на третьем этаже. Сперва идет маленькая передняя, потом столовая, потом спальня. Все три комнаты между собой сообщаются. Черного хода нет, так что бежать невозможно. Поблизости живет слесарь. Он будет ждать ваших распоряжений.

Когда они подъехали к указанному дому, было только четверть девятого. Более двадцати минут молча ждали они у дверей. Но как только Дю Руа заметил, что сейчас пробьет три четверти девятого, он сказал:

— Теперь идемте.

Не обращая внимания на швейцара, который, впрочем, и не заметил их, они стали подниматься по лестнице. Один из агентов остался сторожить у подъезда.

На третьем этаже четверо мужчин остановились. Дю Руа приник ухом к двери, потом заглянул в замочную скважину. Но ничего не было ни видно, ни слышно. Тогда он позвонил.

— Стойте здесь и будьте наготове,— сказал своим агентам комиссар.

Через две — три минуты Жорж снова несколько раз подряд нажал кнопку звонка. В квартире началось какое-то движение, послышались легкие шаги. Кто-то шел на разведку. Журналист согнутым пальцем громко постучал в дверь.

— Кто там? — спросили из-за двери; это была женщина, по-видимому, пытавшаяся изменить голос.

— Именем закона — отворите,— сказал блюститель порядка.

— Кто вы такой? — повторил тот же голос.

— Полицейский комиссар. Отворите, или я прикажу выломать дверь.

— Что вам нужно?

— Это я,— сказал Дю Руа. — Теперь вы от нас не уйдете.

Топот босых ног стал удаляться, но через несколько секунд снова послышался за дверью.

— Если не откроете, мы выломаем дверь,— сказал Жорж.

Он сжимал медную ручку и надавливал плечом на дверь. Ответа все не было; тогда он изо всех сил и с такой яростью толкнул дверь, что старый замок этой меблированной квартиры не выдержал. Вырванные винты отлетели, и Дю Руа чуть не упал на Мадлену,— та со свечой в руке стояла в передней босая, с распущенными волосами, в одной сорочке и нижней юбке.

— Это она, мы их накрыли! — крикнул он и бросился в комнаты.

Комиссар, сняв шляпу, последовал за ним. Мадлена с растерянным видом шла сзади и освещала им путь.

В столовой на неубранном столе бросались в глаза остатки обеда: бутылки из-под шампанского, початая миска с паштетом, остов курицы и недоеденные куски хлеба. На буфете на двух тарелках высились груды раковин от устриц.

В спальне царил разгром. На спинке стула висело женское платье, ручку кресла оседлали брюки. Четыре ботинка, два больших и два маленьких, валялись на боку возле кровати.

Кто бы ни проспал ночь в этой типичной спальне меблированного дома с ее стандартной обстановкой, кто бы ни провел всего один день или целых полгода в этом общедоступном жилище, где стоял омерзительный приторный смрад гостиницы, смрад, исходивший от стульев, стен, тюфяков, занавесок,— все оставляли здесь свой особый запах, и этот запах человеческого тела, смешавшись с запахом прежних постояльцев, в конце концов превратился в какое-то странное, сладковатое и нестерпимое зловоние, пропитывающее любое из подобных учреждений.

Камин загромождали тарелка с пирожными, бу-

тылка шартреза и две недопитые рюмки. Фигурку бронзовых часов прикрывал цилиндр.

Комиссар живо обернулся и в упор посмотрел на Мадлену.

— Вы и есть госпожа Клер-Мадлена Дю Руа, законная супруга присутствующего здесь публициста, господина Проспера-Жоржа Дю Руа?

— Да, сударь,— отчетливо, хотя и сдавленным голосом произнесла Мадлена.

— Что вы здесь делаете?

Она не ответила.

— Что вы здесь делаете? — повторил полицейский чин.— Вы не у себя дома, а в меблированных комнатах, и при этом почти раздеты. Зачем вы сюда пришли?

Он ждал ответа. Но Мадлена хранила упорное молчание.

— Раз вы не сознаетесь, то мне придется выяснить это самому,— сказал комиссар.

На кровати сквозь одеяло проступали очертания человеческого тела.

Комиссар подошел.

— Милостивый государь! — окликнул он.

Лежавший в постели человек не пошевелился. По-видимому, он лежал лицом к стене, спрятав голову под подушку.

Полицейский чин, дотронувшись до того, что должно было быть плечом, заявил:

— Милостивый государь, прошу вас, не вынуждайте меня прибегать к насилию.

Но закутанное тело лежало неподвижно, как мертвое.

Тогда Дю Руа подскочил к кровати, сдернул одеяло, сбросил подушки и увидел мертвенно-бледное лицо Ларош-Матье. Он нагнулся к нему и, содрогаясь от желания схватить его за горло и задушить, проскрежетал:

— Имейте по крайней мере смелость сознаться в собственной низости.

— Кто вы? — спросил блюститель порядка.

Отъявленный любовник молчал.

— Я, полицейский комиссар, требую, чтобы вы назвали себя.

— Да отвечайте же, трус, иначе я сам скажу, кто вы такой! — трясясь от бешенства, крикнул Дю Руа.

— Господин комиссар,— пробормотал лежавший в постели человек,— не позволяйте этому субъекту оскорблять меня. С кем я имею дело: с вами или с ним? Кому я должен отвечать: вам или ему?

У него, видимо, пересохло в горле.

— Мне, сударь, только мне,— сказал полицейский чин.— Я вас спрашиваю, кто вы такой!

Любовник молчал. Натянув одеяло до подбородка, он растерянно оглядывался по сторонам. Его маленькие закрученные усики казались совершенно черными на помертвелом лице.

— Так вы не желаете отвечать? — продолжал комиссар.— Тогда я вынужден буду арестовать вас. Во всяком случае вставайте. Я вас допрошу, когда вы оденетесь.

Тело задвигалось в постели, губы прошептали:

— Но я не могу встать при вас.

— Почему? — спросил блюститель порядка.

— Потому что... потому что... я совсем голый,— запинаясь, ответил тот.

Дю Руа усмехнулся и, подняв с полу сорочку, швырнул ее на кровать.

— Ничего!.. Поднимайтесь!..— крикнул он.— Если вы могли раздеваться при моей жене, то уж одеться при мне вы отлично можете.

С этими словами он повернулся к нему спиной и отошел к камину.

Мадлена оправилась от смущения: она понимала, что все погибло, и готова была на любую, самую резкую выходку. Лицо ее приняло вызывающее выражение, глаза сверкали дерзким огнем. Скомкав клочок бумаги, она, точно для приема гостей, зажгла все десять свечей в аляповатых канделябрах, стоявших по краям камина. Затем прислонилась к его мраморной доске и, протянув босую ногу к догоравшему пламени, отчего сзади у нее приподнялась юбка, которая едва держалась на ней, достала из розовой коробочки папиросу и закурила.

Комиссар, в ожидании, пока ее соучастник встанет с постели, снова подошел к ней.

— Часто вы этим занимаетесь, милостивый государь? — с заносчивым видом спросила она.

— Стараюсь как можно реже, сударыня,— вполне серьезно ответил он.

Она презрительно усмехнулась:

— Очень рада за вас, занятие не из почтенных.

Она делала вид, что не замечает своего мужа.

Лежавший в постели господин тем временем одевался. Он натянул брюки, надел ботинки и, напяливая жилет, подошел к ним.

Полицейский чин обратился к нему:

— Теперь, милостивый государь, вы скажете мне, кто вы такой?

Тот не ответил.

— В таком случае я вынужден арестовать вас,— сказал комиссар.

— Не трогайте меня! — неожиданно завопил господин.— Моя личность неприкосновенна.

Дю Руа подлетел к нему с таким видом, точно хотел сбить его с ног.

— Вас застали с поличным... с поличным...— прошипел он.— Я могу вас арестовать при желании... да, могу.

И срывающимся от волнения голосом выкрикнул:

— Это Ларош-Матье, министр иностранных дел!

Полицейский комиссар попятился от неожиданности.

— В самом деле, милостивый государь, скажете вы мне, наконец, кто вы такой? — растерянно пробормотал он.

Тот собрался с духом и во всеуслышание заявил:

— На сей раз этот подлец не солгал. Я действительно министр Ларош-Матье.

И, показав пальцем на грудь Жоржа, где, точно отблеск, горело красное пятнышко, добавил:

— И я еще дал этому мерзавцу орден, который он носит на фраке!

Дю Руа смертельно побледнел. Он сделал одно быстрое движение — и вырванная из петлицы лента, язычком пламени изогнувшись в воздухе, полетела в камин.

— Вот чего стоят ордена, которые дают такие прохвосты, как вы.

Они стояли друг против друга, стиснув зубы, сжав кулаки, задыхаясь от бешенства: один — худощавый, с встопорщенными усами, другой — толстый, с усиками, закрученными в колечки.

Комиссар сейчас же стал между ними.

— Вы забываетесь, господа, ведите себя прилично!

Они молча отвернулись. Мадлена, не двигаясь с места, все еще покуривала и улыбалась.

— Господин министр,— начал полицейский чин,— я застал вас наедине с присутствующей здесь госпожой Дю Руа, вы лежали в постели, она почти раздета. Ваше платье разбросано в беспорядке по комнате. Все это доказывает факт прелюбодеяния. Вы не можете спорить против очевидности. Что вы на это скажете?

— Мне нечего сказать, исполняйте свой долг,— пробормотал Ларош-Матье.

Комиссар обратился к Мадлене:

— Признаете ли вы, милостивая государыня, что этот господин — ваш любовник?

— Я не отрицаю, он мой любовник! — вызывающе ответила она.

— Этого достаточно.

Блюститель порядка записал еще некоторые данные о состоянии квартиры и о расположении комнат. Министр между тем кончил одеваться, перекинул пальто на руку, взял шляпу и, когда комиссар отложил перо, спросил:

— Я вам еще нужен? Что я должен делать? Мне можно уйти?..

Дю Руа повернулся к нему и, нагло улыбаясь, сказал:

— А, собственно говоря, зачем? Мы кончили. Можете снова лечь в постель, милостивый государь. Мы оставляем вас одних.

Дотронувшись пальцем до рукава полицейского комиссара, он прибавил:

— Идемте, господин комиссар, нам здесь нечего больше делать.

Блюститель порядка, слегка удивленный, последо-

вал за ним. Но у порога комнаты Жорж остановился, чтобы пропустить его вперед. Комиссар из вежливости отказался.

— Проходите же, сударь,— настаивал Жорж.

— После вас,— сказал комиссар.

Тогда журналист поклонился, почтительно-насмешливым тоном проговорил:

— Теперь ваша очередь, господин полицейский комиссар. Здесь я почти у себя дома.

И осторожно, с нарочито скромным видом затворил за собой дверь.

Час спустя Жорж Дю Руа входил в редакцию «Французской жизни».

Вальтер был уже там,— «Французская жизнь», получившая за последнее время широкое распространение и немало способствовавшая успеху все разраставшихся операций его банка, по-прежнему выходила под его неослабным наблюдением и руководством.

Издатель поднял на него глаза:

— А, это вы! Что это у вас такой странный вид? Почему вы не пришли к нам обедать? Вы сейчас откуда?

Дю Руа, заранее уверенный в том, какое впечатление произведут его слова, отчеканил:

— Я только что свалил министра иностранных дел.

Вальтер подумал, что он шутит.

— Свалили министра... То есть как?

— Я изменю состав кабинета. Вот и все! Давно пора выставить эту мразь.

Старик обомлел,— он решил, что его сотрудник пьян.

— Послушайте, вы спятили,— пробормотал он.

— Ничуть. Я только что застал мою жену с господином Ларош-Матье. Полицейский комиссар установил факт прелюбодеяния. Министру крышка.

Вальтер в полном недоумении поднял очки совсем на лоб

— Полно, вы шутите? — спросил он.

— Нисколько. Я даже напишу об этом заметку для хроники.

— Но чего же вы хотите?

— Я хочу свалить этого мошенника, этого негодяя, опасного для общества! Берегись тот, кто становится мне поперек дороги! Я никому ничего не прощаю! — положив шляпу на кресло, прибавил Жорж.

Издатель никак не мог понять, в чем дело.

— Ну, а... ваша жена? — спросил он.

— Завтра же я начинаю дело о разводе. Я ее отошлю к покойному Форестье.

— Вы хотите разводиться?

— А как же? Я был смешон. Но мне приходилось строить из себя дурачка, чтобы захватить их врасплох. Теперь все в порядке. Хозяин положения я.

Вальтер все еще не мог опомниться; он растерянно смотрел на Дю Руа и думал: «Черт возьми! С этим молодчиком надо быть в ладах».

— Теперь я свободен...— продолжал Жорж.— У меня есть кое-какое состояние. В октябре, перед новыми выборами, я выставлю свою кандидатуру у себя на родине,— там меня хорошо знают. С такой женой, которая всем мозолила глаза, мне нельзя было занять положение, нельзя было заставить уважать себя. Она меня одурачила, завлекла и поймала в свои сети. Но как только я разгадал ее фокусы, я уже стал в оба следить за этой мерзавкой.

Он расхохотался.

— Бедняга Форестье так и остался рогоносцем... беспечным, спокойным, доверчивым рогоносцем. Ну, а я сумел избавиться от этого нароста, который достался мне от него в наследство. Руки у меня развязаны. Теперь я далеко пойду.

Он сел верхом на стул и, как бы мечтая вслух, повторил:

— Далеко пойду...

Старик Вальтер, по-прежнему не опуская очков, смотрел на него во все глаза и говорил себе: «Да, этот негодяй далеко пойдет».

Жорж встал.

— Я сейчас напишу заметку. Это надо сделать осторожно. Но имейте в виду: для министра это будет страшный удар. Он пойдет ко дну. Никто его не вытащит. «Французской жизни» теперь уже нет смысла его выгораживать.

Старик некоторое время колебался, но в конце концов махнул рукой.

— Валяйте,— сказал он,— так ему и надо.

IX

Прошло три месяца. Дю Руа за это время выхлопотал развод, его жена снова стала носить фамилию Форестье. Пятнадцатого июля Вальтеры рассчитывали уехать в Трувиль, и на прощание решено было провести день за городом.

Поездка была назначена на четверг. В девять часов утра большое шестиместное ландо, запряженное четверкой лошадей, тронулось в путь.

Завтракать собирались в Сен-Жермене, в павильоне Генриха IV. Милый друг, не переваривавший присутствия и даже самой физиономии маркиза де Казоля, изъявил желание быть на этом пикнике единственным кавалером. Но в последнюю минуту решили рано утром заехать за графом де Латур-Ивеленом. Его предупредили об этом накануне.

Лошади крупной рысью бежали по авеню Елисейских Полей; затем проехали Булонский лес.

Был чудный, не слишком жаркий летний день. Ласточки чертили на синеве небес большие круги, и след от их полета, казалось, долго еще таял в воздухе.

Дамы сидели сзади: мать в середине, дочери по бокам; мужчины — лицом к ним: в середине Вальтер, а по бокам гости.

Проехали через Сену, обогнули Мон-Валерьен, миновали Буживаль, а там, до самого Пека, дорога шла вдоль реки.

Граф де Латур-Ивелен, уже немолодой, с большими редкими бакенбардами, которые все время трепал ветерок (что дало повод Дю Руа заметить: «Ветер весьма эффектно играет его бородой»), бросал нежные взгляды на Розу. Они были помолвлены месяц назад.

Жорж то и дело посматривал на Сюзанну; оба они были очень бледны. Глаза их встречались, и они украдкой обменивались заговорщицким взглядом, вы-

ражавшим какую-то им одним понятную мысль, затем быстро отводили глаза в сторону. Г-жа Вальтер была счастлива и спокойна.

Завтрак затянулся. Перед тем как вернуться в Париж, Дю Руа предложил пройтись по террасе.

Сначала остановились полюбоваться видом. Все стали в ряд у стены и принялись восхищаться открывшейся перед ними далью. Сена, будто огромная змея, что нежится в зелени у подножия длинной горы, несла свои воды к Мэзон-Лафиту. С правой стороны, на вершине холма, возвышался акведук Марли; его силуэт, вырисовывавшийся в небе, напоминал исполинскую гусеницу на громадных лапах, сам же Марли скрывался внизу в густой чаще леса.

На необъятной равнине, расстилавшейся прямо против них, кое-где виднелись деревни. Среди чахлой зелени маленькой рощи резкими светлыми пятнами выделялись пруды Везине. Налево, где-то совсем далеко, тянулась к небу остроконечная колокольня Сартрувиля.

— Нигде в мире нет такой панорамы,— заметил Вальтер.— Даже в Швейцарии не встретишь ничего подобного.

Компания медленно двинулась дальше,— всем хотелось пройтись и еще немного полюбоваться окрестными видами.

Жорж и Сюзанна шли сзади. Как только они отстали на несколько шагов, он сказал ей тихим, приглушенным голосом:

— Я обожаю вас, Сюзанна. Я вас люблю до безумия.

— И я вас, Милый друг,— прошептала она.

— Если вы не будете моей женой, я уеду из Парижа, уеду из Франции.

— Попробуйте поговорить с папой. Может быть, он согласится.

У него вырвался чуть заметный нетерпеливый жест.

— Нет, я вам уже который раз повторяю: это бесполезно. Двери вашего дома будут для меня закрыты, меня выставят из редакции, и мы даже не сможем видеться. Вот к каким чудным результатам, несомненно, приведет мое официальное предложение. Вас хотят от-

дать за маркиза де Казоля. Родители надеются, что в конце концов вы согласитесь, и ждут.

— Что же мне делать? — спросила она.

Он медлил с ответом и искоса поглядывал на нее.

— Ради меня вы способны на отчаянный шаг?

— Да,— твердо заявила она.

— На сверхотчаянный шаг?

— Да.

— Самый отчаянный, какой только может быть?

— Да.

— Хватит ли у вас смелости пойти наперекор отцу и матери?

— Да.

— В самом деле?

— В самом деле.

— Ну, так есть один-единственный способ. Надо, чтобы все исходило от вас, а не от меня. Вы баловень семьи, вам позволяется говорить все что угодно, и еще одно озорство с вашей стороны никого не удивит. Так вот, слушайте. Сегодня же вечером, вернувшись домой, прежде всего идите к матери, но только когда она будет совсем одна. Скажите ей, что хотите быть моей женой. Это ее очень взволнует, она выйдет из себя...

— О, мама согласится! — перебила его Сюзанна.

— Нет,— решительно возразил он,— вы ее не знаете. Ваш отец не так рассердится, не так разъярится, как она. Она вам откажет, вот увидите. Но вы стойте на своем, не отступайте, говорите, что согласны выйти только за меня и больше ни за кого. Хорошо?

— Хорошо.

— От матери пойдите к отцу и с весьма серьезным и независимым видом скажите ему то же самое.

— Да, да. Ну, а дальше?

— Дальше начинается самое важное. Если вы решили, твердо решили, очень-очень твердо решили стать моей женой, моя дорогая, дорогая маленькая Сюзанна... то я... то я увезу вас!

От радости она чуть не захлопала в ладоши.

— Какое счастье! Вы меня увезете! Когда же это будет?

Вся старинная поэзия ночных похищений, почтовых карет, харчевен, изумительных приключений, вычитан-

ных в книгах, неожиданно мелькнула перед ней волшебным сном, который вот-вот должен был обернуться явью.

— Когда же это будет? — повторила она.

— Да... сегодня же вечером... ночью,— тихо ответил он.

— А куда мы поедем? — вся дрожа, спросила она.

— Это моя тайна. Обдумайте этот шаг. Поймите, что после бегства вам уже ни за кого, кроме меня, нельзя будет выйти замуж! Это единственный способ, но он... очень опасен... для вас.

— Я решилась...— заявила она.— Где я с вами встречусь?

— Вы можете выйти из дому одна?

— Да, я умею отпирать калитку.

— Так вот, около полуночи, когда швейцар ляжет спать, идите на площадь Согласия. Я буду ждать вас в карете против морского министерства.

— Я приду.

— Непременно?

— Непременно.

Он сжал ее руку.

— О, как я люблю вас! Какая вы хорошая, смелая! Так вы не хотите выходить замуж за маркиза де Казоля?

— О, нет!

— Ваш отец очень сердился, когда вы отказались?

— Еще как! Он грозился отправить меня в монастырь.

— Вы сами видите, что надо действовать решительно.

— Я так и буду.

Поглощенная мыслью о похищении, она обвела глазами широкий горизонт. Она уедет далеко-далеко... с ним! Он ее увезет!.. Она гордилась этим. Она не думала о своей репутации, о позоре, которым это могло ей грозить. Да и представляла ли она себе, на что она идет? Догадывалась ли о чем-нибудь?

Г-жа Вальтер обернулась.

— Иди сюда, детка! — крикнула она.— Что ты там делаешь с Милым другом?

Они присоединились ко всей остальной компании.

Разговор шел о морском курорте, куда вскоре должны были отправиться Вальтеры.

Чтобы не возвращаться тою же дорогой, решили ехать через Шату.

Жорж хранил молчание. Он призадумался. Итак, если у этой девочки хватит смелости, то он наконец добьется своего! В течение трех месяцев он опутывал ее сетью своего неотразимого обаяния. Он обольщал, он пленял, он покорял ее. Он увлек ее так, как умел это делать только он. Он без труда овладел душой этой легкомысленной куколки.

Прежде всего он добился того, что она отказала маркизу де Казолю. Теперь он уговорил ее бежать с ним. Уговорил, потому что другого выхода нет.

Г-жа Вальтер ни за что не согласится отдать за него свою дочь,— это он понимал прекрасно. Она все еще любит его и будет любить вечно — той же неистребимой любовью. Ее сдерживала расчетливая холодность Жоржа, но он чувствовал, что ее гложет безнадежная и неукротимая страсть. Ему ни за что не удастся переломить ее. Она никогда не допустит, чтобы он женился на Сюзанне.

Но как только девочка очутится у него, вдали от родителей, он вступит в переговоры с отцом, как равный с равным.

Погруженный в размышления, Дю Руа не вслушивался в то, что ему говорили, и отвечал односложными фразами. Встряхнулся он, когда уже въехали в город.

Сюзанна тоже была задумчива. Четверка лошадей звенела бубенцами, и под этот звон, отдававшийся у нее в голове, ей чудились озаренные неизменной луной большие дороги, которым нет конца, темные леса, харчевни, куда заезжают на перепутье, кучера, поспешно меняющие лошадей,— поспешно, ибо все уже догадываются, что за ними погоня.

Когда ландо въехало во двор особняка, Вальтеры стали уговаривать Жоржа пообедать с ними. Но он отказался и пошел домой.

Дома он слегка закусил, а затем, точно собираясь в далекое путешествие, начал приводить в порядок свои бумаги. Компрометирующие письма сжег, другие спрятал, написал кое-кому из друзей.

Время от времени он смотрел на часы и думал: «Сейчас там, наверно, самая жара». В сердце к нему закрадывалась тревога. А что, если не удастся? Но чего же ему бояться? Он всегда сумеет выкрутиться. Уж и крупную игру ведет он, однако!

Около одиннадцати он вышел из дому, немного побродил, потом взял экипаж и остановился на площади Согласия возле аркады морского министерства.

Время от времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное нетерпение. Каждую секунду он просовывал голову в дверцу и смотрел, не идет ли Сюзанна.

Где-то на дальних часах пробило двенадцать, потом на других, поближе, потом на двух часах одновременно, потом еще раз — уже совсем далеко. Когда замер последний удар, он подумал: «Все кончено. Сорвалось. Она не придет».

Все же он решил ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.

Немного погодя он услышал, как пробило четверть первого, потом половина, потом три четверти, и наконец все часы, так же как до этого били полночь, один за другими пробили час. Он уже не ждал, он ломал себе голову, стараясь понять, что могло случиться. Вдруг женская головка заглянула в окошко кареты.

— Вы здесь, Милый друг?

Он привскочил. У него захватило дыхание.

— Это вы, Сюзанна?

— Да, это я.

Он никак не мог повернуть ручку дверцы и все повторял:

— А, это вы... это вы... входите.

Она вошла и упала на сиденье подле него. Он крикнул кучеру: «Поезжайте», и карета тронулась.

Сюзанна тяжело дышала и не могла произнести ни слова.

— Так как же все это произошло? — спросил он.

— О, это было ужасно, особенно разговор с мамой,— почти теряя сознание, прошептала она.

Он дрожал от волнения.

— С вашей мамой? Что же она вам говорила? Расскажите.

— Ужас, что было! Я все обдумала заранее, вошла к ней и прямо приступила к делу. Она побледнела, стала кричать: «Ни за что! Ни за что!» А я плакала, сердилась, клялась, что не выйду ни за кого, кроме вас. Я боялась, что она меня ударит. Она была как помешанная,— объявила, что завтра же отправит меня в монастырь. Я еще никогда не видела ее такой, никогда! Но тут папа услыхал всю эту чушь, которую она городила, и вошел. Он не так рассердился, как она, но сказал, что вы для меня не очень хорошая партия. Они до того обозлили меня, что я кричала еще громче их. Папа трагическим тоном, который, кстати сказать, совсем ему не идет, велел мне выйти вон. Тогда я окончательно решила бежать с вами. И вот я здесь. Куда же мы едем?

Дю Руа нежно обнял ее за талию; он жадно, с замиранием сердца слушал ее рассказ, и в нем поднималась бешеная злоба на ее родителей. Но их дочь у него в руках. Теперь он им покажет.

— На поезд мы опоздали,— сказал он.— Карета отвезет нас в Севр, и там мы переночуем. А завтра поедем в Ларош-Гийон. Это красивая деревня на берегу Сены, между Мантом и Боньером.

— Но я не взяла с собой никаких вещей. Я совсем налегке,— возразила Сюзанна.

Он улыбнулся беспечной улыбкой:

— Ничего, это мы там уладим!

Экипаж катился по улицам. Жорж взял руку девушки и стал медленно, почтительно целовать ее. Платонические ласки были ему незнакомы, и теперь он не знал, о чем говорить с ней. Но вдруг ему показалось, что она плачет.

— Что с вами, дорогая крошка? — испуганно спросил он.

— Моя бедная мама, наверно, не спит сейчас, если только заметила мое исчезновение,— проговорила она сквозь слезы.

Г-жа Вальтер действительно не спала.

Когда Сюзанна вышла из комнаты, она осталась наедине с мужем.

Она была подавлена, удручена.

— Боже мой! Что все это значит?

— То и значит, что этот интриган приворожил ее,— вскипел Вальтер.— Это он подговорил ее отказать Казолю. Он метит на ее приданое, подлец!

Вальтер в бешенстве принялся ходить из угла в угол.

— Ты его тоже все время завлекала, носилась с ним, ублажала его, разводила телячьи нежности. С утра до вечера только, бывало, и слышишь: «Милый друг, Милый друг». Вот теперь и расхлебывай.

Она побледнела.

— Я... его... завлекала?

— Да, ты! — бросил он ей в лицо.— Вы все на нем помешались: эта самая Марель, Сюзанна, все, все. Ты думаешь, я не замечал, что ты без него двух дней прожить не можешь?

Г-жа Вальтер выпрямилась.

— Я не позволю вам так говорить со мной,— трагическим тоном сказала она.— Вы забываете, что я воспитывалась не в лавке, как вы.

Он было осекся, затем крикнул в ярости: «А ну вас всех к черту!» — и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Оставшись одна, г-жа Вальтер инстинктивно бросилась к зеркалу — посмотреть, не состарилась ли она мгновенно, до того невероятным, чудовищным казалось ей все происшедшее. Сюзанна влюблена в Милого друга! Милый друг хочет жениться на Сюзанне! Нет, она ошиблась, этого не может быть! Вполне естественно, что девушка неравнодушна к этому красавцу, она надеялась, что ее отдадут за него, на нее нашла блажь. Но он? Он не мог быть с ней в заговоре! Мысли у г-жи Вальтер путались, как это бывает с теми, на кого неожиданно свалилось тяжкое горе. Нет, Милый друг, наверно, ничего не знает о выходке Сюзанны.

Она долго думала о том, замешан или не замешан этот человек. Если он подбил ее на это, то какой же он негодяй! А что будет дальше? Сколько опасностей, сколько мучений видела она впереди!

Если же он ни при чем, то все это еще беда поправимая. Стоит только увезти Сюзанну путешествовать на полгода — и все пройдет. Но может ли она сама видеться с ним после этого? Ведь она все еще любит его.

Эта страсть вонзилась в нее, как стрела, и вырвать ее невозможно.

Жить без него она не в состоянии. Лучше умереть.

Тоска и сомнения одолевали ее. Голова раскалывалась от неясных и тягостных дум, причинявших ей физическую боль. Она мучительно искала выхода, неизвестность доводила ее до отчаяния. Она взглянула на часы: было начало второго. «Я больше не могу,— сказала она себе,— я схожу с ума. Я должна знать все. Пойду разбужу Сюзанну и расспрошу ее».

Чтобы не стучать, она сняла ботинки и со свечой в руке направилась в комнату дочери. Тихонько отворила дверь, вошла и посмотрела на кровать. Постель была не смята. В первую секунду она ничего не заподозрила,— она решила, что девочка все еще сражается с отцом. Но вдруг страшная мысль прорезала ее мозг, и она побежала к мужу. Запыхавшаяся, бледная, она опрометью вбежала к нему в спальню. Вальтер еще читал, лежа в постели.

— Что такое? Что с тобой?— спросил он со страхом.

— Ты видел Сюзанну?— запинаясь, проговорила она.

— Я? Нет. А что?

— Она... она... ушла. Ее нет в спальне.

Он спрыгнул на ковер, сунул ноги в туфли, и как был, в одной сорочке, помчался в комнату дочери.

Войдя, он сразу понял все. Она убежала.

Он тяжело опустился в кресло и поставил лампу на пол.

Жена вошла вслед за ним.

— Ну что? — еле выговорила она.

У него не было сил отвечать, не было сил гневаться.

— Все кончено,— наконец простонал он,— она у него в руках. Мы пропали.

На ее лице выразилось недоумение.

— Как пропали?

— Так, очень просто! Теперь уж он непременно должен на ней жениться.

У нее вырвался какой-то звериный вопль:

— Он? Ни за что! Ты сошел с ума!

— Вытьем горю не поможешь,— с унылым видом

заметил Вальтер.— Он ее увез, он ее обесчестил. Самое лучшее было бы теперь выдать ее за него. Если приняться с умом, то никто ничего не узнает.

— Ни за что, ни за что он не получит Сюзанну!— дрожа от страшного волнения, твердила она.— Я ни за что не соглашусь!

— Но он уж получил ее,— сокрушенно проговорил Вальтер.— Дело сделано. И он будет держать и прятать ее у себя до тех пор, пока мы не уступим. Стало быть, во избежание скандала надо уступить сейчас же.

Сердце у г-жи Вальтер разрывалось от горя — горя, которым она не могла поделиться.

— Нет, нет! Я ни за что не соглашусь!— повторяла она.

Он вышел из терпения:

— Какой тут может быть разговор! Это необходимо. Ах, мерзавец, какую он нам свинью подложил!.. Ловок же он, однако! В смысле положения мы нашли бы и получше его, но по части ума и по части карьеры — сомневаюсь. У него блестящее будущее. Он будет депутатом, министром.

— Я ни за что не отдам ему Сюзанну...— с какой-то свирепой решимостью заявила г-жа Вальтер.— Слышишь?.. Ни за что!

Вальтер в конце концов разозлился и, как человек практичный, стал на защиту Милого друга.

— Да замолчи ты... Говорят тебе, что это необходимо... что это неизбежно. И кто знает? Может быть, мы и не пожалеем. О людях подобного сорта никогда нельзя сказать, что из них получится. Ты видела, как он тремя статьями свалил этого дуралея Ларош-Матье, и при этом отнюдь не роняя своего достоинства, а в положении обманутого мужа это было дьявольски трудно. Ну, там посмотрим. А пока что он нас держит в руках. Так просто от него не отделаешься.

Ей хотелось кричать, кататься по полу, рвать на себе волосы.

— Он ее не получит!..— с ожесточением повторила она.— Я... не... хочу!..

Вальтер встал и, подняв с полу лампу, сказал:

— Послушай, ты глупа, как все женщины. Вы поступаете, как вам подсказывает чувство. Вы не умеете

применяться к обстоятельствам... вы глупы. А я тебе говорю, что он на ней женится. Так надо!

Шаркая туфлями, он вышел из комнаты. Каким-то потешным привидением прошел он в одной сорочке по широкому коридору большого спящего дома, а затем бесшумно скрылся у себя в спальне.

Г-жа Вальтер не двигалась с места,— нестерпимая мука надрывала ей душу. Она еще не отдавала себе ясного отчета в том, что произошло. Она только страдала. Затем она почувствовала, что у нее не хватит сил вот так, неподвижно, стоять здесь до утра. В ней заговорила настойчивая потребность бежать отсюда, бежать куда глаза глядят, идти наугад, просить участия, звать на помощь.

Она спрашивала себя: к кому бы она могла обратиться? К кому? Но она ничего не могла придумать. К священнику! Да, к священнику! Она бросится к его ногам, признается во всем, покается в своем грехе, поведает ему свою неутешную скорбь. Он поймет, что этому негодяю нельзя жениться на Сюзанне, и не допустит этого.

Священника, сию минуту священника!

А где его найти? Куда бежать за ним? Но оставаться здесь она уже не в силах.

И тут перед ней, будто видение, предстал светлый образ Иисуса, шествующего по водам. Она видела его так ясно, точно смотрела на картину. Значит, он звал ее. Он говорил ей: «Иди ко мне. Припади к моим ногам. Я пошлю тебе утешение и научу, как поступить».

Она взяла свечу и, спустившись вниз, прошла в оранжерею. Иисус был там, в самом конце, в маленькой гостиной, стеклянную дверь которой, чтобы уберечь полотно от сырости, обычно затворяли.

Можно было подумать, что это часовня среди какого-то странного леса.

До сих пор г-же Вальтер приходилось видеть зимний сад только при ярком освещении, и теперь, когда она вошла, его темные дебри поразили ее. Пышная растительность жарких стран обдавала ее своим одуряющим дыханием. Двери были затворены, и от запаха этих необычных деревьев, накрытых стеклянным куполом, становилось тесно в груди,— он дурманил, пьянил, этот

запах, он доставлял мучительное наслаждение, он вызывал во всем теле неясное ощущение возбуждающей неги и предсмертной истомы.

Бедная женщина ступала осторожно и боязливо: блуждающий огонек свечи одно за другим выхватывал из мрака причудливые растения, и ей мерещились то неведомые чудовища, то какие-то призрачные существа, то диковинные уроды.

Вдруг она увидела Христа. Отворив дверь, отделявшую от нее его образ, она упала на колени.

Сперва она исступленно молилась, пыталась выразить всю свою любовь к богу, отчаянно и страстно взывала к нему. Потом, когда молитвенный жар остыл, она подняла на него глаза, и ее мгновенно объял ужас. Дрожащее пламя свечи слабо освещало его снизу, и в эту минуту он был так похож на Милого друга, что ей казалось, будто это уже не бог, а любовник глядит на нее. Да, это его глаза, его лоб, его выражение, его холодный и надменный взгляд!

«Иисусе! Иисусе! Иисусе!»— шептала она. А на устах у нее было имя Жоржа. Вдруг ей пришло в голову, что, быть может, сейчас Жорж овладел ее дочерью. Он где-нибудь с ней вдвоем, в какой-нибудь комнате. Он, он — с Сюзанной!

«Иисусе!.. Иисусе!»— лепетала г-жа Вальтер. Но думала она о своей дочери и о своем любовнике! Они одни в комнате... а сейчас ночь. Она видела их. Видела так ясно, точно они стояли перед ней на месте картины. Они улыбались друг другу. Они целовались. В комнате темно. Одеяло на постели откинуто. Она встала: сейчас она подойдет к ним, вцепится Сюзанне в волосы и вырвет ее из его объятий. Она схватит ее за горло, она задушит ее, свою ненавистную дочь, посмевшую отдаться этому человеку. Она уже дотрагивалась до нее... но это был холст. Она коснулась ног Христа.

Она дико закричала и упала навзничь. Свеча перевернулась и потухла.

Что с ней было потом? Долго еще преследовали ее какие-то странные, пугающие видения. Жорж и Сюзанна, обнявшись, все время стояли перед ее глазами, а Иисус Христос благословлял их преступную любовь.

Она смутно сознавала, что она не у себя в комнате.

Она порывалась встать, порывалась бежать, но силы ей изменяли. Какое-то оцепенение нашло на нее и сковало члены, не коснувшись, однако, сознания, но это было уже меркнущее сознание, истерзанное населявшими его страшными образами, нереальными, фантастическими, погружавшееся в кошмарный сон, в тот странный и подчас смертельный сон, какой навевают на человека усыпляющие растения жарких стран,— причудливой формы растения с их густым благоуханием.

Утром тело г-жи Вальтер, бесчувственное и почти бездыханное, было найдено возле «Иисуса, шествующего по водам». Состояние ее признали угрожающим. Очнулась она только на другой день. И тут она начала плакать.

Чтобы как-то объяснить исчезновение Сюзанны, слугам было сказано, что она внезапно уехала в монастырь. Г-н Вальтер получил от Дю Руа длинное послание и ответил согласием на его брак с Сюзанной.

Милый друг написал это письмо перед самым отъездом и, уезжая из Парижа, опустил его в почтовый ящик. В этом письме он в почтительных выражениях сообщал о том, что давно уже любит Сюзанну, что они ни о чем не сговаривались, но когда она по собственному желанию пришла к нему и сказала: «Я хочу быть вашей женой», то он счел необходимым оставить ее у себя и даже спрятать вплоть до получения ответа от родителей, хотя, добавлял он, их законные права на нее значат для него меньше, нежели воля его невесты.

Он просил г-на Вальтера ответить до востребования, пояснив, что один из его друзей перешлет ему это письмо.

Получив то, чего он добивался, Дю Руа привез Сюзанну в Париж и отправил домой, но сам от визита к родителям до времени воздержался.

В Ларош-Гийоне, на берегу Сены, они прожили шесть дней.

Сюзанна никогда еще так не веселилась. Она воображала себя пастушкой. Он выдавал ее за сестру, и между ними действительно установились простые, близкие и в то же время чистые отношения: это была дружба влюбленных. В корыстных целях он щадил ее не-

винность. Приехав в Ларош-Гийон, она на другой же день купила себе белья и деревенских нарядов и, надев огромную соломенную шляпу, украшенную полевыми цветами, отправилась удить рыбу. Местность казалась ей удивительно живописной. Здесь были старинная башня и старинный замок, славившийся чудесными гобеленами.

Жорж, в куртке, купленной у местного торговца, гулял с Сюзанной по берегу реки, катался с ней на лодке. Они поминутно целовались,— ее поцелуи были невинны, он же изнемогал от страсти. Но он искусно умерял свои порывы. Когда же он объявил ей: «Завтра мы возвращаемся в Париж, ваш отец дал согласие на наш брак»,— она простодушно спросила:

— Уже? А мне так понравилось быть вашей женой!

X

В маленькой квартирке на Константинопольской улице было темно,— Клотильда де Марель, столкнувшись с Жоржем Дю Руа у дверей и влетев в комнату, сразу накинулась на него, так что он даже не успел отворить ставни.

— Итак, ты женишься на Сюзанне Вальтер?

Жорж смиренно признался в этом.

— А ты разве ничего не слыхала? — прибавил он.

— Ты женишься на Сюзанне Вальтер? — с возмущением и бешенством продолжала она.— Это уж слишком! Это уж слишком! Три месяца ты лебезишь передо мной — и все для того, чтобы отвести мне глаза. Все знают, кроме меня. Мне сообщил об этом муж!

Дю Руа принужденно засмеялся и, повесив шляпу на угол камина, сел в кресло.

— Значит, ты, как только разошелся с женой, тут же начал закидывать удочки, а меня преспокойно держал в качестве временной заместительницы? — глядя ему в лицо, проговорила она злобным шепотом.— Какой же ты подлец!

— В чем дело? — спросил он.— Жена меня обманывала, я застал ее с поличным, добился развода и теперь женюсь на другой. Что тут особенного?

— Какой ты ловкий и опасный негодяй! — с дрожью в голосе прошептала она.

Он усмехнулся.

— Черт возьми! Олухи и простофили всегда остаются в дураках.

Но ее преследовала все та же мысль.

— Как это я не раскусила тебя с самого начала? Да нет, я никогда не думала, что ты такая гадина.

— Прошу тебя быть осторожнее в выражениях,— с достоинством заметил он.

Это ее взорвало:

— Как! Ты хочешь, чтобы я разговаривала с тобой в белых перчатках? Все время ты поступаешь со мной по-свински, а я не смей слова сказать? Ты всех обманываешь, всех эксплуатируешь, всюду срываешь цветы наслаждения и солидные куши и после этого хочешь, чтоб я обращалась с тобой, как с порядочным человеком!

У него задрожали губы, он встал.

— Замолчи, а то я тебя выгоню вон.

— Выгонишь вон... Выгонишь вон... Ты меня выгонишь вон... ты... ты?..

Клотильда была в таком исступлении, что не могла говорить, но плотина, сдерживавшая ее гнев, неожиданно прорвалась, и она разразилась потоком слов:

— Выгнать меня вон! А ты забыл, что я с самого первого дня плачу за эту квартиру? Ах да, время от времени ты платил за нее сам! Но кто ее снял?.. Я... Кто ее сохранил?.. Я... И ты хочешь меня выгнать? Молчи, бессовестный! Думаешь, я не знаю, что ты украл у Мадлены половину наследства, которое ей оставил Водрек? Думаешь, я не знаю, что ты спал с Сюзанной, чтобы заставить ее выйти за тебя замуж...

Он схватил ее за плечи и начал трясти.

— Не смей говорить о ней! Я тебе запрещаю!

— Ты спал с ней, я знаю! — кричала она.

Он выслушал бы от нее все что угодно, но эта ложь возмутила его. Когда она бросала ему в лицо правду, у него бешено колотилось сердце, но клевета на эту девушку, его невесту, привела его в такое со-

стояние, что у него чесались руки от яростного желания ударить Клотильду.

— Молчи... молчи... лучше молчи...— повторял он и тряс ее так, как трясут ветку, чтобы с нее упали плоды.

Растрепанная, с безумными глазами, она крикнула во все горло:

— Ты с ней спал!

Он отпустил ее и дал такую затрещину, что она отлетела к стене и упала, но сейчас же обернулась и, приподнявшись на руках, еще раз выкрикнула:

— Ты с ней спал!

Он бросился на нее и, подмяв под себя, принялся избивать ее так, точно это был мужчина.

Клотильда сразу примолкла,— она лишь стонала под его ударами. Она не шевелилась. Уткнувшись лицом в угол комнаты, она жалобно вскрикивала.

Наконец Дю Руа перестал колотить ее и поднялся с полу. Чтобы прийти в себя, он сделал несколько шагов по комнате. Затем, подумав, прошел в спальню, налил в таз холодной воды и окунул голову. Потом вымыл руки и, насухо вытирая пальцы, пошел посмотреть, что с ней.

Клотильда не двигалась. Она все еще лежала на полу и тихо всхлипывала.

— Долго ты еще будешь реветь? — спросил он.

Она не ответила.

Он стоял посреди комнаты и слегка растерянно и сконфуженно смотрел на распростертое перед ним тело.

Затем, поборов смущение, схватил с камина шляпу.

— Прощай. Когда будешь уходить, отдай ключ швейцару. Я не намерен ждать, пока ты соблаговолишь подняться.

Он затворил за собой дверь и по дороге зашел к швейцару.

— Дама еще осталась,— сказал он.— Она скоро уйдет. Передайте хозяину, что с первого октября я отказываюсь от квартиры. Сегодня у нас шестнадцатое августа — значит, я предупредил вовремя,— прибавил он и сейчас же ушел. Ему предстояло забежать в магазины и еще кое-что купить в подарок невесте.

Свадьба должна была состояться двадцатого октября, по окончании парламентских каникул. Венчаться собирались в церкви Мадлен. Болтали об этой свадьбе много, но толком никто ничего не знал. Ходили разные слухи. Шепотом говорилось и о похищении, но достоверно ничего не было известно.

Г-жа Вальтер не разговаривала со своим будущим зятем; слуги рассказывали, что, как только был решен этот брак, она в ту же ночь услала Сюзанну в монастырь, а сама отравилась со злости.

Ее нашли в бессознательном состоянии. Теперь уж ей, конечно, не оправиться. Она превратилась в старуху; волосы у нее совсем побелели. И она вся ушла в религию, причащается каждое воскресенье.

В начале сентября «Французская жизнь» объявила, что г-н Вальтер остается только издателем, обязанности же главного редактора переходят к барону Дю Руа де Кантель.

Одновременно была нанята целая армия известных фельетонистов, репортеров, публицистов, художественных и театральных критиков. За большие деньги их удалось переманить из других газет — влиятельных, солидных газет, издававшихся с давних пор.

Старые журналисты, почтенные и важные журналисты, уже не пожимали плечами при упоминании о «Французской жизни». Она одержала скорую и полную победу, и от того пренебрежения, с каким серьезные литераторы отнюсились к ней вначале, не осталось и следа.

Жорж Дю Руа и семейство Вальтер с некоторых пор возбуждали всеобщее любопытство,— вот почему свадьба главного редактора «Французской жизни» составляла, что называется, гвоздь парижского сезона. Все те, о ком пишут в хронике, решили непременно присутствовать при венчании.

Произошло это событие в ясный осенний день.

В восемь часов утра на улице Руаяль служители церкви Мадлен, привлекая внимание прохожих, уже расстилали на ступеньках высокой паперти широкий красный ковер,— таким образом они как бы оповещали парижан о том, что здесь должно состояться великое торжество.

Служащие по дороге в конторы, скромные работницы, приказчики из магазинов — все останавливались, глазели и думали о том, какие огромные деньги тратят богачи на освящение своего брачного сожительства.

Около десяти начали тесниться любопытные. Постояв несколько минут в надежде, что скоро начнется, они расходились.

В одиннадцать подоспела полиция и, заметив, что народ ежеминутно собирается в кучки, почти тотчас же принялась разгонять толпу.

Вскоре появились первые приглашенные — те, кто спешил занять хорошие места, чтобы все видеть. Они расселись вдоль стен главного придела.

Постепенно прибывали другие: шуршавшие шелками, шелестевшие платьями дамы и надменные мужчины, почти все лысые, с безукоризненными манерами светских людей, более важные, чем когда-либо.

Церковь медленно наполнялась. Солнце, потоками вливаясь в широко раскрытые двери, освещало первые ряды. Уставленный свечами алтарь отбрасывал желтоватый свет, тусклый и жалкий по сравнению с сияющим зевом портала, и оттого казалось, что на амвоне царит полумрак.

Приглашенные оглядывались, знаками подзывали друг друга, собирались группами. Литераторы, настроенные менее благоговейно, чем светские люди, беседовали вполголоса. Мужчины рассматривали дам.

Норбер де Варен, искавший кого-нибудь из своих приятелей, увидел в средних рядах Жака Риваля и подошел к нему.

— Итак,— сказал он,— будущее принадлежит пройдохам!

Риваль не был завистлив.

— Тем лучше для него,— возразил он.— Его карьера сделана.

И они стали называть имена присутствующих.

— Вы не знаете, что сталось с его женой? — спросил Риваль.

Поэт усмехнулся:

— И да и нет. Мне передавали, что она живет весьма уединенно, в районе Монмартра. Но... тут есть од-

но «но»... С некоторых пор в газете «Перо» мне стали попадаться политические статьи, до ужаса похожие на статьи Форестье и Дю Руа. Подписывает их некто Жан Ледоль; этот молодой человек, красивый, умный, одной породы с нашим другом Жоржем, недавно познакомился с его бывшей женой. Отсюда я делаю вывод, что она всегда любила начинающих и будет любить их вечно. К тому же она богата. Водрек и Ларош-Матье не случайно были ее частыми гостями.

— Она недурна, эта маленькая Мадлена,— заметил Риваль.— Плутовка, бестия! Должно быть, она очаровательна при ближайшем знакомстве. Но объясните мне, как это вышло, что Дю Руа после официального развода венчается в церкви?

— Он венчается в церкви потому, что церковь считает его неженатым,— ответил Норбер де Варен.

— Как так?

— Будучи равнодушным к религии, а может быть, из экономии, наш Милый друг решил, что для брака с Мадленой Форестье достаточно одной мэрии. Словом, он обошелся без пастырского благословения, так что в глазах нашей матери-церкви его первый брак — это просто-напросто сожительство. Таким образом, сегодня он предстанет перед ней холостым, и она готовит для него все те пышные церемонии, которые недешево обойдутся старику Вальтеру.

Гул все прибывавшей толпы нарастал под сводами храма. Иные разговаривали почти громко. Перед публикой, довольные тем, что все на них показывают друг другу, что все на них смотрят, уже рисовались знаменитости: тщательно следя за своими раз навсегда выработанными манерами, считая себя необходимым украшением этого сборища, своего рода художественным изделием, они и здесь блистали так же, как на всех других празднествах.

— Дорогой мой, вы часто бываете у патрона,— продолжал Риваль,— скажите, правда ли, что госпожа Вальтер не разговаривает с Дю Руа?

— Правда. Она не хотела выдавать за него свою дочь. Но Дю Руа держал отца в руках якобы благодаря тому, что проведал о каких-то трупах — трупах, похороненных в Марокко. Короче, он запугал старика

чудовищными разоблачениями. Вальтер вспомнил о судьбе Ларош-Матье и немедленно уступил. Но мать, упрямая, как все женщины, поклялась, что никогда словом не перемолвится со своим зятем. Когда они вместе, на них нельзя без смеха смотреть. Она похожа на статую, статую Мщения, а он чувствует себя очень неловко, но виду не подает,— кто-кто, а уж он-то умеет владеть собой!

С ними здоровались литераторы. Долетали обрывки политических разговоров. А во входную дверь, точно отдаленный, глухой шум прибоя, вместе с солнцем врывалось гудение толпы, сгрудившейся возле церкви, и, поднимаясь к сводам, покрывало сдержанный говор избранной публики, собравшейся в храме.

Но вот привратник три раза стукнул в деревянный пол алебардой. Все обернулись, задвигали стульями, зашелестели платьями. А в дверях, озаренная солнцем, показалась молодая девушка под руку с отцом.

Она по-прежнему напоминала куклу — чудную белокурую куклу с флердоранжем в волосах.

На несколько секунд она задержалась у входа, затем шагнула вперед — и в тот же миг послышался рев органа, своим мощным металлическим голосом возвещавшего появление брачущейся.

Прелестная, милая игрушечная невеста была слегка взволнована и шла, опустив голову, но при этом ничуть не робела. Дамы, глядя на нее, улыбались, шушукались. «Она обаятельна, обворожительна»,— шептались мужчины. Вальтер шествовал бледный, преувеличенно важный и внушительно поблескивал очками.

Свиту этой кукольной королевы составляли четыре ее подруги, все в розовом, все до одной красотки. Четыре шафера, искусно подобранные, вполне соответствовавшие своему назначению, двигались так, словно ими руководил балетмейстер.

Г-жа Вальтер следовала за ними под руку с отцом другого своего зятя, семидесятидвухлетним маркизом де Латур-Ивеленом. Она не шла — она еле тащилась; казалось, еще одно движение — и она упадет замертво. При взгляде на нее можно было подумать,

что ноги у нее прилипают к плитам, отказываются служить, а сердце бьется в груди, точно пойманный зверь о прутья клетки.

Она исхудала. Седина подчеркивала бледность, покрывавшую ее изможденное лицо.

Она смотрела прямо перед собой, чтобы никого не видеть и, быть может, чтобы не отвлекаться от мыслей, терзавших ее.

Затем появился Жорж Дю Руа с какой-то пожилой, никому не известной дамой.

Он высоко держал голову и, чуть сдвинув брови, смотрел тоже прямо перед собой сосредоточенным и строгим взглядом. Кончики его усов грозно торчали вверх. Все нашли, что он очень красив. Его горделивая осанка, тонкая талия и стройные ноги обращали на себя всеобщее внимание. Фрак, на котором красным пятнышком выделялась ленточка ордена Почетного легиона, сидел на нем отлично.

Затем все увидели Розу с сенатором Рисоленом. Она вышла замуж полтора месяца назад. Граф де Латур-Ивелен вел под руку виконтессу де Персмюр.

Шествие замыкала пестрая вереница приятелей и знакомых Дю Руа, которых он представил своей новой родне,— людей, пользовавшихся известностью в смешанном парижском обществе, людей, которые мгновенно превращаются в близких друзей, а в случае нужды и в четвероюродных братьев разбогатевших выскочек,— вереница дворян, опустившихся, разорившихся, с подмоченной репутацией или, еще того хуже, женатых. Тут были г-н де Бельвинь, маркиз де Банжолен, граф и графиня де Равенель, герцог де Раморано, князь Кравалов, шевалье Вальреали и приглашенные Вальтера: князь де Герш, герцог и герцогиня де Феррачини и прекрасная маркиза де Дюн. Родственники г-жи Вальтер, участвовавшие в этой процессии, хранили чопорно-провинциальный вид.

А орган все пел; блестящие горла труб, возвещающие небу о земных радостях и страданиях, разносили по всему огромному храму рокочущие стройные созвучия.

Тяжелую двустворчатую дверь закрыли, и в церкви сразу стало темно, словно кто-то выгнал отсюда солнце.

На амвоне перед ярко освещенным алтарем рядом с женой стоял на коленях Жорж. Вновь назначенный епископ Танжерский, в митре и с посохом, вышел из ризницы, дабы сочетать их во имя господне.

Задав им обычные вопросы, обменяв кольца, произнеся слова, связывающие как цепи, он обратился к новобрачным с проповедью христианской морали. Долго и высокопарно говорил он о супружеской верности. Это был высокий, плотный мужчина, один из тех красивых прелатов, которым брюшко придает величественный вид.

Чьи-то рыдания заставили некоторых обернуться. Это, закрыв лицо руками, плакала г-жа Вальтер.

Она вынуждена была уступить. Что же ей оставалось делать? Но с того самого дня, когда она, отказавшись поцеловать вернувшуюся дочь, выгнала ее из комнаты, с того самого дня, когда она в ответ на учтивый поклон Дю Руа сказала: «Вы самый низкий человек, которого я только знаю, не обращайтесь ко мне никогда, я не буду вам отвечать»,— с этого дня вся жизнь стала для нее сплошной нестерпимой пыткой. Она возненавидела Сюзанну острой ненавистью: это было сложное чувство, в котором безумная любовь уживалась с мучительной ревностью, необычайной ревностью матери и любовницы, затаенной, жестокой и жгучей, как зияющая рана.

И вот теперь их венчает епископ, венчает ее дочь и ее любовника, венчает в церкви, в присутствии двух тысяч человек, у нее на глазах! И она ничего не может сказать! Не может помешать этому! Не может крикнуть: «Он мой, этот человек, он мой любовник! Вы благословляете преступный союз!»

Некоторые дамы растроганно шептали:

— Как тяжело переживает бедная мать!

— Вы принадлежите к избранным мира сего, к числу самых уважаемых и богатых людей,— разглагольствовал епископ.— Ваши способности, милостивый государь, возвышают вас над толпой, вы пишете, поучаете, наставляете, ведете за собой народ, и на

вас лежит почетная обязанность, вы должны подать благой пример...

Сердце Дю Руа преисполнялось гордости. Все это один из князей римско-католической церкви говорил ему! А у себя за спиной он чувствовал толпу, именитую толпу, пришедшую сюда ради него. У него было такое чувство, будто некая сила толкает, приподнимает его. Он становится одним из властелинов мира — он, он, сын безвестных жителей Кантеле!

И вдруг он ясно представил себе, как его отец и мать в своем убогом кабачке на вершине холма, над широкой руанской долиной, прислуживают своим сородичам. Получив наследство Водрека, он послал им пять тысяч франков. Теперь он пошлет им пятьдесят, и они купят себе именьице. Они будут счастливы и довольны.

Епископ закончил свое напутственное слово. Священник в золотой епитрахили прошел в алтарь. И орган снова принялся восславлять новобрачных.

Порой у него вырывался протяжный, громоподобный вопль, вздымавшийся, как морской вал, такой могучий и такой полнозвучный, что казалось, будто он сейчас поднимет и сбросит кровлю и разольется в небесной лазури. Этот вибрирующий гул наполнял собой храм, повергая в трепет тела и души. Потом он вдруг затихал, и тогда, словно ласковое дуновение ветра, касались слуха легкокрылые нежные звуки. Бездумные, грациозные, они то рассыпались мелкой дробью, то взлетали и порхали, как птицы. И столь же внезапно эта кокетливая музыка, подобно песчинке, которая превратилась бы в целый мир, ширилась вновь и разрасталась в грозную силу, грозную в своем мощном звучании.

Затем над склоненными головами пронеслись человеческие голоса. Это пели солисты Оперы — Ворн и Ландек. Росный ладан струил свое тонкое благоухание, а в алтаре между тем совершалось божественное жертвоприношение: богочеловек по зову своего служителя сходил на землю, дабы освятить торжество барона Жоржа Дю Руа.

Милый друг, стоя на коленях подле Сюзанны, склонил голову. В эту минуту он чувствовал себя поч-

ти верующим, почти набожным человеком, он был полон признательности к божественному провидению, которое так покровительствовало ему и осыпало его столь богатыми милостями. Не сознавая отчетливо, к кому именно он обращается, он благодарил его за свое благоденствие.

Когда служба кончилась, он встал, подал жене руку и проследовал в ризницу. И тут нескончаемой вереницей потянулись к нему поздравители. Жорж был вне себя от радости,— он воображал себя королем, которого приветствует народ. Он кланялся, пожимал руки, бормотал незначащие слова. «Я очень тронут, я очень тронут»,— отвечал он на приветствия.

Вдруг он увидел г-жу де Марель, и едва он вспомнил об их поцелуях, шалостях, ласках, вспомнил звук ее голоса, вкус ее губ,— в его крови тотчас же вспыхнуло страстное желание вновь обладать ею. Она была все так же изящна, красива, и все такие же бойкие, живые были у нее глаза.

«Какая она все-таки очаровательная любовница!» — подумал Жорж.

Слегка оробевшая, настороженная, она подошла к нему и протянула руку. Он задержал ее в своей. В то же мгновение он ощутил несмелый зов ее пальцев, нежное пожатие, прощающее и вновь завлекающее. И он пожимал эту маленькую ручку, как бы говоря: «Я люблю тебя по-прежнему, я твой!»

Они смотрели друг на друга смеющимися, блестящими, влюбленными глазами.

— До скорого свидания, сударь,— проговорила она нежным голоском.

— До скорого свидания, сударыня,— весело ответил он.

И она отошла.

К нему все еще проталкивались поздравители. Толпа текла перед ним рекой. Наконец она поредела. Последние поздравители удалились. Жорж взял Сюзанну под руку и вышел из ризницы.

Церковь была полна народу,— все вернулись на свои места, чтобы посмотреть, как пройдут новобрачные. Дю Руа шел медленно, уверенным шагом, высоко закинув голову и устремив взгляд в лучезарный

проем церковных дверей. По его телу пробегал холодок — холодок безграничного счастья. Он никого не замечал. Он думал только о себе.

Подойдя к выходу, он увидел сгрудившуюся толпу, темную шумящую толпу, пришедшую сюда ради него, ради Жоржа Дю Руа. Весь Париж смотрел на него и завидовал.

Затем, подняв глаза, он различил вдали, за площадью Согласия, палату депутатов. И ему казалось, что он одним прыжком способен перескочить от дверей церкви Мадлен к дверям Бурбонского дворца.

Он медленно спускался по ступенькам высокой паперти, вокруг которой шпалерами выстроились зрители. Но он их не видел. Мысленно он оглядывался назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ г-жи де Марель, поправлявшей перед зеркалом свои кудряшки, которые, пока она лежала в постели, всегда развивались у нее на висках.

ТУАН

ТУАН

I

Его знали все на десять лье в окружности — дядю Туана, толстяка Туана, Туана-Моя-Водочка, Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, кабатчика из Турневана.

Он прославил и всю деревеньку, приютившуюся в овраге, который спускался к морю,— бедную нормандскую деревеньку из десяти крестьянских домиков, окруженных деревьями и канавами.

Эти домишки прятались в овраге, сплошь заросшем травой и кустами, за поворотом, от которого и сама деревушка получила название Турневан [1]. Казалось, домики прятались в этой яме, как птицы в грозу прячутся в глубокие борозды,— прятались от морского ветра, от дыхания морских просторов, крепкого и соленого, которое все разъедает, жжет, как огонь, сушит и убивает, как зимние морозы.

А вся деревушка казалась собственностью Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, которого звали также и Туан-Моя-Водочка за то, что он постоянно твердил одно и то же: «Моя водочка — лучшая во всей Франции».

«Водочкой» он называл, конечно, коньяк.

Уж двадцать лет поил он всю округу своей водочкой и жженкой, и каждый раз, когда посетитель его спрашивал: «Чего бы мне выпить, дядя Туан?» — он

[1] Турневан (Tournevent) — дословно «поворот ветра».

неизменно отвечал: «Жженки, зятек, она и нутро прогреет и мозги прочистит; уж чего полезней для здоровья».

Еще была у него привычка звать всех и каждого «зятек», хотя ни одной дочери — ни замужней, ни на выданье — он не имел.

Да и кто не знал Туана Жженку, первого толстяка во всем кантоне и даже во всей округе! Его домишко казался до смешного низеньким и тесным для такой туши; и когда его видели на пороге дома, где он, бывало, простаивал целыми днями, то удивлялись, как это он пролезает в дверь. Входил же он всякий раз, когда являлся кто-нибудь из потребителей, потому что Туана-Моя-Водочка все обязательно угощали, какая бы ни ставилась выпивка.

На вывеске его кабачка значилось: «Свидание друзей», и дядя Туан действительно был другом всем и каждому в здешних местах. Из Фекана и Монвильe приходили повидаться с ним и повеселиться, слушая его, потому что этот толстяк рассмешил бы и мертвого. Он умел подшутить над людьми так, что они не сердились, умел так подмигнуть глазом, что все было понятно без слов, умел так хлопнуть себя по ляжке в приливе веселья, что поневоле разбирал смех. Поглядеть, как он пьет, и то было любопытно. Он мог пить сколько угодно и что угодно, лишь бы угощали, и его хитрые глаза светились радостью от двойного удовольствия: во-первых, он угощался, а во-вторых, получал за это самое денежки.

Местные шутники спрашивали его:

— А море ты выпил бы, дядя Туан?

Он отвечал:

— Отчего ж; только две причины мешают: во-первых, оно соленое, а во-вторых, не в бутылки же его разливать; а ведь с моим брюхом из такой чашки не напьешься.

А как он ругался с женой! Это надо было послушать. Такая получалась комедия, что никаких денег не жалко. Тридцать лет они были женаты и все тридцать лет переругивались каждый день. Но дядя Туан шутил, а его старуха злилась. Это была высокая плоскогрудая крестьянка с длинными, худыми, как у цапли,

ногами и сердитыми совиными глазами. Она разводила кур во дворе позади кабачка и славилась умением откармливать домашнюю птицу.

Если в Фекане у кого-нибудь из господ обедали гости, то к столу обязательно подавали откормленную мамашей Туан птицу,— без этого и обед был не в обед.

Но характер у нее был скверный: вечно она была не в духе, сердилась на всех вообще, а на своего мужа особенно. За его веселость и за то, что его все любили; за здоровье и за толщину. Она честила его лодырем, потому что деньги ему доставались даром, без всякого труда, и обжорой, потому что он пил и ел за десятерых; дня не проходило, чтобы она не заявляла ему, вне себя от злости:

— Убирался бы ты лучше в свинарник, да и сидел бы там голышом! Глядеть на тебя противно: одно сало.

И кричала ему прямо в лицо:

— Погоди, погоди, вот увидишь, что с тобой будет! Лопнешь, как мешок с зерном, пузырь этакий!

Туан заливался хохотом и отвечал ей, хлопая себя по животу:

— Эх ты, куриная мамаша, жердь сухая, попробуй так откормить свою птицу! Ну-ка, постарайся.

И, засучив рукав на своей толстой руке, говорил:

— Вот это крылышко, мамаша, погляди-ка!

Завсегдатаи кабачка стучали кулаками по столу, корчась от смеха, топали ногами и восторженно сплевывали на пол.

А разъяренная старуха твердила:

— Погоди, погоди, вот увидишь, что будет: лопнешь, как мешок с зерном!

И уходила в бешенстве под дружный смех гостей.

В самом деле, на Туана нельзя было смотреть без смеха, такой он стал красный и толстый, точно надутый. Над такими толстяками смерть как будто потешается, подкрадываясь к ним исподтишка, хитрит и паясничает, придавая им что-то до крайности смешное своей медленной и разрушительной работой. Вместо того чтобы проявить себя, как на других, не таясь, сединой, худобой, морщинами, угасанием сил, всем, что заставляет говорить с содроганием: «Черт возьми, как

он постарел!» — она, негодяйка, забавлялась, наращивая сало, доводя человека до уродливой толщины, раскрашивая его синим и красным, раздувая, как шар, так что вид у него был сверхчеловечески здоровый; она обезобразила дядю Туана, как и все живое, но это безобразие становилось у него не мрачным и зловещим, как у других, а смешным, шутовски забавным.

— Погоди еще, погоди,— твердила мамаша Туан,— вот увидишь, что случится.

II

А случилось то, что дядю Туана хватил удар. Великана уложили на кровать в каморке за перегородкой, чтобы ему было слышно, о чем толкуют в кабачке, и чтобы он мог разговаривать с приятелями; ведь голова у него была по-прежнему светлая, зато тело — громадная туша, такая, что ни поднять, ни повернуть,— было парализовано и оставалось неподвижным. Первое время надеялись, что его толстые ноги будут хоть немного двигаться, но скоро эта надежда пропала, и Туан-Жженка день и ночь лежал в кровати, которую перестилали только раз в неделю, призвав на помощь четверых соседей, и те приподнимали его за руки и за ноги, пока под ним перевертывали тюфяк.

Однако он был весел по-старому, только веселость у него была уже не та: он стал смирнее и боязливее и, как ребенок, боялся жены; а она донимала его целый день:

— Ну вот, достукался, толстый лодырь, лентяй, пьяница негодный! Так тебе и надо, так и надо!

Он уже не отвечал старухе, а только подмигивал у нее за спиной и поворачивался к стене — единственное движение, которое он мог сделать. Это у него называлось «поворот на север» или «поворот на юг».

Главным его развлечением было теперь слушать, о чем толкуют в кабачке, и разговаривать через стенку с приятелями. Когда он узнавал их голоса, то кричал:

— Эй, Селестен, это ты, зятек?

И Селестен Малуазель откликался:

— Я, дядя Туан. Опять, что ли, прыгаешь, жирный кролик?

Туан-Моя-Водочка отвечал:

— Положим, прыгать я пока не прыгаю. Зато и худеть не худею, сундук еще крепкий.

Потом он начал зазывать в каморку близких приятелей, чтоб они составили ему компанию, хотя очень огорчался, глядя, как они пьют без него. Он все твердил:

— Одно плохо, зятек, без моей водочки тоска берет, ей-богу! На все остальное мне плевать, а вот без выпивки — плохо дело.

В окно заглядывала совиная голова мамаши Туан. Старуха поднимала крик:

— Вот поглядите-ка на него, на пузатого лодыря; теперь и корми его, и обмывай, да еще чисти, словно кабана!

Когда старуха уходила, на окно вскакивал рыжий петух, круглым любопытным глазом заглядывал в комнату и громко кукарекал. А не то одна или две курицы подлетали к самой кровати, подбирая с полу хлебные крошки.

Приятели дяди Туана скоро совсем забросили свои места в общей зале и каждый день после обеда собирались потолковать вокруг постели толстяка. Шутник Туан и лежа ухитрялся их развлекать. Этот хитрец самого черта насмешил бы.

Трое завсегдатаев приходили каждый день: Селестен Малуазель, высокий и худой, согнутый, как ствол старой яблони, Проспер Орлавиль, маленький, сухопарый, похожий на хорька, ехидный и хитрый, как лиса, и Сезэр Помель, который всегда молчал, но все-таки веселился.

Со двора приносили доску, клали ее на край постели и садились играть в домино, причем сражались, черт возьми, не на шутку: с двух часов до шести вечера.

Но мамаша Туан была просто невыносима. Она не могла примириться с тем, что ее толстый лодырь развлекается по-прежнему и играет в домино, валяясь в кровати. Только, бывало, старуха увидит, что игра началась, сейчас же ворвется, как бешеная, опрокинет доску, схватит домино и отнесет в кабачок: довольно, мол, с нее и того, что она кормит этого кабана, не же-

лает она больше видеть, как он веселится; нарочно, что ли, он дразнит людей, которые день-деньской работают не покладая рук?

Селестен Малуазель и Сезэр Помель сидели смирно, а Проспер Орлавиль начинал поддразнивать старуху: его забавляло, как она сердится.

Заметив как-то, что она разозлилась сильнее обыкновенного, он ей сказал:

— А знаете, мамаша, что я сделал бы на вашем месте?

Она замолчала, в недоумении уставившись на него своими совиными глазами.

Проспер объяснил:

— Он у вас горячий, как печка, муженек-то ваш, и с кровати не встает. Так вот, я бы его высиживать яйца заставил.

Она остолбенела, вперившись взглядом в хитрую физиономию крестьянина, думая, что он над ней смеется. А тот продолжал:

— Я бы ему положил по пятку яиц под мышку и с одной и с другой стороны в тот самый день, как наседка сядет на яйца. А когда цыплята вылупятся, я бы их отнес к наседке, пускай выхаживает. Вот бы развелось у вас кур, мамаша!

Старуха растерянно спросила:

— А разве это можно?

Тот отвечал:

— Можно. А почему же нельзя? Выводят же цыплят в теплой коробке — значит, и в постели можно вывести.

Она была поражена таким доводом, сразу стихла и ушла, задумавшись.

Неделей позже она принесла Туану полный фартук яиц и сказала:

— Я посадила желтуху на десяток яиц. А вот и тебе десяток. Смотри, не раздави.

Туан не понял ее и спросил:

— Чего тебе надо?

Она отвечала:

— Надо, чтобы ты цыплят высиживал, дармоед.

Сначала Туан засмеялся, но старуха настаивала; он рассердился, заупрямился и наотрез отка-

зался подложить куриные зародыши себе под мышку.

Но разъяренная старуха объявила:

— Пока не возьмешь яйца, никакой еды не получишь. А там видно будет.

Встревоженный Туан промолчал.

Когда часы пробили двенадцать, он позвал ее:

— Эй, мамаша! Суп сварился?

Старуха отозвалась из кухни:

— Нет тебе супа, толстый лентяй.

Он подумал, что жена шутит, и подождал немного, потом стал просить, умолять, ругаться, в отчаянии ворочался то на север, то на юг, стучал кулаком в стенку, но в конце концов покорился судьбе и позволил подложить себе пяток яиц под левый бок. После этого ему дали похлебки. Когда пришли его друзья, они подумали, что ему совсем плохо, такой у него был странный и стесненный вид.

Потом начали, как всегда, играть в домино. Но дяде Туану это, видимо, не доставляло никакого удовольствия, и рукой он двигал еле-еле, с большой осторожностью.

— Рука у тебя привязана, что ли? — спросил Орлавиль.

Туан ответил:

— Да, в плече словно тяжесть какая.

Вдруг в кабачок кто-то вошел. Игроки замолчали.

Это был мэр со своим помощником. Они спросили по рюмочке коньяку и стали разговаривать о местных делах. Они говорили вполголоса. Туан хотел было приложиться ухом к стене и, сделав быстрый поворот на север, устроил себе в постели яичницу.

Он громко выругался; на крик прибежала мамаша Туан и, угадав, что случилось, сдернула с него одеяло. Сначала при виде желтой припарки, облепившей весь бок ее мужа, она остановилась от негодования, как вкопанная, не находя слов. Потом, вся дрожа от ярости, она бросилась на паралитика и принялась колотить его по животу изо всей силы, как бьют вальком белье на пруду. Она молотила кулаками быстро-быстро, с глухим стуком, словно заяц по барабану.

Трое приятелей Туана смеялись до упаду, кашляли,

чихали, охали, а толстяк осторожно защищался от наскоков жены, боясь раздавить яйца, лежавшие с другого бока.

III

Наконец Туан сдался. Ему пришлось высиживать яйца, отказавшись от игры в домино, от всяких движений, потому что за каждое раздавленное яйцо злая старуха морила его голодом.

Он неподвижно лежал на спине, уставившись глазами в потолок, растопырив руки, как крылья, согревая своим телом куриные зародыши в белой скорлупе.

Теперь он говорил всегда шепотом, словно боялся не то что двигаться, а даже шуметь, и все беспокоился о желтой наседке, которая в курятнике несла ту же повинность, что и он.

Он спрашивал у жены:

— Покормили желтуху с вечера?

А старуха переходила от кур к мужу и от мужа к курам, вся поглощенная мыслями о будущих цыплятах, которые высиживались и в постели и в курятнике.

Соседи, которые знали об этой истории, с любопытством заходили в кабачок и степенно справлялись о Туане. Они входили к нему на цыпочках, как к больному, и с участием спрашивали:

— Ну, как дела? Подвигается, что ли?

Туан отвечал:

— Подвигаться-то подвигается, только что-то меня все в жар бросает. И по всему телу мурашки бегают.

Но вот как-то утром старуха вошла к нему в большом волнении и объявила:

— У желтухи семь штук вывелось. Остальные три болтуны.

У Туана забилось сердце. Сколько-то окажется у него?

— А скоро это будет? — спросил он с тревогой, словно женщина, которая собирается родить.

Старуха, боясь неудачи, сердито ответила:

— Надо думать, скоро!

Они стали ждать. Собрались и приятели Туана, которые знали, что срок подходит, и тоже беспокоились.

По всей деревне только об этом и судачили, то и дело бегали справляться у соседей.

Часам к трем Туан задремал. Теперь он спал половину дня. Вдруг его разбудило непривычное щекотание под правым боком. Он протянул туда левую руку, и что-то живое, все в желтом пуху, зашевелилось у него под пальцами.

Он так взволновался, что закричал и выпустил цыпленка, а тот побежал по его груди. В кабачке было полно народу. Все бросились к двери, набились в каморку, окружили кровать Туана, словно палатку фокусника, а прибежавшая старуха осторожно высвободила птенца, который запутался в бороде ее мужа.

Все молчали. День был жаркий, апрельский. В открытое окно было слышно, как желтая наседка клохтаньем сзывала своих новорожденных цыплят.

Туан, весь потный от волнения, тревоги и ожидания, прошептал:

— У меня еще один вот сейчас вывелся, под левым боком.

Жена засунула в постель длинную костлявую руку и вытащила второго цыпленка с ловкостью и осторожностью повивальной бабки.

Соседям захотелось поглядеть на него. Цыпленка передавали из руки в руки, разглядывали его, словно какое-то чудо.

В следующие двадцать минут не вывелось ни одного цыпленка, зато потом сразу вылупилось четыре.

Зрители зашумели. А Туан улыбался, радуясь такой удаче, и начинал гордиться своим необыкновенным отцовством. Ну еще бы, такие, как он, конечно, редкость! Вот уж, правда, выдумщик!

Он объявил:

— Шестеро! Вот так крестины, ей-богу!

Зрители громко расхохотались. В кабачок набились новые посетители. Остальные дожидались своей очереди перед дверьми. Все спрашивали друг у друга:

— Сколько там у него?

— Шесть штук.

Старуха отнесла наседке это новое прибавление семейства, и та отчаянно клохтала, взъерошив перья и растопырив крылья, чтобы укрыть всех своих цыплят.

— Еще один! — закричал Туан.

Однако он ошибся: их оказалось трое! Вот это было торжество! Самый последний вылупился из скорлупы в семь часов вечера. Все яйца оказались хорошие! И Туан, с ума сходя от радости, торжествующе целовал в спинку слабенького птенчика, чуть не задушив его своими губами. Охваченный материнской нежностью к крохотному существу, которому дал жизнь, он хотел было оставить этого цыпленка до завтра у себя в кровати, но старуха и этого отнесла к наседке, не слушая никаких просьб своего мужа.

Восхищенные зрители стали расходиться, обсуждая это событие; один только Орлавиль задержался и, оставшись последним, заметил:

— Послушай-ка, дядя Туан, ты меня первого должен угостить жареными цыплятами.

При мысли о жареном лицо Туана просияло, и толстяк ответил:

— Ну, само собой, угощу, зятек!

ПРИЯТЕЛЬ ПАСЬЯНС

— А что сталось с Лереми?
— Он капитан шестого драгунского полка.
— А Пенсон?
— Помощник префекта.
— А Раколле?
— Умер.

Мы припоминали еще и другие имена, возрождавшие в нашей памяти молодые лица под кепи с золотым галуном. Некоторых из наших товарищей мы встречали впоследствии бородатыми, плешивыми, женатыми, отцами нескольких детей, и эти встречи и перемены вызывали в нас неприятное содрогание, доказывая нам, что жизнь коротка, что все проходит, что все меняется.

Мой друг спросил:

— А Пасьянс, толстяк Пасьянс?

Я чуть не взвыл:

— О-о, послушай-ка, что я тебе расскажу про него! Года четыре — пять тому назад я был в инспекционной командировке в Лиможе. Сидя за столом перед большим кафе на Театральной площади, я ждал обеденного времени и порядком скучал. Входили коммерсанты, по двое, по трое, по четверо, выпить абсента или вермута, громко толковали о своих и чужих делах, неистово хохотали или, понизив голос, сообщали друг другу важные и щекотливые новости.

Я думал: «Чем бы заняться после обеда?» И мне представился долгий вечер в этом провинциальном городке, медленная и унылая прогулка по незнакомым улицам, удручающая тоска, охватывающая одинокого путешественника, когда мимо него проходят люди, чуждые ему всем, решительно всем — провинциальным фасоном пиджака, шляпы и брюк, местными привычками и говором,— непреодолимая тоска, исходящая также от домов, от лавок, от странных экипажей, от повседневных, но непривычных звуков; мучительная тоска, которая заставляет вас ускорять шаг, словно вы заблудились в опасном месте, которая гнетет, внушает желание поскорей добраться до гостиницы. Но в номерах этой отвратительной гостиницы застоялось множество подозрительных запахов, постель вызывает чувство недоверия, а на дне умывального таза виднеется чей-то волос, прилипший вместе с пылью.

Я думал обо всем этом, глядя, как зажигают газ, и чувствуя, что тоска одиночества возрастает во мне с наступлением сумерек. Чем мне заняться после обеда? Я был одинок, совсем одинок, безнадежно заброшен.

За соседний столик уселся толстый мужчина и крикнул громовым голосом:

— Гарсон, мою водку!

«Мою» прозвучало, как пушечный выстрел. Я тотчас понял, что все в жизни принадлежит этому человеку, именно ему, а не другому, что у него, черт возьми, свой нрав, свой аппетит, свои штаны, все свое — в точном, абсолютном и более полном, чем у кого бы то ни было, смысле слова. Затем он с удовольствием огляделся вокруг. Ему подали «его» водку, а он крикнул:

— Мою газету!

Я подумал: «Какая же газета может быть его газетой?» Название изобличит, конечно, его мнения, взгляды, принципы, предрассудки, наивные упования.

Ему принесли «Тан». Я удивился. Почему «Тан» — газету серьезную, однообразную, доктринерскую, уравновешенную?

«Значит, это человек рассудительный, строгих нра-

вов, с установившимися привычками — словом, истинный буржуа»,— подумал я.

Он надел на нос золотые очки, уселся поудобнее и, прежде чем приняться за чтение, снова бросил взгляд на окружающих. Он заметил меня и принялся разглядывать так упорно, что мне стало не по себе. Я уже хотел было спросить у него о причине такого внимания, как вдруг он закричал, не сходя с места:

— Черт побери, да ведь это же Гонтран Лардуа!

Я ответил:

— Да, сударь, вы не ошиблись.

Тогда он вскочил и бросился ко мне с распростертыми объятиями:

— Старина! Как поживаешь?

Я был очень смущен, так как не узнавал его. Я пробормотал:

— Очень хорошо, благодарю вас.

Он расхохотался:

— Бьюсь об заклад, что ты меня не узнаешь!

— Да, не совсем... Однако... мне кажется...

Он хлопнул меня по плечу:

— Ну, ничего, ничего! Я — Пасьянс, Робер Пасьянс, твой товарищ, твой однокашник.

Тут я узнал его. Да, Робер Пасьянс, мой школьный товарищ. Верно! Я пожал протянутую руку.

— А ты хорошо живешь?

— Я — превосходно!

Его улыбка сияла торжеством.

Он спросил:

— Ты зачем сюда?

Я объяснил, что нахожусь в командировке в качестве податного инспектора.

Он сказал, указывая на мой орден:

— Значит, преуспеваешь?

Я ответил:

— Да, недурно. А ты?

— О, я — великолепно!

— Чем занимаешься?

— Делами.

— Деньгу зашибаешь?

— И немалую. Я разбогател. Да приходи ко мне

завтра, в полдень, на улицу Поющего Петуха, дом семнадцать. Посмотришь, как я живу, а затем вместе позавтракаем.

Он замялся на мгновение, потом добавил:

— Ты все такой же славный малый, как прежде?

— Да... надеюсь по крайней мере.

— Не женат, не правда ли?

— Не женат.

— Тем лучше. И по-прежнему любишь веселье и картошку?

Он начинал казаться мне удручающе пошлым. Тем не менее я ответил:

— Ну да.

— И хорошеньких девочек?

— Что касается этого, безусловно, да!

Он засмеялся добродушным, довольным смешком.

— Тем лучше, тем лучше. Помнишь наше первое похождение в Бордо, когда мы отправились ужинать в кабачок Рупи? Вот кутеж-то закатили!

Этот «кутеж» я хорошо помнил; воспоминание о нем меня развеселило. За этим случаем пришли на память многие другие; мы говорили:

— А помнишь, как мы заперли классного наставника в подвале дядюшки Латока?

Пасьянс хохотал, колотил кулаком по столу, поддакивал:

— Да, да, да... А помнишь, какую рожу скорчил учитель географии Марен, когда мы запустили петарду в карту полушарий, пока он разглагольствовал о вулканах?

Вдруг мне пришло в голову спросить:

— А ты-то женат?

Он завопил:

— Женат, уж целых десять лет женат, дорогой мой, и у меня четверо детей, чудесные малыши! Но ты сам увидишь и ребят и мать.

Мы разговаривали громко; соседи оборачивались и с удивлением разглядывали нас.

Вдруг мой приятель вынул часы, хронометр величиною с тыкву, и вскричал:

— Черт побери! Очень досадно, а все-таки нужно расстаться: у меня дело.

Он встал, взял меня за руки, потряс их так, словно хотел совсем оторвать, и сказал:

— Значит, завтра в двенадцать! Решено?

— Решено.

Утро я провел за работой у главного департаментского казначея. Он оставлял меня завтракать, но я ответил, что приглашен к товарищу. Ему тоже надо было куда-то пойти, и мы вышли вместе.

Я спросил у него:

— Не знаете ли, где улица Поющего Петуха?

Он ответил:

— Недалеко, минут пять отсюда. Мне не к спеху, я вас провожу.

И мы двинулись в путь.

Вскоре мы дошли до улицы, которую я искал. Она была широкая, довольно красивая; за нею начинались поля. Я посмотрел на дома и сразу заметил № 17. Это был своего рода особняк, окруженный садом. Фасад, разукрашенный фресками в итальянском духе, показался мне аляповатым. Виднелись склоненные над урнами богини; прелести некоторых из них были прикрыты облачками. Два каменных амура поддерживали дощечку с номером дома.

Я сказал казначею:

— Мне сюда.

И протянул ему на прощание руку. Он сделал какое-то странное, порывистое движение, однако ничего не сказал и пожал мне руку.

Я позвонил. Появилась горничная. Я спросил:

— Здесь живет господин Пасьянс?

Она ответила:

— Здесь, сударь... Вы желаете видеть его самого?

— Ну разумеется.

Прихожая тоже была расписана; живопись, по-видимому, принадлежала кисти какого-нибудь местного художника. Поль и Виржини обнимались под сенью пальм, залитых розовым светом. Под потолком висел отвратительный восточный фонарь. В прихожую выходило несколько дверей, замаскированных яркими обоями.

Но что меня особенно поразило — так это запах. Какой-то тошнотворный запах духов, напоминающий и

рисовую пудру и плесень погреба. Тяжелый воздух, пропитанный этим неописуемым запахом, дурманил, как в бане, где все полно испарениями человеческих тел. Я поднялся вслед за горничной по мраморной лестнице, устланной ковром в восточном вкусе; меня ввели в роскошную гостиную.

Оставшись один, я огляделся вокруг.

Комната была обставлена богато, но с претензиями распутного выскочки. Гравюры минувшего века, довольно, впрочем, хорошие, изображали женщин с высокими напудренными прическами, полуголых и застигнутых мужчинами в пикантных позах. Одна женщина, нежась на широкой измятой постели, играла ножкою с собачонкой, утопавшей в одеялах; другая мягко сопротивлялась своему возлюбленному, рука которого прокралась к ней под юбки. На одном из рисунков были изображены четыре ноги, и по их положению легко было догадаться о позах людей, скрытых занавесом. Вся просторная комната, уставленная мягкими диванами, была насквозь пропитана тем расслабляющим, приторным запахом, который поразил меня внизу. Чем-то двусмысленным веяло от стен, от материй, от преувеличенной роскоши — от всего решительно.

Я заметил за окном деревья и подошел, чтобы взглянуть на сад. Сад был большой, тенистый, великолепный. Широкая дорожка огибала лужайку с фонтаном, рассыпáвшим в воздухе брызги, потом пряталась среди деревьев, потом снова появлялась дальше. И вдруг вдали, в самой глубине сада, меж рядов кустарника, показались три женщины. Они были одеты в длинные белые капоты, пышно отделанные кружевами, и медленно шли, взявшись за руки. Две из них были блондинки, третья — брюнетка. Мгновение спустя они скрылись за деревьями. Я замер в волнении, в восторге перед этим мимолетным, восхитительным явлением, оживившим во мне целый мир поэзии. Они едва мелькнули среди листвы в эффектном освещении в глубине таинственного, чарующего парка. Предо мною вдруг предстали прекрасные дамы минувшего века, гуляющие под сенью листвы, те прекрасные дамы, непринужденную любовь которых изображали развешанные по стенам галантные

Худ. В. Роттанбур. 1903. «ТУАН».

Худ. В. Роттанбур. 1903. «ПАПАША МОНЖИЛЕ».

гравюры. И я задумался о счастливой, цветущей, остроумной и милой эпохе, когда нравы были так легки, а губы так уступчивы.

Громкий голос заставил меня подскочить на месте. Вошел Пасьянс, сияя и протягивая мне руки.

Он заглянул мне в глаза с тем таинственным видом, с каким обычно сообщают любовные секреты, и широким, округлым жестом — наполеоновским жестом — указал на свою роскошную гостиную, на парк, на трех женщин, снова показавшихся вдали, и торжествующим голосом, в котором звучала гордость, сказал:

— И подумать только, с какой малости я начал... с жены да свояченицы.

ПРИДАНОЕ

Никто не удивился женитьбе мэтра Симона Лебрюман на мадмуазель Жанне Кордье. Мэтр Лебрюман только что купил нотариальную контору мэтра Папийона; для покупки, разумеется, требовались деньги, а у мадмуазель Кордье было триста тысяч франков наличными в банковых билетах и в ценных бумагах на предъявителя.

Мэтр Лебрюман был красавец мужчина и обладал известным шиком, шиком нотариуса, шиком провинциальным, но, как бы то ни было, шиком, а это редкость в Бутиньи-ле-Ребур.

Мадмуазель Кордье отличалась грацией и свежестью, грацией немного топорной и свежестью немного грубоватой, но, в общем, она была красивая девушка, предмет вожделений и поклонения.

Их свадьба перевернула вверх дном весь Бутиньи.

Все восторгались новобрачными; они же поспешили укрыть свое счастье под супружеским кровом, решив просто-напросто совершить небольшое путешествие в Париж после нескольких дней уединения.

Это уединение было очаровательно: мэтр Лебрюман проявил на первых порах удивительную ловкость, деликатность и чуткость по отношению к жене. «Умение выжидать — лучший путь к цели» — таков был его девиз. Он сумел быть одновременно и терпеливым и решительным. Успех был быстрый и полный.

Четыре дня спустя г-жа Лебрюман уже обожала своего мужа. Она не могла более обходиться без него, ей необходимо было весь день держать его подле себя, ласкать его, целовать, теребить за руки, за бороду, за нос и так далее. Она садилась к нему на колени и, взяв его за уши, говорила: «Открой рот и закрой глаза». Он доверчиво открывал рот, прикрывал глаза и получал отменно нежный, отменно долгий поцелуй, от которого у него по спине пробегали мурашки. И ему тоже не хватало ласк, не хватало губ, не хватало рук, не хватало всего себя, чтобы выражать жене свои чувства с утра до вечера и с вечера до утра.

Когда миновала первая неделя, он сказал своей юной подруге:

— Если хочешь, поедем в Париж во вторник. Мы будем вести себя, как любовники, а не как супруги: будем ходить по ресторанам, по театрам, кафешантанам — всюду, всюду.

Она запрыгала от радости:

— Да! Да! Поедем как можно скорее!

Он добавил:

— Кстати, не надо забывать о делах; предупреди своего отца, пусть он держит приданое наготове: я захвачу его с собою и заодно расплачусь с мэтром Папийоном.

Она ответила:

— Я скажу ему завтра утром.

И он сжал ее в объятиях, возобновляя ту нежную игру, которая так полюбилась ей за истекшую неделю.

В следующий вторник тесть и теща провожали на станции дочь и зятя, уезжавших в столицу.

Тесть говорил:

— Уверяю вас: это неосторожно—везти столько денег в портфеле.

Но молодой нотариус улыбался

— Не беспокойтесь, папаша, я к этому привык. Сами понимаете, при моей профессии приходится иногда держать при себе чуть не миллион. Благодаря этому мы

по крайней мере избегаем множества формальностей и проволочек. Не беспокойтесь.

Станционный служащий объявил:

— Пассажиры на Париж! Занимайте места!

Они бросились в вагон; там оказались две пожилые дамы.

Лебрюман прошептал жене на ухо:

— Какая досада, не придется покурить!

Она ответила чуть слышно:

— Мне тоже очень досадно, только по другой причине.

Поезд засвистел и тронулся. Переезд длился час, но супруги разговаривали мало, так как старушки не спали.

Как только они очутились на площади вокзала Сен-Лазар, мэтр Лебрюман сказал жене:

— Если хочешь, дорогая, съездим сначала на бульвар позавтракать, а потом не спеша вернемся на вокзал за багажом и отправимся в гостиницу.

Она тотчас же согласилась:

— Конечно, поедем завтракать в ресторан! Это далеко?

— Да, довольно далеко, но мы сядем в омнибус.

Она удивилась:

— А почему не взять фиакр?

Он стал шутливо журить ее:

— Так-то ты экономишь? Фиакр на пять минут, по шести су за минуту — какая широкая натура!

— Правда! — сказала она, немного смутившись.

Приближался большой омнибус, запряженный тремя лошадьми. Лебрюман закричал:

— Кондуктор! Эй, кондуктор!

Тяжелая карета остановилась. И молодой нотариус, подсаживая жену, сказал ей скороговоркой:

— Входи внутрь, а я заберусь наверх, хоть одну папироску выкурю до завтрака.

Она не успела ответить; кондуктор взял ее под руку, помог подняться на ступеньку, втолкнул внутрь, и она, растерявшись, повалилась на скамью, с недоумением глядя в заднее окошко на ноги мужа, карабкавшегося на империал.

Потом она замерла в неподвижности между толстым господином, пахнувшим табаком, и старушкой, пахнувшей псиной.

Все остальные пассажиры, молча сидевшие в ряд,— лавочник, работница, сержант-пехотинец, господин в золотых очках и шелковом цилиндре с огромными полями, загнутыми в виде водосточных желобов, две хмурые и важные дамы, которые всем своим видом словно говорили: «Мы, правда, находимся здесь, но заслуживаем лучшего общества»,— две сестры милосердия, девушка без шляпки и факельщик — все они казались собранием карикатур, музеем гротесков, вереницей шаржей на человеческие лица и напоминали шеренгу тех смешных паяцев, по которым стреляют в ярмарочных тирах.

Толчки омнибуса слегка встряхивали их, раскачивали им головы, отчего их дряблые щеки дрожали; грохот колес их одурманивал, и они казались придурковатыми, сонными.

Молодая женщина была подавлена.

«Почему он не сел со мною вместе?» — думала она. Ее томила смутная грусть. Право, он мог бы отказаться от своей папироски.

Сестры милосердия знаком попросили остановиться, затем одна за другою вышли, распространяя затхлый запах старых юбок.

Поехали дальше, потом снова остановились. Вошла багровая, запыхавшаяся кухарка. Она уселась и поставила себе на колени корзинку с провизией. В омнибусе запахло кухонными очистками.

«Однако это дальше, чем я предполагала»,— подумала Жанна.

Факельщик вылез, и его заменил кучер, благоухавший конюшней. Девушку без шляпки сменил рассыльный, от ног которого исходил аромат его беготни.

Жене нотариуса было не по себе, ее мутило, она готова была расплакаться, сама не зная почему.

Еще несколько человек слезло, несколько вошло. Омнибус все катил по бесконечным улицам, останавливался в определенных местах, отправлялся дальше.

«Как далеко! — думалось Жанне.— Только бы он не пропустил остановки, не заснул бы! Он очень устал за последние дни».

Постепенно вышли все пассажиры. Она осталась одна, совсем одна. Кондуктор крикнул:

— Вожирар.

Так как она не двинулась с места, он повторил:

— Вожирар!

Она взглянула на него, поняв, что возглас относится к ней, раз кругом больше никого нет. Кондуктор в третий раз сказал:

— Вожирар!

Тогда она спросила:

— Где мы?

Он сердито ответил:

— Да в Вожираре мы, черт побери! Я уже раз двадцать кричал вам.

— Это далеко от бульвара? — спросила она.

— Какого бульвара?

— Ну, от Итальянского.

— Давно проехали!

— Ах! Скажите об этом, пожалуйста, моему мужу.

— Мужу? А где он?

— На империале.

— На империале? Да там давным-давно ни души нет.

Она всплеснула руками.

— Как так? Не может быть! Он сел вместе со мною. Посмотрите получше, он, конечно, там.

Кондуктор начал фамильярничать:

— Ну, крошка, довольно болтать; один потерялся — десяток других найдется. Проваливайте. Хватит. На улице сыщете нового.

У нее выступили на глазах слезы; она настаивала:

— Вы ошибаетесь, сударь, уверяю вас, вы ошибаетесь. У него под мышкой был толстый портфель.

Кондуктор расхохотался:

— Толстый портфель? Да, верно! Он сошел возле Мадлен. Нечего сказать, ловко он от вас отделался. Хо! Хо! Хо!

Карета остановилась. Она вышла и невольно, ин-

стинктивно бросила взгляд на крышу омнибуса. Там было совершенно пусто.

Тогда она громко расплакалась и, не думая о том, что ее слышат и смотрят на нее, пролепетала:

— Что теперь со мною будет?

Подошел контролер:

— Что случилось?

Кондуктор ответил с насмешкой:

— Да вот дамочку супруг бросил по дороге.

Тот ответил:

— Ладно, пустяки. Займитесь своим делом.

И отошел.

Тогда она побрела куда глаза глядят; от волнения, от испуга она не могла понять, что с нею стряслось. Куда идти? Что делать? Что с ним случилось? Чем объяснить такую оплошность, такую забывчивость, такое недоразумение, такую невероятную рассеянность?

В кармане у нее было два франка. К кому обратиться? И вдруг ей вспомнился ее кузен Барраль, столоначальник морского министерства.

Денег хватало как раз на фиакр, и она велела везти себя к кузену. Она встретила его у подъезда: он отправлялся на службу. Так же, как и у Лебрюмана, у него под мышкой был толстый портфель.

Она выскочила из экипажа.

— Анри! — воскликнула она.

Он в недоумении остановился.

— Жанна?.. Здесь?.. Одна?.. Что с вами, откуда вы?

Глаза ее были полны слез, она пролепетала:

— Мой муж пропал.

— Пропал? Где же?

— Только что, в омнибусе.

— В омнибусе? О-о!

И она, плача, рассказала ему о случившемся.

Он выслушал ее в раздумье, потом спросил:

— А утром он был вполне в здравом уме?

— Да.

— Так! Много было при нем денег?

— Да. Он вез с собою мое приданое.

— Приданое?.. Целиком?

— Целиком... чтобы уплатить за контору.

— Ну, дорогая кузина, значит, ваш муж в настоящую минуту катит по направлению к Бельгии.

Она бормотала, все еще не понимая:

— Мой муж... Как вы сказали?

— Я говорю, что он украл ваше... ваш капитал... вот и все.

Она еле выговорила, задыхаясь:

— Значит... значит... он негодяй?

Потом, не помня себя от потрясения, она припала к жилетке кузена и зарыдала.

Прохожие стали останавливаться, глазея на них, поэтому он тихонько повел ее к парадному и, поддерживая за талию, помог ей подняться наверх. Когда изумленная горничная открыла дверь, он распорядился:

— Софи, сбегайте в ресторан, принесите завтрак на двоих. На службу я сегодня не пойду.

МУЖЧИНА-ПРОСТИТУТКА

Как часто приходится слышать: «Он очарователен, этот человек, но он — проститутка, настоящая проститутка!»

Так говорят о мужчине-проститутке, язве нашей страны.

Ибо все мы во Франции — мужчины-проститутки: переменчивы, капризны, бессознательно вероломны, непоследовательны в своих убеждениях и стремлениях, порывисты и слабы, как женщины.

Но, конечно, из всех мужчин-проституток более всего возмутителен парижанин и завсегдатай бульваров, у которого внешний лоск интеллектуальности более подчеркнут и в котором соединены все чары и все недостатки прелестных распутниц, усиленные мужским темпераментом.

Наша палата депутатов наводнена мужчинами-проститутками. Они образуют здесь большую партию обаятельных оппортунистов, которых можно бы назвать «сиренами». Это те, которые управляют при помощи сладких слов и лживых обещаний, которые умеют пожимать руки так, чтобы привязать к себе сердца, умеют особым, проникновенным тоном говорить полузнакомым людям: «Дорогой друг»,— менять мнения, даже не замечая этого, воспламеняться любой новой идеей, быть искренними в своих убеждениях — убеждениях флюгера, столько же обманывать самого себя, сколько и других, и забывать на другой день все то, что они утверждали накануне.

Газеты полны мужчин-проституток. Пожалуй, там их больше всего, но там они и всего нужнее. Впрочем, несколько органов печати представляют исключение, например, «Деба» и «Газетт де Франс».

Правда, всякий хороший журналист должен быть немного проституткой, то есть предоставлять себя в распоряжение публики, быть достаточно гибким, чтобы бессознательно следовать за всеми оттенками ходячих мнений, быть уклончивым и разнообразным, скептическим и доверчивым, злым и самоотверженным, балагуром и г-ном Прюдомом, увлекающимся и насмешливым, всегда быть убежденным, не веря ни во что.

Иностранцы, наши антитипы, по выражению г-жи Абель, настойчивые англичане и тяжеловесные немцы, смотрят и до скончания века будут смотреть на нас с некоторым изумлением, не лишенным презрения. Они считают нас легкомысленными. Но это не то: мы проститутки. И вот почему нас любят, несмотря на наши недостатки, вот почему к нам снова возвращаются, несмотря на то, что о нас злословят: это ссоры влюбленных!..

Мужчина-проститутка, каким вы встречаете его в свете, так привлекателен, что покоряет вас уже после пятиминутной беседы. Он расцветает улыбкой, как будто только для вас; невольно думается, что именно ради вас его голос приобретает особенно любезные интонации. При расставании с ним вам кажется, что вы знакомы уже лет двадцать. Вы готовы дать ему взаймы денег, если он попросит. Он вас очаровал, как женщина.

Если он поступает по отношению к вам сомнительным образом, то и тогда вы не в состоянии питать к нему вражду, до того он мил при новой встрече! Он извиняется? Да вы готовы сами у него просить прощения! Он лжет? Да вы никогда не поверите этому! Он без конца водит вас за нос, никогда не выполняя своих обещаний? Но вы так признательны ему за одни лишь обещания, словно он перевернул весь мир, чтобы вам услужить!

Восхищаясь чем-нибудь, он так проникновенно выражает свой восторг, что его слова западают вам в душу. Вчера он обожал Виктора Гюго, а сегодня назы-

вает его дураком. Он готов был драться на дуэли за Эмиля Золя, но изменяет ему ради Барбэ д'Оревильи. И, восхищаясь, он уже не допустит никаких оговорок и готов закатить вам пощечину за малейшее возражение; когда же он начинает презирать, то нет пределов его пренебрежению, и он не внемлет никаким протестам.

В общем, он ровно ничего не понимает.

Прислушайтесь к разговору двух девок:

— Так ты поругалась с Джулией?

— Еще бы, я надавала ей здоровых оплеух.

— А что она тебе сделала?

— Она сказала Полине, что я тринадцать месяцев в году зубы на полку кладу. А Полина передала это Гонтрану. Понимаешь?

— Ведь вы жили вместе на улице Клозель?

— Мы вместе жили целых четыре года на улице Бреда, а потом поссорились из-за пары чулок, она сказала, что я надела ее шелковые чулки, знаешь, те чулки, которые она купила у тетки Мартен, а это неправда. Тогда я задала ей взбучку. После этого она от меня съехала. С полгода тому назад я повстречалась с ней, и она попросила меня к ней переехать, потому что она сняла себе загон вдвое больше, чем ей нужно.

Не дослушав, вы проходите мимо.

Но в следующее воскресенье, когда вы едете в Сен-Жермен, к вам в вагон входят две молодые женщины. Вы сразу же узнаете в одной из них врага Джулии. Кто же другая? Да это сама Джулия.

И вы слышите воркованье, нежные словечки, всякие планы: «А скажи, Джулия... А послушай, Джулия» и так далее.

Мужчине-проститутке свойственна дружба того же рода. В течение трех месяцев он неразлучен со своим старым Жаком, дорогим Жаком. Только один Жак и есть на свете. Он один обладает остроумием, здравым смыслом, талантом. Он один представляет собою нечто в Париже. Их повсюду встречают вместе, они вместе обедают, вместе ходят по улицам и каждый вечер раз десять провожают друг друга от дверей одного до дверей другого, все не решаясь расстаться.

Спустя три месяца попробуйте заговорить с ним о Жаке.

— Вот уж прохвост, вот мерзавец, вот негодяй! Раскусил я его теперь, будьте покойны! Нет в нем ни капли честности, ни малейшей воспитанности, и так далее, и так далее.

Проходит еще три месяца, и они опять живут вместе, но в одно прекрасное утро вы узнаете, что они дрались на дуэли, а затем, проливая слезы, целовались на месте поединка.

Они, впрочем, лучшие друзья в мире, хотя и проводят половину года в смертельной ссоре, изливая один на другого то клевету, то безмерную нежность, то пожимают друг другу руки, так что кости хрустят, то готовы распороть друг другу брюхо из-за неверно понятого слова.

Отношения мужчин-проституток неустойчивы, их настроения и чувства подвержены неожиданным скачкам, мгновенным переходам от ликования к унынию, от любви — к ненависти, от преклонения — к равнодушию, потому что в конце концов у них и натура проститутки, и привлекательность проститутки, и темперамент проститутки; все их чувства походят на любовь проститутки.

Они обращаются со своими друзьями, как распутницы со своими собачками.

Обожаемого песика то целуют самозабвенно, кормят сахаром, укладывают к себе в постель на подушку, а то вдруг вышвырнут из окна в минуту раздражения или вертят в воздухе, как пращу, держа за хвост; то душат в объятиях, то без всякой причины окунают в ведро с холодной водой.

А какое удивительное зрелище представляет собою взаимная любовь подлинной проститутки и мужчины-проститутки! Он ее лупит, она его царапает, они не выносят, терпеть не могут друг друга — и не могут расстаться, потому что их связывают какие-то неведомые, таинственные сердечные узы. Она его обманывает, и он, зная это, рыдает и прощает. Он разделяет с нею ложе, оплачиваемое другим, и совершенно искренне убежден в своей безупречности. Он обожает и презирает ее, не замечая того, что она была бы вправе платить ему таким же презрением. Они оба жестоко мучают друг друга, но оба не в силах расторгнуть свою

связь: с утра до вечера они перебрасываются множеством оскорблений и упреков, чудовищных обвинений, а затем, до крайности возбужденные, дрожа от бешенства и ненависти, падают друг другу в объятия, сливая в страстном поцелуе трепещущие губы и души распутниц.

Мужчина-проститутка и храбр и труслив в одно и то же время, он, более чем кто-либо другой, обладает преувеличенным чувством чести, но ему недостает простой честности, а при известных обстоятельствах он проявит слабость и наделает подлостей, совершенно не отдавая себе в том отчета: ведь он без контроля повинуется колебаниям своей мысли, подверженной постоянным увлечениям.

Обмануть поставщика кажется ему вполне позволительным и чуть ли не обязательным. Не платить долги, с его точки зрения, почетно, кроме карточных долгов, то есть несколько сомнительных; при известных условиях, допускаемых законами света, он способен и смошенничать; нуждаясь в деньгах, он будет занимать их всеми средствами и не постесняется надуть заимодавца; но в то же время он готов в искреннем порыве негодования убить ударом шпаги всякого, кто заподозрил бы его в малейшей непорядочности.

УСЫ

Замок Соль, 30 июля 1883 года.

Дорогая Люси, ничего нового. Мы проводим жизнь в гостиной, глядя, как идет дождь. В такую ужасную погоду никуда не выйдешь, а потому мы занялись спектаклями. Ах, милочка, до чего глупы теперешние салонные пьесы! Все в них натянуто, грубо, тяжеловесно. Шутки напоминают пушечные ядра, уничтожающие все на своем пути. Ни остроумия, ни естественности, ни добродушия и ни капли изящества! Писатели, право, совершенные невежды! Они понятия не имеют о том, как в нашем кругу мыслят и говорят. Я охотно прощаю им презрение к нашим обычаям, нашим условностям, нашим манерам, но не прощаю того, что они вовсе их не знают. Чтобы казаться изысканными, они прибегают к игре слов, способной рассмешить разве что солдат в казарме; чтобы казаться веселыми, преподносят нам остроты, подобранные на высотах Внешних бульваров, в так называемых артистических пивных, где уже пятьдесят лет повторяют все одни и те же студенческие парадоксы.

Как бы то ни было, мы устраиваем спектакли. Женщин у нас только две, а поэтому мой муж взял на себя роли субреток и ради этого сбрил усы. Ты не поверишь, дорогая Люси, как это его преобразило! Я не узнаю его... ни днем, ни ночью. Если бы он тотчас же не стал их отращивать снова, я, кажется, изменила бы ему, до такой степени он мне не нравится бритым.

Право, мужчина без усов — уже не мужчина. Я не особенная поклонница бороды; она почти всегда придает неряшливый вид, но усы,— о, усы на мужском лице совершенно необходимы! Нет, ты и представить себе не можешь, до какой степени эта маленькая щеточка над губой приятна для глаз и... полезна для... супружеских отношений. На этот счет мне пришла в голову уйма соображений, которыми я не решаюсь поделиться с тобой в письме. Я охотно сообщила бы тебе их... на ушко. Но так трудно найти слова, чтобы выразить некоторые мысли, а иные слова, которые ничем не заменишь, становятся на бумаге до того гадкими, что я не решаюсь их написать. Вдобавок вопрос это такой сложный, такой щекотливый, такой скользкий, что нужно тончайшее искусство, чтобы рискнуть подойти к нему.

Словом, если ты меня не поймешь, делать нечего. Но все-таки постарайся, дорогая, прочесть кое-что между строк.

Да, когда муж пришел ко мне бритый, я сразу поняла, что никогда не почувствую слабости ни к актеру, ни к проповеднику,— будь то хоть отец Дидон, самый привлекательный из всех! А позже, когда я очутилась с ним (с моим супругом) наедине, получилось еще того хуже. О, дорогая Люси, никогда не позволяй целовать себя безусому мужчине; его поцелуи совсем безвкусны, совсем, совсем! Пропадает вся прелесть, вся мягкость и... пикантность, да, пикантность настоящего поцелуя. Усы — необходимая приправа.

Представь, что тебе прикладывают к губам пергамент — сухой или влажный. Вот поцелуй бритого мужчины. Тут не из-за чего стараться!

В чем же очарование усов, спросишь ты? Как знать? Во-первых, усы восхитительно щекочут. Их ощущаешь прежде, чем губы, и тогда по всему телу, до самых пяток, пробегает сладостная дрожь. Именно: усы ласкают, вызывают содрогание и мурашки на коже и приводят нервы в тот упоительный трепет, от которого издаешь коротенькое «ах», как от внезапного холода.

А на шее! Да, чувствовала ли ты когда-нибудь прикосновение усов к своей шее? Это ощущение пьянит, пронизывает судорогой, опускается по спине, сбегает к

кончикам пальцев, заставляет извиваться, подергивать плечами, запрокидывать голову; хочется и убежать и остаться; это восхитительно-волнующе! Упоительно!

К тому же... но, право, я не решаюсь... Любящий муж, любящий, что называется, как следует, умеет находить уйму таких местечек для нежных поцелуев, таких уголков, о которых сама бы и не подумала. Так вот без усов и эти поцелуи очень много теряют во вкусе, не говоря уже о том, что они становятся почти неприличными! Объясняй это как знаешь! Что касается меня, то я нашла этому следующее объяснение. Губа без усов кажется голой, как тело без одежды, а ведь одежда всегда нужна — хоть в самом небольшом количестве, а все-таки нужна!

Создатель (я не смею воспользоваться другим словом, говоря о подобных вещах), создатель позаботился о том, чтобы прикрыть все тайники нашего тела, где должна таиться любовь. Сбрить усы — это, по-моему, все равно, что срубить рощу вокруг родника, из которого можно напиться и возле которого приятно отдохнуть.

Это напоминает мне фразу одного государственного деятеля — она уже три месяца не выходит у меня из головы. Мой муж всегда следит за газетами, и как-то вечером он прочел мне очень странную речь министра земледелия, которым был тогда г-н Мелин. Занимает ли он по-прежнему этот пост? Не знаю.

Я не слушала чтения, но эта фамилия — Мелин меня поразила. Она почему-то напомнила мне «Сцены из жизни богемы». Я вообразила, что речь идет о какой-то гризетке. Вот отчего некоторые отрывки из этой речи и засели у меня в голове. А г-н Мелин, помнится, держал речь к жителям Амьена и заявил,— смысла этой фразы я долго не могла доискаться: «Без земледелия нет любви к отечеству!». Так вот теперь мне стал ясен смысл этих слов, и я тебе, в свою очередь, заявляю, что без усов нет любви. Послушать — это звучит смешно, не правда ли?

Без усов нет любви!

«Без земледелия нет любви к отечеству»,— утверждал г-н Мелин; министр был прав, теперь я вполне его понимаю!

Хоть и с совсем иной точки зрения, но усы так же необходимы. Усы определяют внешность. Они придают вид ласковый, нежный, порывистый, мрачный, разгульный, решительный. У бородатого мужчины,— действительно бородатого, такого, который совсем не бреет растительности (у-у, противное слово!),— никогда не бывает тонко очерченного лица, потому что контуры его скрыты. А ведь всякому, кто умеет видеть, рисунок челюстей и подбородка говорит многое.

Мужчина же с усами сохраняет присущее ему своеобразие и изящество.

А какие разные бывают усы! Одни закручены, завиты, кокетливы. Сразу видно, что такие больше всего на свете любят женщин.

Другие остроконечны, угрожающи, заострены, как иглы. Эти предпочитают вино, лошадей и сражения.

Третьи огромны, ниспадают вниз, пугают. За такими усищами обычно скрывается превосходный характер, доброта, граничащая с слабоволием, и кротость, доходящая до застенчивости.

Помимо всего прочего, усы мне нравятся уже тем, что в них есть что-то французское, подлинно французское. Они достались нам от наших предков — галлов — и всегда были выражением нашего национального духа.

Усы хвастливы, галантны, молодцеваты. Они мило увлажняются вином и умеют изящно хохотать, тогда как широкие, заросшие волосами щеки при всех обстоятельствах бывают неуклюжи.

Знаешь, мне помнится один случай, он вызвал у меня горючие слезы и, как я теперь понимаю, научил меня любить усы.

Это произошло во время войны в папином имении. Я тогда еще была не замужем. Однажды возле нашего замка произошла стычка. С самого утра я слышала, как стреляли из пушек и ружей, а вечером к нам явился прусский полковник и остался у нас ночевать. На другой день он уехал. Папе доложили, что в окрестных полях лежит много убитых. Он распорядился подобрать их и перенести в наш парк, чтобы похоронить в братской могиле. Их приносили и укладывали по сторонам длинной еловой аллеи; от них уже шел нехороший

запах, поэтому их слегка засыпали землей, пока не будет вырыта общая могила. Виднелись только головы с закрытыми глазами, словно вылезавшие из земли и желтые, как она сама.

Мне захотелось взглянуть на них; но, увидев эти два ряда страшных лиц, я почувствовала себя дурно. Потом я принялась разглядывать их одно за другим, стараясь угадать, кем были эти люди в жизни.

Мундиры были засыпаны, скрыты под землей, и все-таки я сразу — да, дорогая, сразу же — узнавала французов по усам!

Некоторые из них побрились в самый день сражения, словно им хотелось быть красивее до последней минуты! Все же борода у них немного отросла,— знаешь, она ведь растет и после смерти. Другие, по-видимому, не брились уже целую неделю; но как бы то ни было, у всех у них были французские усы, особенные, горделивые, которые словно говорили: «Не смешивай меня, крошка, с моим бородатым соседом; я тебе брат».

И я плакала. О, я не плакала бы так, не узнай я этих бедных мертвецов по усам!

Зря я тебе это рассказала. Теперь мне взгрустнулось, и я уже не могу больше болтать. Итак, прощай, дорогая Люси; целую тебя от всего сердца. Да здравствуют усы!

Жанна.

С подлинным верно:

Ги де Мопассан.

КОЙКА № 29

Когда капитан Эпиван проходил по улице, все женщины оборачивались. Это был действительно красавец-гусар. И поэтому он постоянно рисовался, выступал спесиво, всецело занятый собой, гордый своими ляжками, талией, усами. Впрочем, усы, талия и ляжки были у него поистине восхитительные. Усы — белокурые, очень густые, в виде воинственного жгута цвета спелой ржи, но жгута тонкого, тщательно закрученного и спускавшегося двумя мощными, дерзкими побегами. Талия у него была тонкая, словно он носил корсет, а грудь — широкая, могучая, выпуклая, как и подобает статному самцу. Ляжки его были великолепны: настоящие ляжки гимнаста или танцора; малейшие движения мускулов вырисовывались под облегающим их красным сукном рейтуз.

Он шагал, пружиня икры, раздвигал ноги и руки, чуть раскачиваясь, щеголяя кавалерийской походкой, которая так выгодно выделяет ноги и торс и кажется победоносной при мундире, но вульгарной при сюртуке.

Подобно многим офицерам, капитан Эпиван не умел носить штатское платье. Как только он одевался в серое или черное сукно, он казался просто приказчиком. Зато в мундире был неотразим. К тому же у него было красивое лицо, тонкий нос с горбинкой, голубые глаза, узкий лоб. Правда, он был плешив и никак не мог понять, отчего у него лезут волосы. Однако он утешался сознанием, что большие усы не так уж плохо идут к слегка оголенной голове.

Он презирал решительно всех, но в его презрении было множество оттенков.

Так, обыватели для него вовсе не существовали. Он смотрел на них, как на животных, уделяя им внимания не более, чем курам или воробьям. Одни только офицеры представляли для него интерес в мире; но не все офицеры пользовались у него одинаковым почетом. В общем, он уважал среди них только красавцев, так как единственное подлинное достоинство военного усматривал в хорошей осанке. Солдат, черт побери, должен быть молодцом, рослым молодцом, созданным для войны и любви, человеком властным, мужественным и сильным,— вот и все. Он классифицировал генералов французской армии, исходя из их роста, выправки и суровости лица. Бурбаки казался ему величайшим военачальником нового времени.

Он потешался над пехотными офицерами, толстыми коротышками, задыхающимися при ходьбе; но особенное, непреодолимое презрение, граничившее с отвращением, он чувствовал к заморышам, окончившим Политехническую школу, к этим плюгавым, тщедушным человечкам в очках, неловким и неуклюжим, которым, по его словам, так же пристало носить мундир, как кролику служить обедню. Он возмущался, что в армии терпят этих тонконогих недоносков, которые ползают, как крабы, не пьют, мало едят и, кажется, предпочитают уравнения красивым девушкам.

Капитан Эпиван пользовался у женщин неизменным успехом, постоянно одерживал победы.

Когда он ужинал в обществе женщины, то всегда был уверен, что завершит с нею ночь наедине, на общем ложе, а если непреодолимые препятствия не давали ему возможности одержать победу в тот же вечер, он не сомневался, что «продолжение последует» на другой день. Товарищи избегали знакомить его со своими любовницами, а торговцы, у которых за прилавком стояли красивые жены, хорошо знали его, опасались и яростно ненавидели.

Когда он проходил, лавочница невольно обменивалась с ним через витрину взглядом, да таким, который говорил больше, чем самые нежные слова: в нем выражался и призыв, и ответ, и влечение, и признание.

А муж, предупрежденный неким инстинктом, резко оборачивался и бросал бешеный взгляд на горделивый и стройный силуэт офицера. Когда же капитан, улыбающийся и довольный произведенным впечатлением, удалялся, торговец, с раздражением перебирая расставленный на прилавке товар, негодовал:

— Вот индюк! Когда же перестанут кормить этих дармоедов, которые только и знают, что бренчат своими жестянками по тротуарам? По мне уж лучше мясник, чем солдат. Если у мясника фартук запачкан кровью, так по крайней мере кровью скотины; мясник хоть пользу приносит; нож, который у него подвешен к поясу, не для того предназначен, чтобы убивать людей. Не понимаю, как только позволяют этим душегубам таскать повсюду свое смертоносное оружие! Без них не обойтись — знаю; но уж хоть бы прятали их, а не одевали, как на маскарад, в красные штаны да синие куртки. Не наряжают же палача генералом!

Жена, не отвечая, незаметно пожимала плечами, а муж хоть и не видел, но угадывал это и восклицал:

— Только дура может любоваться, как хорохорятся эти типы!

Так или иначе, но молва о капитане Эпиване, великом покорителе сердец, разносилась по всей французской армии.

И вот в 1868 году его полк, 102-й гусарский, перевели в Руан для несения гарнизонной службы.

Вскоре капитан стал известен всему городу. Каждый вечер, часов около пяти, он появлялся на бульваре Буаельдье, направляясь в кафе «Комедия» выпить абсента, но перед тем как войти туда, неизменно прохаживался по бульвару, чтобы покрасоваться своими ногами, талией и усами.

Руанские коммерсанты, которые прогуливались по аллее, заложив руки за спину, озабоченно толкуя о повышении и падении цен, все же бросали на него взгляд и восхищались:

— Черт возьми, вот красавец!

Потом, уже зная, кто это такой, они стали говорить:

— А, вот и капитан Эпиван! Молодчина, что ни говори!

Женщины при встрече с ним как-то странно вертели головой и стыдливо вздрагивали, словно слабея перед ним или чувствуя себя раздетыми. Они слегка склоняли шею, и на губах у них появлялась тень улыбки; им хотелось, чтобы капитан Эпиван нашел их прелестными, хотелось привлечь его взгляд. Когда он прогуливался с товарищем, тот всякий раз завистливо и ревниво думал, видя неизменное повторение этих ужимок:

«И везет же, черт побери, этому Эпивану!»

Среди руанских содержанок из-за него разгорелось настоящее состязание, борьба. Все они появлялись к пяти часам, к офицерскому часу, на бульваре Буаельдье и, волоча юбки, ходили парами от одного конца бульвара до другого, а лейтенанты, капитаны и майоры, перед тем как зайти в кафе, тоже расхаживали по двое, волоча по тротуару сабли.

И вот, как-то вечером, красавица Ирма,— как говорили, любовница г-на Тамплие-Папона, богатого фабриканта,— остановила свой экипаж возле «Комедии», якобы намереваясь купить бумаги или заказать визитные карточки у гравера Поляра, а на самом деле лишь для того, чтобы пройти мимо столиков, где сидели офицеры, и бросить капитану Эпивану взгляд, столь ясно говоривший: «Когда хотите», что полковник Прюн, который пил со своим адъютантом зеленый абсент, не удержался и проворчал:

— Ах, скотина! И везет же этому молодцу!

Слова полковника были подхвачены, и на другой день капитан Эпиван, польщенный высокой похвалой, прошелся несколько раз подряд в полной форме под окном красавицы.

Она его заметила, выглянула, улыбнулась.

В тот же вечер он стал ее любовником.

Они везде бывали вместе, подчеркивали свои отношения, компрометировали друг друга, и оба гордились таким романом.

В городе только и речи было, что о связи красавицы Ирмы с офицером. Один г-н Тамплие-Папон ничего не знал.

Капитан Эпиван сиял, торжествуя, и поминутно говорил:

— Ирма сказала мне... Ирма говорила мне прошлой ночью... Вчера, когда я обедал с Ирмой...

Больше года носился он со своей связью, щеголял ею по всему Руану, выставлял ее напоказ, словно захваченное у неприятеля знамя. Ему казалось, что благодаря этой победе он вырос, зная, что ему завидуют, он чувствовал большую уверенность в будущем, уверенность в получении креста, столь желанного, ибо все взоры были сосредоточены на нем, а ведь достаточно быть на виду, чтобы тебя не забыли.

Но вот вспыхнула война, и полк капитана одним из первых был отправлен на границу. Прощание было тяжелое. Оно длилось целую ночь.

Сабля, красные рейтузы, кепи, доломан соскользнули со стула на пол; платье, юбки, шелковые чулки тоже упали и печально валялись на ковре вперемежку с форменной одеждой; в комнате был разгром, словно после сражения; Ирма, непричесанная, в безумном отчаянии обвивала руками шею офицера, обнимала его, потом, выпустив, каталась по полу, опрокидывала стулья, рвала бахрому с кресел, кусала их ножки. А капитан, глубоко растроганный, ничем не мог утешить ее и только твердил:

— Ирма, малютка, крошка моя, ничего не поделаешь, так надо!

И порою смахивал пальцем набежавшую слезу.

Они расстались на рассвете. Она проводила возлюбленного в экипаже до первого привала. А в минуту разлуки обняла его почти на глазах у всего полка. Все нашли даже, что это очень мило, очень уместно, очень прилично, и товарищи, пожимая капитану руку, говорили:

— Ах ты, чертов счастливчик! Как-никак, а у малютки доброе сердце.

Они, право, увидели в этом нечто патриотическое.

За время кампании полку пришлось испытать многое. Капитан вел себя геройски и наконец получил

крест; затем, когда война кончилась, он вернулся в руанский гарнизон.

Тотчас же по возвращении он стал справляться об Ирме, но никто не мог дать ему точных сведений.

Одни говорили, что она кутила с прусскими штабными офицерами.

По словам других, она уехала к родителям — крестьянам в окрестностях Ивето.

Он даже посылал в мэрию своего денщика справиться в списке умерших. Имени его любовницы там не оказалось.

Он очень горевал и щеголял своим горем. Даже отнес свое несчастье за счет врага, приписывая исчезновение Ирмы пруссакам, занимавшим одно время Руан.

— В следующей войне я с ними, мерзавцами, сосчитаюсь! — заявлял он.

Но вот однажды утром, когда он входил в офицерскую столовую к завтраку, старик-рассыльный в блузе и клеенчатой фуражке подал ему письмо. Он распечатал его и прочел:

«Любимый мой!

Я лежу в больнице; я очень, очень больна. Не придешь ли меня навестить? Я была бы так рада!

Ирма».

Капитан побледнел и в порыве жалости проговорил:

— Черт побери, бедная девочка! Пойду сейчас же после завтрака.

И за завтраком он все время рассказывал, что Ирма в больнице, но что он ее оттуда выцарапает, будьте покойны! Это опять-таки вина проклятых пруссаков. Она, вероятно, осталась одна, без единого су, подыхала с голоду, потому что пруссаки, несомненно, разграбили ее обстановку.

— Ах, скоты!

Все взволновались, слушая его.

Всунув сложенную салфетку в деревянное кольцо, капитан поспешно встал, снял с вешалки саблю и, выпятив грудь, чтобы талия стала тоньше, застегнул

портупею, потом быстрым шагом отправился в городскую больницу.

Он надеялся беспрепятственно проникнуть в больничное здание, однако его категорически отказались впустить, и ему даже пришлось обратиться к полковому командиру, объяснить положение дела и взять у него записку к главному врачу. Врач, продержав красавца-капитана некоторое время в приемной, выдал ему наконец разрешение, но попрощался с ним сухо и поглядел на него укоризненно.

В этой обители нищеты, страдания и смерти капитану уже с самого порога стало не по себе. Его сопровождал санитар.

Чтобы не шуметь, капитан шел на цыпочках по длинным коридорам, в которых стоял противный запах плесени, болезней и лекарств. Глубокую тишину больницы лишь изредка нарушал чей-то шепот.

Иногда капитан различал в приотворенную дверь палаты длинный ряд кроватей, где под одеялами вырисовывались тела. Выздоравливающие женщины сидели на стульях в ногах своих коек и шили; на них были больничные серые холщовые платья и белые чепцы.

Вдруг проводник остановился возле одной из этих густонаселенных палат. На двери виднелась крупная надпись: «Сифилис». Капитан вздрогнул и почувствовал, что краснеет. У двери, на маленьком деревянном столике, сиделка приготовляла лекарство.

— Я вас провожу,— сказала она,— это двадцать девятая койка.

И она пошла впереди офицера.

Потом указала ему на одну из коек:

— Вот!

На кровати виднелось лишь слегка вздымавшееся одеяло. Даже голова была спрятана под простыней.

Со всех сторон над подушками появлялись бледные, удивленные лица, смотревшие на мундир, лица женщин молодых и старых, по казавшихся одинаково уродливыми и грубыми в убогих больничных балахонах.

Капитан совсем смутился и стоял, одной рукою прихватив саблю, а в другой держа кепи; потом прошептал:

— Ирма.

В постели произошло резкое движение, и затем показалось лицо его возлюбленной, но до того изменившееся, до того усталое, до того исхудавшее, что он его не узнавал.

Она залепетала, задыхаясь от волнения:

— Альбер!.. Альбер... Это ты!.. О, как хорошо... как хорошо...

И слезы потекли из ее глаз.

Сиделка принесла стул.

— Садитесь, сударь.

Он сел и стал смотреть на жалкое, бледное лицо девушки, которую покинул такой красивой и свежей.

— Что с тобой? — спросил он.

Она ответила, плача:

— Ты ведь видел; на двери написано.

И закрыла глаза краем простыни.

Он растерялся и смущенно спросил:

— Как же ты это подцепила, бедняжка?

Она прошептала:

— Это всё пакостники-пруссаки. Они взяли меня почти силой и заразили.

Он не находил больше, что сказать. Смотрел на нее и вертел на коленях кепи.

Другие больные разглядывали его, а он, казалось, слышал запах гниения, запах разлагающихся тел и позора, витавший в этой палате, полной проституток, пораженных мерзкой и страшной болезнью.

Она прошептала:

— Я уж, наверно, не выкарабкаюсь. Доктор говорит, что мое положение очень серьезно.

Потом, увидев на груди офицера крест, она воскликнула:

— Ах, ты получил орден, как я рада! Как я рада! Ах, если бы можно было тебя поцеловать!

При мысли об этом поцелуе по телу капитана пробежала дрожь отвращения и ужаса.

Ему захотелось уйти, быть на воздухе, не видеть больше этой женщины. Но он сидел, не решаясь встать и проститься. Он пробормотал:

— Ты, должно быть, не лечилась?

В глазах Ирмы блеснуло пламя:

— Нет, я хотела отомстить за себя, хоть бы мне пришлось и сдохнуть от этого! И я тоже заражала их, всех, всех, сколько было в моих силах. Пока они были в Руане, я не лечилась.

Он сказал смущенным тоном, в котором, однако, проскальзывала шутливая нотка:

— Вот это ты делала правильно.

Она оживилась, раскраснелась:

— О да, несомненно, не один умрет благодаря мне! Уверяю тебя, я им отомстила!

Он еще раз подтвердил:

— Очень хорошо!

Потом, вставая, сказал:

— Ну, мне пора; к четырем я должен быть у командира полка.

Она заволновалась:

— Уже? Ты уже уходишь? Ведь ты только вошел!..

Но он во что бы то ни стало хотел уйти. Он произнес:

— Ты видишь: я пришел сейчас же, но в четыре мне непременно надо быть у командира.

Она спросила:

— У вас все тот же полковник Прюн?

— Да, все он же. Он был дважды ранен.

Она спросила еще:

— Из товарищей твоих кто-нибудь убит?

— Да. Погибли Сен-Тимон, Саванья, Поли, Сапреваль, Робер, де Курсон, Пазафиль, Санталь, Караван и Пуаврен. У Саэля оторвало руку, а Курвуазену раздробило ногу; Паке потерял правый глаз.

Она слушала с глубоким вниманием. Потом вдруг прошептала:

— Слушай, поцелуй меня на прощание. Госпожи Ланглуа ведь нет.

И, несмотря на поднявшееся в нем отвращение, он приложился губами к ее бледному лбу, в то время как она, обняв его, покрывала безумными поцелуями синее сукно доломана.

Потом она промолвила:

— Ты придешь еще? Скажи, придешь? Обещай прийти!

— Хорошо, обещаю.
— Когда? В четверг можешь?
— Хорошо, в четверг.
— В четверг, в два часа.
— Хорошо. В четверг, в два часа.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Прощай, дорогой мой!
— Прощай.

И он ушел, сконфуженный обращенными на него взглядами всей палаты, сгорбив свой высокий стан, чтобы казаться поменьше. Выйдя на улицу, он вздохнул с облегчением.

Вечером товарищи спросили:
— Ну что? Как Ирма?
Он смущенно ответил:
— У нее воспаление легких, она очень плоха.

Но один молокосос-лейтенант, почуяв что-то неладное, отправился на разведку, и на другой день, когда капитан вошел в собрание, его встретили взрывом смеха и шуток. Наконец-то можно ему отомстить!

Помимо того, стало известно, что Ирма напропалую кутила с прусскими штабными офицерами, что она разъезжала верхом по всей округе с полковником голубых гусаров, да и со многими другими, и что в Руане ее теперь зовут не иначе, как «пруссачкой».

Целую неделю капитан был посмешищем полка. Он получал по почте красноречивые рецепты, указания, к каким обратиться докторам, даже лекарства, особое назначение которых было указано на обертке.

А полковник, которого обо всем осведомили, строго заявил:

— Милое, значит, знакомство было у капитана! Поздравляю его!

Недели полторы спустя Ирма опять вызвала его письмом. Он в бешенстве разорвал письмо и ничего не ответил.

Через неделю она написала ему, что совсем плоха и хотела бы проститься с ним.

Он не ответил.

Еще через несколько дней к нему явился больничный священник.

Девица Ирма Паволен при смерти и умоляет его прийти.

Он не посмел отказаться и последовал за священником, но вошел в больницу с чувством ожесточенной злобы, оскорбленного тщеславия, униженной гордости.

Он не нашел в ней никакой перемены и подумал, что она обманула его.

— Что тебе от меня надо? — спросил он.

— Хотела проститься с тобой. Говорят, я долго не протяну.

Он не поверил.

— Послушай, из-за тебя я стал посмешищем всего полка; надо этому положить конец!

Она спросила:

— Что ж я тебе сделала?

Он рассердился, не зная, что возразить.

— Не рассчитывай, что я опять приду сюда: я не желаю, чтобы надо мной потешались!

Она посмотрела на него потухшими глазами, но в них вдруг вспыхнула злоба, и она повторила:

— Что я тебе сделала? Может быть, я была с тобою недостаточно ласкова? Разве я у тебя когда-нибудь чего-нибудь просила? Если бы не ты, я жила бы с господином Тамплие-Папоном и не валялась бы теперь здесь. Знаешь, уж кому-кому упрекать меня в чем, только не тебе.

Он возразил с дрожью в голосе:

— Я и не упрекаю, но я не могу больше тебя навещать, потому что ты опозорила весь город своим поведением с пруссаками.

Она порывисто поднялась и села на постели.

— Своим поведением с пруссаками? Но говорю же тебе, что они завладели мной силою, говорю тебе, что не лечилась я только потому, что хотела заразить их. Если бы я хотела вылечиться,— это труда не составило бы, черт побери! Я решила губить их и наверняка многих сгубила!

Он все стоял.

— Как бы то ни было, это позор,— сказал он.

У нее даже захватило дух, потом она проговорила:

— В чем позор? В том, что я уничтожала их? А теперь из-за этого умираю? Не так ты говорил, когда приходил ко мне на улицу Жанны д'Арк. Ах, так это позор? А вот тебе бы не сделать этого, хоть ты и с орденом! Я заслужила его больше, чем ты; слышишь, больше! И пруссаков я уничтожила больше, чем ты!

Он изумленно смотрел на нее, дрожа от негодования.

— Ах, так? Замолчи... Знаешь... замолчи... Таких вещей... я не позволю... касаться...

Но она не слушала его:

— Подумаешь, много вреда вы причинили пруссакам! Разве могло бы все это случиться, если бы вы их не пустили в Руан, скажи на милость? Это вы должны были не пускать их, слышишь! А я сделала им больше вреда, чем ты, да, больше, чем ты, и вот умираю, а ты разгуливаешь и красуешься, чтобы кружить голову женщинам!..

Со всех коек поднялись головы, все глаза устремились на человека в мундире, который бормотал:

— Замолчи... слушай, замолчи лучше...

Но она не умолкала. Она кричала:

— Да, хорош ты, ломака! Поняла я тебя теперь! Поняла! Говорю тебе, я навредила им больше, чем ты, убила их больше, чем весь твой полк... Убирайся... трус!

Он и сам уходил, почти убегал, шагая крупным шагом меж двух рядов коек, где копошились сифилитички. И ему слышался преследующий его хриплый, свистящий голос Ирмы:

— Больше, чем ты, да, больше, чем ты! Я уничтожила их больше...

Он кубарем скатился с лестницы и побежал домой, чтобы никого не видеть.

На другой день он узнал, что она умерла.

ПОКРОВИТЕЛЬ

Он никогда и не мечтал о такой блестящей карьере! Как множество ему подобных, Жан Марен, сын провинциального судебного исполнителя, приехал в Париж, чтобы в Латинском квартале пройти курс юридических наук. В пивных, которые он поочередно и усердно посещал, он сдружился с несколькими краснобаями-студентами, любителями потолковать о политике за кружкой пива. Он восхищался ими, упорно следовал за ними из одного кафе в другое, а когда бывал при деньгах, даже платил за них.

Потом он стал адвокатом и занялся ведением дел, которые обычно проигрывал. Но вот как-то утром он узнал из газет, что один из его прежних приятелей по Латинскому кварталу избран депутатом.

Он снова сделался его верным псом, другом из числа тех, на кого взваливают неприятные поручения и хлопоты, за кем посылают, когда в том оказывается надобность, и с кем вообще не стесняются. Но случилось так, что благодаря парламентской интриге депутат превратился в министра. Полгода спустя Жан Марен был назначен государственным советником.

На первых порах его обуяла такая гордость, что он совсем потерял голову. Он расхаживал по улицам ради удовольствия показать себя, словно по одному его виду можно было догадаться о его высоком звании. По самым незначительным поводам он ухитрялся за-

являть лавочникам, у которых покупал что-нибудь, газетчикам и даже извозчикам:

— В качестве государственного советника я...

Как следствие его важного положения, как профессиональная неизбежность, как долг могущественного и великодушного человека, у него, естественно, родилась властная потребность покровительствовать. Он с неиссякаемой щедростью предлагал поддержку всем на свете, пользуясь любым предлогом.

Встретив где-нибудь на бульваре знакомого, он подходил к нему с восторженным видом, жал ему руки, справлялся о здоровье, а потом, не дожидаясь вопросов, объявлял:

— Знаете, я ведь государственный советник, и я весь к вашим услугам. Если могу быть чем-нибудь полезен, располагайте мною без стеснения. В моем положении можно многое сделать.

И он заходил с повстречавшимся приятелем в кафе, требовал перо, чернил и почтовой бумаги: «Один листок, голубчик, мне только рекомендацию написать».

Таких рекомендаций он писал по десять, двадцать, пятьдесят в день. Он писал их в Американском кафе, у Биньона, у Тортони, в Мэзон Дорэ, в кафе Риш, у Эльдера, в Английском кафе, в Неаполитанском — всюду, всюду. Он писал всем должностным лицам Республики, начиная с мировых судей и кончая министрами. И он был счастлив, вполне счастлив.

Однажды утром, когда он вышел из дому и отправился в Государственный совет, стал накрапывать дождь. Г-н Марен хотел было нанять извозчика, но раздумал и пошел пешком.

Дождь все усиливался, вода залила тротуары, затопила мостовую. Г-ну Марену пришлось укрыться в подъезде. Там уже стоял какой-то священник — седовласый старик. До того как сделаться государственным советником, г-н Марен недолюбливал духовенство. Но с тех пор как один кардинал учтиво спросил его совета в каком-то запутанном деле, он стал относиться к церкви с уважением. Дождь лил как из ведра, и, чтобы спастись от брызг, аббату и советнику

Худ. В. Роттанбур. 1903. «КОМНАТА № 11».

Худ. Жаннио. «КОИКА № 29».

Худ. В. Роттанбур. 1903. «ИСПОВЕДЬ ТЕОДЮЛЯ САБО».

пришлось отступить в самую глубь подъезда, к швейцарской. Г-н Марен, которого по обыкновению подмывало поговорить и похвастаться, сказал:

— Какая скверная погода, господин аббат!

Старик кивнул головой:

— Да, да, сударь, и особенно это неприятно для тех, кто приезжает в Париж всего лишь на несколько дней.

— А вы из провинции?

— Да, сударь, я здесь проездом.

— Конечно, очень неприятно приехать в столицу на несколько дней и попасть в дожди. Вот мы, чиновники, живем здесь круглый год, так нас это мало беспокоит.

Аббат не ответил. Он смотрел на улицу; ливень стихал. Наконец, решившись, аббат подобрал сутану, как женщины, переходя лужу, подбирают юбку.

Видя, что он уходит, г-н Марен воскликнул:

— Вы промокнете насквозь, господин аббат. Подождите еще несколько минут, дождь сейчас пройдет.

Старик в нерешительности остановился, потом возразил:

— Видите ли, я очень тороплюсь. У меня важное дело.

Г-н Марен был явно огорчен.

— Но вы промокнете буквально до нитки. Позвольте спросить, в какую сторону вы направляетесь?

Кюре, казалось, смутился, потом произнес:

— Я иду по направлению к Пале-Роялю.

— В таком случае разрешите, господин аббат, предложить вам укрыться под моим зонтиком. Я иду в Государственный совет. Я государственный советник.

Старик поднял глаза, поглядел на соседа и сказал:

— Благодарю вас, сударь, и с удовольствием принимаю ваше предложение.

Тогда г-н Марен взял старика под руку и повел его. Он руководил им, следил за ним, давал советы.

— Осторожнее, тут канавка, господин аббат. Берегитесь экипажей, колеса иной раз обдают грязью с ног до головы. Остерегайтесь пешеходов с зонтами. Нет ничего опасней для глаз, чем острые спицы зонтов. Особенно несносны женщины: они не считаются ни с

чем и постоянно, и в дождь и в пекло, тычут вам спицами прямо в лицо. Да и вообще-то они ни о ком не беспокоятся. Можно подумать, что город — их собственность. Они царствуют на тротуарах и мостовых. Я лично считаю, что женское воспитание у нас сильно хромает.

И г-н Марен захохотал.

Кюре не отвечал. Он шел слегка сгорбившись, тщательно выбирая, куда ступить, чтобы не испачкать обуви и сутаны.

Г-н Марен продолжал:

— Вы, вероятно, приехали в Париж немного поразвлечься?

Старичок ответил:

— Нет, у меня дело.

— А! И важное дело? Разрешите спросить, в чем оно заключается? Если я могу быть вам полезен, я всецело к вашим услугам.

Кюре замялся, потом пробормотал:

— О, это небольшое дело личного характера. Маленькая размолвка... с епископом. Вам оно не будет интересно. Это... это — дело внутреннее... чисто церковное.

Г-н Марен старался услужить:

— А ведь Государственный совет как раз занимается подобными делами. В таком случае располагайте мною.

— Да, сударь, в Государственный совет я и иду. Вы бесконечно добры. Мне надо повидаться с господином Лерепрэром и господином Савоном, а, пожалуй, также и с господином Петипа.

Г-н Марен круто остановился.

— Но ведь это же мои приятели, господин аббат, лучшие мои приятели, прекрасные товарищи, чудные люди! Я дам вам рекомендации ко всем троим — и самые горячие рекомендации. Рассчитывайте на меня.

Кюре стал благодарить, рассыпался в извинениях, бормотал умильные слова признательности.

Г-н Марен был в восторге.

— Ну, вы можете похвалиться, что вам на редкость повезло, господин аббат! Вот увидите, вот увидите, благодаря мне ваше дело пойдет как по маслу.

Они дошли до Государственного совета. Г-н Марен пригласил священника к себе в кабинет, предложил ему кресло, усадил перед камином, а сам сел за письменный стол и принялся строчить:

«Дорогой коллега, позвольте самым искренним образом рекомендовать вам почтеннейшего и достойнейшего пастыря, господина аббата...»

Он остановился и спросил:

— Простите, как ваша фамилия?

— Сентюр.

Г-н Марен продолжал писать:

«...господина аббата Сентюра, нуждающегося в вашем благосклонном содействии в небольшом деле, о котором он вам расскажет.

Рад воспользоваться случаем, чтобы выразить вам, дорогой коллега...»

И он закончил письмо обычными приветствиями.

Написав три письма, он вручил их своему протеже, и тот удалился после нескончаемых изъявлений благодарности.

Г-н Марен пробыл в присутствии положенное время, вернулся домой, спокойно провел вечер, безмятежно спал, утром проснулся в прекрасном настроении и велел подать газеты.

Газета, которую он развернул первой, была органом радикалов. Он прочел:

НАШЕ ДУХОВЕНСТВО И НАШИ ЧИНОВНИКИ

Злоупотреблениям духовенства, видимо, никогда не будет конца. Некий священник по имени Сентюр, уличенный в заговоре против правительства, обвиненный во многих недостойных поступках, о которых мы предпочитаем умолчать, заподозренный вдобавок и в том, что он бывший иезуит, перекрасившийся в простого священника, был отрешен епископом от должности по причинам, которые, как утверждают, неудобно оглашать, а затем вызван в Париж для дачи объяснений. Но тут он нашел пылкого защитника в лице некоего Марена, государственного советника; последний,

не смущаясь, дал этому преступнику в сутане рекомендательные письма ко всем своим коллегам, чиновникам Республики.

Обращаем внимание министра на недопустимый образ действия этого государственного советника...

Г-н Марен вскочил с постели, наскоро оделся и побежал к своему коллеге Петипа, который сказал ему:

— Да вы с ума сошли! Присылаете ко мне этого старого заговорщика!..

Ошалевший г-н Марен пролепетал:

— Да нет же... видите ли... я был введен в заблуждение... У него такой почтенный вид... он меня надул... надул самым недостойным образом. Прошу вас: осудите его, осудите построже, как можно строже. Я сейчас же напишу... Скажите, кому надо написать, чтобы его осудили? Я обращусь к прокурору, к парижскому архиепископу — да, да, к архиепископу...

И, поспешно сев за стол г-на Петипа, он написал:

«Монсиньор, имею честь довести до сведения Вашего преосвященства, что я стал жертвою козней и лжи некоего аббата Сентюра, который обманул мое доверие...

Будучи введен в заблуждение уверениями этого священника, я...»

Подписав и запечатав письмо, он обернулся к своему коллеге и провозгласил:

— Пусть это послужит вам уроком, друг мой: никогда никому не давайте рекомендаций!

БОМБАР

Симон Бомбар часто находил, что жизнь — довольно дрянная штука. Он от рождения был одарен невероятной способностью ничего не делать и неумеренной жаждой следовать этому призванию. Всякое усилие, моральное или физическое, всякий шаг ради какого-нибудь дела казались ему невыполнимыми. Стоило ему услышать разговор на серьезную тему — и он сразу становился рассеянным, потому что его ум не был способен к напряжению и даже к вниманию.

Он был сыном владельца модного магазина в Канне и до двадцати пяти лет прожил, не ведая ни трудов, ни забот, как говорили в его семье.

Но так как его родители всегда были ближе к разорению, чем к богатству, он ужасно страдал от безденежья.

Рослый, дородный, видный малый, с рыжими баками в нормандском вкусе, румяный, голубоглазый, глупый и веселый, с уже заметным брюшком, он одевался крикливо-элегантно, как провинциальный жуир. По всякому поводу он хохотал, кричал, жестикулировал, выставляя напоказ с самоуверенностью коммивояжера свою шумливую жизнерадостность. Он полагал, что жизнь создана исключительно для кутежей и забав, и, если ему приходилось обуздывать свою болтливую веселость, он впадал в какое-то сонливое одурение, но не был способен грустить.

Нужда в деньгах постоянно донимала его, и он частенько повторял фразу, которая стала знаменитой в кружке его знакомых:

— За десять тысяч франков ренты я готов пойти в палачи.

Каждый год он ездил на две недели в Трувиль — «проводить сезон», по его выражению.

Он располагался у родственников, которые уступали ему комнату, и с первого дня прибытия до дня отъезда только и делал, что гулял по дощатым мосткам, настланным вдоль обширного песчаного пляжа.

Он выступал уверенным шагом, заложив руки в карманы или за спину, всегда в просторном костюме, светлом жилете и ярком галстуке, сдвинув шляпу набекрень и попыхивая дешевой сигарой, торчавшей в уголке рта.

Он шел, стараясь коснуться элегантных дам, меряя взглядом мужчин, с вызывающим видом молодца, всегда готового затеять драку, и он искал... искал... упорно искал.

Он искал женщину, уповая в этих поисках на свою наружность, на свои физические качества. Он говорил себе:

— Черт возьми! Среди такой кучи женщин, которые сюда ездят, найду же я наконец то, что меня устроит!

И он искал чутьем охотничьей собаки, чутьем нормандца, в глубокой уверенности, что с первого же взгляда распознает ту, которая сделает его богатым.

Однажды в понедельник утром он пробормотал про себя:

— Вот-вот-вот!

Был великолепный день, один из тех июльских желтых и синих дней, когда хочется сказать, что жара струится дождем. Обширный пляж, усеянный людьми, пестрел женскими туалетами и напоминал цветник, а рыбачьи лодки с бурыми парусами, почти неподвижные на синей воде, отражавшей их вверх ногами, казалось, дремали на солнышке, таком ярком в

десять часов утра. Они стояли против деревянной набережной — одни близко, другие подальше, а иные совсем далеко,— не шевелясь, словно разомлели в истоме летнего дня, словно им лень было выйти в открытое море или хотя бы вернуться в порт. А дальше, сквозь дымку тумана, смутно виднелся берег Гавра с двумя белыми точками на его верхнем гребне — маяками Сент-Адрес.

Он сказал себе: «Вот-вот-вот!», когда встретил ее в третий раз и почувствовал на себе ее взгляд, призывный взгляд зрелой, опытной и смелой женщины.

Он заметил ее еще в предыдущие дни, потому что и она, казалось, тоже кого-то искала. Это была англичанка, довольно высокая, немного сухопарая, одна из тех смелых англичанок, которых путешествия и обстоятельства превратили в своего рода мужчину. Впрочем, она была недурна собою, двигалась уверенной, быстрой походкой, одевалась просто, скромно и только причесывалась смешно, как все англичанки. У нее были довольно красивые глаза, выступающие красноватые скулы и слишком длинные зубы, всегда на виду.

Дойдя до порта, он повернул обратно, надеясь встретить ее снова, а встретив, бросил ей пылкий взгляд, который говорил:

— Вот и я!

Но как завязать разговор?

Он прошелся в пятый раз, и когда они поравнялись, она уронила зонтик.

Он бросился за ним, поднял и подал ей:

— Разрешите, сударыня...

Она отвечала:

— Ао, вы оччен лубезный.

Они взглянули друг на друга, не зная, что еще сказать. Она покраснела.

Расхрабрившись, он произнес:

— Какая чудная погода!

Она прошептала:

— Ао, восхитители!

Стоя в замешательстве друг против друга, они, однако, и не помышляли о том, чтобы расстаться. Она первая набралась смелости и спросила:

— Вы надолго в этом месте?

Он ответил с улыбкой:

— О, да! Насколько захочу.

Потом внезапно предложил:

— Не хотите ли пройтись до мола? В такие дни там очень хорошо!

Она спокойно ответила:

— Охотно.

И они отправились рядом: она — уверенным, твердым шагом, он — раскачиваясь, как индюк, распускающий хвост.

Три месяца спустя, в одно прекрасное утро, каждый видный коммерсант города Канн получил в большом белом конверте письмо, гласившее:

— «Г-н и г-жа Проспер Бомбар имеют честь известить Вас о предстоящем бракосочетании их сына г-на Симона Бомбара с вдовой г-жою Кэт Робертсон».

И на другой странице:

«Г-жа Кэт Робертсон, вдова, имеет честь известить Вас о предстоящем бракосочетании ее с господином Симоном Бомбаром».

Они поселились в Париже.

Состояние новобрачной давало пятнадцать тысяч франков ренты чистоганом. Симон пожелал получать четыреста франков в месяц на личные расходы. Ему пришлось доказать, что его супружеская нежность заслуживает такой жертвы; он с легкостью доказал это и получил просимое.

Первое время все шло прекрасно. Молодая г-жа Бомбар была, конечно, уже не первой молодости, и свежесть ее несколько поблекла; но у нее была такая манера предъявлять свои требования, которая делала отказ невозможным.

Она так повелительно и серьезно говорила со своим английским акцентом: «О, Симон, идом спат»,— что Симон покорно шел к постели, словно пес, которому сказали: «Куш на место». И она так умела выражать любые свои желания, будь то днем или ночью, что всякое сопротивление бывало сломлено.

Она никогда не сердилась, не делала сцен, никогда не кричала, не проявляла ни раздражения, ни обиды, не показывала даже, что ее что-нибудь покоробило. Но она умела сказать свое слово, а говорила всегда кстати и тоном, не допускавшим возражения.

Симону порой случалось колебаться, но всякий раз он вынужден был уступать властно и кратко высказанным желаниям этой оригинальной женщины.

Однако он находил супружеские лобзания однообразными и постными, а имея в кармане достаточно денег, для того, чтобы покупать поцелуи более сочные, он вскоре стал лакомиться ими до пресыщения, хотя и принимал множество предостережений.

Г-жа Бомбар заметила это, но он не мог догадаться, каким образом. Однажды вечером она объявила, что наняла дом в Манте, где они и будут проживать.

Жизнь стала для Бомбара тяжелее. Он испробовал всякие развлечения, но они совсем не могли заглушить в нем потребность в победах, столь милых его сердцу.

Он принялся удить рыбу, научился прекрасно различать глубину, которую любит пескарь, от той глубины, которую предпочитают карп или плотва, изучил берега, благоприятные для ловли леща, и разные приманки, соблазняющие разных рыб.

Но когда он следил за вздрагиванием поплавка на водной ряби, совсем иные картины осаждали его ум.

Он подружился с начальником канцелярии супрефектуры, с жандармским капитаном; по вечерам они стали играть в вист в Коммерческом кафе; но пока его печальный взгляд раздевал трефовую или бубновую даму, проблема отсутствующих ног у этих двуглавых фигур совершенно спутывала образы, порожденные его фантазией.

Тогда он придумал план, вполне достойный хитрого нормандца. Он заставил жену взять подходящую для него служанку — не какую-нибудь красивую девушку, кокетку и щеголиху, а здоровенную бабу, красную и коренастую, которая не возбуждала никаких подозрений и которую он тщательно подготовил к выполнению своего замысла.

Служанку нашел и рекомендовал им директор таможни, услужливый друг и соучастник, ручавшийся

за нее во всех отношениях. И г-жа Бомбар доверчиво взяла сокровище, которое ей прислали.

Симон был счастлив, но счастье доставалось ему ценой предосторожностей, страхов и невероятных трудностей.

Беспокойная бдительность супруги давала ему возможность урывать лишь изредка краткие мгновения, полные тревоги.

Он долго измышлял какую-нибудь уловку, военную хитрость и наконец нашел, и притом вполне удачную.

Так как г-жа Бомбар решительно ничего не делала, то она ложилась рано, но Бомбар играл по вечерам в вист в Коммерческом кафе и ежедневно возвращался домой точно в половине десятого. Он придумал, чтобы Викторина поджидала его в темноте, на ступеньках лестницы, между прихожей и коридором.

Он располагал самое большее пятью минутами, так как всегда опасался, что его застанут врасплох; но и пяти минут было достаточно для удовлетворения время от времени его страстей; не щадя затрат на свои утехи, Симон всовывал луидор в руку служанки, и она поспешно поднималась к себе на чердак.

Ловя на удочку уклеек, он хохотал, торжествовал наедине и, подобно брадобрею царя Мидаса, громко повторял прибрежным камышам:

— Надули хозяйку!

И, право, счастье надуть г-жу Бомбар искупало в его глазах всю неполноту и несовершенство его оплаченной деньгами победы.

И вот однажды вечером он по обыкновению встретился с Викториной на ступеньках лестницы; но на этот раз она показалась ему более живой, более воодушевленной, чем обычно, и он пробыл на свидании в коридоре минут десять.

Когда он вошел в супружескую спальню, г-жи Бомбар там не было. Мороз пробежал у него по спине, и он тяжело опустился на стул, в мучительном предчувствии беды.

Она появилась со свечою в руке.

Он с трепетом спросил:

— Ты выходила?

Она спокойно ответила:

— Я ходил в кухон пит стакан вода.

Он постарался рассеять подозрения, которые могли у нее возникнуть; но она казалась спокойной, счастливой, доверчивой, и его тревога улеглась.

На следующее утро они вышли к завтраку в столовую, и Викторина подала на стол котлеты.

Когда она поставила блюдо и выпрямилась, г-жа Бомбар протянула ей золотой, осторожно держа его двумя пальцами, и сказала своим спокойным, серьезным тоном:

— Вот, мой милая, двадцать франк, которых я вас лишиль вчера вечер. Я их вам отдавал.

Оторопевшая девушка взяла золотой, глядя на него с глупым видом, а Бомбар в полной растерянности вытаращил глаза на жену.

ВОЛОСЫ

Выбеленные известкой стены палаты были голы. Эту белую и угрюмую комнату освещало узкое окно с решеткой, прорезанное почти под потолком. Сумасшедший сидел на плетеном соломенном стуле и смотрел на нас неподвижным, мутным и тревожным взглядом. Он был очень худ, щеки у него ввалились, волосы были с сильной проседью и, очевидно, поседели в несколько месяцев. Одежда казалась слишком широкой для его исхудавшего тела, для узкой груди, для впалого живота. Чувствовалось, что этот человек не в своем уме: какая-то мысль, одна-единственная мысль гложет его, как червяк гложет плод. В этой голове, упорно мучая и съедая человека, гнездилось безумие, навязчивая идея. Она мало-помалу пожирала его. Невидимая, неосязаемая, неуловимая, бесплотная идея истощала его тело, высасывала его кровь, угашая в нем жизнь.

Какой загадкой был этот сумасшедший, ставший жертвой мечты! Какое гнетущее, страшное и жалкое впечатление производил этот одержимый! Какая необычная, ужасная и смертоносная мечта таилась за этим лбом, который она бороздила глубокими, непрестанно движущимися морщинами.

Доктор сказал мне:

— У него бывают ужасные приступы бешенства; и, право, таких своеобразных сумасшедших я еще не встречал. Он поражен безумием эротического и вместе с тем загробного характера. Это род некрофилии. Впрочем, он вел дневник, свидетельствующий самым на-

глядным образом о его психическом заболевании. В этих записях его безумие становится, так сказать, осязаемым. Можете просмотреть этот человеческий документ, если он вас интересует.

Я пошел с доктором в его кабинет, и он вручил мне дневник этого несчастного.

— Прочтите,— сказал он,— и скажите ваше мнение.

Вот что было в переданной мне тетради.

До тридцати двух лет я жил спокойно, не ведая любви. Жизнь казалась мне очень несложной, очень приятной и очень легкой. Я был богат. Столь многое привлекало меня, что ни к чему в особенности я не мог испытывать пристрастия. Как хороша жизнь! Каждое утро я просыпался счастливым, делал все, что мне хотелось, и вечером засыпал, исполненный удовлетворения, мирной надежды на завтрашний день и беззаботное будущее.

У меня было несколько любовниц, но сердце мое ни разу не испытало безумной страсти, душа ни разу не была потрясена любовью после физического обладания. Хорошо так жить. Любить, конечно, лучше, но страшно. Те, кто любит, как все люди, должны испытывать жгучее счастье, но все же меньшее, чем мое, потому что любовь настигла меня самым невероятным образом.

Будучи богат, я собирал старинные вещи, старинную мебель и часто думал о неведомых руках, которые касались этих вещей, о глазах, которые с восторгом смотрели на них, о сердцах, которые их любили, потому что вещи можно любить! Нередко я часами, долгими часами, рассматривал маленькие часики минувшего столетия. Отделанные эмалью и чеканным золотом, они были так изящны, так красивы. И они все еще шли, как в тот самый день, когда их купила женщина, радуясь мысли, что она владеет этой драгоценностью. Они еще не перестали трепетать, жить своей механической жизнью и все так же тикали, как в прошлом веке. Кто первая носила их у себя на груди, в тепле тканей, где сердце часов билось возле сердца женщины? Какая ру-

ка держала их кончиками горячих пальцев, повертывала их и протирала фарфоровых пастушков на крышке, тускневших на миг от прикосновения влажной кожи? Чьи глаза следили по этому циферблату, украшенному цветами, как близится долгожданный час, час дорогой, час божественный?

Как хотелось бы мне узнать и увидеть ту женщину, которая выбирала для себя эту изысканную, редкую вещь? Она мертва! Меня влечет к женщинам прошлого; сквозь даль веков я вижу и люблю всех тех, которые любили когда-то. История давно минувших ласк наполняет мое сердце сожалением. О, красота, улыбки, юные ласки и надежды! Разве все это не должно быть вечным?

Сколько ночей провел я, оплакивая бедных женщин былого, столь прекрасных, столь нежных, столь милых, открывавших объятия и даривших поцелуи, а ныне мертвых! Но поцелуй бессмертен! Он переходит с уст на уста, из одного столетия в другое, от одного возраста в другой. Люди получают его, дарят и умирают.

Прошлое меня привлекает, настоящее страшит, потому что будущее — это смерть. Я сожалею о всем прошедшем и оплакиваю всех тех, которые уже прожили свою жизнь; мне хотелось бы остановить время, остановить час. Но он идет, он идет, он проходит, с каждой секундой он отнимает у меня частицу меня самого и близит небытие. И я никогда не воскресну.

Прощайте, женщины минувших лет. Я люблю вас.

Но я не нуждаюсь в жалости. Я нашел ту, которую искал, и она дала мне изведать безмерное наслаждение.

Однажды солнечным утром я бродил по Парижу, осматривая лавки рассеянным взором человека, вышедшего на прогулку; на душе у меня было празднично, ноги ступали уверенно и бодро. Вдруг я заметил у одного из антикваров итальянский шкаф XVIII века. Он был очень красив и представлял большую редкость. Я приписал его венецианскому мастеру по имени Вителли, славившемуся в ту эпоху.

Затем я прошел дальше.

Почему, однако, воспоминание об этом шкафе стало меня преследовать с такой силой, что я вернулся

назад? Я снова остановился у магазина, чтобы увидеть его, и почувствовал, что он начинает меня соблазнять.

Какая непостижимая сила — соблазн! Смотришь на какой-нибудь предмет, и вот незаметно он начинает тебя пленять, волновать, захватывать, точь-в-точь как лицо женщины. Мало-помалу проникаешься его очарованием, тем странным очарованием, которое исходит от формы, оттенков, всего внешнего облика предмета, — и вот уже любишь его, желаешь, хочешь. Тебя пронизывает потребность обладания, потребность, вначале скромная и даже робкая, но затем возрастающая, настойчивая, непреодолимая.

По-видимому, продавцы по горящему взгляду догадываются о тайном и все возрастающем желании покупателя.

Я купил этот шкаф, велел немедленно доставить ко мне на дом и поставил его в моей комнате.

Как я жалею тех, которые не знают, что такое медовый месяц коллекционера с только что купленной вещью. Ее ласкаешь взглядом и рукою, словно она из плоти и крови, к ней поминутно возвращаешься, о ней постоянно думаешь, куда бы ни пошел, что бы ни делал. Любовное воспоминание о ней преследует тебя на улице, в обществе, всюду, а возвратившись домой и не успев еще снять шляпы и перчаток, спешишь посмотреть на нее с нежностью любовника.

С неделю я предавался обожанию купленной мною вещи. Я ежеминутно открывал дверцы, выдвигал ящики шкафа, с восторгом поглаживал его, вкушая все тайные радости обладания.

Но вот однажды вечером, определяя на ощупь толщину одной из панелей, я решил, что в ней, несомненно, устроен тайник. Сердце мое сильно забилось, и я провел всю ночь в поисках потайного ящика, но не мог его обнаружить.

Мне удалось это сделать на другой день, когда я вдавил деревянную пластинку в желобок панели. Одна из досок отошла, и я увидел на дне ящика, обитого черным бархатом, чудесные женские волосы.

Да, там были волосы, длиннейшая коса белокурых почти рыжих волос, которые срезали, видимо, у самого корня и перевязали золотым шнуром.

Я был изумлен, взволнован, потрясен. От этого таинственного ящика и от этой поразительной реликвии исходил аромат, почти неуловимый, столь давний, что он казался душой прежнего запаха.

Осторожно, почти благоговейно, я взял косу и вынул ее из тайника. Она тотчас же развернулась и хлынула до самого пола золотым потоком, густая и легкая, гибкая и сверкающая, словно хвост кометы.

Меня охватило странное волнение. Что же это было? Когда, каким образом, почему были спрятаны в шкаф эти волосы? Какое событие, какая драма скрывается за этой памяткой?

Кто обрезал эти волосы? Любовник ли в день разлуки? Муж ли в день отмщения? Или же та, чью голову они обвивали, в день утраты всех надежд?

Не в час ли заточения в монастырь было брошено сюда это сокровище любви, как залог, оставленный миру живых? Не в час ли погребения молодой прекрасной покойницы тот, кто пламенно любил ее, сберег украшение ее головы, — единственное, что он мог сохранить, единственную живую часть ее плоти, которая не подвергнется тлению, единственное, что он мог еще любить, ласкать и целовать в исступлении скорби?

Разве не странно, что эти волосы сохранились, тогда как не осталось ни малейшей частицы тела, которое взрастило их?

Коса струилась по моим пальцам, щекоча кожу, прикасаясь к ней какой-то особенной лаской, лаской покойницы. Я был растроган, я чуть не заплакал.

Я долго, очень долго держал косу в руках, но вдруг мне показалось, что она начинает шевелиться, как живая, словно частица души затаилась в ней. И я положил ее обратно на потускневший от времени бархат, задвинул ящик, запер шкаф и ушел бродить по улицам и мечтать.

Я шел своей дорогой, исполненный грусти и волнения, того волнения, которое остается в сердце от поцелуя любви. Мне казалось, что я уже жил когда-то и должен был знать эту женщину.

И стихи Вийона, словно подступающее к горлу рыдание, напрашивались мне на уста:

Скажите, где, в стране ль теней,
Дочь Рима, Флора, перл бесценный?
Архилла где? Таида с ней,
Сестра — подруга незабвенной?
Где Эхо, чей ответ мгновенный
Живил когда-то тихий брег,
С ее красою несравненной?
Увы, где прошлогодний снег!
. . . . . .
Где Бланка, лилии белей,
Чей всех пленял напев сиренный?
Алиса, Биче, Берта, чей
Призыв был крепче клятвы ленной?
Где Жанна, что познала, пленной,
Любовь и смерть за славный грех?
Где все, владычица вселенной?
Увы, где прошлогодний снег! [1]

Вернувшись домой, я почувствовал неодолимое желание вновь увидеть мою странную находку; я снова достал ее, и, когда прикоснулся к ней, длительная дрожь охватила все мое тело.

Однако в продолжение нескольких дней я находился в обычном для себя состоянии, хотя настойчивая мысль об этой косе ни на одно мгновение не покидала меня.

Как только я входил в комнату, мне уже необходимо было ее видеть и взять в руки. Я поворачивал ключ в шкафу с таким трепетом, словно открывал дверь в комнату возлюбленной, потому что и руки и сердце пронизывала смутная, необычная, упорная и чувственная потребность погрузить пальцы в этот пленительный поток мертвых волос.

И когда я переставал ласкать их, когда я снова запирал шкаф, я всякую минуту чувствовал, что они там, словно это было живое существо, спрятанное или пленное; я чувствовал их близость, и вновь меня обуревало желание, властная потребность взять их в руки, ощупать и болезненно взволновать себя этим прикосновением, холодным, скользким, раздражающим, сводящим с ума и упоительным.

---

[1] Перевод Валерия Брюсова.

В таком состоянии я прожил месяц или два, не помню точно. Мысль о волосах была со мною неотступно. Я жил в счастливой истоме, в ожидании любви, словно после признания, предшествующего объятиям.

Я запирался наедине с косою, чтобы ощутить ее прикосновение, чтобы погружать в нее губы, чтобы целовать ее и кусать. Я обвивал ею лицо, я захлебывался в ней, я топил свои глаза в золотой волне волос и смотрел сквозь них на белый свет.

Я любил ее! Да, я любил ее. Я больше не мог без нее жить, не мог уже и часа провести без того, чтобы не посмотреть на нее.

И я ждал... я ждал... Кого? Я и сам не знал. Я ждал — Ее.

Как-то ночью я внезапно проснулся с мыслью, что я не один в комнате.

Между тем я был один. Но я не мог заснуть, я долго метался в лихорадке бессонницы и наконец встал, чтобы достать косу. Она показалась мне более мягкой, чем обычно, более одушевленной. Не возвращаются ли умершие? Поцелуи, которыми я согревал ее, наполняли меня таким блаженством, что я почти потерял сознание; я унес волосы в постель и лег, прижимая их к губам, как любовницу, после обладания ею.

Мертвые возвращаются! Она пришла. Да, я ее видел, я держал ее в объятиях, я обладал ею такою, какой она была когда-то в жизни — рослой, белокурой, полной; ее груди были прохладны, бедра имели форму лиры; следуя за всеми изгибами тела, я покрывал ее поцелуями вдоль той божественной волнистой линии, которая идет от шеи к ногам.

Да, каждый день, каждую ночь я обладал ею. Она— Покойница, Прекрасная Покойница, Обожаемая, Таинственная, Неведомая — возвращалась ко мне каждую ночь.

Мое счастье было безмерно, и я не мог его скрывать. Я испытывал возле нее сверхчеловеческий восторг, глубокую, неизъяснимую радость обладания Ею, Неосязаемой, Невидимой, Мертвой! Никто из любовников не изведал наслаждений более пламенных, более страшных!

Я совершенно не умел скрывать свое счастье. Я любил косу так сильно, что больше с нею не расставался. Я всегда и всюду носил ее с собою. Я гулял с нею по городу, как с женой, и брал ее с собою в решетчатые ложи театра, как любовницу... Но вот ее увидели... узнали... отняли у меня... А самого меня бросили в тюрьму, словно какого-нибудь злодея... Ее отняли у меня!.. О горе!..

Рукопись на этом обрывалась. И вдруг, как только я растерянно поднял на доктора глаза, в убежище для душевнобольных раздался ужасный крик, рев бессильного бешенства и ожесточенного желания.

— Вот, послушайте, — сказал доктор. — Приходится пять раз на день ставить под душ этого непристойного безумца. Среди моих пациентов лишь один сержант Бергран любил покойниц.

Потрясенный удивлением, ужасом и жалостью, я пробормотал:

— Но... эти волосы... они действительно существуют?

Доктор поднялся, открыл шкаф с пузырьками и медицинскими инструментами и перебросил мне через весь кабинет длинную прядь белокурых волос, которая долетела до меня, как золотая птица.

Я содрогнулся, когда мои руки ощутили ее легкое ласкающее прикосновение. И сердце у меня забилось от отвращения и желания: от отвращения, словно я дотронулся до чего-то, причастного к преступлению; от желания, словно меня искушало что-то нечистое и таинственное.

Доктор заметил, пожимая плечами.

— Рассудок человека способен на все.

ПАПАША МОНЖИЛЕ

В канцелярии на папашу Монжиле смотрели, как на чудака. Этот старый добродушный чиновник решился один-единственный раз в жизни побывать в окрестностях Парижа.

Был конец июля, и каждый из нас по воскресеньям отправлялся за город в деревню поваляться на травке и покупаться в реке. Аньер, Аржантей, Шату, Буживаль, Мэзон, Пуасси — все они имели своих завсегдатаев и своих фанатических поклонников. Страстно обсуждались достоинства и преимущества всех этих прославленных мест, которые полны очарования для парижских чиновников.

Папаша Монжиле заявлял:

— Ах вы, овцы Панургова стада! Что в ней хорошего, в этой вашей деревне?

Мы спрашивали его:

— Ну, а вы, Монжиле, неужели вы никогда не ездите на прогулку?

— Простите. Я совершаю прогулки в омнибусе. Плотно и не спеша позавтракав внизу, в винном погребке, я беру план Парижа, расписание движения омнибусов и составляю себе маршрут. Затем я влезаю на империал, раскрываю зонтик. Кучер, погоняй! И сколько же я вижу разных разностей! Побольше, чем вы, будьте уверены! Кварталы я меняю. И получается, что я как будто совершаю кругосветное путешествие: до того население одной улицы отличается от населения другой. Я знаю Париж лучше, чем кто бы то ни было.

А затем, нет ничего занимательнее, как заглядывать в антресоли. Чего только не увидишь в них даже беглым взглядом!.. Невозможно себе и представить. Угадываешь семейную сцену, увидав только рожу кричащего человека, потешаешься, проезжая мимо парикмахера, который, желая поглазеть на улицу, выпускает из пальцев нос клиента, покрытого белой мыльной пеной. Подмигнешь то одной модисточке, то другой — так, шутки ради, потому что сойти-то с омнибуса не успеешь. Да, чего только не насмотришься!

Это хороший театр, театр настоящей, подлинной жизни, как ее видишь, быстро проезжая мимо на паре лошадей. Черт возьми, я не променяю своих прогулок в омнибусе на ваши дурацкие прогулки по лесам.

Ему говорили:

— Да вы попробуйте, Монжиле, съездите хоть разок в деревню, посмотрите, что выйдет.

Он отвечал:

— Я уже был там однажды, лет двадцать тому назад; второй раз меня не заманишь.

— Расскажите, Монжиле.

— Ладно. Вот как было дело. Вы знавали Буавена, прежнего служащего в редакционном отделе; мы прозвали его Буало [1]?

— Да, прекрасно знали.

— Я служил с ним в одном отделении. У этого прохвоста был дом в Коломбо, и он постоянно меня приглашал провести у него воскресенье. Он говорил мне: «Приезжай, Макюлот (он в шутку звал меня Макюлотом) [2]. Увидишь, какую славную прогулку мы с тобою сделаем».

Вот я и поверил, как дурак, и однажды утром отправился с восьмичасовым поездом. Приезжаю в некое подобие города, в этакий деревенский город, где и посмотреть не на что, и наконец в конце какого-то тупика, между двух стен, нахожу старую деревянную дверь с железным колокольчиком.

[1] По-французски имя Boivin (Буавен) звучит как boit vin (пьет вино), а имя Boileau (Буало) — как boit l'eau (пьет воду).

[2] Именем Maculotte (переделанное из ma culotte — мои штаны) Буавен пародирует фамилию Mongilet (mon gilet — мой жилет).

Я позвонил. Ждал долго, но наконец мне отперли. Какое существо отперло мне! С первого взгляда я так и не понял: женщина это или обезьяна? Существо старое, безобразное, с виду грязное, закутанное в старые тряпки и, несомненно, злое. К волосам у него прилипли птичьи перья, и оно, казалось, готово было меня пожрать.

Меня спросили:

— Кого вам?

— Господина Буавена.

— На что вам господин Буавен?

Мне стало не по себе от допроса этой фурии. Я пробормотал:

— Но ведь... он меня ожидает.

Она продолжала:

— Ага, так это вы должны были приехать к завтраку?

Я, заикаясь, прошептал трепетное «да».

Тогда она обернулась к дому и закричала разъяренным голосом:

— Буавен! Приехал твой гость.

Это была жена моего друга. Щуплый дядя Буавен тотчас появился на пороге какого-то оштукатуренного сарая, покрытого цинковой крышей и напоминавшего грелку. На нем были штаны из белого тика, все в пятнах, и засаленная панама.

Пожав мне руку, он повел меня в закоулок, который называл своим садом: этот маленький квадратик земли, величиной с носовой платок, находился в конце тупика, образованного огромными стенами таких высоких домов, что солнце проникало туда лишь на два—три часа в день. Анютины глазки, гвоздики, желтые левкои и несколько розовых кустов совсем зачахли на дне этого колодца, лишенного воздуха и к тому же накалявшегося, как печь, благодаря отражению солнечных лучей от крыш.

— Деревьев у меня нет, — сказал Буавен, — но стены соседей их вполне заменяют. У меня здесь тень, как в лесу.

Затем он взял меня за пуговицу пиджака и сказал, понизив голос:

— Ты можешь оказать мне большое одолжение. Хо-

зяйку мою ты видел. Не очень-то покладистая, верно? Так как я тебя пригласил, она дала мне сегодня чистую одежду, но если я ее измажу, все пропало!.. Поэтому я рассчитывал, что ты польешь мои цветы.

Я согласился. Скинул пиджак. Засучил рукава сорочки и принялся усиленно возиться с испорченным насосом; тот свистел, пыхтел, хрипел, как чахоточный, и выпускал струйку воды, тонкую, как у фонтанчиков Уоллеса. Понадобилось десять минут, чтобы наполнить одну лейку. Я весь был в поту. Буавен руководил мною.

— Вот сюда, на этот кустик, еще немножко. Довольно, теперь вот на этот.

Дырявая лейка текла, и на ноги мне попадало гораздо больше воды, чем на растения. Низ моих штанов промок и пропитался грязью. Двадцать раз подряд я начинал все сначала, снова промачивал ноги и снова обливался потом, качая скрипучий рычаг насоса. Когда же я совершенно изнемогал и собирался остановиться, дядя Буавен с мольбой тянул меня за рукав:

— Еще одну лейку, только одну — и все кончено.

Чтобы отблагодарить меня, он подарил мне розу, очень крупную розу, но едва она успела коснуться петлицы моего пиджака, как осыпалась вся целиком, оставив мне в виде украшения продолговатую зеленую шишечку, твердую, как камень. Я удивился, но промолчал.

В отдалении послышался голос г-жи Буавен:

— Вы придете наконец? Сказано вам, что все готово!

Мы направились к грелке.

Если сад был в тени, то дом, наоборот, оказался на самом припеке; во втором парильном отделении турецкой бани не так жарко, как было в столовой моего товарища.

Три тарелки и лежавшие сбоку от них плохо вымытые оловянные вилки прилипали к желтому крашеному столу. Посреди стола красовалась глиняная миска с разогретым вареным мясом и картофелем. Принялись за еду.

Мое внимание привлек большой графин с водой,

слегка подкрашенной вином. Буавен конфузливо сказал жене:

— Послушай, милочка, не дашь ли ты нам по случаю праздника немного цельного вина?

Она злобно уставилась на него:

— Чтобы вы оба нализались, застряли у меня на целый день и горланили песни? Так, что ли? Спасибо за такой праздник!

Буавен замолчал. После мяса она принесла другое блюдо: картофель, приправленный салом. Покончили, по-прежнему молча, и с этим блюдом.

— Ну, все, — заявила она. — Теперь проваливайте.

Буавен глядел на нее с изумлением.

— А голубь... ты ведь утром ощипывала голубя?

Она подбоченилась.

— Вы, что ж, может быть, не наелись? Если ты приводишь гостей, это еще не значит, что надо сожрать сразу все, что есть в доме. А я? Мне прикажешь остаться без обеда?

Мы встали из-за стола. Буавен шепнул мне на ухо:

— Подожди меня минутку, и мы улетучимся.

Он прошел на кухню, куда удалилась его жена. И я слышал, как он сказал:

— Дай мне двадцать су, дорогая!

— На что тебе двадцать су?

— Да ведь мало ли что может случиться. Всегда лучше быть при деньгах.

Тут она заорала так, чтобы я слышал:

— Нет, денег я тебе не дам! Раз этот человек позавтракал у тебя, то пусть он по крайней мере оплачивает сегодня твои расходы.

Дядя Буавен вернулся за мной. Желая быть вежливым, я поклонился хозяйке дома и пробормотал:

— Сударыня... так благодарен... любезный прием...

Она отвечала:

— Да уж ладно. Смотрите только, не приведите его ко мне пьяным, а то, знаете, вам придется иметь дело со мною.

Мы отправились.

Надо было пересечь по самому солнцепеку равнину, голую, как стол. Я вздумал сорвать какое-то растение на краю дороги и от боли испустил крик: мне

страшно обожгло руку. Эту траву называют крапивой. К тому же повсюду воняло навозом, до того воняло, что я чувствовал тошноту.

Буавен говорил мне:

— Чуточку терпения: мы сейчас дойдем до берега реки.

Действительно, мы дошли до реки. Но там воняло тиной и грязной водой, и солнце отсвечивало от нее с такой силой, что было больно глазам.

Я спросил Буавена, где можно укрыться от солнца. Он провел меня в тесную хибарку, полную народа, — трактир матросов пресной воды.

— Здесь на вид неказисто, но очень уютно, — уверял он меня.

Мне хотелось есть. Я заказал яичницу. И вот, не угодно ли, — после второго стакана вина у этого слизняка Буавена голова пошла кругом; и я понял, почему жена подавала ему одну подкрашенную воду.

Он стал разглагольствовать, поднялся со стула, захотел проделать какие-то акробатические упражнения, пустился мирить двух подравшихся пьяниц, и, не заступись за нас хозяин трактира, нас обоих избили бы.

Буавен был вдрызг пьян, я еле дотащил его до первого куста и уложил на траву. Сам я растянулся рядом и, кажется, заснул.

Очевидно, мы спали долго, так как, когда я проснулся, была ночь. Буавен храпел рядом со мной. Я встряхнул его. Он поднялся, но все еще был пьян, хотя и не так, как раньше.

И вот в полном мраке мы двинулись по равнине. Буавен уверял, что найдет дорогу. Он заставил меня свернуть налево, потом направо и снова налево. Не видно было ни зги, и вскоре мы заблудились в каком-то лесу из кольев, доходивших нам до носа. По-видимому, это был виноградник со шпалерами. На горизонте — ни одного газового рожка. Мы проплутали, пожалуй, час, а то и два, кружась на одном месте, сворачивая в сторону, вытянув руки, обезумев, не находя выхода, так как, должно быть, все время возвращались туда же.

Наконец Буавен наткнулся на кол, ободрал себе ще-

ку и уселся на землю, во все горло завывая «Ля-и-ту», а я изо всех сил кричал «Помогите!» и зажигал восковые спички, чтобы осветить путь нашим спасителям, а себе придать бодрости.

Наконец запоздавший крестьянин услышал нас и вывел на дорогу.

Я проводил Буавена до дома. Но в ту минуту, когда я собрался покинуть его у решетки сада, дверь внезапно отворилась и перед нами предстала его жена со свечой в руке. Она нагнала на меня ужасный страх.

Увидев мужа, которого, вероятно, ждала с самых сумерек, она взревела и бросилась на меня:

— Ах, каналья! Я так и знала, что вы приведете его пьяным!

Признаюсь, я пустился наутек, бежал до самого вокзала и, боясь, что эта фурия гонится за мной, заперся в ватерклозете, потому что ближайший поезд отходил только через полчаса.

Вот почему я не женился и ни разу больше не выезжал из Парижа.

ШКАФ

Зашел разговор о проститутках, — о чем же еще говорить после обеда в мужской компании?

Один из нас воскликнул:

— А знаете, какая необыкновенная история произошла со мной?

И вот что он рассказал.

— Как-то вечером прошлой зимой на меня вдруг напала хандра, мучительное чувство опустошенности, гнетущее и душу и тело, как это иной раз со всяким бывает. Я сидел у себя в комнате в полном одиночестве и чувствовал, что, если и дальше останусь один, мне не совладать с тоской, с той ужасной тоской, которая может в конце концов довести до самоубийства.

Я надел пальто и вышел из дому, сам еще не зная, что буду делать. Дойдя до бульваров, я долго бродил мимо освещенных кафе, почти пустых в этот ненастный вечер; шел дождь, мелкий, нудный дождь, от которого, кажется, промокает не только одежда, но как будто пропитывается сыростью даже мозг. Нет, это не был благодатный весенний ливень, который падает целыми каскадами и гонит запыхавшихся прохожих в подворотни домов, а какая-то мокрая завеса из мельчайших капель; совершенно незаметные каждая в отдельности, они непрерывно сеются с неба, быстро покрывая платье ледяной пленкой, и пронизывают холодом.

Что делать? Я шагал от одного угла улицы до другого, стараясь придумать, где бы убить два часа времени, и впервые обнаружил, что во всем Париже нет

такого места, где можно было бы вечером развлечься. Наконец я решил направиться в Фоли-Бержер — этот своеобразный рынок продажной любви.

В большом зале было мало зрителей. В галерее, изгибающейся подковой, прогуливались какие-то бесцветные люди, у которых во всем сказывалась вульгарность: в походке, в костюме, в прическе, в манере подстригать бороду, носить шляпу и даже в цвете лица. Очень редко попадался человек, про которого можно было сказать, что он чисто умыт и умеет одеться со вкусом. Что же касается женщин, то это были все те же известные вам проститутки; жалкие, потрепанные, навязчивые, они прогуливались, как обычно, вперевалочку и, как всегда, неизвестно почему, принимали презрительный и заносчивый вид.

Я разглядывал их и думал, что ни одна из этих обрюзгших прелестниц, скорее жирных, чем дородных, где не надо — пухлых, где не надо — тощих, толстобрюхих, как попы, и голенастых, как цапли, не стоит даже одного луидора, который она с трудом выторговывает, запросив двадцать пять франков.

Но вдруг я заметил одну женщину, которая мне понравилась,— не очень молоденькую, но еще свежую, игривую, привлекательную. Я остановил ее и, не размышляя, как-то вдруг сторговался с ней на ночь. Уж очень мне не хотелось возвращаться к себе в комнату, где меня ждало одиночество; я предпочел общество и объятия этой продажной красотки.

Я пошел с ней. Она жила в большом доме на улице Мучеников. На лестнице газ был уже погашен. Я медленно поднимался, поминутно чиркая восковые спички, нащупывая ногой ступени, спотыкался, шел очень недовольный; впереди меня шуршала юбками женщина.

Она остановилась на площадке пятого этажа, впустила меня в переднюю и, закрыв входную дверь, спросила:

— Так ты, что ж, останешься до утра?

— Ну да. Мы же договорились.

— Хорошо, котик. Я только так спросила, чтобы точно знать. Подожди здесь минутку, я сейчас вернусь.

И она ушла в комнаты, оставив меня в полной темноте. Я слышал, как она закрыла одну дверь, потом другую, затем мне показалось, что она с кем-то разговаривает. Я был удивлен и встревожен. У меня мелькнуло подозрение, нет ли там сутенера. Но, как видите, плечи у меня широкие, а кулаки здоровые.

«Ладно, увидим»,— подумал я.

Я насторожился, весь обратившись в слух. В комнате кто-то ходил, но очень легкими, осторожными шагами, явно стараясь не шуметь. А затем открылась еще какая-то дверь, и я уже явственно расслышал перешептывание.

Наконец она вернулась с зажженной свечой в руке.

— Можешь войти,— сказала она.

И я вступил во владение этой женщиной и ее жилищем.

Она провела меня через столовую, в которой, очевидно, никогда не ели, и мы оказались в спальне, обычной спальне проститутки, проживающей в меблированных комнатах, с репсовыми портьерами и пунцовым шелковым одеялом, пестреющим подозрительными пятнами.

— Не стесняйся, будь как дома, котик,— сказала она.

Я внимательно оглядел комнату. Ничто в ней не внушало тревоги.

Она разделась в один миг и нырнула под одеяло прежде, чем я успел снять пальто. Она расхохоталась.

— Что это с тобой? В соляной столб обратился? Поторапливайся, милый.

Я последовал ее совету и лег.

Пять минут спустя мне уже страшно хотелось одеться и уйти. Но тягостное чувство усталости, томившее меня дома, не проходило, отнимало у меня всю энергию, сковывало, и я остался, несмотря на отвращение к ложу этой публичной женщины. Исчезло чувственное обаяние, которое почудилось мне в ней в театре, при свете люстр; рядом со мной, прижимаясь ко мне, лежала вульгарная проститутка, и ее равнодушные, вынужденные поцелуи имели привкус чеснока.

Чтобы завязать разговор, я спросил:

— Ты давно здесь живешь?

— Пятнадцатого января исполнилось полгода.

— А до этого где жила?

— На улице Клозель. Но привратница делала мне всякие гадости, и я бросила ту квартиру.

И она начала рассказывать бесконечную историю о том, как привратница распускала про нее сплетни.

Вдруг я услышал, что где-то близко, совсем рядом, кто-то шевелится. Сначала как будто раздался вздох, затем легкий, но явственный шум, словно кто-то повернулся на стуле.

Я рывком сел на постели и спросил:

— Что это такое?

Она ответила спокойно и уверенно:

— Не обращай внимания, котик, это у соседки. Перегородки такие тонкие, что все как есть слышно. Такая пакость эти меблирашки. Стенки прямо картонные.

Мне было лень двигаться, и я снова забрался под одеяло. Разговор возобновился. Из глупого любопытства, которое побуждает мужчин расспрашивать падшую женщину о первом ее любовном приключении, приподнимать завесу над первым ее грехом, словно для того, чтобы найти в ней хоть искорку былой невинности и, быть может, на мгновение полюбить ее такую, какой она предстанет в этом мимолетном воспоминании о невозвратной девичьей стыдливости и чистоте, я забросал ее вопросами о ее первых любовниках.

Я знал, что она будет лгать. Пусть так. Может быть, среди всех этих лживых выдумок я услышу что-то искреннее и трогательное.

— Ну, скажи, кто он был?

— Барин — любитель гребного спорта, котик.

— Ах, вот как. Где же вы познакомились?

— В Аржантейе.

— Что же ты там делала?

— Служила в ресторане.

— В каком ресторане?

— В «Сухопутном моряке». Знаешь его?

— Ну, еще бы, это кабачок Бонанфана?

— Он самый.

— А как же он завлек тебя, этот барин?

— Он взял меня силой, когда я стлала ему постель.

Но вдруг мне вспомнилась теория одного врача, моего друга, человека весьма наблюдательного и философского склада; он работал в большой больнице, и ежедневно перед ним проходили девушки-матери и публичные женщины. Он хорошо знал все виды позора и ужасов, которые постигают женщин, бедных женщин — беззащитную добычу самца, слоняющегося с деньгами в кармане.

— Девушку всегда развращает человек ее класса и ее среды,— говорил он мне.— Я могу создать целые тома из наблюдений подобного рода. Богатых обвиняют в том, что они срывают цвет невинности у девушек из народа. Это неправда. Богатые платят за уже сорванный букет. Они тоже срывают цветы, но уже второго цветения, никогда им не достается первоцвет.

Вспомнив эти слова, я повернулся к своей подруге и рассмеялся.

— А знаешь, мне ведь известна твоя история. Барин у тебя был не первый.

— Ох, что ты, котик! Ей-богу, первый!

— Лжешь, кошечка.

— Ах, нет, я правду говорю.

— Нет, лжешь. Лучше расскажи все, как было.

Она, видимо, была удивлена и колебалась.

Я настаивал.

— Я ведь колдун, ясновидящий, дорогая моя. Если ты мне не скажешь, я тебя усыплю и все равно узнаю правду.

Ограниченная, как все подобные ей женщины, она испугалась и забормотала:

— Как же ты угадал?

— Ну говори, говори,— настаивал я.

— Да о первом почти и рассказывать-то нечего. В наших местах был праздник. Выписали для такого случая важного повара, господина Александра. Он, как приехал, принялся командовать. Всеми распоряжается, всем приказывает — и хозяину и хозяйке. Ну, прямо король... такой рослый, представительный муж-

чина. На одном месте не может усидеть спокойно. То и дело кричит: «Давайте масло, давайте яйца, давайте мадеру». И все ему неси бегом, а не то рассердится и такого наговорит, что вся с головы до пяток покраснеешь.

К вечеру горячка кончилась; он вышел на крыльцо покурить трубку. И вот иду я мимо него с целой горой тарелок, а он мне и говорит: «А ну-ка, девчушка, прогуляемся с тобой к речке. Ты мне покажешь здешние места». Я, как дурочка, и пошла с ним. А как только мы дошли до берега, он меня схватил, да так быстро, что я даже опомниться не успела и не знала, что это он со мной делает. В тот же вечер, в девять часов, он уехал. Я больше никогда его и не видела...

Я спросил:

— И это все?

Она пробормотала:

— Все. Флорентэн-то ведь от него...

— Флорентэн? А кто это?

— Мой сынишка!

— Ах, так! Очень хорошо. И ты, конечно, уверила своего любителя гребного спорта, что он — папаша Флорентэна?

— Ну, понятно.

— У него, верно, были деньги?

— Были. Он положил на имя Флорентэна, на ренту. Я ежегодно по триста франков получаю.

Меня эта история начала забавлять. Я сказал:

— Очень хорошо, голубушка, очень хорошо. Вы все не так уж глупы, как думают. А сколько же лет сейчас Флорентэну?

— Скоро двенадцать исполнится. Весной он пойдет к первому причастию,— ответила мать.

— Великолепно. Значит, с тех пор ты и пошла по этой дорожке?

Она вздохнула; это был вздох человека, покорившегося своей участи.

— А что же мне оставалось делать?

Внезапно в комнате раздался громкий шум, и я стремительно вскочил с кровати. Несомненно, кто-то упал, потом поднялся и ощупывал руками стену.

Схватив свечу, я осмотрелся вокруг растерянным

и злым взглядом. Она тоже встала и, стараясь меня удержать, успокоить, говорила:

— Ничего не случилось, котик, уверяю тебя, ровно ничего.

Но мне удалось обнаружить, откуда шел этот странный шум. Я направился прямо к дверце стенного шкафа, скрытой изголовьем кровати, рванул ее... и тут я увидел маленького мальчика, бледного и худенького мальчика, который дрожал всем телом и испуганно глядел на меня широко открытыми блестящими глазами; он сидел на полу рядом с плетеным соломенным стулом, с которого свалился.

Увидев меня, он протянул руки к матери и заплакал:

— Я не виноват, мама, я не виноват. Я заснул и упал. Не сердись, мама, я не виноват.

Я обернулся к женщине и спросил:

— Что все это значит?

Смущенная, расстроенная, она заговорила прерывающимся голосом:

— Как же мне быть-то? Заработка не хватает, чтобы отдать его в пансион, а платить за лишнюю комнату тоже не из чего. Когда у меня никого нет, он спит со мной в постели. Если приходят на час или на два, он вполне может переждать в шкафу и сидит там тихонько, он ведь знает, что так надо. А когда вот остаются на всю ночь, как ты, ему трудно спать на стуле, спина немеет, ведь он еще ребенок... Разве он виноват?.. Посмотрела бы я, как ты проспал бы всю ночь, сидя на стуле... Небось, по-другому бы заговорил...

Она сердилась, ожесточалась, кричала.

А мальчик все плакал. Несчастный ребенок, хилое и робкое дитя. Да, это был действительно ребенок, выросший в холодном и темном шкафу, ребенок, который лишь изредка мог согреться в пустовавшей ненадолго постели.

У меня у самого подступали к горлу горькие слезы.

И я ушел, ушел ночевать домой.

КОМНАТА № 11

— Как? Вы не знаете, почему перевели председателя суда Амандона?

— Нет, понятия не имею.

— Впрочем, он и сам-то не узнал причины. Это любопытная история.

— Расскажите-ка.

— Вы, наверно, хорошо помните г-жу Амандон — такая хорошенькая худенькая брюнеточка, умненькая, изящная; еще весь Пертюи-ле-Лонг звал ее просто «мадам Маргерит».

— Да, еще бы.

— Ну, так слушайте. Вы помните также, что ее в городе уважали, ценили, любили, как никого. Она успешно занималась делами благотворительности, умела принять, раздобыть денег для бедных и повеселить молодежь всевозможными способами.

Она была очень элегантна и очень кокетлива, но ее кокетство было чисто платоническим, а элегантность — пленительно провинциальной, ибо она была провинциалкой, эта маленькая женщина, восхитительной провинциалкой.

Господа писатели — они ведь все парижане — воспевают на разные лады парижанку, так как знают только ее, но я — я утверждаю, что провинциалка, если только она высшего сорта, во сто раз лучше.

Провинциалка, умная, лукавая провинциалка, по облику своему несравненно скромнее, смиреннее парижанки и как будто ничего не обещает, но дает очень много, тогда как парижанка, обещая зачастую очень много, в дезабилье не дает ничего. Парижанка — это торжество и элегантная наглость подделки. Провинциалка — это скромность подлинника.

Возьмите милую, живую провинциалочку,— у нее внешность бойкой буржуазки, обманчивая невинность пансионерки, ничего не говорящая улыбка и простенькие, но изворотливые и такие ненасытные страстишки, что ей нужно иметь в тысячу раз больше хитрости, гибкости и чисто женской изобретательности, чем всем парижанкам вместе взятым, чтобы добиться удовлетворения своих прихотей или пороков, не вызывая никаких подозрений, никаких сплетен, никакого скандала в маленьком городке, который смотрит на нее во все глаза и во все окна.

Г-жа Амандон принадлежала именно к этой редкой, но очаровательной породе женщин. Никогда никто ее не заподозрил, никогда нельзя было подумать, что ее жизнь не так чиста, как взгляд ее глаз, карих глаз, прозрачный и горячий, но такой честный. Попробуй, разгадай!

Оказывается, она прибегала к особому трюку — гениальное изобретение, поразительно остроумное и невероятно простое.

Всех своих любовников она выбирала среди офицеров местного полка и держала их при себе ровно три года — срок их пребывания в гарнизоне. Вот и все. Любви у нее не было, была чувственность.

Как только в Пертюи-ле-Лонг приходил новый полк, она наводила справки обо всех офицерах в возрасте между тридцатью и сорока годами, ибо до тридцати лет мужчины еще слишком болтливы, а после сорока нередко слабеют.

О! Весь офицерский состав был ей известен не хуже, чем самому командиру полка. Она знала все-все: интимнейшие привычки, образование, воспитание, физические качества, выносливость, характер —

вспыльчивый или терпеливый,— доходы, наклонность к бережливости или мотовству. Затем она делала выбор. Охотнее всего она выбирала человека по виду спокойного, как и она, но требовала, чтобы это был красивый мужчина. Она требовала также, чтобы у него не было никакой всем известной связи, никакого романа, который оставил бы след или наделал шуму. Мужчины, о чьих любовных историях говорят, очевидно, не отличаются скромностью.

Когда она избирала того, кому предстояло быть ее любовником в течение трех лет его гарнизонной службы, оставалось только подать ему знак.

Сколько женщин оказались бы в затруднении, прибегли бы к обычным приемам, выбрали бы проторенный путь, заставили бы мужчину ухаживать, пройти все этапы победы и сопротивления, разрешая сегодня поцеловать пальчики, завтра руку повыше кисти, затем щеку, затем губы, затем все прочее.

Ее метод был более скорый, безопасный и верный: она давала бал.

Избранный ею офицер приглашал, как полагается, хозяйку дома. И вот во время вальса, увлеченная стремительным движением, опьяненная танцем, она льнула к нему, словно отдаваясь, и сжимала ему руку нервным и долгим пожатием.

Если он не понимал — значит, это был просто дурак, и она переходила к следующему, помеченному номером два в списке ее желаний.

Если понимал, все обходилось без шума, без компрометирующего ухаживания и частых посещений.

Что может быть проще и практичнее?

Как было бы хорошо, если бы все женщины подобным же способом давали нам понять, что мы им нравимся! Сколько это устранило бы затруднений, колебаний, слов, хлопот, тревог, неловкостей, недоразумений. Как часто мы проходим мимо возможного счастья, не подозревая о нем, ибо кто может проникнуть в сокровенные мысли, тайные уступки воли, немые призывы плоти — в неведомый мир женщины, если уста ее хранят молчание, а взор непроницаем и ясен?

Когда избранник понимал, в чем дело, он просил

дать ему свидание. Но г-жа Амандон всегда заставляла его ждать месяц или полтора, чтобы понаблюдать, узнать его, и если у него оказывался какой-нибудь опасный недостаток, то от дальнейшего воздержаться.

А он в это время ломал себе голову, стараясь придумать, где бы они могли встречаться, ничем не рискуя, измышлял всевозможные комбинации, одна другой сложнее и опаснее.

Затем, на каком-нибудь официальном празднике, она говорила ему шепотом:

— Приходите во вторник в девять часов вечера в гостиницу «Золотой конь», возле укреплений, на Вузьерской дороге, и спросите мадмуазель Клариссу. Я буду вас ждать; но непременно будьте в штатском.

Она действительно уже восемь лет снимала меблированную комнату с годовой оплатой в никому неведомой харчевне. Эта мысль пришла ее первому любовнику. Г-жа Амандон решила, что это практично, и, когда любовник уехал, оставила гнездышко за собой.

О, гнездышко довольно неказистое: четыре стены, оклеенные серенькими обоями с голубыми цветочками, сосновая кровать под кисейным пологом, кресло, купленное по ее приказу услужливым хозяином, два стула, коврик и несколько предметов, необходимых для туалета. Но разве этого было недостаточно?

На стенах висели три больших фотографических снимка. Три полковника верхами — начальники ее возлюбленных! Зачем? Не имея возможности хранить изображения своих любовников, как явное воспоминание, она, может быть, хотела сберечь память о них, так сказать, рикошетом.

И никто, спросите вы, ни разу не узнал ее во время всех этих посещений «Золотого коня»?

Никто! Ни разу.

Уловка, которую она изобрела, была восхитительно проста. Она придумывала и устраивала всевозможные собрания благотворительных и благочести-

вых обществ, часто бывала на них, но, случалось, и пропускала. Муж знал о ее благочестивых делах, которые обходились ему очень дорого, и жил спокойно, ни о чем не подозревая.

И вот, когда свидание было уже назначено, она говорила за обедом, в присутствии прислуги:

— Я ухожу сегодня вечером в Общество фланелевых набрюшников для престарелых паралитиков.

Она отправлялась из дома около восьми, заходила в Общество, сейчас же выходила оттуда, пробегала несколько улиц и, очутившись в каком-нибудь пустынном переулке, в темном уголке, без фонаря, снимала шляпку, надевала вместо нее чепчик горничной, который она прятала под тальмой, развертывала белый передник, принесенный вместе с чепчиком, подвязывала его и, завернув в салфетку шляпу и сброшенную с плеч тальму, семенила дальше, осмелев, покачивая бедрами, точно разбитная горничная, посланная с поручением; иногда она даже бежала, словно ей было очень к спеху.

Кто же узнал бы в этой тоненькой и вертлявой служанке г-жу Амандон, супругу председателя суда?

Дойдя до «Золотого коня», она поднималась в свою комнату, от которой у нее был ключ, и толстяк-хозяин за конторкой, видя, как она проходит, бормотал:

— Вон мамзель Кларисса идет на свидание.

Он наверняка кой о чем догадывался, толстый плут, но не старался выведать побольше и, конечно, был поражен, узнав, что его клиентка — сама г-жа Амандон, или, как ее звали в Пертюи-ле-Лонг, мадам Маргерит.

Вот каким образом произошло это ужасное открытие.

Никогда мадмуазель Кларисса не приходила в гостиницу два вечера подряд, никогда,— она была очень умна и осторожна. И дядюшка Труво отлично это знал, ибо за восемь лет ни разу не заметил,

чтобы она появлялась на другой день после свидания. В те дни, когда у него было полно народу, он частенько даже сдавал на одну ночь ее комнату.

И вот прошлым летом председатель суда г-н Амандон уехал на неделю. Стоял июль; г-жу Амандон томили страсти, и так как она не рисковала попасться, то во вторник, прощаясь с любовником, красавцем-майором Варанжелем, спросила его, не хочет ли он снова увидеться с нею завтра; и он ответил:

— Ну, конечно!

Итак, они условились, что встретятся в среду, в обычное время. Она сказала ему шепотом:

— Если ты придешь первым, мой любимый, дожидайся меня в постели.

Они обнялись и расстались.

На другой день, около десяти утра, когда дядюшка Труво читал *Вестник Пертюи,* местный республиканский орган, он из-за конторки крикнул жене, которая ощипывала курицу на дворе:

— А в нашем округе холера! Один вчера умер в Вовиньи!

Затем он перестал думать об этом, его гостиница была битком набита, дела шли отлично.

Около полудня явился еще один путешественник, он пришел пешком,— что-то вроде туриста,— и, проглотив предварительно две рюмки абсента, заказал сытный завтрак. А так как стояла страшная жара, то он влил в себя еще литр вина и по крайней мере два литра воды!

Кроме того, он выпил кофе с рюмочкой ликера, вернее, с тремя рюмочками. Почувствовав в теле некоторую тяжесть, он попросил отвести ему комнату, чтобы соснуть часик или два. Ни одного свободного номера не было, и хозяин, посоветовавшись с женой, решил пустить его в комнату мадмуазель Клариссы.

Турист вошел в нее и, так как он все не выходил оттуда, хозяин около пяти часов решил разбудить гостя.

Вот так история! Турист оказался мертвым!

Дядюшка Труво спустился вниз к жене:

— Знаешь, этот тип, которого я поместил в комнате номер одиннадцать, кажется, помер.

Она всплеснула руками:

— Да что ты! Господи боже! Неужели холера?

Дядюшка Труво покачал головой:

— Я думаю, скорее *мозговая зараза,*— он почернел, как осадок вина.

Но хозяйка растерянно повторяла:

— Только никому не говори, никому не говори, а то подумают — холера. Пойди заяви в полицию, да не болтай. Пусть его унесут ночью, чтобы никто не видел. А там — видом не видали, слыхом не слыхали, и след заметен.

Муж пробормотал:

— Мамзель Кларисса была вчера, значит, нынче вечером комната свободна.

И он отправился за врачом, который констатировал смерть от кровоизлияния в мозг после слишком обильного завтрака. Затем уговорились с полицейским комиссаром, что тело вынесут около полуночи,— таким образом, обитатели гостиницы ничего не заподозрят.

Едва пробило девять, как г-жа Амандон неслышно взбежала по лестнице «Золотого коня», и на этот раз ее никто не заметил. Дойдя до своей комнаты, она отперла дверь, вошла. На камине горела свеча. Г-жа Амандон повернулась к кровати. Майор уже лежал в постели, но он задернул полог.

Она проговорила:

— Одну минутку, мой любимый, я сейчас иду.

И она разделась с лихорадочным нетерпением, швырнув ботинки на пол, а корсет на кресло. Затем, когда черное платье и юбки, упав, легли кольцом вокруг ее ног, она выпрямилась в своей красной шелковой рубашке, похожая на только что распустившийся цветок.

Так как майор не проронил ни слова, она спросила:

— Ты спишь, толстяк?

Он молчал, и она, засмеявшись, пробормотала:

— Скажите, пожалуйста! Спит. Вот чудак!

Не снимая черных шелковых ажурных чулок, г-жа Амандон подбежала к постели, живо скользнула в нее и, желая сразу разбудить любовника, жадно обвила руками и жадно поцеловала ледяной труп путешественника.

Один миг она лежала неподвижно, ничего не понимая от страха. Но холод этой безжизненной плоти пробудил в ее теле чудовищный и слепой ужас раньше, чем она была в состоянии что-либо сообразить.

Одним прыжком она выскочила из постели, содрогаясь с головы до ног, бросилась к камину, схватила свечу, вернулась и взглянула! И увидела страшное, не знакомое ей лицо, почерневшее и опухшее; глаза были закрыты, а челюсти сведены отвратительной гримасой.

Она испустила вопль, пронзительный, несмолкающий крик, как кричат женщины, обезумев от ужаса, уронила подсвечник, распахнула дверь и побежала полунагая по коридору, оглашая его страшным воем.

Из комнаты № 4 выскочил коммивояжер в носках и заключил ее в свои объятия.

Он спросил растерянно:

— Что случилось, моя прелесть?

Она забормотала в отчаянии:

— Там... там... там... убили кого-то... в моей... в моей комнате...

Появились и другие постояльцы. Прибежал сам хозяин.

И вдруг в конце коридора показалась статная фигура майора.

Увидев его, она кинулась к нему с криком.

— Спасите, спасите меня, Гонтран... Кого-то убили в нашей комнате.

Распутать все это было трудно. Однако дядюшка Труво рассказал всю правду и попросил, чтобы мадмуазель Клариссу немедленно отпустили, ибо он отвечает за нее головой. Но коммивояжер в носках,

осмотрев труп, заявил, что здесь совершено преступление, и уговорил других путешественников не соглашаться на то, чтобы мадмуазель Клариссе и ее любовнику позволили уйти.

Им пришлось дождаться прихода полицейского комиссара, он вернул им свободу, но тайны не сохранил.

В следующем же месяце председателя суда г-на Амандона перевели с повышением в другой город.

ПЛЕННЫЕ

В лесу ни звука, только слышен легкий шорох падающего на деревья снега. Еще днем пошел мелкий снежок, осыпая ветки ледяным пухом, набрасывая на сухие листья зарослей серебристый покров, расстилая по тропам гигантский белый и мягкий ковер, сгущая беспредельную тишь этого океана деревьев.

У порога лесной сторожки молодая женщина с засученными рукавами колола дрова. Это была рослая, статная и крепкая дочь леса, дочь и жена лесников.

Из дома раздался голос:

— Мы нынче будем ночевать одни, Бертина! Иди домой: уже совсем стемнело, а по лесу, может, рыщут пруссаки и волки.

Раскалывая полено широкими взмахами, от которых грудь ее напрягалась, лесничиха ответила:

— Готово, мама. Иду, иду, не бойся, еще светло.

Она внесла в дом дрова и вязанки хвороста, уложила их возле очага, еще раз вышла во двор, чтобы затворить ставни, тяжелые ставни из цельного дуба, и, возвратясь, заперла дверь на засов.

У огня пряла ее мать, сморщенная старушка, которую годы сделали пугливой.

— Не люблю я, когда отца нет дома,— сказала она,— много ли стоят две женщины?

— Ну, я-то уж как-нибудь пристрелю волка или пруссака! — отвечала молодая и взглядом указала на большой пистолет, висевший над очагом.

Ее муж был взят в армию с начала прусского нашествия, и женщины остались одни с отцом, старым лесником Никола Пишоном, по прозвищу Дылда, который упорно отказывался уйти из дома и переселиться в город.

Ближайший город был Ретель, старинная крепость на скале. Это был город патриотов: жители его решили сопротивляться захватчикам, запереться в городе и, следуя традиции, выдержать осаду. Дважды уже — при Генрихе IV и при Людовике XIV — жители Ретеля прославились героической обороной. И теперь, черт побери, они поступят так же, пускай их даже сожгут в стенах крепости.

Итак, они закупили пушки и ружья, снарядили ополчение, сформировали батальоны и роты и по целым дням обучались на крепостном плацу. Все они: булочники, бакалейщики, мясники, нотариусы, адвокаты, столяры, книгопродавцы и даже аптекари — упражнялись по очереди в определенные часы под начальством г-на Лавиня, драгунского унтер-офицера в отставке, а ныне владельца галантерейного магазина, так как он женился на дочери г-на Раводана-старшего и унаследовал его торговлю.

Г-н Лавинь получил звание коменданта крепости и, когда молодежь ушла в армию, завербовал всех остальных обывателей, которые стали усердно готовиться к обороне. Толстяки ходили по улицам не иначе как беглым шагом, чтобы растрясти жир и избавиться от одышки, слабосильные таскали тяжести, чтобы укрепить мускулы.

И все ждали пруссаков. Но пруссаки не показывались. Однако находились они неподалеку; два раза их разведчики пробирались лесом до сторожки лесника Никола Пишона, по прозвищу Дылда. Старый лесник, юркий, как лиса, прибегал оповестить об этом горожан, после чего были наведены пушки, но враг не появлялся.

Жилище Дылды служило передовым постом в Авелинском лесу. Старик два раза в неделю ходил за провизией и приносил городским жителям окрестные новости.

В тот день он отправился сообщить, что позавчера в третьем часу дня небольшой отряд немецкой пехоты остановился у него и почти сразу же двинулся дальше. Начальник отряда, унтер-офицер, говорил по-французски.

Уходя в город, старик из страха перед волками, начинавшими лютовать, брал с собой двух своих собак — двух волкодавов с львиной пастью, а женщинам наказывал к ночи накрепко запираться в доме.

Молодая ничего не боялась, а старуха вечно дрожала и твердила:

— Добром это не кончится, вот увидите, добром не кончится.

В тот вечер она беспокоилась больше обычного.

— Не знаешь, когда придет отец? — спросила она.

— Ну, наверно, не раньше одиннадцати. Он всегда поздно приходит, когда обедает у коменданта.

Молодая женщина только что повесила над огнем котелок с водой для похлебки, но вдруг замерла, прислушиваясь к смутному шуму, долетавшему через дымоход.

— Слышишь, по лесу ходят...— прошептала она.— Человек семь — восемь, не меньше.

Мать в испуге остановила прялку и залепетала:

— Ох, боже мой, а отца-то нет!

Не успела она договорить, как от сильного стука затряслась дверь.

Женщины не откликались, и громкий гортанный голос крикнул снаружи:

— Эй, открывать!

После паузы тот же голос повторил:

— Открывать, иначе я ломать дверь!

Тогда Бертина сунула в карман юбки большой пистолет, что висел над очагом, и, прильнув ухом к двери, спросила:

— Кто там?

— Это есть я, отряд от позавчера.

— Чего вам надо? — продолжала спрашивать Бертина.

— Я заблудил с мой отряд еще утром. Вы должен открывать, иначе я ломать дверь.

Лесничихе ничего не оставалось, как отодвинуть засов; приоткрыв тяжелую дверь, она увидела в блеклом снежном сумраке шесть человек, шесть прусских солдат, тех же, что приходили позавчера.

Она заявила решительным тоном:

— Чего вам надо так поздно?

Унтер-офицер повторил:

— Я заблудил, совсем заблудил, и я узнавал ваш дом. Я ничего не имел есть с утра и тоже мой отряд.

— Да мы с матерью совсем одни в доме,— возразила Бертина.

Солдат миролюбиво ответил:

— Ничего. Я не буду вас обидеть, только вы должен давать нам кушать. Мы будем сейчас падать от голод и усталость.

Лесничиха посторонилась.

— Войдите,— сказала она.

Солдаты вошли; они были запорошены снегом, а каски их, все в белых хлопьях, напоминали пирожные со сбитыми сливками; заметно было, что люди утомлены, измучены.

Лесничиха указала на деревянные скамьи по обеим сторонам стола.

— Садитесь,— промолвила она.— Я вам сварю похлебку. Видно, вы и вправду из сил выбились.

И она задвинула засовы.

Потом она подлила воды в котелок, подбавила масла и картофеля, сняла с крюка над очагом кусок сала, отрезала половину и тоже опустила в суп.

Шестеро солдат следили голодными глазами за всеми ее движениями. Ружья и каски они сложили в угол и теперь сидели и ждали, точно послушные дети на школьных скамьях.

Старуха-мать снова взялась за пряжу, поминутно бросая растерянные взгляды на солдат-захватчиков. Только и слышно было, что жужжание прялки, потрескивание дров да бульканье вскипающей похлебки.

Но вдруг все вздрогнули от какого-то странного шума за дверью, похожего на храп, громкий звериный храп.

Немецкий унтер-офицер бросился к ружьям. Лесничиха жестом остановила его.

— Это волки,— улыбаясь, сказала она.— Они вроде вас — тоже рыщут голодные по лесу.

Немец не поверил и пожелал убедиться, но, распахнув дверь, увидел двух больших серых зверей, убегавших торопливой размашистой рысью.

Немец вернулся на место, пробормотав:

— Я не хотел поверить.

И стал дожидаться похлебки.

Они жадно пожирали ее, разевая рты до ушей, чтобы захватить побольше; глаза раскрывались вместе со ртами, а в горле у всех булькало, как в водосточной трубе. Обе женщины молча смотрели, как быстро шевелятся рыжие бороды и картофелины точно проваливаются в этих движущихся зарослях.

Потом немцам захотелось пить, и лесничиха спустилась в погреб нацедить сидра. В погребе она замешкалась. Это было сводчатое подземелье, как говорят, служившее во время революции тюрьмой и тайником. Спускались туда по винтовой лесенке, через люк в углу кухни.

Бертина вернулась, посмеиваясь, злорадно посмеиваясь про себя. Она подала немцам кувшин сидра. Потом поужинала сама вместе с матерью на другом конце кухни.

Солдаты наелись и задремали, сидя на скамьях. Время от времени кто-нибудь из шестерых стукался лбом о доску стола и, проснувшись, выпрямлялся.

Бертина обратилась к унтер-офицеру:

— Ложитесь у огня, на шестерых места хватит. А мы с мамой взберемся в мою каморку.

И обе женщины поднялись на верхний этаж. Слышно было, как они заперлись на ключ, потом ходили некоторое время и наконец затихли.

Пруссаки разлеглись на полу, ногами к огню, подложив под голову скатанные шинели, и вскоре все шестеро захрапели на разные голоса, кто дискантом, кто басом, но все одинаково протяжно и оглушительно.

Должно быть, они спали уже давно, когда раздался выстрел, да такой громкий, словно выстрелили в стену дома. Солдаты мигом вскочили. Но тут снова прогремело два выстрела, а за ними еще три.

Дверь наверху распахнулась и показалась лесничиха, босая, в рубашке и нижней юбке, с виду перепуганная, со свечой в руке.

— Это французы,—лепетала она,— человек двести, не меньше. Они подожгут дом, если застанут вас здесь. Скорее спускайтесь в погреб, да только не шумите. Если будете шуметь, мы пропали.

Унтер-офицер растерянно прошептал:

— Мы согласен, мы согласен. Где мы должен спускаться?

Женщина поспешно открыла тесный квадратный люк, и шестеро немцев, пятясь и нащупывая ногой ступеньки, спустились гуськом по винтовой лесенке в подземелье.

Но едва скрылся шишак последней каски, Бертина захлопнула тяжелую дубовую крышку люка, толстую, точно стена, крепкую, точно сталь, укрепленную на шарнирах, дважды повернула ключ в огромном тюремном замке и засмеялась беззвучным торжествующим смехом, еле удерживаясь, чтобы не пуститься в пляс над головами пленников.

Они не шевелились, пойманные, как в мешок, в прочный каменный мешок, куда воздух проникал только через отдушину, забранную железной решеткой.

Бертина поспешила опять раздуть огонь и повесила котелок, чтобы подварить похлебки, бормоча:

— Отец устанет пынче за ночь.

Потом она села и принялась ждать. Только звонкий маятник равномерно тикал в тишине.

Временами молодая женщина бросала взгляд на стрелки часов, нетерпеливый взгляд, как бы говоривший: «Что они так ползут?».

Но вскоре ей почудилось, что под ногами у нее шепчутся. Из-под кирпичного свода долетал невнятный говор. Пруссаки, очевидно, начали догадываться, что их провели, и немного погодя унтер-офицер взобрался по

винтовой лесенке и забарабанил кулаками в крышку люка.

— Открывать! — заорал он снова.

Она встала, подошла ближе и спросила, передразнивая его:

— Чего вы хотеть?

— Открывать.

— Я не открывать.

Немец бесился:

— Открывать, иначе я ломать дверь!

Она засмеялась:

— Ломай, ломай, голубчик!

Он принялся колотить прикладом в дубовую крышку, захлопнутую над его головой. Но такая крышка не поддалась бы и тарану.

Лесничиха услышала, что немец спускается. Потом поднимались один за другим солдаты, пытали свою силу и крепость запора. Но решив, что все попытки тщетны, они спустились в погреб и снова стали совещаться. Женщина сперва прислушивалась к ним, потом растворила наружную дверь и стала вслушиваться во тьму. До нее донесся отдаленный лай. Она засвистала по-охотничьи, и две огромные собаки сейчас же выпрыгнули из мрака и радостно бросились к ней. Она схватила их за шею, чтобы они не убежали. Потом крикнула что есть мочи:

— Гой-го, отец!

— Гой-го, Бертина,— ответил голос еще издалека.

Она подождала немного и снова крикнула:

— Гой-го, отец!

— Гой-го, Бертина! — ответил голос уже ближе.

— Не ходи мимо отдушины. В погребе немцы,— предостерегла лесничиха.

Слева между двумя деревьями внезапно возникла высокая фигура старика.

— Немцы в погребе? Чего им там надо? — с тревогой спросил он.

Молодая женщина засмеялась:

— Да это давешние. Они заплутались в лесу, я их посадила освежиться в погреб.

И она рассказала все с самого начала: как напугала немцев выстрелами и заперла их в подвале.

Старик, все еще хмурясь, спросил:

— Что же мне теперь с ними делать?

— Ступай приведи господина Лавиня со всем отрядом. Пусть возьмет их в плен. То-то обрадуется!

Тут и старик Пишон улыбнулся.

— Верно, что обрадуется.

— Вот тебе похлебка, поешь и ступай скорее,— добавила дочь.

Старик сел за стол и принялся за еду, поставив сперва на пол две миски с похлебкой для собак.

Услышав голоса, немцы смолкли. Через четверть часа Дылда опять пустился в путь. А Бертина, подперев голову руками, стала ждать.

Пленники снова забеспокоились. Теперь они кричали, звали, без перерыва неистово колотили прикладами по несокрушимой крышке люка.

Немного погодя они начали стрелять в отдушину, надеясь, должно быть, что их услышат, если какой-нибудь немецкий отряд окажется поблизости.

Лесничиха словно замерла; но шум, который поднимали немцы, волновал и раздражал ее. Ярая злоба пробуждалась в ней. Ей хотелось перебить их, мерзавцев, чтоб они замолчали. Нетерпение ее росло, она не отрывала глаз от часов, считала минуты.

Прошло полтора часа с тех пор, как ушел отец. Теперь уж он в городе. Она будто видела его. Вот он рассказывает о происшедшем событии г-ну Лавиню, тот бледнеет от волнения и звонит служанке, чтобы ему принесли мундир и оружие. Бертине так и слышалось, как рассыпается по улицам дробь барабана. Из окон выглядывают перепуганные лица. Мужчины выбегают из домов, наспех одевшись, запыхавшись, застегивают портупеи и устремляются к жилищу коменданта.

Потом отряд средь мглы и сугробов направляется в лес, с Дылдой во главе.

Она все смотрела на циферблат. «Через час они будут здесь».

Нервное нетерпение обуревало ее. Минуты тянулись бесконечно. Сколько же еще ждать?

Наконец стрелки показали время, когда, по ее расчетам, должен был прибыть отряд.

Она снова распахнула дверь, чтобы послушать, не идут ли. Она увидела осторожно передвинувшуюся тень и вскрикнула в испуге. Но это был отец.

— Меня послали узнать, нет ли каких перемен,— сказал он.

— Нет, никаких.

Тогда он пронизал мрак долгим, резким свистом.

И вот вскоре среди деревьев показалось, медленно приближаясь, темное пятно: авангард в десять человек.

Дылда то и дело повторял:

— Не ходите мимо отдушины.

И передовые указывали вновь прибывающим опасную отдушину.

Наконец появился основной отряд — двести человек, у каждого по двести патронов.

Г-н Лавинь, дрожа от возбуждения, расставил своих людей так, чтобы дом был окружен со всех сторон, свободным осталось только большое пространство перед черным отверстием на уровне земли, через которое в погреб проникал воздух.

Затем г-н Лавинь вошел в дом и осведомился о численности и расположении неприятеля, до такой степени присмиревшего, что казалось, он исчез, испарился, улетучился через отдушину.

Г-н Лавинь постучал ногой в крышку люка и окликнул:

— Господин прусский офицер!

Немец не отвечал.

— Господин прусский офицер! — повторил комендант.

И снова тщетно. Целых двадцать минут убеждал он онемевшего пруссака сдаться с оружием и снаряжением, обещая жизнь и воинские почести ему и его солдатам. Но в ответ не уловил ни одного знака согласия или враждебных намерений. Положение становилось затруднительным. Ополченцы топтались на снегу, похлопывали себя руками по плечам, как это делают кучера, чтобы согреться, поглядывали на отдушину, и у всех росло ребяческое желание пройти мимо нее.

Один из них, некий Подевен, человек очень ловкий, отважился наконец. Разбежавшись, он промчался мимо отдушины, как серна. Опыт прошел благополучно. Пленники словно умерли.

— Там нет ни души! — крикнул кто-то.

Другой солдат тоже пробежал по свободному пространству перед грозным отверстием. Дальше началось нечто вроде игры. Поминутно кто-нибудь стремглав перебегал от одной группы к другой, как дети, бегающие наперегонки, и тогда из-под ног во все стороны разлетались снежные комья. Чтобы согреться, горожане разложили большие костры из валежника, и яркий огонь на мгновение озарял фигуру, перебегавшую с правого фланга на левый.

Кто-то крикнул:

— Малуазон, твой черед!

Малуазон был толстяк-булочник, товарищи постоянно посмеивались над его животом.

Он колебался. Раздались насмешки. Тогда он набрался храбрости и затрусил мерной рысцой, пыхтя и потряхивая жирным брюхом.

Весь отряд хохотал до слез.

— Браво, браво, Малуазон! — ободряли его.

Он пробежал около двух третей всего пути, как вдруг из отдушины брызнула коротка красная струя пламени.

Грянул выстрел, и тучный булочник с диким воплем упал ничком в снег.

Никто не бросился ему на помощь. Тогда он сам, охая, пополз по снегу на четвереньках и, выбравшись из опасной зоны, потерял сознание.

Пуля попала ему в самую верхнюю, мясистую часть ляжки.

За первым испугом, первым смятением последовал новый взрыв смеха.

Но тут на пороге дома появился комендант Лавинь. Он успел разработать план штурма. Громким голосом он выкрикнул:

— Лудильщик Планшю с подручными!

Выступили трое.

— Снимайте с дома водосточные трубы.

За четверть часа коменданту доставили двадцать метров труб.

Тогда он распорядился выдолбить со всяческими предосторожностями круглое отверстие у края люка и соединить его трубами с насосом у колодца, после чего радостно объявил:

— Сейчас мы дадим господам немцам напиться!

В ответ — восторженные крики «ура», радостный рев и безудержный хохот. Комендант организовал рабочие команды, которые должны были сменяться каждые пять минут, после чего приказал:

— Качайте.

Железный рычаг был пущен в ход, журчание пробежало вдоль труб, и вода полилась по ступенькам погреба с шумом водопада в бассейне для золотых рыбок.

Все ждали, что будет.

Прошел час, другой, третий.

Комендант лихорадочно шагал по кухне, временами прикладывая ухо к полу и стараясь разгадать, что делает враг, скоро ли капитулирует.

Теперь враг засуетился. Слышно было, как он передвигает бочки, разговаривает и плещется в воде.

Часов около восьми утра из отдушины послышался голос:

— Я желал говорить с господин французский офицер.

Лавинь ответил, не слишком высовываясь из окна:

— Вы сдаетесь?

— Я сдаваться.

— Тогда сложите оружие.

Тотчас же из отдушины выбросили на снег одно ружье, затем два, три и наконец все ружья. Прежний голос заявил:

— Больше нет. Скорее кончать. Я совсем тонул.

— Довольно,— приказал комендант.

Рычаг насоса замер в неподвижности. Когда кухню заполнили солдаты с ружьями на изготовке, комендант медленно поднял дубовую крышку люка.

Сперва показались четыре головы, четыре белобрысые головы с длинными мокрыми волосами, а затем

один за другим вылезли и все шестеро немцев, продрогшие, вымокшие, перетрусившие.

Их схватили и связали. И сразу же, во избежание неожиданного нападения, пустились в путь, разбившись на две колонны: одна сопровождала пленников, другая — Малуазона, которого тащили на носилках из тюфяка и двух жердей.

В Ретель возвратились с триумфом.

Г-н Лавинь был награжден орденом за взятие в плен прусского авангарда, а толстяк-булочник — военной медалью за ранение, полученное в бою.

НАШИ АНГЛИЧАНЕ

В вагоне на стеганом диване валялась небольшая переплетенная тетрадка. Я взял ее и развернул. Это был путевой дневник, забытый каким-то путешественником.

Выписываю три последние страницы.

1 февраля. Ментона, столица чахоточных, славится своими легочными туберкулами. В отличие от картофельных клубней, которые живут и произрастают в земле для того, чтобы питать и утучнять человека, этого рода растительность живет и произрастает в человеке для того, чтобы питать и утучнять землю.

Этим научным определением я обязан здешнему любезному и ученому врачу.

Ищу гостиницу. Мне рекомендуют Гранд Отель России, Англии, Германии и Нидерландов. Воздав дань уважения космополитической ловкости хозяина, водворяюсь в этом лазарете, который кажется пустым, до того он велик.

Затем я совершаю прогулку по городу, живописно и уютно расположенному у подножия внушительной горы (см. путеводители); встречаю людей, на вид больных, которых водят на прогулки другие люди, на вид скучающие. Здесь снова попадаются кашне (к сведению натуралистов, которых, может быть, обеспокоило бы их исчезновение).

Шесть часов. Возвращаюсь в гостиницу к обеду. Обед сервирован в большом зале, рассчитанном на

триста гостей, в котором, однако, приютилось только двадцать два человека. Они входят один за другим. Вот прежде всего англичанин, высокий, бритый, худой, в длинном сюртуке в талию, с широкими, как юбка, фалдами; рукава плотно облегают тонкие руки этого господина, как чехол облегает зонтик. Это одеяние напоминает мундир отставных капитанов или инвалидов и сутану духовного лица; спереди на нем нашит ряд пуговиц, обтянутых черным сукном, как и их хозяин, и тесно посаженных друг подле друга, наподобие шеренги черных тараканов. Напротив выстроился ряд петель, словно в ожидании их, что наводит на игривые мысли.

Жилет замкнут по тому же методу. Обладатель этого одеяния, по-видимому, не принадлежит к числу весельчаков.

Он мне кланяется; я отвечаю таким же вежливым поклоном.

Явление второе. Три дамы, три англичанки,— мать и две дочери. У каждой на голове взбитый яичный белок, что меня несколько удивляет. Дочери так же стары, как мать. Мать так же стара, как дочери. Все три — тонкие, с плоским фасадом, высокие, медлительные и негибкие; зубы у них торчат наружу, чтобы внушать страх кушаньям и людям.

Приходят и другие завсегдатаи — все англичане. Только один из них толстый и красный, с белыми баками. У каждой женщины (а их четырнадцать) на голове взбитый белок. Я замечаю наконец, что это блюдо — головной убор, сделанный из белых кружев, а может быть, из легкого, как пена, тюля, хорошо не знаю. Он как будто не подсахарен. Впрочем, все эти дамы напоминают маринад, и хотя среди них имеется пять молодых девушек, не слишком некрасивых, но все они плоски, безнадежно плоски.

Я вспоминаю стихи Буйле:

Мой ангел, не грусти о худобе своей,
Пусть грудь твоя плоска — тем ближе буду к сердцу,
И, точно в клетке дрозд, смотря в сквозную дверцу,
Мечтает там амур среди твоих костей.

Два молодых человека, более молодых, чем первый англичанин, облечены, как и он, в сюртуки духовного

покроя. Это светские священники с женами и детьми, называемые пасторами. На вид они более опрятны, более серьезны и менее любезны, чем наши кюре. Но я не променяю бочонок последних на тонну первых. У всякого свой вкус.

Как только все гости оказались в сборе, главный пастор произносит по-английски что-то вроде Benedicite[1], весьма длинную молитву, которую весь стол выслушивает с умиленным видом.

После того как, не спросясь меня, мою пищу посвятили таким образом богу Израиля и Альбиона, все принялись за суп.

В большом зале царит торжественное молчание — молчание, по-видимому, ненормальное. Я предполагаю, что мое присутствие неприятно этой колонии, в которую до сих пор не проникала ни одна паршивая овца.

Особенно женщины сохраняют чопорные и натянутые позы, словно боятся уронить в тарелку свои наколки из сбитых белков.

Наконец главный пастор обращается к своему соседу, пастору второго ранга, с несколькими словами. К несчастью, я немного владею английским языком и с изумлением слышу, что они, возобновив разговор, прерванный перед обедом, толкуют некоторые места из Книг пророков.

Все благоговейно слушают.

И вот меня против моей воли начинают угощать невероятными цитатами:

«Я изолью воды для тех, кто жаждет»,— сказал Исайя.

Я этого не знал. Не знал я и всех тех истин, которые были изречены Иеремией, Малахией, Езекиилем, Илией и Аггеем.

Все эти несложные истины проникли в мой слух и жужжали у меня в голове, как мухи:

«Пусть алчущий просит пищи».

«Воздух принадлежит птицам, как море — рыбам».

«Смоковница производит смоквы, а пальма — финики».

---

[1] «Благословите» *(лат.)* — предобеденная молитва у католиков.

«Человек, который не слушает, не удержит в памяти учение».

Насколько шире и глубже наш великий Анри Монье, который устами одного человека, бессмертного Прюдома, изрек больше блистательных истин, чем все пророки, вместе взятые!

На берегу моря он восклицает:

«Океан прекрасен, но сколько пропадает земли!»

Он формулирует вечную мировую политику:

«Эта сабля — лучший день моей жизни. Я сумею ею пользоваться, чтобы защищать власть, которая мне ее дала, а в случае нужды — и для того, чтобы напасть на эту власть».

Если б я имел честь быть представленным окружавшему меня английскому обществу, я, несомненно, поразил бы его изречениями нашего французского пророка.

После обеда все перешли в гостиную.

Я одиноко сидел в углу комнаты. В другом конце обширного покоя клан бриттов, казалось, составлял какой-то заговор.

Внезапно одна из дам направилась к фортепьяно.

Я подумал:

«Ага, немножко мьюзик! Тем лучше».

Она открывает крышку инструмента, садится за него, и вот вся колония окружает ее, как батальон солдат,— дамы в первом ряду, мужчины позади.

Уж не собираются ли они спеть оперу?

Главный пастор, превратившийся в хормейстера, подымает руку, опускает ее, и ужасный вопль, которому не подберешь имени, вырывается из всех этих ртов, запевших какой-то священный гимн.

Женщины пищали, мужчины ревели, стекла звенели. На дворе гостиницы завыла собака, другая откликнулась ей из комнаты.

Растерянный, взбешенный, я обратился в бегство. Решил пройтись по городу. Не найдя ни театра, ни курзала, ни другого какого-либо увеселительного заведения, я вынужден был вернуться домой.

Англичане все еще пели.

Я лег спать. Они все еще пели. До полуночи они пели хвалу господу самыми фальшивыми, самыми крик-

ливыми, самыми неприятными голосами, какие мне когда-либо приходилось слышать; я укрылся одеялом, но тот страшный дух подражания, который заставлял целый народ нестись в пляске мертвецов, обуревал меня, и я стал напевать:

Скорблю о господе, о боге Альбиона,
Которому хвалу поют среди салона.
И если слух его верней,
Чем у его возлюбленных детей,
И ценит он очарованье,
Ум, красоту и дарованье,
И любит музыку притом,—
Я не хотел бы быть творцом.

Наконец мне удалось заснуть, но я видел кошмарные сны. Мне снились пророки верхом на пасторах, пожирающие взбитые белки на черепах.

О ужас! О ужас!

2 февраля. Как только я встал, я тотчас спросил у хозяина гостиницы, ежедневно ли эти варвары, наводнившие его гостиницу, повторяют свое ужасное увеселение.

Он с улыбкой отвечал мне:

— О нет, сударь, вчера было воскресенье, а вы ведь знаете, как они чтут воскресенье.

Я отвечал:

Ничто не свято для попов:
Ни уши бедного соседа,
Ни сон его, ни час обеда;
Но помните без дальних слов:
Вы это пенье прекратите,
Не то я в поезд — и простите.

Содержатель гостиницы был немного удивлен, но обещал сделать им замечание.

Днем я совершил очаровательную прогулку в горы.

Вечером снова присутствую при той же Benedicite. Затем перехожу в гостиную. Что они будут делать? В течение часа они не делают ничего.

Вдруг та же самая дама, которая вчера аккомпанировала пению гимнов, направляется к фортепьяно, открывает его. Я вздрогнул в испуге. Она начинает играть вальс.

А молодые мисс принимаются танцевать.

Главный пастор по привычке отбивает такт на коленке. Англичане приглашают дам и принимаются вертеть, вертеть, вертеть взбитые белки, вертеть, как вертят мороженое.

Это все-таки лучше. За вальсом следует кадриль и полька.

Не будучи никому представлен, смирно сижу в углу.

3 февраля. Снова очаровательная прогулка к старому Кастеляру, великолепным развалинам в горах,— на каждой вершине сохранились остатки укрепленного замка.

Трудно себе представить более красивое зрелище, чем эти руины крепостей среди хаоса скал, над которыми поднимаются снежные вершины Альп (см. путеводитель). Местность восхитительная.

За обедом я, по французскому обычаю, самолично представляюсь моей соседке. Она мне не отвечает. Английская вежливость!

Вечером — английский бал.

4 февраля. Экскурсия в Монако (см. путеводитель).

Вечером — английский бал. Присутствую на нем в роли зачумленного.

5 февраля. Экскурсия в Сан-Ремо (см. путеводитель).

Вечером — английский бал. Я по-прежнему в карантине.

6 февраля. Экскурсия в Ниццу (см. путеводитель).

Вечером — английский бал. Я ложусь спать.

7 февраля. Экскурсия в Канны (см. путеводитель).

Вечером — английский бал. Пью чай в своем углу.

8 февраля. Воскресенье и мой реванш. Поддел-таки я вас, негодяи!

Они снова напустили на себя умиленный вид, приличествующий праздничному дню, и приготовили голоса для песнопений.

Но перед обедом, прокравшись в салон, я кладу ключ от фортепьяно в карман и говорю дежурному слуге в конторе:

— Если господа пасторы спросят, где ключ, скажите, что я его взял, и попросите их пожаловать ко мне.

За обедом обсуждают кое-какие не вполне ясные места священного писания, разъясняют отдельные тексты и устанавливают генеалогию библейских персонажей.

После этого переходят в гостиную. Направляются к фортепьяно. Общее смятение. Совещаются. Весь клан, видимо, потрясен. Взбитые белки, кажется, готовы разлететься. Наконец главный пастор отделяется от остальных, выходит из салона и затем возвращается. Спорят, бросают на меня негодующие взгляды, и вот три пастора, выстроившись в ряд, направляются ко мне в качестве парламентеров. В них действительно есть что-то величественное.

Они раскланиваются со мной. Я встаю. Старейший держит речь:

— Сударь, мне сказали, что ви взяли ключ от пьяно. Дами котел ее имет, чтоби пет гимни.

Я отвечаю:

— Господин аббат, мне вполне понятна просьба этих дам, но я не могу ее исполнить. Вы, сударь, человек религиозный, я также, и мои убеждения, несомненно, более строгие, чем ваши, заставляют меня воспрепятствовать тому кощунству, которое вы совершаете.

Я не могу допустить, господа, чтобы вы, прославляя бога в песнопениях, пользовались тем же музыкальным инструментом, под звуки которого всю неделю плясали молодые девушки. Мы, сударь, не устраиваем в церквях публичных балов и не играем кадрилей на органах. То, что вы так пользуетесь этим фортепьяно, меня возмущает и приводит в негодование. Можете передать мой ответ вашим дамам.

Все три пастора, огорошенные, удалились. Дамы, по-видимому, были поражены. И они запели свой гимн без аккомпанемента.

9 февраля. 12 часов дня. Хозяин гостиницы только что предложил мне съехать. Меня изгоняют по просьбе всех англичан.

Встречаю трех пасторов, которые, видимо, следят, уеду ли я. Я направляюсь прямо к ним. Раскланиваюсь.

— Господа,— говорю я,— вы, кажется, весьма сведущи в священном писании. Я сам немало его изучал. Я даже немного знаю древнееврейский. Так вот, мне хотелось бы предложить на ваше рассмотрение один вопрос, сильно смущающий мою совесть католика.

Ведь кровосмешение на ваш взгляд отвратительное преступление? Не так ли? Между тем библия приводит нам пример, крайне смущающий верующего.

Лот, во время его бегства из Содома, был, как вам известно, соблазнен двумя своими дочерьми и, будучи лишен жены, превращенной в соляной столб, не устоял против соблазна. От этого двойного и ужасного кровосмешения родились Аммон и Моав, от которых произошли два великих народа, аммонитяне и моавитяне. Жница Руфь, разбудившая Вооза, чтобы сделать его отцом, была моавитянка.

Не сказал ли Виктор Гюго:

> ...Когда, обнажена,
> Руфь-моавитянка легла к ногам Вооза,—
> То луч неведомый ей обещала грёза
> В миг пробуждения от сна.

Сей неведомый луч породил Овида, который был прадуром Давида.

А разве господь наш Иисус Христос не был потомком Давида?

Три пастора, ничего не отвечая, растерянно переглянулись.

Я продолжал:

— Вы можете мне возразить, что я говорю о родословной Иосифа, законного, но бесполезного супруга Марии, матери Христа. Ведь, как всем известно, Иосиф не принимал никакого участия в рождении своего сына. Следовательно, от кровосмешения произошел Иосиф, а не богочеловек. Согласен. Добавлю, однако, два соображения. Первое — это то, что Иосиф и Ма-

рия, будучи в родстве, имели одних и тех же предков, а второе — не возмутительно ли заставлять нас читать впустую десять страниц генеалогии?

Мы портим себе глаза, чтобы узнать только то, что А родил Б, Б родил В, В родил Г, Г родил Д, Д родил Е, а когда мы уже одурели от этой бесконечной канители, то добираемся до последнего, который никого не родил. Право, господа, ведь это, можно сказать, верх мистификации!

Тут все три пастора сразу, как один человек, повернули ко мне спины и обратились в бегство.

Два часа. Я сажусь в поезд, еду в Ниццу.

На этом дневник заканчивался. Хотя автор этих заметок проявил в них крайне дурной вкус, пошлый ум и большую дозу грубости, тем не менее я подумал, что они могут предостеречь некоторых путешественников от опасностей, которые угрожают им со стороны путешествующих англичан.

Прибавлю от себя, что бывают премилые англичане; я таких знавал, и немало. Но обычно не они являются нашими соседями в гостиницах.

СРЕДСТВО РОЖЕ

Я прогуливался с Роже по бульвару, как вдруг какой-то продавец возле нас закричал:

— Покупайте средство избавиться от тещи! Покупайте!

Я сразу остановился и сказал своему товарищу:

— Этот крик напомнил мне, что я уже давно собирался задать тебе один вопрос. Что за «средство Роже», о котором постоянно толкует твоя жена? Она шутит над этим так забавно, с таким многозначительным видом, что, сдается мне, речь идет о какой-то настойке на шпанских мушках, рецепт которой известен одному тебе. Всякий раз, как в ее присутствии говорят о молодом человеке, переутомленном, истощенном, выдохшемся, она смотрит на тебя и со смехом говорит: «Ему следовало бы посоветовать средство Роже». Но всего забавнее то, что ты всегда при этом краснеешь.

— И, право, есть от чего покраснеть,— отвечал Роже.— Могу тебя уверить, что если бы только моя жена подозревала, о чем она говорит, то предпочла бы промолчать. Тебе я могу доверить эту историю. Ты, конечно, знаешь, что я женился на вдове, в которую был сильно влюблен. Жена моя никогда не боялась вольных речей, и, еще до того как она стала моей законной подругой, мы нередко вели с ней несколько пряные разговоры, допустимые, впрочем, со вдовами, еще не забывшими вкус пряностей. Она очень любила веселые рассказы, игривые анекдоты, оставаясь при этом вполне порядочной женщиной. В известных случаях

грехи словесные не так уж страшны; она смела, я немного застенчив, и не раз до нашего брака она, забавляясь моим смущением, ставила меня в тупик вопросами или шутками, ответить на которые мне было нелегко. Впрочем, возможно, что из-за этой ее смелости я и влюбился в нее. А что до влюбленности, то влюблен я был по уши, телом и душою, и она, злодейка, это отлично знала.

Было решено, что ни устраивать торжества, ни предпринимать свадебного путешествия мы не будем. По окончании церковного обряда угостим завтраком наших свидетелей, а затем вдвоем поедем кататься в карете и к обеду вернемся ко мне, на улицу Эльдер.

И вот, распрощавшись с нашими свидетелями, мы садимся в экипаж, и я приказываю кучеру везти нас в Булонский лес. Был конец июня, стояла чудесная погода.

Как только мы остались одни, она засмеялась и сказала:

— Ну, мой милый Роже, настало время проявить галантность. Посмотрим, как вы приметесь за это.

После такого вызова я сразу почувствовал себя парализованным. Я поцеловал ей руку и стал повторять: «Я вас люблю. Я вас люблю». Два раза я набрался храбрости и коснулся губами ее шеи, но меня смущали прохожие. Она же все твердила задорно и лукаво: «Ну, а дальше... а дальше...» Это «а дальше» первировало меня и приводило в отчаяние. Ведь нельзя же было в карете, в Булонском лесу, среди бела дня... ты понимаешь...

Она прекрасно видела мое смущение и потешалась надо мной. Время от времени она повторяла:

— Боюсь, что я сделала неудачный выбор. Вы внушаете мне большие опасения.

Я сам начинал испытывать это, то есть опасения на собственный счет. Когда меня конфузят, я уже ни на что не способен.

За обедом она была очаровательна. И, чтобы придать себе смелости, я отослал слугу, который меня стеснял. О, мы, конечно, оставались в границах, но ты ведь знаешь, как глупы влюбленные: мы пили из одного стакана, ели из одной тарелки, одною вилкой. Нас

забавляло грызть вафли с двух концов, чтобы губы встретились на середине.

Она объявила:

— Мне хочется шампанского.

Я совсем позабыл о бутылке, стоявшей на буфете. Я ее взял, сорвал бечевку и нажал пробку, чтобы она выскочила. Пробка не выскакивала. Габриель рассмеялась и пробормотала:

— Плохое предзнаменование.

Я нажимал большим пальцем на толстую головку пробки, отгибал ее направо, отгибал налево, но все было напрасно, и вдруг пробка сломалась у самого края горлышка.

Габриель вздохнула:

— Мой Роже, бедный!

Тогда я взял штопор и ввинтил его в обломок пробки, застрявший в горлышке. Но вытащить его не мог. Я был вынужден позвать Проспера. И тут уже моя жена стала хохотать от всего сердца, повторяя:

— Да, да... теперь я вижу, как можно на вас рассчитывать.

Она была уже наполовину пьяна.

После кофе она опьянела на три четверти.

Укладывание в постель вдовы не требует тех церемоний и материнских назиданий, какие необходимы для молодой девушки; Габриель спокойно отправилась в спальню, проговорив:

— Даю вам четверть часа, выкурите сигару.

Когда я вновь очутился с нею, у меня, признаюсь, недоставало уверенности в себе. Я нервничал, волновался и чувствовал себя неловко.

Я занял свое супружеское место. Она не произнесла ни слова. Она только поглядывала на меня с улыбкой на губах и явно желала поиздеваться надо мною. Эта ирония в такую минуту меня окончательно смутила и, признаюсь, парализовала.

Когда Габриель заметила мое... затруднительное положение, она ничего не предприняла для того, чтобы меня ободрить, наоборот. Она спросила меня с равнодушной ужимочкой:

— Вы каждый день так остроумны?

Я не мог удержаться и ответил ей:

— Послушайте, вы невыносимы.

Тогда она снова начала смеяться, и притом совершенно неумеренным, неприличным, выводящим из терпения смехом.

Надо сказать правду, я играл довольно жалкую роль и, должно быть, имел очень глупый вид.

Время от времени, между двумя припадками безумного смеха, она, захлебываясь, говорила:

— Ну же... смелее... проявите хоть немного энергии... мой бедный... бедный друг!

И она снова заливалась хохотом, неудержимым хохотом, даже взвизгивала.

Наконец я до того изнервничался и до того разозлился на себя и на нее, что мне стало ясно одно: я ее побью, если не поспешу удалиться.

Я соскочил с постели и яростно, торопливо оделся, не говоря ни слова.

Она вдруг притихла и, поняв, что я рассержен, спросила:

— Что вы делаете? Куда вы?

Я не ответил. И вышел на улицу. Мне хотелось убить кого-нибудь, отомстить, выкинуть какое-нибудь безумство. Я большими шагами пошел прямо вперед, и вдруг меня осенила мысль зайти к проституткам.

Как знать? Может быть, это послужит испытанием, проверкой, а может быть, тренировкой? Во всяком случае, это будет местью! И если мне суждено когда-нибудь быть обманутым моей женой, то все-таки окажется, что первым обманул ее я.

Я больше не колебался. Я знал один гостеприимный дом любви, неподалеку от моего жилища, и побежал туда, как человек, который бросается в воду, чтобы узнать, не разучился ли он плавать.

Однако я плавал, и даже отлично. И пробыл там долго, смакуя эту месть, тайную и утонченную месть. Затем я очутился на улице в прохладный предутренний час. Теперь я чувствовал себя спокойным и уверенным, довольным, умиротворенным и еще способным, как мне казалось, на новые подвиги.

Я неторопливо вернулся домой и тихо отворил дверь спальни.

Габриель читала, облокотившись на подушку. Она подняла голову и робко спросила:

— Это вы? Что с вами случилось?

Я не отвечал. Я разделся с уверенным видом. И снова, но уже в качестве победителя и господина, занял то место, которое перед этим покинул, как жалкий беглец.

Она была поражена и уверена, что я воспользовался каким-то таинственным, секретным средством.

И с тех пор по любому поводу она твердит о средстве Роже, словно о каком-то непогрешимом научном методе.

Но, увы, с тех пор прошло уже десять лет, и сегодня такой опыт не имел бы больших шансов на успех,— для меня по крайней мере.

Однако если кто-нибудь из твоих приятелей страшится волнений брачной ночи, порекомендуй ему мою военную хитрость и заверь его, что между двадцатью и тридцатью пятью годами нет лучшего способа развязать завязки, как выразился бы сир де Брантом.

ИСПОВЕДЬ

Весь Везье ле Ретель принимал участие в траурной процессии и погребении г-на Бадон-Лермепсе, а слова, которыми представитель префектуры закончил свою речь, сохранились в памяти у всех:

— Одним честным человеком стало меньше!

Да, он был честным, порядочным человеком во всех подлежащих общественной оценке событиях своей жизни, был образцом порядочности во всех своих речах и поступках, в осанке, в походке, даже в манере подстригать бороду и в фасоне шляп. Всегда слова его несли людям поучение, всегда его милостыня нищему сопровождалась советом, всегда протягивал он руку таким жестом, как будто давал благословение.

Он оставил двоих детей: сына и дочь; сын был генеральный советник, а дочь, выйдя замуж за нотариуса г-на Пуарель де ля Вульт, занимала в Везье видное положение.

Они не могли утешиться после смерти отца, так как оба искренне его любили.

Тотчас же после похорон сын, дочь и зять вернулись в дом покойного и, запершись втроем, распечатали завещание, которое они должны были вскрыть без свидетелей и лишь после того, как гроб будет опущен в землю. Эта воля усопшего была указана в особой приписке на конверте.

В качестве нотариуса, привычного к такого рода операциям, г-н Пуарель де ля Вульт разорвал конверт

и, поправив на носу очки, начал читать своим тусклым голосом, точно и созданным для чтения документов:

«Дети мои, дорогие мои дети, я не мог бы спать спокойно вечным сном, если бы, сойдя в могилу, не исповедался вам в преступлении, всю жизнь терзавшем мою совесть. Да, я совершил преступление, ужасное, отвратительное преступление.

Мне тогда было двадцать шесть лет, я впервые выступал на поприще адвоката в Париже и жил той жизнью, какой живут все молодые люди, которые, приехав из провинции, оседают в столице, где у них нет ни знакомых, ни друзей, ни родных.

Я взял себе любовницу. Многие приходят в негодование от одного этого слова «любовница», но ведь бывают такие люди, которые не могут жить одни. Я принадлежу к их числу. Одиночество переполняет меня страшной тоской,— одиночество в квартире, у камина, вечером. Мне кажется тогда, что я один на свете, чудовищно одинок, но окружен какими-то неопределенными опасностями, чем-то неведомым, но ужасным; мой сосед за стеною, сосед, которого я не знаю, как будто находится так же далеко от меня, как далеки звезды, которые я вижу из окна. Мною овладевает какая-то лихорадка, лихорадка нетерпения и страха; самое безмолвие стен пугает меня. Так глубоко и так печально это безмолвие комнаты, в которой живешь один. Это не просто безмолвие, окружающее тело,— но безмолвие, окружающее душу, и при каждом потрескивании мебели вздрагиваешь до глубины сердца, потому что в этом мрачном жилище не ждешь никакого звука.

Сколько раз, раздраженный, напуганный этой молчаливой неподвижностью, я начинал говорить, произносить слова, без связи, без смысла, только для того, чтобы произвести шум. Но тогда самый мой голос казался мне таким странным, что я страшился и его. Говорить одному в пустом доме! Что может быть ужаснее? Голос кажется чужим, незнакомым, говорит он без причины, ни к кому не обращаясь, в пустом пространстве, где ничье ухо не внемлет ему, потому что слова, которые выйдут из твоих уст, тебе самому известны раньше, чем они вторгнутся в одиночество твоей комнаты. Мрачно звучат они среди глубокого молчания и

кажутся лишь отзвуком, странным эхом слов, тихо произнесенных мыслью.

Я взял себе в любовницы молодую девушку, одну из тех девушек, которые живут в Париже на свой заработок, такой скудный, что не могут им прокормиться. Она была кроткая, добрая, простая; родители ее жили в Пуасси. Время от времени она ездила к ним на несколько дней.

Целый год я жил с нею довольно спокойно, твердо решив покинуть ее, как только встречу молодую девицу, которая мне понравится настолько, что я на ней женюсь. А своей подруге я намеревался оставить небольшую ренту, так как в нашем обществе принято, чтобы любовь женщины оплачивалась деньгами, если женщина бедна, и подарками, если она богата.

Но вот однажды она объявила мне, что беременна. Я был поражен и сразу, в одно мгновение, осознал полное крушение своей жизни. Я увидел ту цепь, которую мне придется влачить до самой смерти, всегда, повсюду, в моей будущей семье и в дни старости: цепь — женщину, связанную с моей жизнью ребенком, цепь — ребенка, которого придется воспитывать, беречь, опекать, все время скрываясь от него и скрывая его от света. Эта весть привела мой ум в полное замешательство, и я почувствовал, что в моем сердце, в глубине души моей скрыто преступное желание, желание смутное, но готовое выглянуть на свет, подобно человеку, который притаился за занавесью и ждет лишь знака, чтобы показаться! Что́, если бы произошел какой-нибудь несчастный случай? Сколько таких маленьких существ погибает, еще не родившись!

О, я не желал смерти моей любовницы! Бедная девушка, я искренне любил ее. Но, может быть, я желал, чтобы умер ребенок раньше, чем я увижу его?

Он родился. В моей небольшой холостяцкой квартирке появилась семья, побочная семья с ребенком, а это ужасно. Он был, как все дети. Я совсем не любил его. Дело в том, что отцы начинают любить лишь позднее. У них совсем нет инстинктивной и пылкой нежности, свойственной матерям; любовь к ребенку пробуждает-

ся у них постепенно, душу их привязывают те узы, которые изо дня в день закрепляет близость между существами, живущими совместно.

Прошел еще год; я стал убегать из своей квартиры,— она сделалась слишком мала, и повсюду там валялись тряпки, пеленки, чулки длиной с перчатку, множество всевозможных вещей, брошенных на стуле, на ручке кресла, повсюду. Но, главное, я убегал для того, чтобы не слышать, как он кричит: а кричал он по всякому поводу — и когда его пеленали, и когда его купали, и когда его трогали, и когда его укладывали в колыбель, и когда его подымали,— словом, беспрестанно.

У меня завелись кое-какие знакомства, и в одной гостиной я встретил ту, которая стала впоследствии вашей матерью. Я в нее влюбился, во мне пробудилось желание жениться на ней. Я стал за нею ухаживать, сделал предложение, и оно было принято.

Но тут я оказался в западне. Надо было либо скрыть, что у меня ребенок, и жениться на девушке, которую я обожал, либо сказать всю правду и отказаться от нее, от счастья, от будущности, от всего, потому что ее родители, люди строгих правил и очень щепетильные, не выдали бы ее за меня, если бы им все стало известно.

Я прожил месяц в страшной тоске и жестоких моральных страданиях; целый месяц тысячи ужасных мыслей навязчиво осаждали меня; и я чувствовал, как нарастает во мне ненависть к моему сыну, к этому кричащему, живому кусочку мяса, который встал мне поперек дороги, разрушил мою жизнь, осудил меня на существование, лишенное надежд, лишенное того неопределенного радостного ожидания, которое составляет всю прелесть молодости.

Но вот заболевает мать моей подруги, и я остаюсь с ребенком один.

Был декабрь месяц. Стояли жестокие холода. Что за ночь! Моя любовница только что уехала. Одиноко пообедав в тесной столовой, я тихо вошел в ту комнату, где спал ребенок.

Я сел в кресло у камина. Ветер, сухой ледяной ветер, свистел, выл, сотрясая окна, а сквозь стекло я ви-

дел звезды, сверкавшие тем ярким блеском, какой у них бывает в морозные ночи.

Тогда в мое сознание снова проникла та назойливая мысль, которая не оставляла меня в покое целый месяц. Стоило мне посидеть неподвижно, задуматься, как она низвергалась на меня, впивалась и начинала меня грызть. Она грызла меня, как грызет ум человека навязчивая идея, как язва рака разъедает его тело. Она как будто пробиралась в мой мозг, в мое сердце, во всю мою плоть и пожирала меня, как зверь. Я хотел ее прогнать, оттолкнуть от себя, раскрыть свою душу для иных мыслей, для надежд, как раскрывают окно навстречу свежему утреннему ветру, чтобы прогнать затхлый ночной воздух; однако я не мог избавиться от этой мысли ни на один миг. Не знаю, как описать мое мучение. Оно терзало мне душу, и я со страшной болью, настоящей физической и моральной болью, ощущал каждый удар его когтей.

Жизнь моя кончена! Как выйти мне из этого положения? Как отступить или как сознаться?

Ведь я любил ту, которая должна была стать вашей матерью, любил страстной любовью, и непреодолимое препятствие еще сильнее разжигало мою любовь.

Во мне нарастал ужасный гнев, от которого сжималось горло, гнев, граничивший с безумием... с безумием! Да, конечно, в тот вечер я сошел с ума.

Ребенок спал. Я встал и поглядел, как он спит. Это он, этот уродец, этот зародыш, это ничтожество, бесповоротно осуждал меня на несчастье.

Он спал с открытым ртом, закутанный одеялами, в колыбели рядом с моей кроватью, где я не в состоянии был заснуть!

Как я мог сделать то, что сделал? Не знаю! Какая сила подтолкнула меня, какое злое начало овладело мною? О, соблазн преступления подкрался ко мне так, что я и не почувствовал. Помню только, что сердце у меня страшно билось! Оно билось так сильно, что я слышал его стук, словно удары молотка за перегородкой. Я помню только это, только биение моего сердца. В голове было страшное смятение, сумбур; рассудок и самообладание были парализованы. Я находился в том состоянии растерянности и лихорадочного бреда,

когда человек не отдает себе отчета в своих действиях, теряет способность управлять своей волей.

Я осторожно приподнял одеяла, покрывавшие тело моего ребенка, откинул их на край колыбели и увидел, что он лежит совершенно голый. Он не проснулся. Тогда я тихо-тихо подошел к окну и открыл его.

В комнату ворвался, словно убийца, морозный воздух, такой холодный, что я попятился; пламя обеих свечей заколыхалось. Я стоял у окна, не смея оглянуться, не желая видеть того, что происходило за моей спиной, и беспрестанно ощущал, как скользит по моему лбу, по щекам, по рукам струя смертоносного холода, проникая в комнату. Длилось это долго.

Я ни о чем не думал, ничего не соображал. Вдруг раздался слабый кашель, и ужасная дрожь пробежала у меня по телу с ног до головы, дрожь, которая и сейчас еще шевелит мне волосы. Я испуганно захлопнул обе створки окна, обернулся и бросился к колыбели.

Он все еще спал с открытым ртом, совершенно голенький. Я дотронулся до его ног; они совсем заледенели, и я их снова укрыл.

Мое сердце вдруг смягчилось, дрогнуло, наполнилось жалостью, лаской, любовью к этому бедному невинному созданию, которое я хотел убить. Я долго целовал его шелковистые волосики, а затем снова сел у камина.

С недоумением, с ужасом думал я о том, что же такое я сделал, спрашивал себя, откуда налетают подобные душевные бури, когда человек теряет всякое представление о действительности, всякую власть над собой и все творит в каком-то пьяном безумии, не сознавая, что он делает, не зная, куда его несет, как лодку, захваченную ураганом.

Ребенок кашлянул еще раз, и я почувствовал, что сердце у меня разрывается. А вдруг он умрет! Боже мой, боже мой, что тогда будет со мной?

Я встал поглядеть на него и нагнулся над ним со свечой в руке. Услышав, что он дышит ровно, я успокоился, но тут он кашлянул в третий раз; я был потрясен, отшатнулся, словно увидел что-то ужасное, способное перевернуть всю душу, и свеча выпала у меня из рук.

Я поднял ее и, выпрямляясь, заметил, что виски мои покрылись потом, тем горячим и в то же время ледяным потом, какой вызывают душевные страдания и тревога; сквозь кости черепа и кожу как будто просачивается частица тех страшных нравственных мучений и невыразимых терзаний, которые в самом деле жгут, как огонь, и холодят, как лед.

И до самого утра я просидел у колыбели, склонившись над моим сыном, успокаиваясь, когда он спал спокойно, и испытывая пронизывающую адскую боль, когда из его рта вырывался слабый кашель.

Проснулся он с воспаленными глазами, дышал тяжело, и личико было у него страдальческое.

Когда пришла женщина, помогавшая нам по хозяйству, я сразу отправил ее за врачом. Через час он пришел и, осмотрев ребенка, спросил:

— Не простудился ли он?

Я задрожал, как дрожат глубокие старики, и пролепетал:

— Нет, не думаю.

Затем я спросил:

— Что у него? Что-нибудь опасное?

Он ответил:

— Пока еще не знаю. Зайду вечером.

Вечером он пришел снова. Мой сын провел почти весь день в забытьи, время от времени покашливая.

Ночью у него обнаружилось воспаление легких.

Длилось это десять дней. Не могу выразить, какие страдания испытал я в те бесконечные часы, которые отделяют утро от вечера и вечер от утра.

Он умер...

И с той поры... с того мгновения я не прожил спокойно ни часа, да, ни одного часа: на дне души моей шевелилось, как заключенный в ней дикий зверь, воспоминание — жестокое, страшное воспоминание, которое грызет и терзает мозг.

О, если бы я мог сойти с ума!..»

Г-н Пуарель де ля Вульт привычным движением передвинул очки на лоб, как делал всякий раз, когда заканчивал чтение какого-нибудь акта, и все три наслед-

ника покойного переглянулись, не проронив ни слова, бледные и неподвижные.

Спустя минуту нотариус промолвил:

— Надо уничтожить это.

Дочь и сын наклонили голову в знак согласия. Он зажег свечу, старательно отделил страницы опасной исповеди от страниц имущественных распоряжений, потом поднес их к огню.

Они смотрели, как сгорали белые страницы, от которых скоро осталась только черная кучка пепла. Но так как были еще видны отдельные буквы, белевшие на черном фоне, дочь носком ботинка осторожно раздавила хрупкую корочку пепла и смешала его со старой золой.

Но еще несколько мгновений все трое глядели на эту золу, точно опасаясь, что сожженная тайна вылетит из камина через трубу.

МАТЬ УРОДОВ

Я вспомнил эту омерзительную историю и эту омерзительную женщину, встретив недавно на пляже, излюбленном богачами, одну парижанку, хорошо известную в свете, молодую, изящную, очаровательную, предмет всеобщего восхищения и уважения.

История моя давняя, но подобные вещи не забываются.

Один приятель пригласил меня погостить к себе в маленький провинциальный городок. Желая познакомить меня с местными достопримечательностями, он водил меня повсюду, заставлял любоваться прославленными видами, осматривать замки, мастерские, руины; показывал памятники, церкви, старинные резные двери, деревья огромных размеров или причудливой формы, дуб святого Андрея и рокбуазский тис.

Когда я обозрел все это, снисходительно ахая и восхищаясь, мой приятель сокрушенно объявил, что больше осматривать нечего. Я вздохнул с облегчением. Значит, теперь можно немножко отдохнуть в тени деревьев. Но вдруг он воскликнул:

— Ах да! У нас ведь есть еще «мать уродов», надо тебе показать ее.

Я спросил:

— Что это за «мать уродов»?

Он ответил:

— Это гнусная баба, сущий дьявол. Каждый год эта тварь умышленно рожает уродливых детей, отвратительных, страшных чудовищ, и продает их содержа-

телям паноптикумов. Эти низкие дельцы время от времени наведываются к ней узнать, не произвела ли она на свет нового выродка, и, если экземпляр им подходит, забирают его, а матери выплачивают ренту.

У нее уже одиннадцать таких отпрысков. Она разбогатела.

Ты, верно, думаешь, что я шучу, выдумываю, преувеличиваю. Ничуть не бывало. Я рассказываю тебе правду, сущую правду.

Пойдем поглядим на нее. А потом я расскажу тебе, как она стала изготовлять уродов.

Он повел меня на окраину города.

Эта женщина жила в хорошеньком домике у самой дороги. Все было очень мило, везде был порядок; сад полон благоухающих цветов. Ни дать ни взять, жилище нотариуса, удалившегося на покой.

Работница провела нас в небольшую деревенскую гостиную, и эта негодяйка вышла к нам.

Ей было лет сорок. Крупная, с жесткими чертами, но складная, крепкая и сильная,— прекрасный тип здоровой крестьянки, полуживотное-полуженщина.

Она знала, что ее сильно осуждают, и, по-видимому, встречала всех приходивших к ней с какой-то злобной приниженностью.

Она спросила:

— Что вам угодно?

Мой приятель ответил:

— Говорят, ваш младший ребенок совсем обыкновенный, ничуть не похож на своих братьев. Мне хотелось самому удостовериться. Это правда?

Она бросила на нас исподлобья свирепый взгляд и ответила:

— Ох нет, нет, сударь! Он, пожалуй, еще страшнее других. Не везет мне, вот уж не везет. Все такие, сударь, все одинаковые, просто напасть какая-то! И с чего это господь так немилостив ко мне, одинокой, несчастной? Ну с чего?

Она говорила быстро, лицемерно потупив глаза, всем видом своим напоминая испуганного зверя.

Она старалась смягчить резкий тон своего голоса, и странно было, что плаксивые слова и тягучий фальцет

исходят из этого крупного, громоздкого, ширококостного, грубо сколоченного тела, как будто созданного для необузданных движений и волчьего воя.

Мой приятель сказал:

— Нельзя ли поглядеть на вашего малыша?

Мне показалось, что она покраснела. Но, может быть, я ошибся. Помолчав немного, она резко промолвила:

— А вам на что?

И подняла голову, метнув на нас быстрый, горящий взгляд. Мой спутник продолжал:

— Почему вы не хотите показать его нам? Вы ведь многим его показываете. Вы знаете, о ком я говорю!

Ее передернуло, и, уже не сдерживая голоса, не сдерживая злобы, она закричала:

— Зачем вы сюда пришли, а? Измываться надо мной? Из-за того, что мои дети на зверей похожи, а? Не видать вам его, не видать, не видать! Вон отсюда, убирайтесь! И чего это вы все ко мне прицепились?

Подбоченившись, она наступала на нас. При звуке ее грубого голоса в соседней комнатке раздался не то стон, не то мяуканье — жалобный крик идиота. Все во мне содрогнулось. Мы попятились.

Мой приятель произнес сурово:

— Берегитесь, Чертовка (в народе ее прозвали Чертовкой), когда-нибудь вы поплатитесь за это!

Она задрожала от бешенства и, размахивая кулаками, не помня себя, завопила:

— Убирайтесь! За что я поплачусь? Убирайтесь вон, изверги!

Она чуть было не вцепилась в нас. Мы поспешили прочь; на сердце было тяжело.

Выйдя за дверь, мой приятель спросил:

— Ну? Видел? Что, хорошо?

Я ответил:

— Расскажи теперь об этой твари.

И вот что он рассказал мне, пока мы медленно шли по широкой белой дороге, между зрелых нив, чуть подернутых рябью под набегавшим ветерком, как спокойное море.

Она была прежде батрачкой на ферме, работящая, степенная, бережливая девушка. Любовников у нее как будто не было, слабостей за ней никто не замечал.

Она согрешила, как грешат все они, вечером, во время жатвы, среди скошенных хлебов, под грозовым небом, когда неподвижный давящий воздух обдает жаром, словно из раскаленной печи, и загорелые тела парней и девок обливаются потом.

Вскоре она почувствовала, что беременна; стыд и страх терзали ее.

Во что бы то ни стало надо было скрыть беду, и она туго стягивала себе живот изобретенным ею жестким корсетом из дощечек и веревок. Чем больше вздувался живот под напором растущего ребенка, тем сильнее затягивала она свое орудие пытки, терпя жестокие муки, но стойко выдерживая боль, всегда улыбаясь, двигаясь проворно, не подавая вида, что страдает.

Она исковеркала крохотное существо в своем чреве, стиснув его ужасным приспособлением; она сдавила его, искалечила, превратила в урода. Сплюснутый череп вытянулся и заострился, два громадных глаза выкатились на лоб. Конечности, прижатые к телу, непомерно удлинились и искривились, как виноградные лозы, а пальцы стали похожи на паучьи лапки.

Туловище осталось крошечным и круглым, как орех.

Родила она весенним утром, прямо в поле.

Когда полольщицы, бросившиеся ей на помощь, увидели чудовище, выходившее из ее утробы, они с криком разбежались. И по всей округе пошла молва, что она родила черта. С тех пор ее и прозвали Чертовкой.

Ее прогнали с места. Она жила милостыней, а тайком, быть может, и любовью, так как была видная девка, да и не все мужчины боятся ада.

Она вырастила свое чудище, хотя ненавидела его дикой ненавистью и, наверно, задушила бы, если бы священник, предвидя возможность преступления, не припугнул ее судом.

Но вот однажды проезжие балаганщики, услышав про страшного выродка, решили посмотреть его и забрать с собой, если он им подойдет. Он им понравился, и они отсчитали матери пятьсот франков наличными. Сначала она стыдилась и не хотела показывать

своего звереныша, но, когда поняла, что за него можно выручить деньги, что он возбуждает корысть в этих людях, она принялась торговаться, отстаивать каждый грош, расписывая уродство своего ребенка, набивая цену с мужицким упорством.

Она боялась, как бы ее не обошли, и заставила их подписать бумагу. Они обязались сверх договоренной суммы выплачивать ей ежегодно по четыреста франков, как будто взяли это чудовище к себе на службу.

Неожиданный барыш сводил ее с ума, и ею овладело настойчивое желание народить других уродов, чтобы сколотить себе ренту, наподобие буржуа.

Так как она была плодовита, ее затея удалась, и она, по-видимому, научилась придавать разнообразную форму своим уродам, в зависимости от давления, которому подвергала их во время беременности.

Она рожала и длинных и коротких; одни были похожи на крабов, другие — на ящериц. Некоторые умерли; она сильно горевала.

Правосудие пыталось вмешаться, но ничего не удалось доказать. Ее оставили в покое, и она продолжала изготовлять уродов.

В настоящее время их у нее одиннадцать штук — все живехоньки, и приносят они ей на круг пять—шесть тысяч франков ежегодно. Один еще не пристроен, тот самый, которого она не пожелала нам показать. Но она недолго его продержит: все балаганщики знают ее и время от времени наезжают справиться, нет ли у нее чего-нибудь новенького.

Она даже устраивает торги, когда экземпляр того стоит.

Мой приятель замолчал. Меня мутило от отвращения, во мне кипела ярость, я сожалел, что не задушил эту гадину, когда она была у меня под рукой.

Я спросил:

— Кто же отец?

Он ответил:

— Неизвестно. Он или они обладают некоторой стыдливостью. Он или они прячутся. Быть может, она делит с ними барыши.

Я уже давно забыл об этом случае, но как-то на днях увидел на модном пляже очаровательную, изящ-

ную, кокетливую женщину, окруженную почтительными поклонниками.

Я проходил по пляжу под руку с приятелем, врачом этого курорта. Минут десять спустя я заметил няньку с тремя детьми, игравшими на песке.

На земле валялись маленькие костыли; я почувствовал волнение. Тут я заметил, что все три малыша были уродливые, горбатые, искривленные, ужасные.

Доктор сказал мне:

— Вот произведения той прелестной женщины, которую ты только что встретил.

У меня защемило сердце от глубокой жалости к ней и к ее детям. Я воскликнул:

— Ах, бедная мать! Как она еще может смеяться!

Мой друг отвечал:

— Не жалей ее, мой милый. Пожалеть надо несчастных малюток. Таковы результаты стараний сохранить тонкую талию до последнего дня беременности. Эти уродства созданы корсетом. Она прекрасно знает, что рискует жизнью в такой игре. Но ей все нипочем, лишь бы остаться красивой и любимой.

И мне вспомнилась другая женщина, деревенская Чертовка, которая торговала своими уродами.

ИСПОВЕДЬ ТЕОДЮЛЯ САБО

Стоило Сабо появиться в мартинвильском кабачке, как все посетители начинали смеяться. Ну и плутяга этот Сабо! Умел распотешить, что и говорить. Взять хоть священников: как он их ненавидел! Да нет, мало сказать — ненавидел! Этот молодчик просто поедом их ел!

Теодюль Сабо, столяр, принадлежал к прогрессивной партии Мартинвиля. Это был высокий тощий человек с прилизанными височками, хмурым взглядом серых глаз и тонкими губами.

Бывало, он так неподражаемо произносил: «Наш святейший отец-пьянчуга»,— что все хватались за животы от хохота. Он считал своим долгом работать во время воскресной обедни и всякий раз в понедельник на Страстной неделе резал свинью, чтобы до самой пасхи есть колбасу. А завидя на улице священника, никогда не упускал случая насмешливо бросить ему вслед:

— Вот человек, который только что проглотил у себя за стойкой своего господа бога.

Священник, тоже очень высокий и к тому же толстяк, побаивался шуточек столяра, которые у многих имели успех. Аббат Маритим был тонкий политик, сторонник всяких дипломатических мер. И вот уже добрых десять лет между столяром и аббатом шла непрерывная, ожесточенная, но скрытая борьба.

Сабо был членом муниципального совета. Его прочи-

ли в мэры. А если бы он стал мэром, это неизбежно привело бы к решительному поражению церкви. Приближались выборы. Лагерь мартинвильских церковников трепетал. Но вот однажды утром кюре отправился в Руан, сказав служанке, что едет к архиепископу.

Через два дня он вернулся сияющий, с победоносным видом. А на другое утро все узнали, что будут заново отделываться церковные хоры. Его преосвященство отпустил-де на это шестьсот франков из своего личного фонда. Все старые сосновые скамьи будут сломаны, и вместо них сделают новые из цельного дуба. Что говорить, почетная работа для столяра! В тот вечер во всех домах Мартинвиля только и толковали, что об этой работе.

Теодюлю Сабо было уже не до смеха.

Когда на следующее утро он проходил по селу, все соседи, и друзья и враги, подшучивали над ним:

— Небось, ты будешь церковные хоры отделывать?

Он не мог ничего придумать в ответ и молча злился, ужасно злился.

А насмешник прибавлял:

— Работенка неплохая,— франков двести — триста чистого дохода, никак не меньше.

Еще через два дня все узнали, что работа будет поручена паршевильскому столяру Селестину Шамбрелану. Потом этот слух опровергли. Потом стало известно, что будут переделываться также и все скамьи для прихожан. На эту работу потребуется две тысячи франков, и ходатайство уже подано в министерство. Страсти разгорались.

Теодюль Сабо лишился сна. Испокон веков ни один мартинвильский столяр не получал такого заказа. Потом прошел новый слух. Поговаривали шепотком, будто бы для кюре очень не по душе отдавать эту работу на сторону, но дать ее Сабо он не может из-за убеждений столяра.

Дошел этот слух и до Сабо. И вот с наступлением сумерек он направился к домику кюре. Служанка сказала, что кюре в церкви. Он пошел туда.

Там под надзором священника две прокисшие ста-

рые девы, посвятившие себя служению богородице, украшали алтарь к месяцу Марии. Кюре стоял на хорах, выпятив огромный живот, и отдавал приказания женщинам, которые, взобравшись на стулья, украшали цветами дарохранительницу.

Сабо было очень не по себе, словно он зашел в дом своего злейшего врага; однако его подстрекало желание хорошо заработать. С шапкой в руках, он подошел поближе, не обращая внимания на женщин, которые так и застыли на стульях, окаменев от изумления.

— Здравствуйте, господин кюре,— пробормотал Сабо.

— Здравствуйте, господин столяр,— ответил священник, даже не взглянув на него, весь поглощенный созерцанием алтаря.

Сбитый с толку Сабо не находил слов. Помолчав, он спросил:

— Вы, я вижу, готовитесь?

— Да, приближается месяц Марии,— отвечал аббат Маритим.

— Так, так,— проговорил Сабо и снова замолк.

Он уже готов был уйти, так ничего и не сказав, но взглянул на хоры и решил остаться. Он разглядел там целых шестнадцать сидений, которые предстояло переделывать: шесть сидений направо от двери, восемь налево и два возле двери в ризницу. Шестнадцать дубовых сидений! Материалу сюда пойдет самое большее на триста франков, так что, если взяться за дело с толком, можно заработать добрых две сотни.

И он выдавил из себя:

— Я пришел насчет работы.

Кюре сделал удивленное лицо.

— Какой работы? — спросил он.

Сабо совсем растерялся.

— Да вот, для которой вам столяр нужен...

Священник обернулся и взглянул ему прямо в глаза:

— Уж не о ремонте ли хоров у меня в церкви вы говорите?

Это было сказано таким тоном, что у Теодюля Сабо

мурашки по спине побежали, и ему снова захотелось удрать. Но все же он смиренно ответил:

— Вот именно, господин кюре.

Аббат сложил руки на своем объемистом животе и, казалось, оцепенел от изумления.

— И это говорите мне вы... вы, Сабо... вы... единственный безбожник в моем приходе... Но ведь если я поручу вам работу, это вызовет всеобщий скандал. Его преосвященство сделает мне выговор, а может быть, и совсем меня сместит.

Он перевел дух и продолжал уже спокойно:

— Я понимаю, конечно: вам прискорбно видеть столь важную работу в руках столяра из чужого прихода. Но я не могу поступить иначе. Вот если бы... Да нет, это невозможно... Вы на это все равно не пойдете. А так... Нет, нельзя.

Сабо тем временем созерцал длинный ряд скамей, которые тянулись почти до самого выхода. Тьфу ты пропасть, а что, если и впрямь все это будут переделывать?

И он спросил:

— А все-таки скажите, что для этого нужно?

Священник решительно заявил:

— Мне нужно получить явное доказательство вашего благочестия.

— Ну что ж. Я ничего, не против. Может, мы еще и столкуемся,— пробормотал Сабо.

Кюре пояснил:

— В ближайшее воскресенье во время большой мессы вам надо будет причаститься на глазах у прихожан.

Столяр почувствовал, что бледнеет, и, не отвечая, спросил:

— А что, скамьи тоже будут переделывать?

— Да, но попозже,— отвечал аббат.

— Ну что ж, я согласен, я согласен,— заговорил Сабо.— Ведь я никогда не был отступником; я совсем не против религии. Вот только обряды мне не по душе. Но уж раз такое дело, я готов.

Служительницы пресвятой девы сошли со стульев и, спрятавшись за алтарем, подслушивали, бледные от волнения. Кюре, почувствовав, что одержал победу, стал вдруг добродушен и приветлив.

— Ну вот и прекрасно, вот и прекрасно. Разумные речи приятно и слушать. Вот что значит рассуждать толково. Ничего, ничего, все уладится.

Сабо смущенно ухмыльнулся и спросил:

— А нельзя маленько повременить с этим самым причастием?

Священник снова нахмурился:

— Поручая вам эту работу, я должен быть вполне уверен в вашем обращении на путь истинный.

Потом уже мягче добавил:

— Приходите завтра исповедоваться. Нужно испытать вас по крайней мере два раза.

— Два раза? — повторил Сабо.

— Да.

Священник улыбнулся.

— Вы же понимаете, что вам необходимо полное очищение,— как говорится, основательная чистка. Итак, жду вас завтра.

Не на шутку взволнованный, Сабо спросил:

— А где вы будете это делать?

— Как где?.. В исповедальне.

— Это вон в том ящике?.. В углу? Нет... Ну нет... Ваш ящик мне не подходит.

— Почему же?

— Потому... ну, да потому, что не привычен я к этому. А еще — на ухо туговат.

Кюре благодушно пошел ему навстречу.

— Ну хорошо, приходите ко мне на дом. Мы проделаем все это наедине, с глазу на глаз. Подходит вам это?

— Подходит. Это совсем другое дело. А вот ящик ваш — нет.

— Ну, в таком случае до завтра. Приходите после работы, часов в шесть.

— Значит, по рукам; как уговорились, так тому и быть. До свиданьица, господин кюре. Давши слово, держись. Трус, кто идет на попятный.

Столяр протянул свою заскорузлую ручищу священнику, и тот звонко ударил по ней.

Хлопок гулко разнесся под сводами церкви и постепенно замер где-то в глубине, за трубами органа.

На следующий день Сабо до самого вечера не находил себе места от волнения. Он испытывал безотчетный страх, вроде того, какой ощущаешь, когда предстоит выдернуть зуб. Его неотвязно мучила все та же мысль: «Сегодня вечером я должен исповедоваться». И встревоженная душа его, душа не вполне убежденного атеиста, содрогалась от смутного, неодолимого ужаса перед божественным таинством.

Окончив работу, он сразу направился к домику священника. Кюре уже поджидал его, прогуливаясь с молитвенником в руках по дорожке сада. Увидев Сабо, он просиял и, сочно смеясь, пошел ему навстречу.

— А-а-а! Вот и мы! Входите, входите, господин Сабо. Никто вас тут не съест.

И Сабо первым вошел в дом.

— Если вы не прочь, я бы хотел поскорей покончить с нашим дельцем,— пробормотал он.

— К вашим услугам. Одну минуточку. Только стихарь надену, и я готов,— ответил священник.

От волнения столяр уже совсем ничего не соображал. Он бессмысленно уставился на священника, облачавшегося в белое одеяние с тщательно отутюженными складками. Наконец кюре подал ему знак рукой:

— Опуститесь на колени вот на эту подушечку.

Сабо продолжал стоять. Ему было стыдно вставать на колени.

— А нельзя прямо так? — заикнулся было он.

Аббат вдруг принял торжественный вид:

— Вы явились на судилище господне, и вам надлежит преклонить колени.

Сабо опустился на колени.

— Читайте Confiteor,— приказал кюре.

— Чего?

— Confiteor. Если вы забыли, повторяйте за мной — слово за словом.

И кюре медленно, отчеканивая слова, стал читать молитву, которую столяр повторял за ним. Окончив, он заявил:

— Теперь приступайте к исповеди.

Сабо молчал, не зная, с чего начать.

Аббат Маритим пришел ему на помощь.

— Сын мой,— сказал он,— вы, видно, не искушены

в этом деле. Я буду задавать вам вопросы. Сейчас начну читать по порядку заповеди господни. Слушайте внимательно; не волнуйтесь. Говорите и не бойтесь быть чересчур откровенным.

Единому богу служа ежечасно,
С любовью ему поклонись.

— Скажите, дороже ли для вас господь бог всего на свете? Любите ли вы его всей душой, всем сердцем, всеми помыслами?

Сабо даже вспотел от напряжения.

— Нет, ох нет, господин кюре,— заговорил он наконец.— Я люблю господа бога, как умею. Уж это так. Очень люблю его. Но чтобы я не любил своих детей! Нет, этого не могу. Чтобы господь бог был мне дороже ребят? Ну нет. Или чтоб я выбросил ради господа бога сотню франков? Нет, тому не бывать. Но все-таки я люблю его, ей-ей, шибко люблю.

— Надо любить бога больше всего в мире,— сурово произнес священник.

И Сабо, преисполненный благими намерениями, пообещал:

— Я постараюсь, господин кюре.

Аббат Маритим продолжал:

Всевышнего имя не вымолви праздно,
Твореньем его не клянись.

— Божились ли вы когда-нибудь?

— Нет. Что нет, так уж нет. Сроду не божился. Разве иной раз под горячую руку скажешь: «Ах ты, господи боже мой!» А так нет, никогда.

— Так ведь это и значит божиться! — воскликнул священник. И сурово добавил:

— Никогда больше не делайте этого. Ну-с, продолжим:

Закон соблюдай, воскресение празднуй,
В сей день лишь для бога трудись.

— Что вы делаете по воскресеньям?

Сабо почесал затылок:

— Я... я изо всех сил служу господу богу, господин

кюре... служу ему... только у себя дома... В воскресный день работаю с утра до ночи.

Кюре благодушно остановил его:

— Ну ладно, надеюсь, впредь вы будете благочестивей. Так... Опустим три заповеди: я уверен, что вы их никогда не нарушали. Перейдем к шестой и девятой:

Старайся избегнуть корысти соблазна,
Чужого добра не коснись.

— Не случалось ли вам когда нибудь присваивать чужое?

Тут Теодюль Сабо возмутился:

— Нет, уж это нет! Что нет, так нет. Я честный человек, господин кюре. Поклясться могу. А если когда и случалось прикинуть какому-нибудь богатому заказчику несколько лишних часиков работы,— так что ж из того? Почему бы и не приписать к счету несколько лишних сантимов: ведь это что ж... всего-навсего каких-нибудь несколько сантимов. .Но чтобы воровать! Нет, этого не бывало.

Кюре проговорил наставительно:

— Присвоить хоть один сантим — значит уже совершить кражу. Никогда больше не делайте этого.

На брата не молви свидетельств напрасно
И мерзостной лжи берегись.

— Случалось вам лгать?

— Нет. Я не из таковских. Не какой-нибудь лжец. Разве прихвастнуть случится маленько. Это, правда, бывало. Или скажешь иной раз, коли может на пользу тебе пойти что-нибудь такое, чего на самом деле нет. Это случалось. Но чтоб лгать,— нет, никогда лжецом не был.

— Впредь остерегайтесь делать это,— сказал священник.

Супруги чужой не желай любострастно,
Единого брака держись.

— Случалось ли вам пожелать какую-нибудь женщину, кроме вашей жены?

Сабо выпалил от чистого сердца:

— Нет! Уж этого никогда не было, господин кюре! Никогда! Чтобы я стал обманывать мою бедную жену! Да ни за что! Вот настолечко никогда не обманул ее, не то что на деле, а даже в помыслах. Сущая правда.

Он помолчал немного, потом, понизив голос, словно борясь с сомнением, добавил:

— Вот только, когда в городе бываю, захожу иной раз в тот дом... ну, знаете, в тот... в публичный то есть. Да ведь это только так, шутки ради, пошалить, поразвлечься маленько... Но я плачу; я всякий раз аккуратно плачу, господин кюре. Заплатил, ушел, и поминай как звали.

Кюре оставил его в покое и дал ему отпущение грехов.

Теодюль Сабо получил работу по ремонту хоров и с тех пор причащается каждый месяц.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Настоящий том объединяет книги Мопассана, выходившие в 1885 и начале 1886 года. Роман «Милый друг» печатался фельетонами в «Жиль Блас» с 8 апреля по 30 мая 1885 года и был издан Аваром отдельной книгой еще до окончания печатания в газете, около 15 мая (см. запись в дневнике Ф. Тассара от 22 мая 1885 года). Сборник рассказов «Туан» был выпущен издателями Марпоном и Фламмарионом в виде иллюстрированного издания в начале 1886 года и в последующих прижизненных публикациях переиздавался без изменений своего состава; сборник этот, подобно «Сестрам Рондоли», состоит главным образом из юмористических рассказов, но со значительным нарастанием элементов горькой сатиры, и этот основной его тон оттеняется несколькими лирическими новеллами.

К работе над «Милым другом» Мопассан приступил, вероятно, уже в 1883 году, когда появились в печати некоторые рассказы и очерки с первоначальной разработкой сюжетных положений или эпизодов, вошедших впоследствии в роман.

Как бы первым наброском того социально-психологического типа, который представляют собою Дюруа и Ларош-Матье, является очерк «Мужчина-проститутка» (см. в настоящем томе), напечатанный в «Жиль Блас» 13 марта 1883 года; не с этого ли времени и следует считать начало работы Мопассана над «Милым другом»? Нельзя согласиться с мнением Рене Дюмениля о том, что Мопассан якобы начал писать этот роман только тогда, когда закончил редактирование «Иветты» (см. предисловие к «Милому другу» в издании Oeuvres complètes de Guy de Maupassant, Bel Ami, P. 1934, p. 1), то есть в июле или августе 1884 года. Ведь, по точному свидетельству Тассара, роман был закончен — в черновике — 26 октября 1884 года, и таким обра-

зом, если следовать Дюменилю, получается, что Мопассан написал книгу в 17 печатных листов за три — четыре месяца. В это поверить невозможно, даже зная редкую работоспособность автора «Милого друга».

Три другие новеллы 1883 года также повторяют некоторые сюжетные положения романа: это «Могила» (см. т. X), напечатанная 29 июля, «Мститель» (см. т. X), напечатанная 6 ноября, и «Награжден!» (см. т. III), напечатанная 13 ноября. В первой из них встречаются отдельные мысли из ночного монолога Норбера де Варена, вторая живо перекликается с концом II главы второй части романа, третья — с VII главой той же второй части. Следовательно, к концу 1883 года Мопассан думал уже о второй части романа и набрасывал отдельные ее эпизоды.

В 1884 году, когда работа над романом шла уже полным ходом, были напечатаны еще три связанные с ним новеллы: «Трус» (27 января), «Прогулка» (27 мая) и «Исповедь» (10 ноября; см. их в IV томе). Первая из них представляет собою новеллистическую разработку — с иным финалом — эпизода из VII главы первой части романа; во второй содержится описание гулянья в Булонском лесу, встречающееся во II главе второй части романа; третья имеет общее с ночным монологом Норбера де Варена.

Некоторые темы «Милого друга» затронуты и в «Иветте», тоже напечатанной в 1884 году. На это указывает Мениаль в одной из своих статей (см. у A. Lumbroso. Souvenirs sur Maupassant, Rome, 1905, p. 346), говоря, что в обоих произведениях речь идет о полусвете и богеме, что общество, принятое у маркизы Обарди — князь Кравалов, шевалье Вальреали, г-н де Бельвиль,— встречается и в последней главе «Милого друга», что Иветте свойственна та же тяга к бродяжничеству, как и г-же де Марель. Мениаль добавляет: «Сам Сервиньи обладает некоторыми чертами Жоржа Дюруа, и его приключение кажется эпизодом, выхваченным из «Милого друга».

В круг этого романа входит еще новелла «Неосторожность» (см. том VI), явно перекликающаяся со II главой второй его части, но напечатанная Мопассаном лишь 15 сентября 1885 года, уже после публикации «Милого друга».

Представление о лживости, беспринципности, продажности, вымогательствах и всех зоологических нравах буржуазной прессы сложилось у Мопассана еще в 70-х годах, и, конечно, не без влияния Флобера. Автор «Госпожи Бовари», немало натерпевшийся на своем веку от невежества, пошлых выходок и прямой травли буржуазных газет, заявлял без обиняков, что «ненависть к этим лавочкам есть начало любви к Прекрасному». Обстоятельства лишь прививали Мопассану и укрепляли в нем эту точку зрения Флобера.

Так, например, в 1876 году Мопассан написал статью о французской поэзии, чрезвычайно понравившуюся его учителю, и решил предложить ее газете «Насьон»; он стремился установить связи с журналистикой, чтобы хоть несколько улучшить свое материальное положение. Флобер не одобрял желания Мопассана стать журналистом, но скрепя сердце дал ему письмо к одному из видных сотрудников этой газеты, Раулю Дювалю, прося его помочь Мопассану устроиться. Тем не менее Мопассану не удалось войти в «Насьон», и в письме от 17 ноября 1876 года он подробно рассказал Флоберу о своих мытарствах. Сотрудничество в «Литературной республике» также приоткрыло перед Мопассаном кухню журналистики: он видел, как здесь из узкогруппировочных целей замалчивали Золя, как затем журнал получил в 1877 году большой доход от печатания романа Золя «Западня» и как впоследствии за этот же свой роман этим же журналом Золя был изруган. В письме к Флоберу от 5 декабря 1878 года Мопассан писал: «Прощайте, дорогой учитель, целую вас. Отомстите «Буваром и Пекюше» издателям, редакторам газет и прочим дуракам».

Когда Мопассан работал над «Милым другом», ему, без сомнения, нередко вспоминались слова Флобера о «ненависти к этим лавочкам». Создавая большое социальное полотно, посвященное изображению торжества газетных проходимцев, всеобщей проституции, распада всех духовных ценностей, Мопассан всему этому мог противопоставить только образ Норбера де Варена, патетического носителя великой старой культуры духа, презирающей пошлую и тлетворную буржуазную действительность 80-х годов.

В литературе о Мопассане нет еще ни одной работы, специально посвященной «Милому другу». Документация и исторические факты, лежащие в основе романа, его прототипы, его творческая история, его рукописи—все это пока остается неизученным. К отдельным существующим высказываниям о тех или иных сторонах романа следует поэтому относиться с крайней осторожностью. Так, например, утверждение издателя Конара о том, что рукопись «Милого друга» «не представляет особенного интереса в отношении исправлений, которые очень немногочисленны сравнительно с объемом произведения», способно лишь внушить неверную мысль, что имелась только одна эта рукопись, отражающая заключительную стадию работы. Но разве не могли быть, как в работе Мопассана над «Жизнью», и другие рукописи, более ранние? Только изучение всех рукописей «Милого друга», черновых и беловых, позволит установить, так ли уж немногочисленны и малоинтересны «исправления» Мопассана, а кстати, и выяснить ряд других вопросов: о развитии замысла романа, об изменениях начального плана, о вариантах и т. п.

Вопрос о прототипах романа тоже остается открытым, хотя известно, что они имелись. Мистификаторскому заявлению писателя, сделанному им в кругу своих знакомых: «Дюруа — это я!» — придавать значения, конечно, не следует. Зато удостоверено, что в некотором отношении прототипом Дюруа послужил Мопассану его брат Эрве. В воспоминаниях Шарля Лапьерра читаем: «Если он (Мопассан) и прошел через среду галантных газет, то для того, чтобы заполучить этот парижский тип смачно разлагающейся цивилизации — Милого друга, и тут его брат Эрве, бывший унтер-офицер с длинными белокурыми усами, который не был ни журналистом, ни булевардье, ни зятем еврейского банкира, послужил ему оригиналом,— разумеется, только с физической стороны». Лапьерр дальше намекает и на некоторые прототипы героинь романа; он пишет, что Мопассан «с жестоким удовольствием ввел в развитие романа двух женщин, более или менее флиртовавших с его рождающейся известностью» (A. Lumbroso, p. 614).

Это почти все, что пока известно французским биографам Мопассана о прототипах романа. Андре Виаль говорит еще о том, что в некоторых отношениях прототипом Вальтера послужил Артюр Мейер, издатель «Голуа», но что Мопассан, сохранив характерные качества Мейера как циничного торговца газетной строкой, как ловкого дельца, умело спекулирующего на политической ситуации, «пренебрег монархической и католической позой своей модели» и вдобавок сделал Вальтера, в отличие от его прототипа, депутатом, принадлежащим к парламентскому «левому центру». «Все те черты, которые создавали загадочный облик этого человека,— пишет Виаль об Артюре Мейере,— вовсе не проявляются целиком в лице Вальтера, а все черты Вальтера вовсе не идут от него» (André Vial. Guy de Maupassant et l'art du roman, P. 1954, p. 394). В этом нет ничего удивительного, потому что Мопассан, в соответствии со своим реалистическим методом, брал от прототипов лишь то, что было необходимо для создаваемого им типического образа.

В отдельных эпизодах и ситуациях романа Мопассан точно так же исходил от впечатлений современной действительности (например, высказывания Жоржа Дюруа по колониальному вопросу основаны на личных наблюдениях писателя, сделанных им во время путешествия по Алжиру в 1881 году и вошедших в его книгу «Под солнцем»), от изучения подлинных исторических фактов и событий; но он изменял и перерабатывал эти факты и события так, чтобы ситуация романа оказывалась опять-таки типической.

Взять, например, эпизод с картиной Марковича. Описывая салон Вальтера, Мопассан перечисляет ряд картин действительно живших тогда художников (в том числе многих своих приятелей). Но венгерского художника Карла Марковича, картина

которого приобретена тем же Вальтером, на свете не существовало. В чем тут дело, позволяет разобраться дневник Марии Башкирцевой. Запись Башкирцевой от 29 января 1884 года: «Я ездила смотреть картину Мункачи «Христос на кресте». Отель счастливого Мункачи — настоящее чудо. Что же касается его картины... она написана широко, колорит прекрасен, чувствуется движение, экспрессия лиц и одежд богатая, тона чудные... Христос — среди двух разбойников, вокруг много людей, черное небо, светлые, ярко выделяющиеся фигуры... Картиной Мункачи восхищаются все» (М. Башкирцева. Неизданный дневник. Ялта, 1904, стр. 205—206). Мункачи — известный венгерский художник. Предыдущая его картина «Христос перед Пилатом», написанная им в 1881 году, действительно была продана художником в Америку за сто двадцать тысяч долларов. Таким образом, Мопассан изменил фамилию художника и несколько перенначил сюжет картины, но основа реального события парижской культурной жизни 1884 года в романе осталась.

Так же точно поступает Мопассан и в другом эпизоде романа, представляющем гораздо более крупный интерес: мы говорим о «танжерской экспедиции».

Никакой танжерской экспедиции в описываемые Мопассаном 70—80-е годы не было. Оккупация же Марокко Францией (совместно с Испанией) произошла лишь в 1912 году.

В изображении этой экспедиции, описанной Мопассаном с таким обилием реалистических деталей (обман общественного мнения и палаты депутатов, лживая кампания печати, грязная биржевая спекуляция, приводящая к обогащению кучки финансовых дельцов, министра и издателя официозной газеты), снова раскрывается творческий метод Мопассана. Он создал реалистическое предвидение, основываясь на некоторых аналогичных событиях начала 80-х годов, связанных с оккупацией Туниса Францией в 1881 году.

Тунисский бей на первых порах не препятствовал проникновению французского капитала в Тунис. В 70-х годах, под влиянием интриг со стороны Италии, отношения бея с Францией начали ухудшаться. А после того как одна французская компания построила в 1873—1880 годах железную дорогу, соединившую Тунис с Алжиром, облегчая этим дальнейшую колониальную экспансию со стороны Франции, в Тунисе началось восстание. В апреле 1881 года в Тунис вступили французские войска, быстро подавившие мятеж.

12 мая 1881 года Жюль Ферри, председатель кабинета министров, огласил в обеих палатах следующую декларацию: «Предпринимая эту экспедицию, Французская республика заявляет, что она не имеет каких-либо аннексионистских намерений». В этот же самый день бея принудили подписать договор о признании им протектората Франции. Восстание возобновилось с

еще большей ожесточенностью и было разгромлено лишь в конце 1881 года.

Фактически в Тунисе шла война, вызывавшая большое недовольство во Франции. Памфлетист Анри Рошфор, известный автор «Фонаря», выступил 27 сентября 1881 года в «Энтранзижан» с разоблачениями: он утверждал, что всю эту войну и посылку французских войск подстроили Гамбетта, президент Французской республики, и Рустан, французский консул в Тунисе, и что целью их была биржевая игра.

«Гг. Гамбетта и Рустан образовали ассоциацию,— писал Рошфор,— задачей которой было обесценить облигации тунисского долга, а затем выкупить их за гроши. Так как у бея никогда не нашлось бы нужных двухсот миллионов для возмещения долга, оба приятеля побудили французское правительство принять участие в управлении Тунисом и взять на себя оплату облигаций, которые в этом случае будут выкуплены из расчета сто франков за три. Г-н Гамбетта и г-н Рустан обменяли бы тогда груду своих бумажонок на ренту в сумме свыше 100 миллионов» (Henri Rochefort. Les aventures de ma vie, t. IV, P. s. a., p. 246).

Жюль Ферри немедленно распорядился привлечь Рошфора к суду. Готовясь к защите, Рошфор перепечатывал финансовые статьи из «Французской республики», основанной и руководимой Гамбеттой, доказывая, что в этой газете «прибегали ко всем приемам, чтобы добиться понижения тунисских бумаг» (H. Rochefort, p. 247). Рошфор установил также, что кучка французских финансистов основала в Тунисе жульническое общество «Земельный кредит». Судебный процесс завершился полным оправданием Рошфора. Министерство Ферри пало.

Для Мопассана было ясно, что после оккупации Туниса станет на очередь и оккупация Марокко. Предсказать, что и с этой оккупацией будет связана новая грандиозная биржевая афера, тоже не стоило большого труда, так как в 1884 году правительство Третьей республики все-таки гарантировало долг Туниса, против чего так боролся Рошфор. И если Ларош-Матье скрывает от палаты и даже от многих своих подручных затеянную экспедицию, заверяя, что ее не будет, то и здесь Мопассан мог писать прямо с натуры, руководясь действиями того же Жюля Ферри, снова ставшего в феврале 1883 года председателем кабинета. Ведя в 1881 году войну с Тунисом без разрешения парламента, явочным порядком, Ферри точно так же поступал в 1883 году относительно Тонкина: он убеждал палату, что правительство и не думает об оккупации Тонкина, что это бесполезная затея, а в то же время война там уже велась, и кончилась она лишь в 1885 году. Кабинет «тонкинца» Ферри, политика которого вызывала единодушное возмущение палаты и всей стра-

ны, был свергнут 30 марта 1885 года. Всего девять дней спустя, 8 апреля, начинает печататься «Милый друг».

Таким образом, несомненно, что в основе изображения танжерской экспедиции «Милого друга» лежат события колониальных экспедиций министерства Ферри. Придет время, когда будет доказано, что и многие другие эпизоды этого романа были в 1885 году полны острых, злободневных намеков.

Танжерская экспедиция и весь круг связанных с нею сюжетных положений романа усиливают значение «Милого друга» как романа-памфлета, как одного из наиболее резких обличительных выступлений французского критического реализма конца XIX века.

Имеются некоторые основания предполагать, что первоначальный замысел Мопассана в ходе работы над романом претерпел изменения. Разговор на колониальные темы в салоне Форестье, сладкие воспоминания Дюруа о легальном разбое французских колониальных войск в Алжире, его первый очерк, «Воспоминания африканского стрелка», почти не имеют значения для развития романа в существующем его виде. Но не остатки ли это первоначального замысла, не те ли нити, которые опытный художник с самого начала протягивает к центральной теме? И не должна ли была бы в таком случае танжерская экспедиция занять гораздо больше места в романе? Ведь эта экспедиция не подлинный исторический факт, о котором достаточно беглого упоминания, а лишь художественный вымысел, реалистическое предвидение, хотя и сконструированное из элементов реальной действительности; не должен ли был поэтому Мопассан описать самые действия экспедиционных войск? В настоящее время, пока остаются неизвестными планы и черновики романа, ответить на этот вопрос еще невозможно. Если же оказалось бы, что первоначальный замысел романа был именно таков, но в процессе работы по тем или иным причинам изменился и рамки романа сузились до разоблачительного повествования о возвышении отрицательного героя, — пришлось бы признать, что жанру антиимпериалистического романа нелегко было родиться на свет, что форма такого романа создавалась неуверенно, ощупью. Но заслуга Мопассана в том, что он впервые во французской литературе пытался найти путь к ее созданию.

Буржуазное литературоведение, стараясь всячески преуменьшить значение «Милого друга» как социального романа-памфлета, пытается выдать его только за повествование об отрицательных качествах ловеласа Жоржа Дюруа, за собрание галантных эротических эстампов. Но если эротические мотивы и фривольные сцены занимают в романе немало места, то они представляют для Мопассана вовсе не самоцель, а играют роль служебную: они призваны разоблачать Жоржа Дюруа или окружающую его среду, пошлость, низменность и вульгарность ее инте-

ресов. Разоблачение отрицательного персонажа при помощи эротической ситуации было вообще одним из частых приемов у Мопассана.

Рассказывая о любовных авантюрах Жоржа Дюруа, Мопассан вынужден был уделять в романе много места показу всей совокупности относящихся сюда обстоятельств. Однако, несмотря на известную узость построения «Милого друга», как биографического повествования, рамки этого романа все же оказывались достаточно емкими, чтобы писатель мог впечатляюще обрисовывать окружающую действительность, Францию начала 80-х годов, разоблачать и бичевать весь круг социальных явлений, свидетельствовавших о безнадежной гнилости буржуазного строя и правящих кругов Третьей республики.

Все, что было бегло намечено в очерке «Мужчина-проститутка», предстает в «Милом друге» в широко развернутом виде. Отвратительным запахом разложения веет со страниц этого романа. Кругом сплошная грязь. Люди живут в атмосфере вечного обмана, лжи, продажности. Подлость, всякого рода мошенничества, тайные преступления на каждом шагу. И когда Дюруа, созерцая фланирующих в Булонском лесу представителей парижского великосветского общества, бормочет: «Экий сброд! Шайка жуликов, шайка мошенников!» — он не только бранится как завистник, а в качестве репортера бульварной газетки, прекрасно знающего всю парижскую грязь, судит об этих людях как подлинный знаток.

Особенно ярко показывает Мопассан присущую французскому буржуазному обществу продажность, показывает, как она проявляется в жизни прессы, политических сфер, французской культуры и вообще повсюду. Решительно все продажно, люди собою торгуют, все отношения сводятся к вопросам купли-продажи. В этой обстановке понятно все значение образа Жоржа Дюруа. Некоторые советские критики, писавшие о Мопассане, утверждали, что Дюруа не тип. Только плохое знание истории Третьей республики, особенно начала 80-х годов, цветущей поры оппортунизма, только незнание французского газетно-журнального быта XIX века позволяет делать такие легкомысленные утверждения.

Жорж Дюруа — социальный тип. Это подлинный «типический характер в типических обстоятельствах». Это тип преуспевающего карьериста, выросшего в благоприятной среде продажной журналистики. Выродившийся потомок бальзаковских карьеристов, Дюруа отличается от Растиньяка и Люсьена де Рюбампре полной невежественностью, вульгарностью, неутомимейшей циничной жадностью и истинным талантом к беззастенчивой эксплуатации других людей. Он отличается от бальзаковских карьеристов и полным отсутствием каких-либо колебаний, угрызений совести; он совершенно аморален.

Тем легче ему идти от триумфа к триумфу, чтобы на последней странице романа достигнуть подлинного апофеоза — венчания в церкви Мадлен, благословения и торжественной речи епископа.

«До коих пор будет он подниматься? — спрашивает французский критик Жерар де Лаказ-Дютье.— Книга заканчивается этим последним эпизодом, предоставляя нашему воображению следовать за героем в его новых авантюрах. Милый друг станет министром или президентом республики. Автор не говорит нам этого, но заставляет нас это предчувствовать. У Милого друга хватит размаха, чтобы «воплощать душу народа» и управлять колесницей государства. В политике он будет на стороне сильных. Друзьями у него будут люди богатые, могущественные, почитаемые, благомыслящие» (Gérard de Lacaze-Duthiers. Guy de Maupassant, P. 1926, p. 36).

Жерар де Лаказ-Дютье удостоверяет широкую типичность Дюруа именно для Третьей республики. «Милый друг,— пишет он,— это предок многих поколений карьеристов, наследовавших друг другу после 1885 года. Видеть, как маневрирует Милый друг,— значит видеть, как маневрируют его сыновья и внуки. Приемы те же самые — с легкими вариациями... Милый друг — это символ, символ гнилости современного общества» (G. de Lacaze-Duthiers, p. 37).

Французский критик подчеркивает большую познавательную ценность романа: «Альковные истории не составляют всего содержания «Милого друга». Книга является осуждением проституции во всех ее формах. Это суровая критика прессы, политики и финансов, объединившихся, чтобы держать антрепризу лжи. Мы проникаем за кулисы опасной организации, преступления которой бесчисленны. Мы присутствуем при сделках, при торгах, которые выполняются под шумок для чьей-либо выгоды.. Ги де Мопассан обрисовал нравы журналистики, какими они были сорок лет назад (они совсем не изменились с тех пор)... Он воочию показал нам механизм той финансовой прессы, которая, прикрываясь литературой и искусством, предпринимает различные аферы, управляет политикой страны и толкает страну к гибели. Эти люди не поколебались бы начать всеобщую войну, чтобы удовлетворить свои аппетиты. Они уже заговаривали о Марокко! Ради него «Французская жизнь» уже пыталась спровоцировать конфликт с Испанией. Ведь стань Франция властительницей Танжера, два министра заработали бы тут 20 миллионов! Экспедиция в Марокко принесла бы Дюруа и его друзьям от 50 до 60 миллионов!» (G. de Lacaze-Duthiers, pp. 37—38).

Успех «Милого друга» был велик. Уже 12 сентября 1885 года Авар извещал автора о выходе 37-го издания; позднее, 4 апреля 1887 года, он указывал, что вышло 51-е издание. Бой-

кой продаже романа немало содействовала рекламная кампания в газетах, умело проведенная Аваром. «Все начало знаменитой кампании, которую я вам развил,— писал он Мопассану 12 сентября 1885 года,— отлично удалось, как Вы должны видеть; только «Фигаро» ничего не поместил; но я рассчитываю предпринять новую попытку в октябре и надеюсь иметь бо́льший успех... Мы поговорим об этом, когда Вы вернетесь в Париж».

Почти тотчас же по выходе романа два шведских переводчика обратились к Авару, оспаривая друг у друга право первого перевода. Просьба о разрешении перевода была получена и из Будапешта. На русском языке роман появился впервые в 1885 году в «Вестнике Европы» в переводе А. Н. Энгельгардт.

Успеху романа немало содействовал и тот негодующий шум, который подняла по его поводу критика. Это были по преимуществу вопли обиды и лицемерного возмущения Максим Гоше, напечатавший первую рецензию о романе в «Ревю Блё» от 23 мая 1885 года, еще ограничивался сравнительно пассивной позицией, скорбя по поводу «жестокой и несколько отталкивающей правды» романа. Другие критики говорили уже враждебным тоном, протестуя против якобы «искаженного» изображения французского газетного мира. Франсиск Сарсэ, известный своею циничной архипродажностью (особенно в качестве театрального критика), писал с елейной скромностью в «Нувель ревю»: «Я упрекнул бы г-на Ги де Мопассана в том, что, решив пересадить своего Жоржа Дюруа в эту среду журналистики, которую ему следует хорошо знать, он не потрудился верно воспроизвести ее истинный аспект. Редакционные помещения, которые он описывает, кажутся мне плодом чистейшей фантазии: не таковы наши привычки, наши нравы, наша манера говорить».

Близок по характеру был и отзыв критика Монжуайе, писавшего в июне в консервативном «Голуа»: «Я не могу поверить, что такова и вся журналистика. Бальзак показал нам ее более возвышенной, несмотря на ее слабые стороны... Здесь же мы весело плаваем в океане грязи... Какое общество! Великие боги! Какая среда! Какие люди!»

Седьмого июня 1885 года Мопассан напечатал в «Жиль Блас» ответ своим критикам (см. в XII томе). Он отвечает здесь на два «обвинения»: на то, что героем своим избрал журналиста, и на то, что действие романа связано с изображением прессы.

Мопассан указывает, что Дюруа вовсе не «прирожденный» репортер, а потому якобы отнюдь не журналист. «Вовсе не призвание толкнуло его на литературный путь»; Дюруа «пользуется прессой, как вор пользуется лестницею», ибо «мой авантюрист

идет к воинствующей политике, к депутатству, к иной жизни и к иным событиям».

«Оправдавшись» в этом пункте, автор «Милого друга» отвечает и на вопрос, почему ареной действия Дюруа он избрал среду прессы. С полной серьезностью, тщательно маскируя иронию, он дает следующее объяснение: «Почему? Да потому, что эта среда представлялась мне наиболее благодарной для того, чтобы отчетливо показать все этапы пути моего персонажа; кроме того, как часто твердят, газета ведет решительно ко всему. Для другой профессии нужны специальные знания, к ней нужно долго готовиться, двери для входа более плотно закрыты, двери для выхода менее многочисленны. Пресса же представляет собою своего рода необъятную республику, которая простирается во все стороны, где все можно найти и все можно делать, и где так же легко быть честным человеком, как и мошенником».

Но дальше Мопассан делает вид, что забыл об этой своей характеристике печати в целом, и пресерьезно удивляется, чего от него хотят. «Если бы я выбрал рамкой действия какую-нибудь крупную газету, настоящую газету, те, которые сердятся на меня, были бы совершенно правы; то я, напротив, позаботился взять один из тех подозрительных листков, представляющих собою нечто вроде агентства банды политических проходимцев и биржевых пенкоснимателей, ибо такие листки, к несчастью, существуют». И он не раз еще говорит о «листках, являющихся вертепами финансовых мародеров, фабриками шантажа и выпуска фиктивных ценностей». «Я описал сомнительную журнальную среду так, как описывают любое сомнительное общество, — настаивает он. — Разве это запрещено?».

Может быть, отношение Мопассана к «крупным газетам, настоящим газетам» и было несколько иным, но здесь речь шла бы только об оттенке общего отрицательного отношения к «республике» печати, выраженного им выше. Не сам ли Мопассан показал в последней главе «Милого друга», как солидные газеты преклоняются перед успехом вальтеровского листка, ставшего теперь тоже «крупной газетой, настоящей газетой»?

Разоблачение Мопассаном мира продажной буржуазной прессы было положительно оценено французским революционно-демократическим лагерем. Об этом писал Поль Лафарг, но мы имеем возможность указать еще на один чрезвычайно любопытный факт.

В 1887 году начала выходить новая гедистская газета, «Народный путь». Гедисты, партия французских марксистов, возглавляемая Жюлем Гедом, перед этим временно имели своим печатным органом газету «Крик народа», основанную Жюлем Валлесом. После смерти Валлеса в 1885 году «Крик народа»

перешел в руки его ученицы и подруги, известной журналистки Северин. Последняя, человек довольно беспринципный, следуя вкусам своего очередного друга сердца, соредактора, не раз меняла ориентацию газеты.

Очередная «перемена руководства» в редакции «Крик народа» и повела к разрыву группировки гедистов с Северин в 1887 году. Не входя в рассмотрение всех причин этого конфликта, упомянем лишь, что гедисты обвиняли нового «друга» и соредактора Северин, Жоржа де Лабрюйера, в том, что он агент полиции; гедист Гулле дал Лабрюйеру пощечину. «Мы отказываемся прикрывать теории людей из полиции и потому выходим из «Крика народа» с высоко поднятой головой и пустыми карманами»,— сообщала передовая в № 7 «Народного пути» от 17 февраля 1887 года. А с № 8 газета Геда стала печатать фельетонами «Милого друга», предпослав ему следующий анонс:

«Мы начинаем сегодня публикацию крупнейшего произведения Ги де Мопассана, одного из наших мэтров (в дальнейших повторениях этого анонса слово «наших» исчезло. — *Ю. Д.*) современной литературы

«Милый друг — это унтер-офицер африканских войск, лишенный и принципов и совестливости. Он обладает всеми необходимыми данными, чтобы попасть в газетную среду, в среду талантливых, но морально неразборчивых людей, и создать себе там завидное положение.

«Милый друг знает, что преуспеть можно лишь через женщин. Постыдно эксплуатируя талант и общественные связи незадачливой писательницы, этот растакуэр затем бросает ее, когда она не может больше оказывать ему услуг, и женится на дочери издателя правительственной газеты, в которой сотрудничает.

«Как можно видеть, это весьма актуальная история, но она известна не одним бульварным журналистам, особенно с тех пор, как вышли семь первых номеров «Народного пути» [1].

Подобно большинству социалистических изданий газета «Народный путь» просуществовала недолго: за отсутствием необходимых средств она перестала выходить уже 17 марта 1887 года. Довести до конца печатание «Милого друга» ей не удалось: оно закончилось на VI главе первой части. Любопытно, что в № 14 газеты ее четвертая страница целиком ушла под «Милого друга», вторично перепечатанного сначала.

Если гедисты прибегнули к «Милому другу» для своеобразного разоблачения отрицательных сторон деятельности но-

---

[1] «La Voie du peuple», 18 fevrier 1887, № 8. Все первые семь номеров «Народного пути» подробно разоблачали Лабрюйера.

вого соредактора Северин, это, конечно, несколько сужает их оценку романа, хотя и удостоверяет его памфлетный характер и яркую типичность Жоржа Дюруа. Но они, несомненно, видели в «крупнейшем произведении» Мопассана выдающееся произведение критического реализма, сильную сатиру на капиталистическое общество и его прессу. Поэтому их характеристика Мопассана как «одного из мэтров современной литературы» отнюдь не случайна.

Тщательное изучение французской социалистической печати, вероятно, позволит обнаружить и другие высказывания революционно-демократического лагеря 80-х годов о романе Мопассана, остающиеся неизвестными его французским биографам, как и факт перепечатки «Милого друга» в «Народном пути».

ПРИМЕЧАНИЯ

МИЛЫЙ ДРУГ

Стр. 15. *Мюзар* (1793—1859) — французский музыкант, устроитель публичных балов и маскарадов в Париже в 30—40-х годах XIX века.

Стр. 17. *Итальянцы.* — Имеется в виду Итальянский театр оперы в Париже.

Сен-Лазар — тюрьма для проституток в Париже.

Лурсин — больница в Париже

Стр. 27. *...его интересовал Мзаб.*— Об этой любопытной «арабской республике» см. подробнее в сборнике «Под солнцем» (т. IV).

Стр. 44. *Альфа* — растение, стебли которого употребляются на выделку бумаги, ковров, обуви.

Стр. 47. *Дюваль.* — В Париже со времени Второй империи существовала большая сеть дешевых столовых, организованных кухмистером Дювалем.

Стр 58. *Фервак* — французский журналист 70—80-х годов, сотрудничавший в «Фигаро» в качестве талантливого репортера, освещавшего жизнь светского общества

Стр. 70. *Чертик, выскочивший из коробочки* — популярная во Франции детская игрушка.

Стр. 109 *Сорок старцев* — сорок членов Французской академии.

Стр. 116. *Гийеме* (1842—1918) — французский художник, один из друзей Мопассана; ему посвящена новелла «Крестины» (см. т. III).

Арпиньи (1819—1916) — французский пейзажист, примыкавший к барбизонской школе.

Гийоме (1840—1887) — французский художник-ориенталист и литератор.

Жервекс (род. 1852) — французский художник, автор жанровых картин и исторических полотен. Жервекс принадлежал к числу друзей Мопассана, совершил с ним вместе поездку по

Италии в апреле — июне 1885 г. и написал зимою 1885—1886 г. в Антибе портрет Мопассана.

Бастьен-Лепаж (1848—1884) — французский художник, реалист, испытавший некоторое влияние импрессионизма.

Бугро (1825—1904) — французский художник, представитель неоклассической живописи.

Жан-Поль Лоранс (1838—1921) — французский художник, создатель многочисленных исторических картин.

Синие — войска французской революции XVIII века, прозванные так по цвету их мундиров.

Стр. 117. *Жан Беро* (1849—1935) — французский художник; Мопассан посвятил ему новеллу «Шали» (см. т. III).

Ламбер — французский художник XIX века, анималист; писал жанровые комические картины, где действующими лицами были кошки.

Детай (1848—1912) — французский художник-реалист, автор батальных картин.

Лелуар (1853—1940) — французский художник, один из друзей Мопассана; ему посвящена новелла «Идиллия» (см. т. III).

Стр. 132. *Дюруа забавляется* (Duroy s'amuse) — игра слов на созвучии с заглавием известной драмы Виктора Гюго «Король забавляется («Le Roi s'amuse»).

Стр 133. *Жена Цезаря* — Помпея, вторая жена Юлия Цезаря, была заподозрена в супружеской неверности; хотя предположение это и оказалось ошибочным, Юлий Цезарь развелся с Помпеей, находя, что «жена Цезаря не должна подвергаться подозрению».

Стр. 144. *Гастин-Ренет* — известный парижский оружейник.

Стр. 157. *Граф Парижский* — титул принца Луи-Филиппа-Альбера Орлеанского (1838—1894), внука короля Луи-Филиппа.

Стр. 158. *Базен* (1811—1888) — французский маршал; о бегстве Базена из тюрьмы, в которую он был заключен по обвинению в государственной измене, Мопассан подробно рассказывает в книге «На воде» (см. т. VII).

Кольбер (1619—1683) — знаменитый французский государственный деятель, министр Людовика XIV; среди многочисленных мероприятий Кольбера большое значение имела реорганизация французского флота.

Сюффрен (1726—1788) — французский адмирал, победоносно сражавшийся в Индии против англичан.

Дюперре (1775—1846) — французский адмирал, участник завоевания Алжира.

Стр. 175. *Разделите свою фамилию на две части: «Дю Руа».* — Во Франции приставка «дю», «де» или «д» перед фамилией свидетельствует о принадлежности данного лица к дворянству.

Стр. 189. *Такая же высокая, как пирамида Хеопса.*— Высота пирамиды Хеопса — около 146 метров.

Стр. 192. *Поль и Виржини* — герои одноименного сентиментально-идиллического романа (изд в 1787 г.) французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

Стр. 201. *Смешанные комиссии* — были учреждены Наполео-

ном III после декабрьского переворота 1851 г. для судебной расправы со всеми его политическими противниками.

Стр. 217. *Ватто* (1684—1721) — французский художник.

Стр. 223. *Эск* — сокращение английского слова «эсквайр», означающего «помещик».

Стр. 226. *Затевать ту же глупую историю, что и в Тунисе...* — Намек на оккупацию Францией Туниса в 1881 г., сопровождавшуюся настоящей войной.

Стр. 242. *...Испания злится на нас за Марокко.* — Французский и испанский империализм одинаково стремились к захвату Марокко, и их интересы нередко сталкивались там до окончательного раздела Марокко в 1912 году.

Стр. 249. *... будет ли послан в Оран генерал Белонкль.* — Оран — западная часть области Алжир, прилегающая к Марокко.

Стр. 252. *...Дидоны, а не Джульетты.* — В «Энеиде» Вергилия говорится о том, что герой поэмы Эней полюбил царицу Дидону, легендарную основательницу Карфагена, и встретил сильное ответное чувство с ее стороны; когда Эней вынужден был возобновить свои скитания, Дидона в отчаянии покончила с собой. Джульетта — героиня знаменитой трагедии Шекспира. Слова Мопассана противопоставляют страстную любовь зрелой женщины любви молодой девушки.

Стр. 255. *Язык Камброна.* — Имеется в виду непечатная брань, которой французский генерал Пьер Камброн (1770—1842), командовавший в битве при Ватерлоо старой наполеоновской гвардией, ответил на предложение сдаться.

Стр. 299. *Точно английские солдаты.* — Сравнение основано на красном цвете английских военных мундиров того времени.

Стр. 334. *Бурбонский дворец* — местопребывание палаты депутатов.

ТУАН

Туан

Напечатано в «Жиль Блас» 6 января 1885 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Приятель Пасьянс

Напечатано в «Жиль Блас» 4 сентября 1883 г. под псевдонимом Мофриньёз; озаглавлено было «Приятель» («L'ami»)

Приданое

Напечатано в «Жиль Блас» 9 сентября 1884 года.

Мужчина-проститутка

Напечатано в «Жиль Блас» 13 марта 1883 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 362. *Г-н Прюдом* — известный тип самодовольного и крайне ограниченного буржуа, воплощение чиновничьего ничтожества и банальности, созданный французским сатириком Анри

Монье (1799—1877) в его книге «Мемуары Жозефа Прюдома» (1857). Некоторые афоризмы Прюдома приведены ниже в новелле «Наши англичане».

Стр. 363. *Барбэ д'Оревильи* (1808—1889) — французский писатель, запоздалый представитель реакционно-аристократического романтизма.

Усы

Напечатано в «Жиль Блас» 31 июля 1883 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Стр 367 *Отец Дидон* (1840—1900) — монах-доминиканец, популярный проповедник в Париже 70—90-х годов.

Стр. 368. *Мелин* (1838—1925) — французский политический деятель-республиканец и министр Третьей республики.

«Сцены из жизни богемы» — роман французского писателя Анри Мюрже (1822—1861), изданный в 1851 году.

Койка № 29

Напечатано в «Жиль Блас» 8 июля 1884 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 372 *Бурбаки* (1816—1897) — французский генерал.

Политехническая школа — военная школа в Париже, выпускавшая офицеров артиллерии и инженерных войск.

Покровитель

Напечатано в «Жиль Блас» 5 февраля 1884 года.

Бомбар

Напечатано в «Жиль Блас» 28 октября 1884 года.

Стр. 394. *...подобно брадобрею царя Мидаса.*— Мифический царь Фригии, Мидас, как-то прогневил Аполлона, наделившего его в наказание ослиными ушами. Мидас всячески скрывал случившееся, но брадобрею царя пришлось узнать его тайну. Не имея сил сохранить ее, болтливый брадобрей вырыл в песке ямку, шепнул в нее об ослиных ушах Мидаса и засыпал ямку песком. Но на месте ямки выросли тростники, и, когда их начинал колебать ветер, они шептали прохожим: «У царя Мидаса ослиные уши».

Волосы

Напечатано в «Жиль Блас» 13 мая 1884 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 401 *Вийон* (ок. 1431—1463) — знаменитый французский средневековый лирический поэт; цитируется его «Баллада о дамах былых времен».

Папаша Монжиле

Напечатно в «Жиль Блас» 24 февраля 1885 г. В этом рассказе Мопассан переработал тему третьего очерка «Воскресных прогулок парижского буржуа».

Стр. 404 *Овцы Панургова стада* — намек на один эпизод из «Пантагрюэля» Рабле; в переносном смысле — люди, поддавшиеся стадному чувству.

Шкаф

Напечатано в «Жиль Блас» 16 декабря 1884 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Комната № 11

Напечатано в «Жиль Блас» 9 декабря 1884 года.

Пленные

Напечатано в «Жиль Блас» 30 декабря 1884 года.

Наши англичане

Напечатано в «Жиль Блас» 10 февраля 1885 года

Стр. 439 *...в отличие от картофельных клубней* — В оригинале игра слов, построенная на двойном значении слова, означающего «турбекулы» и «клубни»

Стр. 442. *Анри Монье* — см. примечание к «Мужчине-проститутке».

Средство Роже

Напечатано в «Жиль Блас» 3 марта 1885 г. под псевдонимом Мофриньёз

Стр. 452. *Брантом* (ок. 1540—1614) — французский писатель, изобразитель быта и нравов аристократии своего времени.

Исповедь

Напечатано в «Фигаро» 10 ноября 1884 года.

Мать уродов

Напечатано в «Жиль Блас» 12 июня 1883 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Исповедь Теодюля Сабо

Напечатано в «Жиль Блас» 9 октября 1883 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 469. *Месяц Марии* — у католиков так называется май, посвященный культу богоматери.

Ю ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 64. 65. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. 1935.
Стр. 96. 97. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. [1936].
Стр. 192. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 193. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. 1935.
Стр. 224. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 225. «Милый друг». Худ. К. Рудаков. 1935.
Стр. 352. «Туан». Худ. В. Роттанбур. 1903.
Стр. 353. «Папаша Монжиле». Худ. В. Роттанбур. 1903.
Стр. 384. «Комната № 11». Худ. В. Роттанбур. 1903.
Стр. 385. *Вверху:* «Койка № 29». Худ. Жаннио.
Внизу: «Исповедь Теодюля Сабо». Худ. В. Роттанбур. 1903.

СОДЕРЖАНИЕ

Милый друг. *Перевод Н. Любимова* 5

ТУАН

Туан. *Перевод Н. Дарузес* 337
Приятель Пасьянс. *Перевод Е. Гунст* 347
Приданое. *Перевод его же* 354
Мужчина-проститутка. *Перевод Г. Рачинского* 361
Усы. *Перевод Е. Гунст* 366
Койка № 29. *Перевод его же* 371
Покровитель. *Перевод его же* 383
Бомбар. *Перевод Г. Рачинского* 389
Волосы. *Перевод В. Шишова* 396
Папаша Монжиле. *Перевод Г. Рачинского* 404
Шкаф. *Перевод М. Дмитриевой* 411
Комната № 11. *Перевод В. Станевич* 418
Пленные. *Перевод Ф. Стырикович* 427
Наши англичане. *Перевод Г. Рачинского* 439
Средство Роже. *Перевод его же* 448
Исповедь. *Перевод его же* 453
Мать уродов. *Перевод Е. Брук* 461
Исповедь Теодюля Сабо. *Перевод Г. Еременко* 467

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 476
Примечания 489
Перечень иллюстраций. 494

ГИ ДЕ МОПАССАН.

Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 5.

Редакторы
Е. М. Шишмарева
и Д. А. Горбов.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 12/IX 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 946.
Зак. № 1362. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Печ. л. 25,42+6 вкл. (0,6 п. л.).
Бум. л. 7,75. Уч.-изд. л. 25,65.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.